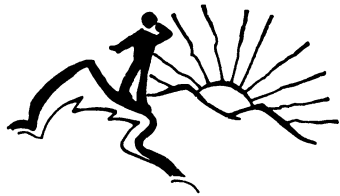


ф а з и л ь
и с к а н д е р

с о б р а н и е



с а н д р о и з ч е г е м а 2



собрание

фазиль

ИСКАНДЕР

сандро из чегема 2



МОСКВА

2003

ББК 84.7-4

И86

*Издательство выражает благодарность
Александру Леонидовичу Мамуту
за поддержку в издании книги*

*Макет, оформление, иллюстрации
Валерий Калныньш*

ISBN 5-94117-073-4

ISBN 5-94117-071-8(2)

© Ф. А. Искандер, 2003

© В. Я. Калныньш, 2003

© Издательский дом «Время», 2003



путь из варяг в греки

созвездие козлотура

детство чика

сандро из чегема 1

сандро из чегема 2

сандро из чегема 3

софичка

человек и его окрестности

козы и шекспир

паром

12. дядя сандро и конец козлотура

Мы с дядей Сандро подходили к старинному особняку, где сейчас расположено одно из наших славных учреждений, награждающее наиболее достойных людей орденами и медалями, а других, тоже достойных, но менее выдающихся, — грамотами и благодарностями.

В свое время после одной из республиканских декад по искусству я тоже получил здесь грамотку, хотя сам в декаде не принимал участия, а только осветил ее ход в нашей трижды прославленной газете «Красные субтропики».

Видно, я неплохо осветил ее ход, потому что меня вместе с лучшими участниками декады выдвинули к награждению. И не только выдвинули, но и наградили.

Но с другой стороны, если уж быть до конца честным, надо признаться, что, будь моя статья об этой декаде более яркой, хотя бы в лучших ее местах, думаю, не пожалели бы на меня медали. Но, как говорится, после драки кулаками не машут. Так что не стоит расстраиваться, тем более что и с грамоткой, обведенной исключительно красивым золотым ободком, случился небольшой конфуз.

Дело в том, что ее утащил один из наших чегемских земляков, а именно Кунта. Он приехал в Мухус продавать орехи, продал их и вечером пришел к нам ночевать. Мама моя, желая похвастаться моими достижениями на общественном поприще, не нашла ничего лучшего, как показать ему эту грамоту.

Видно, она на него произвела неизгладимое впечатление. Но мы об этом не знали. В ту ночь он спал со мной в одной комнате и, помнится, долго ворочался, а когда я его спросил, что его беспокоит, он ничего мне не ответил, а вернее, даже сам спросил:

— А как срезать дорогу от вашего дома до автобуса?

— А чего срезать? — сказал я ему, еще не понимая его замысла. — Свернешь на углу и прямо выйдешь на станцию...

— Мне бы срезать, — вздохнул он и притих.

Потом, через неделю, когда к нам приехал другой деревенский родственник, и мама моя, желая похвастаться моими достижениями на общественном поприще, кинулась за грамоткой, тут-то все и обнаружилось. Тут-то я и вспомнил его вздохи, его ворочанье, и то, что он ушел из дома чуть свет, даже не попив чаю, и, конечно, его нелепую в городских условиях мечту срезать дорогу до автобуса, в сущности, выражавшую его подсознательную боязнь быть настигнутым погоней.

Из всего сказанного никак не следует, что я шел получать новую награду. Наоборот, дела мои настолько испортились в последнее время, что я при помощи дяди Сандро вынужден был пуститься на небольшую авантюру, чтобы укрепить свое положение в редакции.

С этой целью мы и приближались к особняку. Дядя Сандро держал в руке аэрофлотскую сумку с надписью «Эр Франс», из которой время от времени доносилась глухая дробь, а именно, стук нетерпеливого хвоста огненного спаниеля о внутреннюю часть сумки.

Нам предстояло обменять спаниеля на один совершенно секретный документ хозяйственного характера, который я должен был держать при себе как хорошую карту, а в случае необходимости представить ее Автандилу Автандиловичу, для полной безопасности — в виде копии.

Документ касался секретного приказа по козлотурам. Речь шла о тайном, чтобы не вызвать толки в народе, переселении козлотуров из разных колхозов в один животноводческий совхоз.

Переселение было вызвано каким-то неизвестным массовым заболеванием козлотуров. У несчастных животных начали гнить копыта. По-видимому, сама генетическая структура нового животного оказалась нестойкой, что, кстати, в известной мере предвидели те, кто в свое время сомневался в жизнеспособности нового животного.

Вот мы и приближались к этому особняку, где кроме учреждения, выдающего достойным людям награды, были расположены управление сельского хозяйства и ряд других более мелких контор.

Это легкое красивое здание, явно дореволюционного происхождения, было увенчано чешуйчато-светлым куполом, напоминающим купола православных церквей. Хотя красный флаг, развевающийся над куполом, тут же разоблачает неуместность этого уподобления.

Сейчас, в жару, он, как бы слегка разомлев, едва трепыхался, и его можно было бы сравнить с идеологическим опахалом, лениво отмахивающим миазмы враждебных идей, как

рой мошкары, не слишком опасной, но достаточно назойливо вьющейся над увенчанной чешуйчатым шлемом и бдящей дремля головой сказочного витязя.

Когда мы поравнялись с входом в особняк, дядя Сандро неожиданно остановился, так что края его легкой черкески отвеялись, обнажая стройные ноги, затянутые в мягкие сапоги. Он остановился и рукой, свободной от «Эр Франс», провел невидимую черту от входа в особняк через весь тротуар.

— Ничего не замечаешь? — спросил он лукаво.

— Нет, — сказал я, оглядывая голый тротуар с одинокой урной у края мостовой.

Из сумки раздалась глухая барабанная дробь.

— Чует близость хозяина, — сказал дядя Сандро и добавил, скользнув глазами по тротуару: — Раньше от входа до самой улицы была мраморная дорожка.

В самом деле! Я вспомнил, что в детстве, проходя по этому месту, не мог удержаться, чтобы не попрыгать на одной ноге по цветным шахматным клеткам этого мраморного паркета. Мне даже представлялось, что обитатели особняка могли бы играть в шахматы, выглядывая из окон, если бы нашелся слугитель, который внизу передвигал бы фигуры. В конце концов, я даже придумал, что они могли бы обойтись без слугителя, а просто пользуясь длинной бамбуковой палкой, наподобие тех, при помощи которых снимают фрукты с деревьев. Надо было бы только приделывать крючок к концу бамбуковой палки и кольцо на каждой фигуре.

Я думаю, что эта странная и даже неуместная фантазия объясняется тем, что в те времена я вместе с ребятами нашего двора только научился играть в шахматы и мне всюду мерещилась возможность поиграть.

— Куда же она делась? — спросил я у дяди Сандро про мраморную дорожку, чувствуя, что он терпеливо ждет моего вопроса.

— Бывшее руководство растащило, — ответил дядя Сандро, как-то сложно скорбя своими большими голубыми глазами: не то скорбит по мраморным клеткам, не то по бывшему руководству, жалея, что его алчность, кстати, сказавшаяся на судьбе этих плит, довела его до того, что оно стало бывшим.

— Да зачем они ему? — спросил я, не очень доверяя этой странной версии.

— Для домашнего очага, — сказал дядя Сандро уверенно, — сейчас богатые люди, как до революции, делают у себя дома очаги... А цветной мрамор теперь нигде не достанешь... Тем более николаевский, ему сносу нет...

Мне стало почему-то очень жаль этой дорожки. Все-таки в детстве я не раз здесь прыгал на одной ноге, хотя в шахматы сыграть так и не ухитрился.

— В этом доме, — сказал дядя Сандро задумчиво, — я был до революции и при Лакобе...

— Каким образом? — спросил я, предчувствуя что-то интересное.

Из сумки снова раздалась глухая дробь упругого хвоста собаки.

— Пошли, — сказал дядя Сандро и кивнул на вход, — потом расскажу...

Он повернулся и прошел в двери. Я двинулся за ним. Внизу, в вестибюле, из стеклянной пристроечки, похожей на парник и явно более позднего происхождения, чем сам особняк, на нас глянул человек с тем преувеличенным недоумением, с каким из-за стекла глядят все люди и особенно администраторы. Может, именно поэтому всякий человек, который глядит на нас из-за стекла, почему-то делается похожим на администратора.

Первым порывом он попытался нас остановить, но, видимо, узнав дядю Сандро, кивком открыл проход. Дядя Сандро повел меня вверх по широкой мраморной лестнице, и его стройная фигура в черкеске на этой лестнице придавала всей этой картине что-то призрачное. В то же время это призрачное становилось настолько реальным, что мгновениями исчезало представление о месте и времени, и сама реальность, более всего воплощенная в сумке «Эр Франс» или даже в слегка трепыхающемся содержимом этой сумки, делалась фантастической и потому призрачной.

Казалось, то ли дядя Сандро сейчас обернется и, прижав к груди вынутого из сумки спаниеля, споет предсмертную арию владетельного князя, то ли откуда-то сверху выбегут какие-то люди, подхватят нас под не слишком белые ручки и то ли посадят за пиршественный стол, уставленный целиком зажаренными тяжелыми бычьими ляжками, то ли поволокут в какой-нибудь феодальный закуток да придавят там втихаря, запихав в рот, чтоб не мешали работать, шитый, как

говорится, золотом башлык. (Уж не тем ли золотом, что и ободок на моей украденной грамотке?!)

Призрачность происходящего усиливалась видом тяжелого (Господи!) золотистого ковра-занавески, висящего во всю стену вдоль лестницы. Я было притронулся к занавеске, да тут же отдернул руку, почувствовав холод стены: оказывается, занавеска со всеми своими складочками и помпончиками была нарисована на стене. Это было что-то новое. Когда я два года тому назад получал здесь грамоту, этого не было.

Посреди первого марша мраморной лестницы дядя Сандро остановился и показал мне ногой на ступеньку с отшибленным краем величиной с кулак.

— Здесь до революции, — сказал дядя Сандро, — я однажды поднялся на лошади, проскакал по всем комнатам и спустился вниз... А на этом месте, — продолжал он, вставив ногу в выбоину, словно, прикасаясь ногой к следу, оставленному копытом его лошади, он приближал и ласкал в воспоминаниях дни своей молодости, — лошадь поскользнулась задней ногой и разбила лестницу.

— Что вы здесь делали? — спросил я, невольно понижая голос, потому что звуки здесь гудели, как они гудят в церкви или в бане, то есть в местах омовения души или тела.

— До революции я здесь был у знаменитого табачника Коли Зархиди, — сказал дядя Сандро, — он здесь жил...

— А после революции? — спросил я еще тише, потому что администратор снизу, из своего парника, опять поднял на нас удивленный взгляд.

— А после революции, — сказал дядя Сандро, наконец и сам понижая голос, — я тебе расскажу после...

Но что же нас сюда привело, зачем мне понадобился этот секретный документ о переселении козлотуров?

Дело в том, что совсем недавно, после критики козлотуризации сельского хозяйства, в одном из московских журналов появилось социологическое исследование по нашему козлотуру. И хотя оно появилось уже после статьи, критикующей козлотуризацию, и, казалось бы, можно было ожидать дополнительных ударов, исследование по козлотуру было воспринято в местных кругах очень болезненно, как совершенно неожиданная несправедливость.

А между прочим, после официальной критики совершенно никто не пострадал, разумеется, кроме самого козлотура. Вернее, сам по себе козлотур никак не пострадал, просто имя его полностью исчезло с газетных страниц. И так как у нас есть все основания считать, что сами козлотуры не имели ни малейшего представления о своей славе, хотя кое-что они и могли подозревать, учитывая, что слишком много вокруг них было всякой возни, но, уж конечно, заметить и обидеться на исчезновение своего имени и портретов с газетных страниц они никак не могли.

В сущности, пострадал один Платон Самсонович, первый проповедник козлотура, — его понизили в должности. Но и он быстро оправился от этого удара, увлекшись заманчивой идеей завлекать туристов в новооткрытые сталактитовые пещеры.

После первой официальной критики козлотура вывеску над павильоном прохладительных напитков «Водопой Коз-

лотура» легко переправили на «Водопой Тура». К этому времени рядом с павильоном над живописными развалинами древней крепости вырос новый ресторан, тоже без особой фантазии названный «Водопоем Козлотура».

Сейчас, когда павильон пришлось слегка переименовать, директор ресторана, вдруг почувствовав прилив смелости и творческой фантазии, дал ресторану название «Эллада», как бы единым махом отодвинув его на расстояние, недоступное для идеологических бурь. Возможно, такой полный отход от козлотура был вызван еще тем обстоятельством, что именно в этом ресторане до последнего времени висела знаменитая картина местного художника «Козлотур на сванской башне».

Таким образом, после официальной критики козлотуризации произошла сравнительно мирная перестройка, как бы рассасывание не слишком злокачественной опухоли. Газета дала самокритическую статью, смысл которой можно свести к таким словам: «Дорогая Москва, тебе, оказывается, не нравится козлотуризация? Очень хорошо, мы ее прекратим». И в самом деле, как я уже говорил, прекратили. И тут вдруг появляется это социологическое исследование. Автандил Автандилович помрачнел. И не только он. Многие ответственные работники нашего края в эти дни перезванивались или, чаще, переговаривались, собираясь маленькими грустно-уютными кружками. Вечерами они так же грустно прохаживались по набережной, с лицами, надутыми как у детей. При этом они успевали ревниво присматриваться к лицам своих знакомых, с тем чтобы определить, с достаточной ли силой на

этих лицах выражена патриотическая грусть. И если у какого-нибудь забывшегося коллеги мелькала на лице улыбка или веселое выражение, то это мгновенно замечалось издали, и грустящие коллеги многозначительно кивали друг другу: дескать, что о нем говорить, не наш, видно, человек...

Ожидалось, что после этого социологического исследования центральная газета снова вернется к вопросу о козлотуризации, с тем чтобы уже более резко осудить всех ее ревнителей. Чтобы упредить хотя бы часть этой критики, местное руководство поручило районным организациям, и в том числе нашей редакции, тщательно проверить на местах, не осталось ли каких-нибудь следов кампании в виде названий отдельных предприятий, в виде плакатов, брошюр или других наглядных форм агитации. Как показали тщательные расследования, к этому времени дух козлотура полностью исчез из умственного обихода нашего края, если не считать нескольких десятков книжечек «Памятка зоотехника», застрявших в кенгурийском книготорге, и гипсового козлотура, найденного у кенгурийского фотографа-частника.

С книжечками «Памятка зоотехника», посвященными правилам ухода за козлотурами (о чем еще помнить бедному зоотехнику!), расправились одним махом, чего нельзя сказать про гипсового козлотура.

Владелец его заупрямился и ни за что не хотел отдавать своего козлотура, ссылаясь на то, что именно после критики козлотуризации отдыхающие с особенной охотой фотографируются возле него, а дети и подвыпившие мужчины даже

верхом. На угрозу конфискации гипсового козлотура он отвечал, что времена не те, что он будет жаловаться в Москву, а это, разумеется, в расчеты горсовета никак не входило.

В конце концов нашлись мудрые люди и нашли компромиссный выход. Фотографу разрешили оставить круп козлотура, но велели заменить рога на олени. Он как будто бы согласился, но при этом, оказывается, затаил коварство.

В самом деле, над крупом козлотура появились вполне приличные ветвистые рога, ничего общего не имеющие с рогами козлотура, загнутыми как хорошо выращенные казацкие усы. Одним словом, получилось странное животное, с одной стороны, кряжистое, низкорослое, головастое и вдруг (на тебе!) увенчанное томными, хрупко-ветвистыми рогами.

В виде награды за эту уступку горсовет разрешил ему занять наиболее богатый клиентами приморский участок парка.

Но, оказывается, сняв со своего козлотура наглухо приклепанные рога, он вставил в его голову две железные трубки с нарезанной внутри резьбой, а рога козлотура, как и рога оленя, снабдил соответствующими винтами одинакового диаметра.

И вот гуляет обычная приморская публика и видит обычного приморского фотографа, фотографирующего любителей возле своего, пусть несколько странного, но, во всяком случае, вполне легального оленя.

Но вот, отделившись от небольшой группы якобы беззаботно прогуливающихся друзей, к нему подходит молодой человек, что-то шепчет на ухо, и тот кивает в знак согласия. Молодой человек кивает своим знакомым, те становятся воз-

ле оленя, но фотограф, вместо того чтобы их шелкать, почему-то лезет в свой саквояж и достает оттуда странный предмет, обмотанный мешковиной.

Дальнейшее происходит в несколько секунд. Несколько сильных витков — и танцующие деревья оленьих рогов оказываются внизу. На них небрежно набрасывается мешковина, опять несколько сильных витков в обратную сторону — и козлотур, снабженный присущими ему рогами, достаивает своим обществом любителей левых либеральных снимков.

— Это еще неизвестно, чья возьмет, — бормочет фотограф и шелкает несколько контрабандных снимков. Молодой человек получает свои комиссионные, любители левых либеральных снимков в назначенное время получают свои фотографии.

Обо всем этом рассказал мне мой земляк, чегемец, работающий здесь милиционером и во время дежурства выследивший этого фотографа и теперь тоже получающий свои комиссионные, отчего тот не только не приуныл, а, наоборот, взбодрился и уже сам развращает обычных клиентов, мимоходом предлагая им:

— С козлотуром или без?

Но дело, конечно, не в этом. Дело в том, что ожидаемая критика центральной газеты не повторилась. И тут люди, причастные к пропаганде козлотура, оживились, тем более что в столичной печати появилась критика журнала, критиковавшего козлотуризацию. И хотя журнал этот критиковался не за критику козлотуризации, все-таки у нас поняли так, что дела этого журнала плохи и не ему нас критиковать. А тут

еще нашлись люди, которые установили, что журнал и до этого подвергался неоднократной критике. И тогда в местных кругах со всей остротой был поставлен вопрос: можно ли считать действительной критику критикуемого журнала?

Нет, говорили некоторые, критику критикуемого журнала конечно же не стоит принимать всерьез, тут, мол, и беспокоиться не о чем. Но другие, более диалектически настроенные, отвечали, что это неверно, что, пока журнал не закрыт, критика критикуемого журнала фактически является действительной независимо от нашей воли.

— Почему независимо от нашей воли, — горестно негодовали первые, — мы что, не люди, что ли?

— Гегель, — сухо отвечали им более диалектически настроенные, самой сухостью ответа намекая на умственную нерентабельность в данном случае более пространного разъяснения, что для представителей данного случая, конечно, было обидно.

Вообще, закрытия этого журнала ждали с большим азартом. За время ожидания его еще несколько раз критиковали, так что азарт дошел до предела, а журнал почему-то все еще не закрывали.

Более того. Неоднократно накрываемый тяжелой артиллерией критики, размолотый и засыпанный землей и щебенкой, он, как легендарный пулеметчик, вдруг открывал огонь из-под собственных обломков, заставляя шарахаться своих длинноухих врагов, бегущих назад и на бегу лежающих воздух бегущими копытами. В позднейших кинохрониках этому бегу был придан перевернутый, то есть атакующий, смысл,

а непонятное в этом случае лягание воздуха бегущими копытами в сторону своих тылов объяснялось избытком молодечества и невозможностью лягаться вперед.

Так как журнал все еще не закрывали, энергия гнева на это социологическое исследование, не находя всесоюзного выхода, наконец нашла выход местный. Вопрос был поставлен так: «Кто донес Москве про нашего козлотура? Кто какнул в родное гнездо?»

И хотя материалы о козлотуре печатались в нашей открытой прессе, всем казалось, что кто-то тайно донес Москве про козлотура, заручился ее поддержкой, а потом уже появилась критика в столичной печати.

Постепенно грозно сужающийся круг подозрительных лиц, как я ни протестовал, замкнулся на мне. Точнее, нервы у меня не выдержали, и я запротестовал несколько раньше, чем этот круг замкнулся.

Мне с большим трудом удалось доказать, что исследование о козлотуре написано не мной, хотя и нашим земляком, сейчас живущим в Москве, но каждое лето проводящим здесь.

На это мне отвечали, что, может быть, оно и так, но уж материалы о козлотуре ему мог подsunуть только я. Я защищался, но мнение это, видно, шло сверху, и некоторые сотрудники нашей редакции перестали со мной здороваться, как бы набирая разгон для будущего собрания, где им пришлось бы выступить против меня.

Другие мужественно продолжали со мной здороваться, но при этом явно давали понять, что употребляют на это столь-

ко душевных сил, что я не должен удивляться, если в скором времени они надорвутся от этой перегрузки.

Я уже сам собирался пойти к редактору газеты Автандилу Автандиловичу, чтобы с ним объясниться, когда к нам в комнату вошла его секретарша и, как всегда испуганно, сообщила, что редактор ждет меня у себя в кабинете через пятнадцать минут.

Раздражающая неизвестность меня так тяготила, что я, не выждав назначенного срока, почти сразу вошел к нему. Автандил Автандилович сидел у себя за столом и, прикрыв глаза, прислушивался к действию нового вентилятора, могучие лопасти которого кружились под потолком. Посреди кабинета громоздилась стремянка, а на нижней ее перекладине стоял монтер и смотрел то на лопасти вентилятора, то на лицо Автандила Автандиловича.

— Чувствуется? — спросил он.

Автандил Автандилович, не открывая глаз, слегка повел лицом, как поводят им, когда пытаются всей поверхностью лица охватить одеколонную струю pulverизатора.

— Так себе, — сказал Автандил Автандилович с кислой миной, — а ниже нельзя?

С этими словами он открыл глаза и заметил меня.

— Ниже будет неустойчиво, — сказал монтер, все еще глядя на вращающиеся лопасти вентилятора.

— Ладно. Хорошо, — сказал Автандил Автандилович и едва заметным движением руки нажал на кнопку. Вентилятор остановился.

Монтер собрал в мешок инструменты, валявшиеся под стремянкой, сложил стремянку и спокойно, как из цеха, вышел из кабинета, оставляя на полу белые от цементной пыли следы. На полу под вентилятором оставался небрежно рассыпанный, а потом так же небрежно растоптанный барханчик цементного порошка.

Жестом усадив меня, Автандил Автандилович смотрел некоторое время на этот беспорядок с выражением брезгливого сострадания, словно не понимая, что лучше: сначала вызвать уборщицу, а потом поговорить уже со мной в чистом кабинете, или сначала поговорить уже со мной, а потом заодно приказать очистить помещение.

Он несколько мгновений молчал, и я понял, что победил первый вариант.

— Это правда? — вдруг спросил он у меня, глядя мне в глаза с отеческой прямоотой.

— Нет, — сказал я, подстраиваясь под сыновнюю откровенность.

— Тогда почему он пишет, как будто сам здесь работал?

В самом деле, этот идиот написал свое исследование как бы от лица молодого сотрудника редакции, искренне стремящегося понять смысл козлотуризации.

Этим введением рационального начала поиска истины он, безусловно, добился более выпуклой наглядности бессмысленности всей кампании по козлотуру, но тем самым подставил меня под удар, потому что в то время я как раз и был самым молодым работником редакции.

Эту тонкость я попытался объяснить Автандилу Автандиловичу, то есть, почему именно он ввел в свое исследование молодого сотрудника редакции, но, как всегда в таких случаях, слишком подробное алиби порождает новые подозрения.

— Знаешь что, ты мне не морочь... — сказал Автандил Автандилович, мрачно выслушав меня.

— Знаю, — сказал я и замолк.

— Откуда он мог узнать про наши редакционные дела? — спросил он и, слегка покосившись на вентилятор, добавил: — Про некоторые...

— Он же здесь был, — сказал я, — даже к вам заходил.

В летнее время у нас отдыхает довольно много именитых людей из Москвы, которые нередко заходят в редакцию, так что запомнить тогда еще мало известного социолога Автандил Автандилович явно не мог. На это я и надеялся.

— Такой маленький, рыжий? — спросил он, возвращая лицу брезгливое выражение.

— Да, — сказал я, хотя он был не такой уж маленький и совсем не рыжий.

— Хорошо, — сказал Автандил Автандилович, немного подумав. — Чем докажешь, что не ты ему все рассказал, даже если не ты писал?

— А разве ему недостаточно было пролистать нашу подшивку? — спросил я.

— А что такого, — сказал Автандил Автандилович, — подумаешь, два-три материала.

Ничего себе два-три! Но я не стал затрагивать эту болезненную тему. В это мгновение мне в голову пришел дерзкий, но довольно точный аргумент, и я постарался его скорее выложить, пока меня не подточила рефлексия осторожности.

— Если бы я собирался вредить своей газете, — сказал я, — то я, знаете, о чем бы ему рассказал?

— А что? — тревожно оживился Автандил Автандилович.

— Я бы, например, рассказал ему, — продолжал я внятным голосом, — как проходила дискуссия с северокавказскими коллегами и как потом все мы участвовали в открытии ресторана «Водопой Козлотура», ныне переименованного...

— Знаю, — поспешно перебил меня Автандил Автандилович и внимательно заглянул мне в глаза с целью узнать, помню ли я, как проходила дискуссия, и, почувствовав, что помню, добавил: — За дискуссию целиком и полностью отвечал Платон Самсонович, а ресторан...

Тут он запнулся и опять посмотрел мне в глаза, стараясь определить, помню ли я ресторан, и, убедившись, что я и ресторан хорошо помню, добавил:

— А что ресторан?.. Скорпионы... Стихийное бедствие...

— Конечно, — сказал я примирительно, — но если бы он узнал обо всем этом, он бы, сами понимаете, как разукрасил.

— Тоже верно, — согласился Автандил Автандилович, и по его глазам пробежала тень воспоминаний о том незабвенном дне. — Ладно. Иди, — сказал Автандил Автандилович и, потянувшись рукой к кнопке вентилятора, вдруг остановил руку и застыл. Я вышел из кабинета и только в предбан-

нике у секретарши заметил, что так и протопал через рассыпанный цемент.

Картины того дня разрозненными клочьями, кружась, мелькали и падали перед моими глазами, пока я шел к себе в кабинет. Некоторые из них, словно сохранив свой кусок шума, взвизгнув, гасли до того, как я успевал понять, что они означают.

Безумие, как их сложить?!

* * *

Дискуссия на тему «Козлотур вчера, сегодня, завтра» была посвящена, как это следует из ее названия, сегодняшним достижениям и завтрашним путям козлотуризации сельского хозяйства. На дискуссию были приглашены в первую очередь северокавказские коллеги по турокозу, а также работники сельского хозяйства нашего края, уже связавшие свою судьбу с козлотуром, и те, кто был близок к тому, чтобы это сделать, если козлотуризм будет объявлен генеральным направлением в животноводстве Кавказа и Закавказья.

Следует сказать, что в нашей республике все еще оставались упорствующие противники козлотуризации, продолжавшие сомневаться в возможностях нового животного.

Генеральный план Платона Самсоновича, заведующего моего отдела, заключался в том, чтобы:

а) окончательно разгромить разрозненные ряды собственных малOVERов;

б) на основании успехов козлотуризации нашего края окончательно утвердить общесоюзное название нового животного — козлотур — и отбросить северокавказское название — турокоз, — как не оправданное научными показателями проявление узколового, местного патриотизма;

в) утвердить наш край как базу всесоюзной козлотуризации в будущем и на этом основании получить уже в настоящем ожидаемые субсидии министерства сельского хозяйства.

Кстати, ответственный представитель министерства сельского хозяйства прибыл за два дня до дискуссии и уже был ознакомлен с двумя-тремя самыми живописными уголками Абхазии. Кроме наших общеизвестных успехов по козлотуризации в таких вопросах, как организация научного центра, немалую роль играет красота, живописность местности, где располагается научный центр, а также мягкое, не переходящее в гастрономический садизм гостеприимство аборигенов. Все это, разумеется, есть и на Северном Кавказе, но, чтобы сравняться с нами, им бы пришлось искусственно создавать Черное море да еще поддерживать в нем приятную для столичных работников температуру. Поэтому мы еще до дискуссии имели самые высокие шансы на субсидию.

Сама дискуссия была приурочена к открытию нового приморского ресторана, живописно вмонтированного в развалины старой крепости. Дискуссия должна была закончиться банкетом в новом ресторане, куда были приглашены некоторые ее участники, а именно, передовики сельского хозяйства

для встречи с передовиками производства, слегка прослоенными представителями местной интеллигенции.

Не знаю, как обстояло дело с другими представителями интеллигенции, но с нас, работников редакции, собрали по пятнадцать рублей. Некоторые роптали, ссылаясь на то, что не могут по домашним обстоятельствам присутствовать на банкете, но им объявил лично Автандил Автандилович, что присутствовать на банкете необязательно, обязательно только платить. При этом он напомнил, как несколько лет назад представители нашей редакции ездили на Северный Кавказ и как их там хорошо принимали. Кроме того, Автандил Автандилович указал сумму, уплаченную профсоюзом производственников, которые будут принимать участие в банкете. Сумма оказалась намного крупнее нашей, и это несколько успокоило наш коллектив. Всем пришлось раскошелиться, а уж раскошелившись, все забыли о домашних обстоятельствах и явились на банкет как один.

Я чувствую, что меня так и тянет обойти дискуссию и прямо приступить к банкету, но я все-таки скажу о ней несколько слов.

Дискуссия была назначена на двенадцать часов дня и должна была состояться в клубе работников печати. Нашу небольшую, но сомкнутую группу вывел Платон Самсонович, торжественный, в новом, впрочем дешевеньком, костюме, с толстым галстуком на туго накрахмаленной рубаше. Помнится, он почему-то показался мне неприятно-бугристым, хотя я его, разумеется, не щупал и не собирался щупать.

Уже когда мы вышли на улицу, он нам вдруг объявил, что дискуссия перенесена из клуба печатников в клуб табачников.

— А как же те, которые из районов приезжают? — спросил я. Меня неприятно кольнуло, что он об этом даже мне, литсотруднику своего отдела, сказал в самый последний момент.

— Кого надо — предупредили, — неопределенно ответил он и сделался еще бугристей. Я заподозрил, что этот вероломный тактический ход был задуман как попытка избавиться от некоторых председателей колхозов и зоотехников, все еще настроенных против козлотура.

Когда мы подошли к дверям клуба табачников, меня поразила толпа, стоящая у входа. Причем по виду стоявших заметно было, что они не имеют никакого отношения ни к сельскому хозяйству, ни к дискуссии. Это была знакомая толпа местных полупижонов, которая обычно толпится у касс кинотеатров в дни появления ковбойских фильмов или часами торчит в вестибюле гостиницы, когда приезжает модный джаз или столичная футбольная команда.

Милиционер со списком стоял в дверях вместе с директором клуба, который с ястребиной зоркостью вглядывался в толпу, кое-кого выдергивая из нее своим взглядом, и пропускал в дверь.

— В чем дело, ребята? — спросил я, пока мы пробирались к дверям. Полупижоны хитровато взглянули мне в глаза, неохотно расступаясь.

— С понтом, не знает, что американские сигареты будут давать, — услышал я за спиной ироническое замечание.

— Уже дают, — горестно добавил другой.

Не успел я удивиться этому сообщению, как, проходя через вестибюль, увидел людей, вбегающих в зал с красными блоками американских сигарет «Уинстон». Я оглянулся на буфет и увидел небольшую толпу, вяло отходящую от буфетной стойки. Видно, сигареты только что кончились.

Зал был полон. Многие держали в руке или прижимали к груди красные блоки, и это выглядело празднично и спортивно, словно здесь собрались представители двух команд и судьям при помощи этих красных знаков легче будет отличать одну команду от другой.

По обе стороны зала стояло несколько стендов со схемами и диаграммами, на некоторых из них можно было узнать весьма условное изображение козлотура. Так, на одной диаграмме изображалось сравнительное движение обыкновенной пищи внутри одного козлотура и рационального рациона внутри другого. Движение обыкновенной пищи было изображено в виде черного пунктира, видимо, без особой пользы проходящего через козлотура, потому что движение это прослеживалось до самого последнего акта выброса остатков пищи, где пунктир, довольно остроумно переходя в многоточие, сыпался из-под хвоста козлотура.

Движение рационального рациона изображалось в виде красной линии, разветвляющейся внутри козлотура, охватывающей и мягко огибающей его желудок, как теплое течение Гольфстрим огибает Скандинавский полуостров на школьных картах.

Размеры обоих козлотуров не оставляли сомнения в том, какой вид питания ему полезней. Тот, что пользовался рационом, слегка напоминал мамонта, может быть, отчасти за счет редких длинных ключев шерсти, свисающих с его боков.

В глубине пустой сцены висела картина местного художника «Козлотур на сванской башне». Я знал, что эту картину уже купил ресторан, где сегодня должен был проходить банкет. Я кивнул Платону Самсоновичу в том смысле, мол, что она здесь делает, потому что он-то как раз и помогал художнику продать ее ресторану.

— После дискуссии отвезут, — ответил он рассеянно и стал оглядывать зал.

Вдруг справа из-за сдвинутой кулисы появился Автандил Автандилович, встреченный почему-то шумными рукоплесканиями. Нисколько этим не смущаясь, он подошел к столу, стоявшему на сцене, и остановился у середины его напротив графина с водой.

Успокоив приподнятой рукой и без того смолкающую волну приветствий, он объявил собрание открытым и предложил почетный президиум в составе представителя министерства сельского хозяйства (он назвал его фамилию), руководителя северокавказской делегации, представителя обкома, нескольких председателей колхозов, Платона Самсоновича. Каждая фамилия, называемая им, сопровождалась аплодисментами зала, причем звук аплодисментов был не совсем обычным, потому что некоторые в знак одобрения похлопывали по поверхности сигаретного блока.

Как только смолкли аплодисменты в адрес последнего из названных товарищей, вдруг вскочил редактор кенгурийской районной газеты и закричал голосом человека, который, рискуя жизнью, режет правду в лицо:

— Предлагаю включить в президиум редактора нашей ведущей газеты Автандила Автандиловича!

Гром аплодисментов и широко распахнутые руки Автандила Автандиловича: я весь в вашей власти, делайте со мной что хотите.

Как только смолкли аплодисменты, он попросил названных товарищей пройти в президиум. Среди них был никем не названный дядя Сандро. Правда, он стоял рядом с работником обкома Абесаломоном Нартовичем, который в те времена коллекционировал бывалых людей Абхазии. И всю дискуссию дядя Сандро просидел в президиуме рядом с ним, глядя вниз, иногда на меня, сидевшего во втором ряду, наглыми, неузнающими глазами.

Перед началом дискуссии Автандил Автандилович сказал несколько напутственных слов в том смысле, чтобы все высказывали свои соображения, свои критические замечания, а также любые претензии к нам, работникам печати, по поводу пропаганды этого интересного начинания, к которому, теперь уже можно смело это сказать (кивок в сторону представителя министерства), присматривается вся страна. Когда он говорил о том, чтобы предъявить претензии, Абесаломон Нартович вальяжно закивал головой, дескать, не бойтесь, критикуйте, это он не от себя говорит, а согласовав со мной.

Зачитав телеграмму от министра сельского хозяйства, приветствовавшего это интересное начинание и участников дискуссии, Автандил Автандилович предоставил слово основному докладчику — Платону Самсоновичу.

Я не буду пересказывать доклад Платона Самсоновича, ибо все его соображения в том или ином виде опирались на материалы, которые печатались у нас в газете. То же самое я могу сказать и про его северокавказского оппонента, дважды обреченного, — и тем, что дискуссия проходила на нашей территории, и тем, что омываемость этой территории теплым морем обеспечивала ей быть центром козлотуризма.

Дискуссия проходила настолько удачно, что полнота ее удачи к концу стала даже как бы мешать. Видно, Платон Самсонович с этой сменой клубов перестарался. В зале не оказалось ни одного человека, который захотел бы выступить с критикой нового животного. Элементы принципиальной критики пытались найти у некоторых ораторов, критикующих, скажем, рацион кормления козлотуров, или их недостаточную мясистость, или вялый рост шерсти.

— Так, по-вашему, не стоит иметь с ним дело? — спрашивал Автандил Автандилович, чтобы обострить слишком уж гладкую обстановку дискуссии.

Но очередной зоотехник или председатель колхоза не шел на эту ловушку и неизменно говорил, что козлотур сам по себе хорошо, но в частности недостаточно быстро наращивает мясо или шерсть.

Единственное незапланированное завихрение возникло во время выступления коллеги из-за хребта, критиковавшего наше название козлотура и наш рацион кормления. Платон Самсонович слушал его с язвительной улыбочкой, то и дело записывая что-то в блокнот.

Во время его выступления несколько раз его перебивали с места наши местные патриоты, и он довольно толково отбил пару реплик, когда вдруг из заднего ряда раздался какой-то шум. Кто-то что-то крикнул, но голос его не дошел до президиума, и оратор на трибуне замолк, взглянув на председателя собрания Автандила Автандиловича. Автандил Автандилович грозно посмотрел в конец зала с тем, чтобы там замолкли и дали выслушать ту реплику, которая возникла в этом последнем ряду. И в самом деле, через несколько мгновений шум замолк, и оттуда раздался громкий, но совершенно неожиданный выкрик:

— Мы против абстрактного искусства! Мы, простые рабочие, его не понимаем!

— Не понимаем и не принимаем! — подхватил звонкий голос человека, явно сидевшего рядом или очень близко от первого.

Тут в зале раздался смех, а Автандил Автандилович, пожав плечами, предложил оратору продолжать. Оратор продолжил, шум постепенно затих, а Автандил Автандилович грозно уставился в последний ряд. Через несколько минут взгляд его потух, и он повернулся в сторону оратора. Как только он повернулся, в зале раздался шум, и из шума еще более отчетливо раздался голос:

— А мы против абстрактного искусства! Мы, простые рабочие, его не понимаем!

— Не понимаем и не принимаем! — снова подхватил все тот же звонкий голос, как бы радуясь и отчасти гордясь надежностью своего непонимания.

Шум и смех в зале приняли несколько скандальный характер. Даже Абесаломон Нартович приподнял голову с выражением доброжелательной строгости по отношению к шуму. Автандил Автандилович почти целую минуту стучал крышкой графина о графин. Наконец зал успокоился.

— Товарищи, — сказал Автандил Автандилович, обращаясь к заднему ряду, — мы с вами вполне согласны... Но в данный момент здесь происходит дискуссия о путях козлотуризации сельского хозяйства, а не о путях развития нашего искусства.

Для наглядности, говоря о путях развития сельского хозяйства, он указал на картину «Козлотур на сванской башне», осенявшую президиум собрания, как если бы, не доверяя слуху этих ребят, старался воздействовать на них при помощи зрительного образа.

Жест его опять вызвал смех в зале, а из заднего ряда снова раздался какой-то шум. Видно, те, что кричали про искусство, начали пробираться к выходу, что-то ворча остающимся.

Я вскочил вместе со всеми посмотреть, кто они такие, но ничего более определенного, кроме мелькавших в толпе обрачивающихся лиц, не увидел. Бледная тень лица директора клуба тоже мелькнула за ними.

Какой-то человек, видимо, инструктор горкома партии, вскочил на сцену, подбежал к Абесаломону Нартовичу и стал ему что-то шептать на ухо. Нашептав, исчез. Абесаломон Нартович вдруг стал пальцем прочищать ухо, в которое ему шептал этот человек. И никак нельзя было понять, то ли этот шепот засорил ему ухо, то ли шепот этот показал ему, что ухо засорено.

Автандил Автандилович внимательно следил за этой процедурой, словно стараясь угадать, какая из двух причин заставила Абесаломона Нартовича взяться за ухо. Неизвестно, догадался бы он или нет, потому что, прочистив ухо, тот сам склонился к Автандилу Автандиловичу, который уже наклонился к нему, успев почтительным кивком показать, что заранее согласен со всем, что Абесаломон Нартович ему скажет. Он слушал Абесаломона Нартовича, точным наклоном поднеся свое ухо в сферу улавливания шепота, однако ни на миг не злоупотребляя этой сферой и тем более не доводя свой встречный наклон до выражения хамской интимности.

Еще раз кивнув в знак согласия, он отодвинул голову и, агрессивно склонившись к Платону Самсоновичу, стал ему что-то говорить, кивая в глубину зала. По-видимому, речь шла об этих противниках абстрактного искусства. Платон Самсонович принялся что-то объяснять ему и даже показывал что-то руками, словно стараясь случившееся объяснить за счет архитектуры клуба табачников.

Между прочим, я сначала решил, что странная реакция этих подвыпивших, как мне показалось, ребят вызвана отчас-

ти картиной «Козлотур на сванской башне», хотя в ней, разумеется, ничего абстрактного не было, а отчасти — многочисленными схемами и диаграммами, висевшими на стенах.

Но потом я узнал, что, оказывается, в этом клубе в это же время должна была проходить дискуссия против абстрактного искусства, и ребята эти, явившиеся на нее, не знали, что усилиями Платона Самсоновича она перенесена в клуб печатников.

После окончания дискуссии устроители ее собрались в кучку и, медленно двигаясь в сторону берега, обсуждали ее приятные подробности. Рядом с Абесаломоном Нартовичем, чуть-чуть приотстав, как бы выражая этим скромную почтительность к руководству, шел дядя Сандро. На правах близкого знакомого я подошел к нему, одновременно прислушиваясь к тому, о чем говорили устроители дискуссии.

— Вы что здесь делаете, дядя Сандро? — спросил я, здороваясь с ним.

— Полюбился я ему, вот и гуляем, — сказал дядя Сандро, хитровато кивая на Абесаломона Нартовича.

— Одного умного врага козлотура не хватало, — говорил Автандил Автандилович, смачно досадуя и как-то аппетитно причмокивая языком, словно речь шла о прекрасном, только что покинутом пиршественном столе, где было все, чего пожелает душа, но по какому-то недоразумению забыли поставить на стол соленые огурчики.

— У козлотура не может быть умного врага, — сухо ответил ему Платон Самсонович. Все рассмеялись.

— Не говори! — еще более смачно досадуя, причмокивая языком, продолжал Автандил Автандилович. — Одного хорошего оппонента — и, можно сказать, такой дискуссии Москва позавидует.

Все посмотрели на товарища из министерства. Он в знак согласия несколько раз кивнул головой, не то чтобы признал зависть Москвы к нашей дискуссии, а согласился, что все было пристойно. Вдруг он неприятно блеснул очками в мою сторону, и я, попрощавшись с дядей Сандро, отретировался.

Настроение почему-то у меня испортилось. Почему-то был неприятен этот дух отдаленной враждебности, блеснувшей в мою сторону в этом взгляде из-под очков.

Есть тип людей, которые с первого взгляда начинают меня ненавидеть, иногда просто бешено.

Но самое ужасное, что у меня обычно нет чутья на это, и я иногда слишком поздно начинаю понимать истинное отношение того или иного человека ко мне. Открывать это бывает особенно неприятно во время застолья, потому что в таких случаях всегда уже сказано что-то лишнее, да и сама обстановка дружеского застолья неестественна рядом с ненавистью и злобой.

Между прочим, однажды на дне рождения одного нашего редакционного работника, когда все были порядочно навеселе, и главное, я хорошо это запомнил, после какой-то шутки кого-то из сидящих за столом, когда все долго и громко смеялись, и я вместе со всеми, и Автандил Автандилович вместе со всеми, и когда все отсмеялись, и разговор на мгновение

растекся мелкими ручейками, Автандил Автандилович вдруг наклонился ко мне и сказал мне на ухо:

— Почему у тебя всегда такой наглый взгляд?

— Какой есть, — ответил я, невольно пожав плечами, но внутренне похолодев.

Тут только я понял, как он меня ненавидит, а до этого я и понятия об этом не имел. И самое забавное, что я узнал об этой ненависти, когда носитель ее был настроен очень благодушно. Именно в минуту беспредельного благодушия он захотел узнать наконец причину своей неосознанной, как я думаю, ненависти.

Кстати, я абсолютно уверен, что в моем взгляде выражение наглости если и бывает, то не чаще, чем у любого человека. Раздражение ищет внешней зацепки, и вот он уверил себя, что у меня наглый взгляд.

У меня, между прочим, до этого никогда не было с редактором личных столкновений, наши весьма слабо выясненные разногласия по козлотуру открылись гораздо позже. А до этого все было гладко, если не считать одного, внешне микроскопического, столкновения, о котором я и вспомнил именно в ту ночь, возвращаясь домой и думая о том, за что меня ненавидит редактор.

Однажды он вызвал меня к себе в кабинет и о чем-то доброжелательно мне говорил, а я слушал его с некоторой ненужной, преувеличенной теплотой, как бы с благодарностью, что вот я, довольно молодой сотрудник, а редактор говорит со мной как с товарищем. Думаю, что эта теплота каким-то обра-

зом все-таки была написана на моем лице (вот уж, думаю, когда мой взгляд никак нельзя было назвать наглым), и подлость, впрочем, небольшая, заключалась в том, что я эту теплоту действительно испытывал.

— Кстати, — вдруг вспомнил он, — пойдешь на перерыв, купи мне пачку «Казбека»...

Он полез было в карман за деньгами, но я остановил его руку, движением руки показав, что он заплатит потом, когда я принесу. Поразительно, каким иногда бываешь сообразительным. Я думаю, тут какой-то подкорковый ум срабатывает. Во всяком случае, у меня.

Я мгновенно ощутил, именно ощутил, а не осознал, что папиросы редактору мне никак нельзя покупать, что это не простая просьба, а именно сознательный акт унижения. И в то же время ощутил, что прямо отказаться тоже нельзя, не в моей натуре такой гордый бунтарский жест, и отсюда движение руки, которым я остановил руку редактора, полезшего за деньгами.

Ведь если бы я взял деньги редактора, мне бы пришлось их возвращать, ведь покупать папиросы я ему не собирался, а возвращая деньги, никак нельзя было не объясниться. Конечно, будь я натурой более желчной и самолюбивой, я мог бы взять деньги, а потом принести ему и с невинным видом сказать, что, мол, обегал весь город и нигде не достал папирос, то есть за свое унижение отплатить изощренной издевкой.

Нет, я просто не взял деньги и сильно опоздал с перерыва, предупредив Платона Самсоновича, по какому редакционному делу мне надо отлучиться из редакции. Разумеется, я по-

нимал, что редактор, увидев, что меня нет, не станет терпеть и мужественно дожидаться моего прихода, а просто пошлет за папиросами свою секретаршу или шофера. Ну, если случайно столкнемся в редакции, думал я, и если уж он захочет до конца все выяснить, я приготовился ответить, что просто забыл купить ему папиросы.

Тогда все прошло благополучно, но я все-таки был начеку, и не напрасно. Месяца через два, опять вдруг очутившись у нас в кабинете (я был один), он присел к моему столу и стал рассказывать про свою первую редакционную командировку, и, главное, я опять ощутил эти предательские волны тепла, которые проходили сквозь меня. Но теперь я эти волны контролировал.

— Слушай, что-то сегодня очень жарко, — сказал он вдруг, с такой дружеской обаятельной улыбкой, — давай боржомчик поьем, а?

И опять рука в карман. Я опять остановил его руку, и он легкой походкой вышел из кабинета, крикнув через плечо:

— Прямо ко мне тащи!

Я заметался по кабинету, чувствуя, что попался, то есть никак не могу купить ему боржом и никак не могу ему сказать об этом прямо. Теперь-то я был абсолютно уверен, что и сейчас он имеет ту же цель — унижить меня.

Я вышел из редакции, подошел к ларьку напротив, спросил боржом, смутно надеясь, что его не окажется. Но боржом был, и продавец вынул потную бутылку и жестом показал: мол, открывать или будешь брат?

— Откройте, — сказал я почему-то.

Он открыл, я выпил ледяной боржом и возвратился к себе в кабинет. Минут через десять вбежала секретарша и, как всегда испуганно, спросила:

— Автандил Автандилович ждет... Где боржом?

— Забыл, — сказал я тоном дебила.

— Забыл? — повторила она с ужасом.

— Забыл, — повторил я и вдобавок кивнул головой.

— Я, конечно, ему этого не могу сказать, но... — Она развела руками и, поджав губы, вышла.

Не знаю, как там и что она ему объяснила, но больше между нами никаких дружеских бесед не происходило. Кстати, все мои сложности с Автандилом Автандиловичем начались с этой несчастной секретарши. Я заметил, что этот ее страх лично им культивируется и поддерживается. Казалось бы, для чего ему унижать меня, для чего ему этот постоянный страх секретарши, которая и без страха ему преданно служит, да и он без нее не может обойтись и перетащил ее со своей предыдущей работы?

Просто я думаю, что людям, не по праву, не по способностям занимающим положение начальника, все это надо не только для своего внутреннего самоутверждения, но и для утверждения реальности происходящей вокруг жизни.

Человек, который годами руководит людьми, пишущими статьи, одни из этих статей бракуя, другие восхваляя, при этом сам не умея написать ни те статьи, которые он бракует, ни даже те, которые он восхваляет, и при этом он знает, что

все знают о том, что он этого не умеет, — человек этот не может время от времени не усомниться в реальности происходящего вокруг.

Да не разыгрывают ли меня все эти люди, делая вид, что слушают меня, подчиняются мне, да не происходит ли вокруг меня грандиозная насмешка? Ах, так! Сейчас вызовем сотрудника X, кажется, у него какое-то ехидство скрывается в глазах.

Нажимается кнопка. Вбегает секретарша и съеживается под холодеющим взглядом Автандила Автандиловича. Нет, не смеются надо мной, думает он, немного успокаиваясь, так страх невозможно сыграть.

— Вызовите ко мне сотрудника X, — говорит он и достает его статью из пачки материалов. Через пятнадцать минут сотрудник этот уходит от Автандила Автандиловича со статьей, которая вчера была принята, а сегодня рекомендована к перепделке.

Ничего, пусть поработает, думает Автандил Автандилович, окончательно успокаиваясь. Вот что, кажется мне, должно происходить у него в голове, а что происходит на самом деле, и происходит ли вообще что-нибудь, мы никогда не узнаем, потому что он нам об этом никогда не расскажет.

...Одним словом, я возвращался домой в неприятном настроении от этого враждебно свернувшегося в мою сторону взгляда столичного деятеля.

В городе стояла подоблачная влажная духота. На главной улице листья камфаровых деревьев были потномазлянисты

и неподвижны, как воздух. И только предчувствие вечерней выпивки обдувало душу (так дуют на ожог) свежим ветерком забвенья...

Боль, боль, всюду боль!

* * *

Когда мы пришли в ресторан, столы были сдвинуты и уставлены холодными закусками и разнообразными бутылками. На белоснежных скатертях бросались в глаза:

Смородинная прозрачность красной икры.
Скрежещущая свежесть зелени...
Черная икра лоснилась в большой плоской тарелке,
как сексуальная смазка тяжелой индустрии.
Так и представлялось, что едят ее,
обсасывая и выплевывая подшипники,
как косточки маслин.
Кротость поз молочных поросят напоминала
детоубийство вообще
и убийство царевичей в особенности.
Аптечная желтизна коньячных бутылок,
заросли которых, густея в голове стола,
переходили в смешанный винно-водочно-шампанский лес
с совершенно одиночим экземпляром коньячной бутылки
на противоположном конце стола,
как бы в знак того,

что это породистое красное дерево
в принципе может расти и там, на засушливых,
удаленных от начальства землях.
Плодородие столов несколько менее заметно,
но тоже ослабевало в ту сторону.

В воздухе стоял роскошный венецианский запах гниющего моря.

Возле накрытых столов, с выражением рекламного благодушия, стоял огромный толстый директор ресторана в окружении небольшой группы официантов, которых почему-то решили одеть в национальные костюмы.

Они стояли в легких черкесках с засученными рукавами, с выражением свирепой решительности на лице, что придавало им вид душегубов или в лучшем случае телохранителей огромного тела директора ресторана.

Позже, когда они начали обслуживать столы, было как-то непривычно и даже отчасти боязно принимать от них, скажем, шампур с шашлыком или, не дай Бог, поручить им открыть бутылку шампанского. То ли не привыкли к своим костюмам, то ли от предгрозовой жары и всей этой праздничной суевы, оглушившей их, они на каждую просьбу страшно тарашились, раздували ноздри, старательно дышали в ухо и ничего не понимали.

У одного из них, что стоял поближе, я попросил штопор и тут же пожалел об этом. Увидев, что я обратил на него внимание, он хищно наклонился ко мне и крикнул мне в ухо:

— Что хотите просите! Ви — гость! Гость!

Оглушив меня на одно ухо и, по-видимому, считая, что выполнил свою задачу, он отпрянул от меня. Но тут я, разозлившись за пострадавшее ухо, снова обернулся и снова попросил штопор, помогая движением рук осознать назначение предмета, который я у него прошу, при этом держа голову в таком положении, чтобы затруднить ему доступ к моему уху.

Услышав мой клич и не обращая внимания на мои руки, он быстро наклонился надо мной, не поленился добраться до моего уха и, мгновенно одолев мою жалкую попытку отстраниться, снова прокричал:

— Пробочник! Это называется — пробочник! Сейчас!

С этими словами он выпрямился, с болезненным вниманием вглядываясь, как мне показалось, в клубы табачного дыма, поднимающегося над столом, словно собираясь, как фокусник, выхватить оттуда штопор. Но тут он неожиданно наклонился над столом и, выхватив открытую бутылку, стоявшую невдалеке, поставил ее рядом со мной, а мою закрытую бутылку поставил на место этой. Таким образом решив или, во всяком случае, отдалив от меня проблему штопора, он окончательно отпрянул от меня и зычно бросил над столами: — Дорогие гости, кушайте, пейте!

Я забыл сказать, что музыканты были расположены на огромной глыбине, обломке стены, на вершине которой сидел ударник, а пониже располагались остальные участники оркестра, занимавшие крошечные скальные выступы и глядевшие на нас со своего опасного возвышения с тем ботаническим безразличием к риску, с каким смотрит на нас козел, вдруг от-

крывающийся нам с горной дороги (и мы ему открываемся) на головокружительном склоне, где он, добирая в рот зеленый стебелек, смотрит на нас ровно столько времени, сколько уходит на добирание в рот этого стебелька.

Кстати, прямо над глубиной с музыкантами уже висела картина «Козлотур на сванской башне». Почему-то раздражало, что она опять обогнала нас. Зарождалось предчувствие того, что она и впредь всегда будет обгонять меня и выходить навстречу с некоторого возвышения.

У подножья глубины стояло фортепьяно, слава Богу, не хватило фантазии, а может быть, и подъемных средств, взгромоздить его куда-нибудь наверх. Позже, когда пианист подыгрывал музыкантам, и особенно певцу, который стоял на середине глубины, сверкая своими концертными туфлями, он, пианист, высоко задирает голову, и тогда казалось, что он кивает козлотуру: дескать, пошли? Пошли!

Среди музыкантов, естественно, выделялся армянский репертиант с Кипра, наш знаменитый певец по имени Арменак. Сейчас на нем был роскошный бледно-зеленый костюм, в котором он, и без того высокий и худой, выглядел особенно длинным. Его вытянутое тело увенчивалось маленькой смугленькой головкой с глубокими глазными впадинами, откуда высверкивали зрачки, источавшие сухой жар неопасного вокального безумия.

Кстати, он очень гордился этим костюмом, который прислал ему из Франции дядюшка Варган. Нашими ребятами было замечено, что он всегда раздражается, если у него спрашивают, где он купил или шил этот костюм. Он считал, что

достаточно бросить беглый взгляд на его костюм, чтобы сразу было видно, что он ОТТУДА. Заметив за ним эту слабость, ребята стали подговаривать своих знакомых, чтобы они у него спрашивали, где он купил свой костюм, и, если за вечер это повторялось три-четыре раза, он приходил в бешенство.

Вообще надо сказать, что он отличался наглостью бродяги, долгое время бесплатно владевшего великолепными средиземноморскими пейзажами, и необычайной прозорливостью человека, столь же долго, а может, еще дольше, голодавшего.

Круглый год он жил в гостинице и был известен тем, что, моясь, оклеивал газетами стены и пол ванной комнаты из какой-то патологической брезгливости. При всем этом надо сказать, что он имел очень хороший голос и слух и с необычайной быстротой, свойственной истинным авантюристам, в том числе и средиземноморским, овладел русским языком. Правда, говорил он по-русски с греческим и турецким акцентом одновременно, потому что вырос на Кипре. Сам приезд свой сюда он, ссылаясь на вечную вражду греческих и турецких киприотов, объяснял так:

— Они друг друга убивают, а я при чём? Я армянин.

Абесаломон Нартович уселся во главу стола, посадив направо от себя московского гостя, по левую руку — дядю Сандро. Потом, после небольшой заминки, рядом с товарищем из Москвы был посажен Автандил Автандилович, а рядом с дядей Сандро представитель северокавказских тукокозов так, что тот очутился как раз напротив Платона Самсоновича, — таким образом, и в графике застолья как бы повторилась их научная непримиримость.

После этого Абесаломон Нартович махнул рукой на остальных, более мелких руководящих работников, дескать, теперь сами разберитесь и рассядьтесь в порядке угасания ответственности ваших должностей. Дюжина сравнительно мелких начальников, то есть представители предприятий, представлявшие своих передовиков производства, а также работники городского профсоюза, глядя друг на друга, туговато и неохотно осознавая степень угасания ответственности своих должностей, постепенно разобрались и расселись.

Кстати, я забыл сказать, что рядом с Платоном Самосоновичем сидел художник, написавший «Козлотура на сванской башне», а рядом с художником сидел Вахтанг Бочуа, ныне директор художественного салона, переброшенный на эту работу для умиротворения склочного племени художников.

Молодые передовики производства заняли противоположный конец стола...

О широкоглазая дуреха, алмазная царапина моей души, одарившая меня когда-то своей нежной дружбой, как ты здесь оказалась?

(Потом появился этот парень, который еще раньше ее знал и любил ее раньше, и он в знак протеста на глазах у ее матери выпил флакон йода, и его отвезли в больницу, откуда он через три дня возвратился победителем.

Я вынужден был retirоваться, потому что не знал, что он выпьет в следующий раз, и потому что знал, что никогда не смогу угрожать кому-либо своим трупом.)

Она радостно кивнула мне, и спутник ее мрачно поздоровался со мной, словно угрожая в случае необходимости удвоить или утроить порцию йода.

(Впоследствии выяснилось, вернее, я пришел к такому выводу, что поступок его был алкогольной истерикой, и, оказавшись у ее матери под рукой стакан водки, он бы охотно обменял его на склянку с йодом... Впрочем, все это теперь не имело никакого значения.)

Я думал, тамадой изберут дядю Сандро, но все стали предлагать Автандила Автандиловича, и он, конечно, согласился. Я поймал взглядом взгляд дяди Сандро и по его невозмутимому взгляду понял, что он хочет сказать. А хотел он мне сказать, что он, как настоящий профессионал, привыкший к настоящим мастерам застолья, и не хотел бы сейчас руководить этим разношерстным столом расхлябанных любителей. Он пристально вглядывался в меня, пока не убедился, что именно эту мысль я правильно прочел в его глазах.

Вдруг Абесаломон Нартович поманил меня к себе, и я встал, чувствуя, что добром это не кончится, что мне надо быть поосторожней с товарищем из министерства, который, пока я к ним приближался, уже блестел на меня своими враждебными очками. А между тем простодушный Абесаломон Нартович что-то ему шептал про меня, видно, что-то хорошее, потому что враждебность роговых очков явно усиливалась.

Официант, стоявший за спиной Абесаломона Нартовича, принес стул, и меня усадили рядом с товарищем из министерства, и я почувствовал, как он с ненавистью сжался, что-

бы не притрагиваться ко мне, и я сам сжался, чтобы как-нибудь не прикоснуться к нему.

Оказывается, Абесаломон Нартович и товарищ когда-то вместе учились в институте. Это, как я заметил сейчас, придавало их отношениям оттенок осторожного панибратства. Не отцепляясь от привязи своих сегодняшних должностей и не слишком натягивая эту привязь, они время от времени подходили к зоне студенческих воспоминаний, вынюхивали оттуда какое-нибудь усохшее событие и, выразив вялые восторги по поводу его благоухания, возвращались в обозримую повседневность.

Оркестр заиграл песню «Жил горный тур в горах Кавказа...», и наш знаменитый певец, стоя на скальном уступе, пропел ее в ритме танго. Он ее пел во всех танцевальных ритмах.

— Надо поддержать эту песню, — сказал товарищ из министерства, слегка поклохатывая от амбиции, — хорошо схвачена наступательная сущность...

— Так поддерживаем, — согласился Абесаломон Нартович, следя за танцующими, — всюду поют... Даже по «Маяку» передавали...

— А вы что скажете? — не разворачиваясь, а только повернув голову на высокой толстой шее, уставился он на меня очками.

— Я — ничего, — сказал я, стараясь изо всех сил быть лояльным к песне о козлотуре. Но, так как я не мог быть к ней лояльным, а внутренний цензор сосредоточился на формальном значении моего ответа, мое истинное отношение затаилось в интонации кроткого издевательства, которое я не сразу осознал, а осознав, уже не мог перестроиться.

— Должно же у вас быть какое-то свое мнение, — сказал он, теперь уже клокоча от сдерживаемой ярости. И тут вдруг я понял, что он уже где-то налился. Он плохо контролировал себя: ярость выплеснулась раньше, чем я успел ему подбросить повод.

— Было мнение, — сказал я тоном человека, который без настоящего приказа никогда и не стал бы высказываться перед таким значительным лицом.

— Так давайте же, — поддержал он меня благожелательно с надеждой, что я наконец подброшу повод душащей его ярости, — или вы согласны, или вы...

— Забыл, — сказал я сокрушенно.

— Что забыл?! — спросил он, багровея и теперь уже поворачиваясь ко мне всем туловищем.

— Мнение, — как можно проще сказал я. Я почувствовал удар ногой под столом. Абесаломон Нартович напоминал мне о своем нежелании рисковать субсидиями.

— Оставь, он, видать, из засранцев, — по-абхазски сказал мне дядя Сандро, более откровенно передавая желание Абесаломона Нартовича.

Несколько секунд мы с представителем министерства смотрели друг другу в глаза.

Сколько можно отступать и уступать, мелькнуло в голове, он прекрасно знает, что может думать нормальный человек обо всех этих кампаниях и песнях, воспевающих эти кампании. Так что же ему надо узнать? Выяснить степень страха перед ним, получить истинное эстетическое наслаждение

этим страхом и заручиться этим же страхом для проведения будущих кампаний — вот что ему нужно...

Несколько секунд мы смотрели друг на друга, и внезапно он опустил глаза. И не только опустил. Одновременно с этим, как-то угрюмо надувшись, он сделал самое неожиданное, но и самое точное, как я потом понял. Он тихо протянул руку и убрал с моей рубашки какую-то соринку, может быть, символическую. Это был великолепный семейственный жест, жест признания, кровного родства, протягивающего руку над любыми спорами, тайно извиняющийся жест. Жест, как бы говорящий: конечно, в споре я мог погорячиться, но ты видишь, когда дело доходит до реальной пылинки (волосинки, соринки) на твоей рубашке, тут я запросто протягиваю руку и снимаю, сдуваю или стряхиваю эту зловредную пылинку.

Я всегда подозревал, что тут действует тот самый закон: кто кого оттянет. Мои подозрения полностью оправдались. Конечно, это было рискованно. Но, по-видимому, он решил, что у меня есть какая-то спина, что недаром ко мне Абесаломон Нартович хорошо относится.

На самом деле, симпатии Абесаломона Нартовича ко мне объяснялись тем, что я один знал его тайное призвание и ценил именно это в нем. Он, в сущности, балагур, настоящий народный сказитель, и, чуть бывало разойдется за столом, мгновенно забывает тот неписанный устав, по которому он во внеслужебных разговорах должен жевать все те же опилки.

Он хорошо рассказывал всякие истории из народной жизни, и этот дар его во время любого застолья прорывался бе-

зотчетно, как и всякий дар, несмотря на то, что в местных идеологических кругах эту его привычку недолюбливали.

Бывало, расскажет историю про какого-нибудь головореза-абрека, со всеми смачными подробностями его быта, а потом, вспомнив про свою должность, добавит:

— Сейчас, конечно, мы на это смотрим по-другому, но для тех времен он был героем...

Абесаломон Нартович залюбовался танцующими. Представитель из министерства тоже угрюмо следил за ними.

В толпе танцующих выделялся высокий красавец с мясокомбината, который время от времени расставлял свои колонообразные ноги, куда забрасывал одним качком свою партнершу, сопровождая бросок однообразным выкриком: «Между ножек!»

— Хорошо танцуют, — сказал Абесаломон Нартович, с улыбкой оглядывая танцующих и даже, кажется, проследив за судьбой хрупкой девушки, влетавшей в проем между колонообразными ногами партнера и благополучно вылетающей оттуда.

— А что хорошего, — усомнился товарищ из министерства и неожиданно добавил, — американцы придут на готовенькое...

— Ну, ты, Максимыч, — проговорил Абесаломон Нартович, — впадаешь в пессимизм. Просто говоря, чушь порешь...

— А ты, Нартович, чересчур добрый, — ответил Максимыч.

— Пошли ко мне домой, я покажу тебе свою коллекцию коньяку, — сказал Абесаломон Нартович, вставая. — Автандил Автандилович — опытный тамада, он все сделает как надо.

Теперь я догадался, зачем он меня звал сюда. Он хотел, чтобы я с ними пошел к нему домой. И уж там, как минимум, заручив-

шись нейтралитетом дяди Сандро и полной моей поддержкой, он рассказал бы одну из своих великолепных баек. Но теперь, увидев, что мы с товарищем из министерства немного поцапались, он отсекал меня, рискуя остаться без лучшего слушателя. Ну и черт с ним, подумал я, хотя вообще, конечно, свинство.

Абесаломон Нартович вместе с гостем из Москвы и с дядей Сандро покинули стол и потихоньку продвигались к выходу. Директор ресторана шел впереди, расчищая им дорогу между танцующими.

Автандил Автандилович посмотрел на меня, и я понял, что после ухода Абесаломона Нартовича я остался в непозволительной близости от капитанской рубки. Я ушел на свое место, а пространство, где сидел Абесаломон Нартович с друзьями, еще долго не замыкалось, словно дух сидевших здесь продолжал обозначаться Почетным Зиянием.

Вернувшись на свое место, я взял чистый фужер, дотянулся до коньяка, налил его в фужер почти до краев, поставил. Потом я вспомнил, что не пробовал икры (все с той же обиды и горя!), дотянулся до красной, намазал ею ломоть огурца, сбросив с него надгробную льдинку, распределил на крупнозернистой поверхности комочек аджики, приподнял фужер и медленно, чтобы не задохнуться и, не дай Бог там, захлебнуться, выпил. Я понял, что иначе мне будет худо.

Золотой огонь мягко разливался по моему телу. Кончики нервов, истерзанные пыткой всеобщей козлотуризации, отключались почти ощутимо. Я откусил замороженный огурец с икрой.

Постепенно хмелея, я заметил, что уход Абесаломона Нартовича вызвал бешеный приток веселья.

Вино хлынуло в стаканы, и ураганный ливень обрушился на землю, точнее сказать, на море, потому что отсюда видно было только море. Сквозь непроглядную тьму, на мгновение озаряемую молниями, вдруг высвечивались волны с хищно изогнутыми гребешками, приближавшиеся с вкрадчивой быстротой могучего хищника. Некоторые из них, с юношеским пылом не донося свою страсть до берега, обрушивались в море. Струи дождя в свете молний, величаво изгибаясь, падали в море.

— Дорогие гости, кушайте, пейте! — перекрикивая бурю, закричал директор ресторана. Его голос не только призывал к мужеству перед лицом неуловимой стихии, но и указывал способ укрепления этого мужества.

— Шашлыки сюда! — крикнул он в сторону кухни. И почти сразу оттуда выскочили несколько официантов, держа в приподнятых руках по пучку дымящихся мясом шампуров. И были они похожи не то на бандерильеров, нападающих на быка, не то на янычар, под прикрытием бури ворвавшихся в крепость.

— Зулейка-ханум, для тебя-а-а-а... — тянул Арменак, стоя на скальном выступе.

Порывы озонистого ветра порою трепали его голос, как белье на веревке. Иногда слишком сильный порыв ветра, оборвав кусок недослышанной мелодии, уносил его с собой и вышвыривал на берег.

Иногда, наоборот, как бы заталкивал назад в его поющий рот уже спетую часть песни, но Арменак, напружинившись, вы-

шибал ее из глотки последующим куском мелодии, и в воздухе несколько мгновений дребезжали куски мелодии, заклинившиеся и рвущиеся в разные стороны, как сцепившиеся собаки.

Порой ему удавалось предугадать набегающий порыв ветра, и он, не переставая петь, слегка наклонялся в его сторону и делал руками поощряющий жест: мол, давай, нападай!

Так боксер на ринге призывает к активным действиям своего не в меру осторожного противника. Наконец шквальный порыв ветра врывался в галерею, но Арменак, уже готовый к нему, страшно напрягшись, перешибал встречную воздушную струю и победно дотягивал мелодию.

Новый шквал, уже благодарных рукоплесканий, в таких случаях доплескивался до него, а он стоял, откинувшись спиной на скалу, как боксер, отдыхающий на канатах, или, вытирая лицо платком, нахально кричал вниз:

— Вы что? Меня маршал Воросилов хвалил!

Одно время ему запретили этим хвастаться, но он дошел до самого Абесаломона Нартовича, который подтвердил этот лучезарный факт. Тогда ему снова разрешили хвастаться похвалой Ворошилова, считая такого рода нескромность прощительной для человека, выросшего в мире буржуазной рекламы.

* * *

Кстати, в некотором роде этот случай могу подтвердить и я. Мы сидели в верхнем ярусе ресторана «Амра» и пили ко-

фе, когда вдруг через все пространство нашей палубы пробежал директор ресторана и скрылся вниз.

Все очень удивились этому бегу, тем более что он был хромой от природы, а сейчас так бежал, что его хромая нога, не поспевая за здоровой, казалось, пронеслась по воздуху вслед за ним. Некоторые попытались пристроиться к нему во время пробежки, чтобы узнать, в чем дело, но он, отмахнувшись от всех, покатился по винтовой лестнице вниз.

Многие из пьющих кофе недоумевали, что это он так разбежался да еще отмахивается от вопросов. В добрые старые времена такая спешка могла быть вызвана внезапной ревизией, но сейчас, когда ревизоры не только сообщают день и час своего прихода, но еще и спрашивают у ревизуемого, удобен ли для него этот день и час, такую спешку понять было трудно.

И вот уже прошло минут двадцать, когда вниз вызвали самую хорошенькую официантку, работавшую в верхнем ярусе ресторана. А потом она снова появилась и заказала кофевару десять чашечек кофе.

— Хорошо вари, Хачик, — сказала она, — сам Ворошилов будет твой кофе пить.

— Какой варю, такой варю, — ответил ей старый кофевар и стал зарывать в раскаленный песок джезвейчики с кофе.

Тут-то все услышали про Ворошилова и, сопоставив стремительный бег хромого директора с сообщением официантки, может быть, даже с простодушной выдачей ею государственной тайны, поняли, что это правда.

И когда она несла на подносе кофе, ее окружали и спрашивали, правда ли это, и она, осторожно передвигаясь, всем отвечала, что правда, что он такой маленький и очень-очень старенький, но узнать можно, если знать, что это он.

Нас сидело человека четыре-пять за столиком, и мы не стали особенно вслушиваться в то, что говорила эта миловидная официантка, а опередив ее, спустились вниз.

И правильно сделали, потому что через несколько минут мы бы ничего не увидели. Мы подошли к банкетному залу с наружной застекленной стороны, с тем чтобы увидеть, что делается внутри. Но, как говорится, они тоже не дураки, слава Богу. Застекленная сторона оказалась прикрытой шторой.

На наше счастье, в самом углу штора оказалась чуть-чуть приоткрытой, хотя именно на этом месте стоял капитан нашей городской милиции, охраняя этот незашторенный кусок и одновременно слегка присматривая (мало ли что!) за остальным зашторенным пространством стены.

Мы перебросились с этим капитаном несколькими словами о том о сем, о погоде и поняли, что больших препятствий не будет, если мы попросимся заглянуть внутрь. И в самом деле, понимая, что мы люди мирные, политически довольно развитые и глупостей из-за стекла делать не будем, он нам разрешил заглянуть внутрь.

Я заглянул внутрь и увидел Ворошилова и некоторых представителей местного руководства, в том числе Абесаломона Нартовича. Тут же стояли оркестранты и среди них наш знаменитый Арменак, хотя именно в этот момент он не пел.

Оркестр играл современную музыку, и юная девушка в очках, кажется, внучка Ворошилова, шутливо учила танцевать одного из наших местных руководителей. Ворошилов стоял у стены и не спеша бил в ладоши. Ну, хорошо, если быть до конца откровенным, Абесаломона Нартовича учила танцевать. Да и вообще я не вижу в этом ничего плохого, наоборот, это была трогательная сцена. За столом никто не сидел. Судя по всему, они обедать начали давно, может быть, даже не здесь, а в другом месте.

Но тут нахлынули те, что осаждали официантку и потеряли на этом массу времени. Они нас стали оттеснять, и нам пришлось отступить. Наш любезный капитан шепнул нам, чтобы мы ждали у выхода с пристани, потому что Ворошилову пора отдыхать, и скоро они уйдут совсем.

Мы так и сделали. У выхода с пристани, на которой был расположен ресторан, уже стояла небольшая толпа, кротко дожидавшаяся Ворошилова. Мы присоединились к этой толпе и, не удержавшись, похвастались, что мы уже видели Ворошилова, что старик выглядит так, ничего себе, бодро, хотя и постарел, но если присмотреться, похож.

В самом деле, через некоторое время из ресторана вышел Ворошилов вместе с представителями местного руководства. Двое наших руководителей держали под руки Ворошилова, придавая лицу выражение строгости, тем самым издали давая знать толпе, что митинговать никто не собирается. Кроме того, чувствовалось, что они крепко держат Ворошилова, боясь идеологических неприятностей.

Чувствовалось, что наши руководители с большой неохотой относятся к этой незапланированной встрече с населением. Дело в том, что сравнительно недавно прошел двадцать второй съезд партии, где Ворошилова ругал Хрущев за то, что тот проявил признаки симпатии к антипартийной группировке. Правда, Ворошилов написал покаянное письмо съезду, где полностью отказался от своей симпатии к антипартийной группировке, и был прощен.

Но в толпе, которая встречала Ворошилова, были люди, которые не без основания рассматривали критику Ворошилова как продолжение линии разоблачения Сталина. Эти люди разоблачение Сталина в глубине души никак не одобряли. Поэтому, когда Ворошилова проводили мимо нас, наиболее нетерпеливые из них стали аплодировать Ворошилову. Аплодисменты были жидкие, но все-таки были.

Тем, что держали Ворошилова, эти аплодисменты очень не понравились, и они еще крепче ухватились за Ворошилова. Но Ворошилов остановился и освободил от них свои руки, давая знать, что он все еще остается маршалом и отвечает за свои действия. Слабой походкой, вызванной как возрастом, так и выпитым вином, он подошел к аплодирующим и пожал им руки.

Пока он пожимал им руки, те, что держали Ворошилова, выражением своего лица показывали, что аплодисменты относятся к далеким заслугам маршала на гражданской войне, а не к его недавним симпатиям, вызванным скорее всего легким старческим маразмом, как и это вот желание пожать руки аплодирующим. При этом они даже слегка прищуривались, как бы вглядываясь в зарево героических пожаров гражданской войны.

Между прочим, со стороны людей, державших Ворошилова, это было излишне, потому что те, что аплодировали, сами знали, почему они аплодируют, а те, что молчали, естественно, не спрашивали у них ничего.

Дав маршалу пожать три-четыре руки, они все-таки его подхватили, и он как будто больше не сопротивлялся, а сел в одну из машин, стоявших тут же, и уехал.

* * *

Голос художника вывел меня из потока сентиментальных воспоминаний.

— Картина от ветра не пострадает? — спросил он, косясь в сторону картины, висевшей над глубиной эстрады. Полотно мелко вздрагивало, казалось, что козлотур гневно оживает.

— Не пострадает, — сказал директор, склоняясь к художнику. — Крепко сидит.

— Кто сидит? — тревожно спросил директор мясокомбината.

— Не в том смысле, — отмахнулся ресторатор, — костыль крепко сидит...

— А-а-а, — успокоился тот.

— Я вас прошу, — склонился директор ресторана, — вот здесь хочу иметь картину «Тюлень, играющий мячом», а здесь — «Белая медведица с медвежатами на льду».

— Вместо вентиляции, мой друг, — вставился Вахтанг. Все рассмеялись. Директор усмехнулся было, но, увидев, что художник не смеется, посерьезнел.

— Вентиляция здесь — море, — миролюбиво поправил он Вахтанга, — но кълиэнтам в жару будет приятно, кълиэнтам...

— Хорошо, я не чураюсь, как некоторые, — важно сказал художник и, налив себе большую стопку коньяку, выпил.

— Предлагаю тост за золотой гвоздь нашей осенней выставки! — раздался голос Вахтанга.

Я закрыл глаза. Грохот волн, порывы ветра и порывы безумия. Когда особенно крупная волна прокатывалась над галереей, она скрипела и, казалось, слегка вздымалась, как палуба корабля.

— Еще раз! Аллаверды! «Песня о козлотуре»!

*Жил горный тур в горах Кавказа,
По нем турицы сохли все...*

— В вашем рационе, по-моему, кальция не хватает...

— Браво, Кация! Попросим его «Аллаверды» спеть!

*Аллаверды ко всем кутилам,
Ко всем азартным игрокам,
Ко всем бубновым королевам!
Аллаверды! Аллаверды!*

— Самая красивая среди многостаночниц, — раздался голос Автандила Автандиловича, — пусть украсит суровую жизнь труженика пера. Садись сюда, детка!

— Между ножек! — прокатился надмирный голос красавца с мясокомбината.

Кто-то потряс меня за плечо. Я открыл глаза. Незнакомый парень совал мне в руки стакан с боржомом, в котором плавали кусочки льда.

— Она прислала, — кивнул он в сторону Автандила Авандиловича. Я посмотрел туда и увидел ее. Она сидела с Автандилом Авандиловичем и подмигивала мне. Я медленно вытянул ледяной боржом.

Автандил Авандилович, держа огромную кость, выскабливал оттуда костный мозг, намазывал его на хлеб и подносил ей. Я замер, прислушиваясь.

— Очень полезно для растущего организма, — урчал Автандил Авандилович.

— Куда же мне расти, мне уже двадцать один, — смеялась она и кусала хлеб, поданный нашим редактором, — спасибо вам, Автандил Авандилович.

У Автандила Авандиловича — наклон головы в ее сторону, как у ассирийского быка.

— Очень полезно для растущего организма, — урчит Автандил Авандилович, поглядывая на нее. Теперь уже — смущенно-агрессивный наклон головы ассирийского быка.

— Объясните, пожалуйста, — двое танцующих остановились возле художника, — почему козлотур стоит на силосной башне? Что вы этим хотели сказать?

— Это не силосная башня, — сказал художник терпеливо, — это сванская башня — символ вражды народов, а козлотур ее топчет.

— Ах, вот оно что, — сказал парень. Все это время он слушал, не переставая обнимать свою девушку.

— А ты говорил, — сказала девушка, и они, медленно танцуя, отошли, если можно назвать танцем эти едва ритмизированные объятия.

— Кстати, наши тукокозы великолепно усваивают силос, — сказал коллега из-за хребта.

— Если козлотура заставить поголодать, он и доски будет грызть, — отпарировал Платон Самсонович.

Я почувствовал, что начинаю трезветь, и снова выпил.

— Клянусь матерью, если товарищ Серго не сидел в этой тюрьме! — Неожиданный голос, кажется, деятеля профсоюза. Я прислушался, но голос его заглушила разбившаяся у берега волна.

— Надо спросить у товарища Бочуа!

— Старые мухусчане помнят... Здесь еще в начале... (Волна да еще гром полностью отключили, что именно помнят старые мухусчане.)

— Рок! Рок!

— Сбачаем, Клавушка!

— Этот Арменак отбил у меня бабу... Что ему сделать?

— Смотря какая баба!

— Дорогой Вахтанг, это правда, что здесь сидел товарищ Серго?

— Не слышу, повторите!

— Баба была — во! Водяру хлестала — дай Бог! Парашютистка из Киева. Он еще тогда в «Амре» пел. Как услышала его

блеяние, так и офонарела. Ну, я, бля, из принципа пригласил его к столу. Ну, ничего, я ему замену черного полковника.

— Совершеннейшая правда, мой друг. Как раз на этом месте, где мы сидим, была его камера.

— Мы здесь едим и пьем, и они здесь страдали.

— Для того, дорогой мой, они страдали, чтобы мы теперь здесь радовались жизни...

— Да при чем тут она! Гори она огнем со своим парашютом. Я же из принципа, Славик...

— Я очень извиняюсь, дорогой Вахтанг, что вмешиваюсь. Но камера товарища Серго была в том крыле, мы сейчас там винный подвал содержим.

— ...Приезжают, тоскуя по Севану, а живут у нас на Черном море...

— Пусть живут, кому они мешают!

— Пусть живут, конечно, но я же из принципа, Славик...

Если ты тоскуешь...

— Предлагаю организовать экскурсию в камеру товарища Серго!

— Рок! Рок!

— Между ножек!

В свете молнии из адской темноты ночи белопенные волны и волны безумия на веранде. Молнии неба и жалкие вспышки нашего фотокода, запечатлевающего пиршество. Неожиданно смолк ливень, смолкла и музыка. Я оглянулся.

Музыканты, покинув свое высокое место, сидели за столиком и ели. Чуть отделенный от всех, окруженный щебечу-

щей стайкой поклонниц, ел Арменак. Вернее, давал себя кормить. Из большой тарелки, куда сдернули мясо, по крайней мере, с пяти шампуров, девушка, сидевшая рядом, брала вилкой мясо и отправляла в сладкогласный рот Арменака. Над топырящимся крахмалом салфетки сухонькое надменное лицо. В руке кусок хлеба, который он держит двумя пальцами через бумажную салфетку.

Частые порции мяса оттопыривали то одну, то другую щеку. Крепкие желваки, захватывающая дух опасность глотательного движения, нежные, обожающие глаза поклонниц, следящие за ним.

— Сто у вас хорошо — это девочки. Русски девочки — лучи девочки в мире.

— Ну, неужели только девочки, милый Арменак?

— Мальчики тозе, — страдальческим глотком освободив переполненный рот, хохочет Арменак.

— Скорпион! — вдруг раздался мужской голос в сопровождении душераздирающего визга женщины. Все повскакали с мест и, опрокидывая стулья, ринулись на голос.

Я тоже вскочил и протиснулся в толпу, окружавшую источник крика. У самого берега над морем, отвернувшись к воде, стояла та самая девушка, которая подходила вместе со своим парнем к художнику. Парень этот, бледный как полотно, стоял рядом с ней и, держа наткнутого на вилку извивающегося скорпиона, в бешенстве потряхивал этой вилкой перед оплывающей горой директорского туловища. Из жестов этого парня можно было понять, что скорпион откуда-то сверху упал на платье его девушки.

— Выясним, дорогой, все выясним, — повторял директор, поглядывая то на потолок, то на девушку, — хотите, в моей машине домой отвезу?..

— Еще! Еще! — вдруг раздалось в самой толпе, и она разбрызнулась в разные стороны.

— Скорпионы! Нашествие скорпионов!

Я отпрянул к столу, и именно в этот миг рядом со мной на скатерть с омерзительным шорохом, как мне показалось (хотя как можно было услышать шорох в этом грохоте?), шлепнулся скорпион. Я взял бутылку и с отвращением раздавил, вмазал его в бутылку и выбросил ее за барьер.

Шум, визг, грохот, истерический смех, вызванный неожиданным танцем какой-то пьяной парочки, которая, прикрывшись от скорпионов зонтом, пустилась в танец, припевая:

— Нам не страшен скорпион, скорпион, скорпион...

Все смотрели на Арменака, стоявшего на столе с тарелкой в руке. Вызвав к себе всеобщее внимание, он молча протягивал тарелку в разные стороны, держа ее в вытянутой руке, как бы показывая готовность принять на тарелку любого скорпиона, упавшего с потолка. Не дожидаясь скорпиона, он притянул к себе руку с тарелкой и, нанизывая на вилку куски мяса, несколько раз отправлял их в рот, поворачиваясь в разные стороны, чтобы все его видели, и самой, подчеркнуто яростной, работой челюстей декларируя полную безопасность и призыв, следуя его примеру, продолжать пиршество.

— Ребя, последний автобус! — крикнул кто-то, и передовики производства повалили к выходу, причем некоторые из

них подхватывали своих девушек, а некоторые — девушек и бутылки с вином.

— Сейчас не опасно! Опасно — мартиос! Априлиос! Где буква «р» есть! — кричал Арменак, шагая по столам. — Сейчас августос!

Наконец янычары, стоявшие вокруг директора, осознали смысл добрых призывов Арменака, во всяком случае, то, что август — не весенний месяц и в его названии нет буквы «р», они стали бегать вокруг столов, натывая на шампуры сваливающихся на стол скорпионов и стряхивая их за борт деревянного барьера.

Снаружи выстрелила дверца машины, и она рванулась с милицейской скоростью. Я понял, что это Автандил Автандилович. Быстро оглядел столы, предчувствуя, что ее уже нет. Ее и в самом деле не было. Меня охватило ощущение пустоты и безразличия.

Услышав рев уносящейся машины Автандила Автандиловича, директор ресторана снова начал бить себя по голове. Заметив это, Арменак, все еще продолжая держать в руке тарелку, подошел к краю стола и оттуда стал гневно утешать директора:

— Ты при цем? Ты ни при цем! Природа!

Я закрыл глаза и некоторое время чувствовал, как галерея то всплывает, то проваливается куда-то.

Когда я открыл глаза, ресторан был уже почти пуст. Я вышел на посвежевшую улицу. У входа в ресторан стояло две машины. В первой из них сидел Арменак. Гримаса презрительного гнева искажала его профиль. В нем еще доклокатывал спор с толпой.

— Скорпиос, — пробубнил он внятно, — ти мана (вашу мать) скорпиос...

Сзади суетились музыканты, но он на них ни разу не обернулся, хотя оттуда время от времени доносился девичий щебет. Музыканты осторожно, с расчетливой вместительностью, укладывали в машины девушек и инструменты. Сколько я ни бывал на всякого рода банкетах, всегда музыканты уезжают с девушками, даже если ни одной из них не знали до этого.

Машины тронулись, девушки радостно взвизгнули, и еще раз промелькнул суровый профиль Арменака, все еще мысленно укрощающего толпу.

И вдруг в свете фары первой и в свете фары второй мелькнуло ее лицо, лениво защищающееся от света голой рукой, в которой что-то она держала. а что — я не мог сразу понять, и только когда мелькнуло снова ее лицо и струя света второй машины впиалась в ее голые ноги и погасла, я понял, что она держит туфли. Рядом с ней стоял он и перекладывал бутылку коньяку из одного кармана в другой.

Разбрызгивая усатые фонтаны воды, машины переправились через ручей, образованный ливневыми водами.

Ничего не соображая, а только чувствуя дикую радость, что она не уехала с Автандилом Автандиловичем (только в пьяную голову это могло прийти; да и он бы себе никогда не позволил так публично!!!), я подбежал к ней и схватил ее за руку. И вдруг она так рванулась, словно я передал ей палочку эстафеты, и мы побежали прямо вперед, шлепая ногами по теплой ночной воде, и уже на той стороне услышали его крик: — Пойдите, договоримся!

Но я знал, что он отстанет, потому что никогда не решится выбросить бутылку, а мы бежали и бежали, на миг останавливаясь, чтобы перевести дыхание, выхватить беглый поцелуй, как отпить льющееся через край, и снова бежать.

Раз в жизни вырваться и вырвать, пусть с кровью, вырвать забвенье, а там пропади все пропадом! Но сейчас бежать и бежать! Бульваром, сквозь дрябло обвисшие, хлещущие ветки олеандров, бежать, задыхаясь от смеха, вспоминая его осторожный, чтобы не разбить бутылку, бег, и снова бежать и, останавливаясь, припадать к этому нежному, пахучему, хохочущему, белозубому, безумному рту — запомнить его таким!

Бежать от неожиданной трели ночного сторожа, спавшего прямо на помосте прибрежного ларька, возвращенного к своим обязанностям звуком наших шагов, и, может быть, потому особенно долгая и сердитая трель свистка, вызвавшая в нас новый приступ смеха.

...Пригородный берег, хруст гравия, скрип песка, шелест, шорох... И долгий, как сон наяву, сырой гул воды и острый, пузырящийся близостью прибоя, воздух.

Предрассветный далекий раскат грома с первыми признаками насыщения, отрывка отдыхающего неба. Боль, боль, всюду боль!

* * *

На следующий день ресторан был закрыт на ремонт (кстати, пианино почему-то оказалось в море) и только через месяц, уже без всякой помпы, его открыли снова.

Нашествие скорпионов одни объясняли тем, что проектировщики здания ресторана не учли, что при сильном ветре струи воды будут сбиваться на одну из наружных стен крепости, примыкающей к галерее, и вода, мол, из-за этой ошибки добралась до скорпионьих гнезд.

Другие говорили, что система водостока тут ни при чем, что, видно, скорпионы и раньше при сильном ливне уходили в глубинные, внутренние части крепости. И на этот раз они выползли сюда, не подозревая, что тут делается, и вдруг, попав в бурю электричества и музыки, оглушенные этой непомерной дозой цивилизации, они стали шлепаться вниз, то попадая на пиршественные столы, то на людей, впрочем, без всякого злого умысла.

Во время ремонта все открытые части крепостных стен были замазаны каким-то твердым, во всяком случае явно скорпионепроницаемым, лаком. О судьбе скорпионов, замурованных в этой части крепости, рассказчику ничего не известно. Можно только предполагать.

Скорее всего, они покончили жизнь самоубийством (что свойственно скорпионам), если они не догадались вырыть себе подземный ход (что им явно несвойственно, а свойственно заключенным былых идиллических времен, золотому веку неустанно развивающейся науки тюремостроения).

* * *

И вот, всего лишь через год после этого банкета, Автандил Автандилович мне говорит, что в газете о козлотуре ничего или

почти ничего не было. После нашей беседы я зашел в городскую библиотеку и попросил у библиографа дать мне справку о всех печатных материалах по козлотуре в нашей газете.

Библиограф, юный парень, видимо, только окончивший институт, я его раньше здесь не видел, поднялся на второй этаж библиотеки, где находился библиографический кабинет. Я остался внизу, в читальном зале и, стоя у выдачи книг, болтал со знакомой девушкой, работавшей там. Вскоре возвратился библиограф и подал мне карточку, на которой было аккуратно занесено название и дата первой информации о козлотуре, а также дата выхода перепечатанной в нашей газете столичной статьи, критикующей козлотуризацию сельского хозяйства.

— И это все?

Он замялся и как-то мило и неуклюже развел руками. У него было такое чистое, почти девичье лицо, и он еще явно не научился спокойно врать.

— А что вам надо?

— Мне нужны все номера нашей газеты, где говорится о козлотуре.

— А для чего? — спросил он, чувствуя, что нарушает мое естественное право, и от этого страшно неуверенный в себе. Из читального зала к нам стали прислушиваться.

— Дело в том, что на эти материалы надо иметь спецдоступ, — сказал он тихим голосом, чтобы уменьшить в нем призыв фальши.

— Давно? — Я так и обмер.

- Не знаю, — со вздохом облегчения, — я сам тут недавно...
- Видите ли, — сказал я ему, — я из редакции газеты.
- Пойду узнаю у директора...

Как только он ушел, я быстро повернулся к девушке, стоявшей на выдаче, и сказал ей:

— Умоляю, подшивки «Красных субтропиков» за последние три года.

— Сейчас, — кивнула она и вошла в глубь склада. Через минуту она их мне притащила. Я положил их на один из самых дальних столов читального зала и вернулся в закуток, где стоял столик библиографа. Он возвратился и, стоя у своего столика, с печальной строгостью сообщил:

— Директор сказал, что у него относительно журналистов нет никаких указаний.

Он продолжал стоять возле своего столика, как бы сочувствуя мне по поводу этой неприятной новости.

— Ну ладно, — согласился я, притворно смиряясь.

— К сожалению, больше ничем не могу помочь, — сказал мальчик, неуклюже разводя руками. Мне показалось, что он ожидал от меня большего упорства, и теперь несколько разочарован.

Я отошел к своему месту и сел. Начав листать подшивку, почти сразу наткнулся на первую информацию о козлотуре. Номер, в котором была информация, почему-то был вырван из подшивки и просто вложен в нее.

Но дальше у меня дело почему-то не пошло. Сколько я ни листал подшивки за три года, ни одного материала по козло-

туру в них не оказалось. Что за черт, подумал я, ведь первый большой материал о козлотуре был напечатан примерно через неделю после первой информации. Я начал снова листать подшивку, уже внимательно присматриваясь к числам.

И вдруг истина открылась во всей своей полицейской простоте: вырвали! Все номера вырвали из всех подшивок, оставили только первую информацию и последнюю московскую статью, и соответственно точно дают библиографическую справку. Теперь я понял, почему номер газеты с первой информацией оказался вырванным и вложенным в подшивку. Его вырвали по ошибке, а потом снова вложили. Однако же в их безумии есть своя система, думал я, неся назад рыхлую гору оскопленных подшивок.

Между тем в редакции дела мои, по-видимому, ухудшились. Я это замечал по лицам сотрудников нашей газеты. Становилось все заметнее, что здороваться со мной доставляет им немало гражданских хлопот, если не гражданского мужества.

На одной из редакционных летучек Автандил Автандилович, включая вентилятор, бросил на меня укоризненный взгляд, как бы говорящий: «Ты этого хотел?»

Я понял, что что-то будет. И в самом деле, через несколько минут Автандил Автандилович опять заговорил об этом проклятом социалистическом исследовании про козлотура. (Оказывается, в этот день в одной из столичных газет снова появилась статья, критикующая тот самый журнал, где было напечатано это исследование.) Он назвал его клеветниче-

ским, хотя и признал ошибочной публикацию некоторых материалов по козлотуру в нашей газете.

— Да, — говорил он, — нам центральная печать строго указала на это. И справедливо указала, товарищи! И мы полностью принимаем эту критику! (Тут он бросил взгляд на вентилятор, исправно работавший под потолком.) — Но те, — продолжал он, подчеркнуто не глядя на меня, — кто клеветал сам (душа моя плавно опустилась в желудок — я заметил грозное противоречие между множественным числом указательного местоимения и единственным числом последующего глагола) или способствовал клевете других, в нужное время ответят за клевету.

Тут некоторые наши сотрудники стали бросать на меня взгляды, явно говорившие: «Ты видишь, в какое положение ты себя поставил, ты видишь, как нам теперь трудно будет здороваться с тобой?!»

«Крепитесь, еще не все потеряно», — пытался взбодрить я их своими ответными взглядами.

Но они рассеянно отводили глаза, давая знать, что не принимают мою бодрость по причине неясности ее источников.

Именно после этой летучки, когда я сидел у себя в кабинете, мрачно обдумывая свое положение, раздался звонок. Звонил мой чегемский земляк, внук знаменитого охотника Тендела. Он работал в управлении сельского хозяйства.

— Как дела? — спросил он голосом, исполненным тайного ликования.

— Плохо, — сказал я ему и в двух словах изложил суть дела. Нас связывала не заходящая слишком далеко земляческая близость.

— Как раз по этому поводу я тебе и звоню, — сказал он по-абхазски и по-абхазски же предупредил, чтобы я не переходил на русский язык. — Есть новости, — продолжал он, — светопреставление! Сразу же после работы встретимся!

Я с нетерпением дожидался конца рабочего дня. Мы встретились, и он в самом деле рассказал удивительную новость. Оказывается, в управлении сельского хозяйства было совершенно секретное совещание по козлотуру, где вынесли решение собрать всех козлотуров и тайно вывезти в один животноводческий совхоз, потому что у них начали гнить копыта.

— Почему тайно? — спросил я.

— Сам знаешь, чтобы население не волновалось, — ответил он. Было совершенно неясно, почему гниение копыт козлотура (или перевозка козлотуров с гниющими копытами) могут вызвать среди населения хотя бы отдельные вспышки недовольства.

Сколько я ни просил его показать текст этого постановления, он наотрез отказался.

— Что ты, — отвечал он, — у нас гектографом отпечатано сто экземпляров... Будем рассылать по колхозам... Гриф: «Сов. секретно».

— Большое постановление? — спросил я, хотя, в сущности, размер постановления не играл никакой роли.

— Нет, — сказал он, — на одну страницу... Если будут тебя зажимать, ссылайся на него, но не сразу ссылайся, а через три-четыре дня...

— Почему? — опять не понял я.

— Успеем разослать, — сказал он, улыбаясь странной улыбкой, — значит, через какой-то колхоз, а не через нас произошла утечка информации...

— А-а, — сказал я.

Как всегда при наших редких встречах, он предложил пойти с ним на охоту в ближайшее воскресенье. Я ответил, что мне сейчас не до охоты.

— Слышал про моего спаниеля? — спросил он радостно. — Не собака — человек!

Внук Тендела, даже спустившись с гор и став чиновником министерства сельского хозяйства, он не перестал быть внуком Тендела. В сущности, если вдуматься во всю его деятельность, то можно сказать, что все его занятия сводятся к обеспечению условий для настоящей охоты.

Говорят, что он опытный охотник, но мне трудно судить, потому что сам я — никакой, хотя и хаживал с ним на охоту.

Однажды он пригласил меня на голубиную охоту. Дело происходило примерно в конце сентября. На рассвете мы выехали из Мухуса и в Гудаутском районе, оставив машину на дороге, взобрались на вершину живописного холма, покрытого стеблями усыхающей кукурузы и редкими лоснящимися россыпями баклажанов.

Некоторое время мы стояли на вершине холма, и я любовался огромной выпуклостью моря, слегка подрумяненного с востока и еще утопающего в сизой мгле на западе. Я не понимал, почему голуби должны пролетать именно над нами, а потому не верил, что они пролетят.

И все-таки они дважды пролетали. И оба раза я даже не успевал вскинуть ружье, а он успевал и вскинуть ружье, и выстрелить дуплетом, но все-таки убить и он не успевал. Дикие голуби пролетали со скоростью стрижей.

На обратном пути, нисколько не смущаясь неудачей, он наломал десяток початков кукурузы, прибавил к ним примерно столько же увесистых баклажанов и, таким образом заменив охотничью добычу ее вегетарианским вариантом, деловито уложил все это в багажник, и мы поехали назад. По дороге он мне рассказывал о роскоши правительственных охот, куда он допускался в качестве опытного егеря и куда он нередко прихватывал с собой дядю Сандро в качестве другого опытного егеря, хотя, я думаю, дядя Сандро разворачивал способности несколько позже, во время охотничьих пиршеств.

...Одним словом, сколько я его ни уговаривал, он не соглашался не только передать экземпляр постановления, но даже показать его издали отказывался. Конечно, я мог сослаться на то, что оно существует, но если уж они засекретили, они могут и будут отрицать его существование.

Через день, встретившись с дядей Сандро, я ему пожаловался на то, что внук Тендела не хочет дать мне экземпляр по-

становления о козлотурах. Мы сидели в конце «Амры» и пили кофе.

— Попробуйте уговорить, — попросил я дядю Сандро.

— А оно тебе очень нужно? — спросил он у меня, делаясь серьезным.

— Могут с работы выгнать, — сказал я и в двух словах изложил ситуацию.

— Попробую, — сказал дядя Сандро, отставляя свою чашечку, — хотя от твоей работы мало нам пользы...

Это был намек на то, что я ему ни с пенсией не помог, ни с получением страховочных денег за дом, ни с другими, более мелкими услугами.

С этим мы расстались. Но не успел дядя Сандро встретиться с внуком Тендела, как тот сам мне позвонил.

— Ты ничего не слышал? — спросил он взволнованно.

— Нет, — сказал я, и почему-то в голове у меня мелькнула безумная мысль, что засекреченные козлотуры сбежали из совхоза и тем самым рассекретили постановление.

— Большого горя со дня смерти дедушки я не знал... — Дребезжал его голос в трубке. (Бедняга Тендел объелся на юбилее своего собственного столетия и отдал Богу душу.) — ...Моего спаниеля украли... Я тебя умоляю, найди мне дядю Сандро, он всех в городе знает... Любые деньги... Пусть найдет...

Через два часа, во время обеденного перерыва, я их свел, и дядя Сандро, выслушав его внимательно и указав в мою сторону, сказал:

— Дашь ему документ — найду твою собаку. Не дашь — не буду искать...

— Дядя Сандро, как я могу, — занял внук Тендела. Но недаром он был представителем охотничьего клана, да и перепелиный сезон был в разгаре.

— Чего ты боишься? — добил его дядя Сандро. — Председатели колхозов давно подтерлись твоей бумагой... А он в случае чего скажет, что в колхозе достал...

— Ладно, — угрюмо согласился внук Тендела, — ищите как можно быстрее... Если похититель вывезет его из города, потом не найдем.

— Если собака в городе — найдем, — сказал дядя Сандро, и мы расстались.

На следующий день он пришел ко мне в редакцию с шевелящейся сумкой «Эр Франс» в руке.

— Все в порядке, — сказал он, — звони этому бездельнику, пока его собака не нагадила мне в сумку.

Платон Самсонович взглянул на шевелящуюся сумку, как бы угадывая связь между ее содержанием и теперь уже далекой, как юность, эпопеей козлотура.

Я позвонил внуку Тендела.

— Жив-здоров? — спросил он. — Заходите в здание и приходите прямо в уборную! — крикнул он по-абхазски и положил трубку.

И вот мы с дядей Сандро, поднявшись по мраморной лестнице, прошли по одному из коридоров. Указав мне на конец коридора, где была расположена уборная, сам он остановился

вначале у одного из кабинетов, куда он должен был зайти, как он сказал, по одному дельцу.

— Обменяйтесь, зайдите за мной, — сказал он, передавая мне трепыхнувшуюся сумку «Эр Франс».

Я пошел по коридору мимо кабинетов, двери которых иногда были обиты кожзаменителями, рядом с которыми обыкновенные двери, покрытые только серой краской, выглядели обделенными сиротами. Как и всякий учрежденческий коридор, этот коридор логически кончался туалетом, куда я и зашел.

Через несколько минут я услышал в коридоре шаги, дверь в уборную распахнулась, но вошел совсем другой человек. От самых дверей, войдя в уборную, он шел к писсуару, екая задницей, как лошадь селезенкой. Грузный и рыхлый, он долго стоял у писсуара, побряхывая и прислушиваясь к процессам, происходившим в его мочевом пузыре, и время от времени оглядываясь на меня с выражением болезненного прислушивания, словно включая и меня в систему препятствий, затрудняющих ему пользоваться неоспоримым правом на достойное завершение обмена веществ. Каждый раз, когда он так болезненно оглядывался на меня, я слегка прижимал сумку к ноге, показывая тем самым, что я стараюсь как можно меньше влиять на процессы, происходящие в его организме. Мне кажется, во время одной из его оглядок взгляд его на мгновение обратился к сумке, как бы осознавая, что бы это значило, и, не осознав, как бы выразил: «Мне и так трудно, а у него еще в сумке что-то шевелится...»

Не глядя на меня, но в то же время излучая недовольство моей персоной и всем моим видом, он прошел мимо и вышел в коридор.

Через несколько минут снова раздались шаги в коридоре, и, прежде чем я догадался, что это внук Тендела, из сумки раздался тихий радостный взвизг, и сумка затрепыхалась в моей руке. Однако шаги прошли мимо нас, потом затихли. Через несколько минут они, снова зазвучав в коридоре, нерешительно остановились напротив наших дверей.

— Ты здесь? — спросил он.

— Да, — сказал я, и вместе со мной раздался из сумки еще более радостный взвизг, и «Эр Франс», мотнувшись, взлетела в моей руке.

— Быстро выходи! — прошипел он по-абхазски. Я приоткрыл дверь. — Рядом! — прошипел он, и я, почти не осознавая происходящего, очутился в помещении рядом. Это тоже была уборная, но явно победнее: острый запах хлорки, ржавые подтеки дырявых писсуаров, бесхозная струя воды из неисправного крана раковины.

Вошел и он.

— Кто-нибудь тебя видел? — спросил он, с тревогой кивнув в сторону предыдущей уборной.

— Нет, — сказал я, чувствуя, что его надо успокоить.

— Я забыл тебя предупредить, — сказал он, уже поглощенный содержанием моей сумки, и поэтому как бы мимоходом пробалтывая свое пояснение, — это уборная для заведующих отделами и членов коллегии... Ах ты, моя золотая! Чувству-

ешь! — Он протянул руку навстречу качнувшейся к нему взвизгивающей сумке, но тут я напомнил:

— Сначала постановление.

Продолжая протягивать одну руку к сумке, он другой рукой вынул из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и, протянув, кивнул мне:

— В кабинке прочтешь.

Я отдал ему сумку и закрылся в кабинке. Это было то, что мне надо. В подлинности документа у меня не было никаких сомнений. Мне стало весело и хорошо. Что ни говори, видно, власть бумаги все еще сильна в каждом из нас.

Пока я просматривал секретный документ, за дверью кабинки раздалось чмокание поцелуев и визг ошалевшего от радости спаниеля.

Удовлетворив первый любовный порыв, внук Тендела вспомнил, что он все-таки работник управления сельского хозяйства. Он снова водворил собаку (кстати, крайне недовольную этим) в сумку «Эр Франс» и с трудом замкнул змейку, частями вжимая внутрь вырывающееся тело собаки.

— Я сейчас повезу ее домой, — сказал он и, знаками показав мне, чтобы я не сразу следовал за ним, вышел из уборной, мурлыкая песенку.

Через минуту, пройдя по коридору, я открыл дверь кабинета, в который прошел дядя Сандро. Это был отдел госзакупок. Дядя Сандро сидел у стола спиной ко мне.

За столом сидел пожилой человек с серебристой лисьей сединой, очень аккуратный, подтянутый, доброжелательный.

Увидев меня, он улыбнулся мне, не прерывая разговора и в то же время показывая, что мой визит замечен и он приглашает меня присесть на один из стульев, стоящих вдоль стены. Я продолжал стоять, чтобы не затягивать пребывание здесь дяди Сандро.

Разговаривая с дядей Сандро, он частью рта время от времени улыбался мне, показывая, что не забывает о моем присутствии, и как бы прося извинения, что не может сразу заняться мной.

Говорил он тихо, но на перекатах течения беседы голос его начинал отчетливо журчать.

— Дорогой Сандро Хабугович, — доносилось до меня, — мы этот вопрос снова провентилируем... Конечно, временно, только временно приостановлены закупки от частных лиц... Но как раз во вторник приезжает из Тбилиси Георгий Багра-тович, и не исключено, что он привезет нам оттуда дополнительные инструкции от Тариэла Луарсабовича. Я вам дам телефон Георгия Багра-товича и свой, но вы ему не звоните. Во всяком случае, сначала позвоните мне, перед тем как звонить ему, а я, в свою очередь, запишу у себя в календаре, чтобы предварительно проконсультироваться...

Говоря это, он с видимым удовольствием сложил лист бумаги, точно разорвал его пополам, тщательно, с не меньшим удовольствием вывел на бумаге, по-видимому, обещанные телефоны, сделал в календаре отметку, чтобы не забыть проконсультироваться.

Потом он водворил на место календарь, вставил ручку в деревянный бокальчик, из которого, как из колчана, торча-

ло еще несколько цветных, вероятно, столь же безопасных чернильных стрел, почему-то слегка тряхнул бокальчиком, придав торчащим стрелам более живописный разлет, и явно довольный, что это получилось с первого раза, протянул дяде Сандро бумажку с телефонами.

Тут он перевел на меня свою приветливость, напоминая, что присутствие моей личности он ни на минуту не упускал из виду и теперь готов целиком заняться мной.

— Нет, — сказал я, стыдясь своей неблагодарности, — я его жду.

— Ах, его, — повторил он понимающе и, прощально кивнув, снова улыбнулся, на этот раз как бы над своей неловкой недогадливостью, в сущности говоря, простодушием, впрочем, вышванным, если уж говорить начистоту, служебным рвением.

Мы вышли из кабинета. Тип такого рода деятеля мне хорошо известен. Такие люди встречаются в некоторых секторах наших учреждений, которым (секторам) полностью или почти полностью удалось прервать живую связь с жизнью.

Человек сидит в кабинете — ему идет зарплата. Сделать он ничего не может, но и сказать это открыто, признать, что он напрасно получает зарплату, естественно, не хочется. Да и потом все это получается не в один день.

Постепенное отмирание сектора усиливает внешнюю деятельность работника этого сектора. И когда вы являетесь к нему с каким-то делом, он радостно отдается вам, то есть пишет бумаги, звонит, консультируется, и, в конце концов, выясняется, что ничего сделать нельзя.

Но вы после всех его хлопот не только не разочаровываетесь в нем, но даже испытываете тихий, мистический восторг перед совершенством дел его рук. Этот тихий восторг у некоторых перерастает в такой же тихий ужас. Ведь это нелегко узнать, после долгих, мягких, ненастойчивых усилий этого человека по проталкиванию вашего дела, что с самого начала дело было обречено и он об этом прекрасно знал с самого начала. Ведь это все равно, что вы наблюдаете, пусть из-за стекла, но своими глазами наблюдаете многочасовую операцию, которую проделывает хирург над вашим близким, и вдруг узнаете, что больной умер еще до операции и его оперировали только потому, что по плану было намечено его оперировать и были отпущены соответствующие средства для операции, которые необходимо было использовать, и — что вас особенно поражает, — наркоза не пожалели на вашего бедного покойника, наркоза! Именно этот наркоз, как последняя капля, словно его отчасти впрыснули и вам под кожу, повергает вас в тихий благоговейный трепет...

Но тут поток моих размышлений был прерван бормотанием дяди Сандро. Мы уже спускались по мраморной лестнице.

— Чтоб тебя столько раз имели чегемские ослы, — бормотал он, — сколько ты мне pomoжешь своими телефонами.

Слова его, как всегда, возвратили меня к здоровому чувству действительности. При всей странности предложенного им уравнения, при всей сложности равновесия между активностью чегемских ослов и качеством предлагаемой помощи в его словах не было ни малейшего оттенка мистики.

Спустившись с лестницы, я снова взглянул на администратора за стеклянным колпаком. Он сидел, опустив голову, чем-то похожий на зародыш человека во чреве или фантастический стебель с опущенным завитком верхушки. Казалось, сидя в своем парничке, он тщательно прислушивается к своему произрастанию.

Все же дядя Сандро, постучав по стекольцу, заставил его обратить внимание на наш уход и, кивком попрощавшись, одновременно поблагодарил за то, что он без всяких хлопот пропустил нас в здание. Кивок был несколько преувеличен в счет, как я думаю, будущих надобностей в этом здании.

— Так как же вы тут скакали на лошади? — спросил я, когда мы вышли из особняка и пошли по тихому переулочку, обсаженному лавровыми деревьями.

— Чтобы спокойно все рассказать, — лукаво проговорил дядя Сандро, притрагиваясь к усам, — мы должны где-нибудь посидеть за маленьким скромным столом.

— Идет, — сказал я и решил по дороге зайти в редакцию и придумать какой-нибудь повод, чтобы посидеть с дядей Сандро в каком-нибудь уютном закутке, которых, кстати, все меньше и меньше остается в наших краях.

Мы свернули на улицу, ведущую прямо к морю. В последнюю минуту, сворачивая с переулка, дядя Сандро протянул руку и сорвал несколько лавровых листьев. Он растер их в ладони и понюхал. Казалось, он прочищал и готовил к застолью органы обоняния.

— Вот это правительство, — отряхнув ладони, вдруг проговорил он своим привычным тоном человека, который перепробовал все на свете правительства и готов пробовать еще, — тоже не всегда правильно поступает.

— А что? — спросил я.

— Перестали брать у населения лавровый лист. У меня килограмм двести есть, никак не могу пристроить...

— А при чем правительство? — спросил я, догадываясь, о чем он говорил в кабинете этого великолепного мурлыки с лисьей сединой.

— С турками договорились. Теперь они у них покупают лавровый лист...

Между прочим, эту версию я много раз слышал, опровергнуть ее хотя бы в местной печати по принятым у нас нормам невозможно, потому что признать слухи существующими — это отчасти признать их существенность, а признать их существенность — это значит хотя бы отчасти признать их правдивость. Получается заколдованный круг. Бюрократия, защищая себя, прикрывает все, что можно прикрыть, в том числе и собственные глаза.

— Кто вам сказал? — спросил я на всякий случай.

— Люди говорят... Да, видно, так оно и есть. Раньше каждый год можно было сдавать государству и деньги за это получать. Теперь не берут. А зачем у турок покупать, когда свой лист некуда девать. Хочу написать Хрущиту... Как ты думаешь, письмо не перехватят?

— Кто, — не понял я, — турки?

— Да зачем турки? Наши!

— Да зачем им перехватывать?

— Чтобы недовольство не показать... Но если в Сочи опустить, говорят, доходит. Или через знакомых летчиков, те в Москве бросают в ящик...

— Право же, не знаю, — сказал я, слегка запутавшись в его нелегальных вариантах связи с Москвой.

Мы договорились, что он будет ждать меня возле редакции, пока я не выйду. Уже в дверях, нащупав в кармане заветную бумажку, я вспомнил:

— Дядя Сандро, а где вы нашли его собаку?

Он солидно стоял у редакционного стенда и рассматривал фотовыставку. Услышав мои слова, он обернулся, мельком оглядел прохожих и тихо сказал:

— Где спрятал, там и нашел.

* * *

Одни историографы верны бытописательской правде, другие — исторической. Если вы спросите у меня, какие из них лучше, я отвечу словами товарища Сталина:

— И те и другие хуже.

Таким образом, верный бытописательской и исторической правде одновременно, должен сказать, что версия дяди Сандро относительно мраморной дорожки не вполне подтвердилась, хотя и не вполне опровергнута. Один инженер горсовета (возможно, дядя Сандро сочтет его за эндурца) сказал, что

мраморную дорожку не растащили на домашние очаги, а просто залили асфальтом во время ремонта тротуара.

Разумеется, сам я не пытался ломом или каким-нибудь еще инструментом пробить асфальт и проверить целостность дорожки ввиду непосредственной близости правительственного учреждения и возможности в связи с этим чересчур расширенного толкования моих действий.

Так что вопрос остается открытым. Я даже не знаю, что хуже — залить асфальтом цветную мраморную дорожку или растащить ее на очаги. Пожалуй, я предпочел бы второе, ибо в этом случае хотя бы признается красота этих плит. Впрочем, не исключено, что так оно и было.

13. пастух махаз

У него было семь дочерей и ни одного сына. А он очень хотел иметь сына, которому можно было бы оставить хозяйство и скот и который стал бы его, пастуха Махаза, продолжением в будущей жизни, когда Махаза уже на этом свете не будет.

После каждой дочери он ждал сына, старался зачать сына, но у него рождались только дочери, и после четвертой он в глубине души перестал верить, что у него может родиться сын, и с вялым любопытством ждал, чем окончатся очередные роды его жены, хотя и теперь, помимо его разума и воли, в сознании теплилась надежда: а вдруг повезет?

Но не было случайного везения. Семь раз, одна за другой, шли дочери, семь богатырских дочерей родила ему его неутомимая жена Маша, из которых старшая уже была замужем за сыном мельника, а младшая еще не ходила в школу, но уже могла растрясти персиковое деревце, чтобы полакомиться его плодами.

После седьмой девочки он смирился с тем, что у него не будет сына. Видно, там, наверху, тот, кто решает, каким должен быть урожай кукурузы в этом году, чью именно корову должен медведь выбрать в стаде и зарезать, каким краем села должна пройти туча, наполненная гибельным градом, как мешок с камнями, и когда именно должен прорваться этот мешок, словом, тот, кто решает все это, отметил там у себя в небесной книжице, что надо пастуху Махазу не давать зачать мальчика, и приставил следить за этим одного из своих ангелов-слуг.

И хотя чегемцы не раз объясняли ему свою теорию чадотворящих форм, то есть что бывают такие женщины, которые носят в себе две чадотворящие формы, формы мальчика и девочки, а есть такие, внутри которых только одна чадотворящая форма, вот она и лепит себе только мальчиков или девочек, он, пастух Махаз, считал все это глупым предрассудком. Когда разговор заходил на эту тему, он всегда несмешливо улыбался и кивал на небо:

— Все в его руках... Если он захочет, женщина и медвежонок родит...

Был Махаз человеком мирным и молчаливым, жил в основном на колхозной ферме, вдали от людей. Дома бывал мало, за

целое лето спустится, бывало, раз или два с альпийских лугов, чтобы помыться как следует, да сменить белье, да сделать по хозяйству кое-что, и снова в горы.

Весной и осенью бывал чаще. Весной вспахивал и засеивал приусадебный участок, а осенью собирал урожай кукурузы и винограда, готовил вино, которое в основном распивали многочисленные гости его жены, которых он терпеть не мог, но вынужден был примириться с ними ввиду неукротимого жизнелюбия и гостелюбия жены.

Если его кто обижал из колхозного начальства или соседей, он никогда не находилась, чтобы ответить на обиду сразу, и угрюмо замыкался, а обида, бывало, через много дней вырывалась, иногда в совершенно неожиданном месте.

Так, однажды на альпийских лугах, когда одна коза забралась на слишком отвесную скалу, откуда она могла сорваться и погибнуть, он не только не поленился вскарабкаться на эту скалу, но, поймав ее за ногу одной рукой, другой избил вырывающуюся и ничего не понимающую козу, что было опасно не только для жизни козы, но и для его собственной жизни.

Эта экзекуция была ответом на приказ правления колхоза взыскивать с пастухов стоимость погибшего от стихийных сил скота. Приказ этот был вызван тем, что слишком много скота погибало на летних пастбищах. Летом на альпийских лугах вдаль от всякого начальства пастухи нередко резали скот для себя, списывая его потом на стихийные бедствия. Так что приказ этот был справедлив по отношению к тем пастухам, которые злоупотребляли доверием, но он был неспра-

ведлив по отношению к Махазу, который никогда такими делами не занимался. Таким образом, избивая козу, пасшуюся на слишком рискованном месте, он отводил душу, даже как бы вступал в полемику с правлением колхоза.

Четыре года тому назад жена его отправила в город старшую после вышедшей замуж дочку Маяну, чтобы она там окончила абхазскую школу-десятилетку. В Чегеме была только семилетка.

И хотя сам Махаз был против этой поездки — он считал, что семилетней учебы вполне достаточно для девушки, ему пришлось уступить настояниям жены. Могучую девушку снарядили, как могли, дали ей в руки красный фанерный чемодан, с которым тетя Маша сама когда-то перебралась в Чегем, и отправили в город.

Хотя в городе жила сестра Махаза, девушку поместили у дальнего родственника тети Маши, работавшего в магазине и готового вот-вот лопнуть от полноты достатка. Так говорила о нем тетя Маша.

Кстати, в городе был и интернат для таких вот молодых людей из дальних сел, но тетя Маша считала, что отдать девушку в интернат в городе, где родственник ее лопається от достатка, было бы смертельным оскорблением не только ему, но и всем родственникам тети Маши.

Между прочим, родственник этот никогда Маяну в глаза не видел и как-нибудь пережил бы ее самостоятельное пребывание в Мухусе. Тем не менее, этот маленький красавчик, умевший ловко обделывать свои дела, весело и охотно принял у себя в доме свою многоюродную племянницу.

Он почти сразу стал за ней ухаживать, нагло выдавая свои знаки внимания за внезапно вспыхнувшие родственные чувства. Эта могучая горная девушка ему понравилась. К несчастью, он тоже понравился Маяне, хотя она этого не осознавала.

Она давно себе вымечтала образ богатырского мужчины, который ей когда-нибудь встретится и которого она полюбит на всю жизнь. Так что ухаживания хохотуна-кукленка, как она его называла про себя, она не принимала всерьез.

Однажды в городе она встретила целую дюжину богатырского роста молодых людей. Сердце у нее замерло в груди, ей показалось, что она встретила представителей племени ее будущего жениха. Она даже подумала, что ее будущий жених может оказаться одним из этих парней. Замирая от волнения, она пошла за ними, стараясь идти незаметно, и вскоре все они пришли на городскую баскетбольную площадку. Увидев, что они, как дети, отнимают друг у друга мяч, и поняв, что они не представляют единое племя богатырей, она разочаровалась в них и ушла домой.

Жена Шалико, так звали родственника Маяны, довольно часто уезжала в село к своим близким: то на свадьбу, то на похороны, то навещать больных. В таких случаях она просила Маяну присматривать за детьми, что Маяна делала умело и охотно, потому что в доме у себя была приучена нянчиться со своими младшими сестренками.

Маяна добросовестно кормила и укладывала детей (их было двое), снисходительно отмахиваясь от своего маленького дяди, пристававшего к ней.

— Ну до чего ж ты мал, — говорила она иногда, откладывая тетрадь или книгу, чтобы взглянуть на него, вертевшегося рядом, норовя поцеловать ее или приобнять.

— У маленькой кукурузы початок большой, — говорил он ей весело.

— Не всегда, — уточняла Маяна, подумав и совершенно не понимая его темных острот.

В этом месте он почему-то начинал хохотать, и Маяна, смущаясь, чувствовала, что ей приятно ее собственное смущение.

— Смотри, — грозила она ему кулаком, — если покусишься, черепушку проломаю...

В знак полного признания своей слабости в ответ на ее слова он, как в кино, подымал вверх руки. Бедняга, думала о нем Маяна, чувствуя свое нешуточное превосходство над ним в физической силе.

Но то, что должно было случиться, случилось. В ту ночь, пользуясь отсутствием жены, уехавшей на сороковины умершего родственника, он полез к Маяне в постель. Сначала Маяна легко отбивалась от него, приговаривая:

— Ну до чего же хитрый... Господи, какой хитрец... Вы посмотрите, чего надумал этот бесенок...

Да я его в случае чего одной рукой придушу, думала она, и в то же время этой же рукой с силой прижимала его к себе, тем самым, как ей казалось, показывая ему, как она его будет душить в случае надобности.

Бедняга Маяна не знала, что с природою шутики плохи, да она сама была частью этой природы, и что тут удивительного, если она этого не понимала.

Через час, расплатившись за ее невинность клоком волос, вырванных из его головы, недодушенный родственник ушел к себе в комнату. Маяна поплакала, поплакала и покорилась новой судьбе.

Жена Шалико продолжала время от времени навещать своих родственников...

Через четыре месяца бедная Маяна, бросив школу, внезапно возвратилась домой, неся в руке свой красный фанерный чемодан, а в животе плод от этого ужасного хитреца.

Тете Маше кое-как удалось замять эту историю, и бедная Маяна, выплакав все глаза, поняла, что на богатыря теперь нечего рассчитывать. Через год по настоянию матери она вышла за довольно старого человека, жившего в соседнем селе. Тетя Маша называла его не старым, а почтенным человеком.

Почтенному человеку было под семьдесят лет, и по слухам, которые распространяли чегемцы, ссылаясь на верные источники, по этим слухам Маяна в первую же брачную ночь сломала своему почтенному мужу два ребра, которые до конца его жизни так и не срослись.

Но, опять же, если верить чегемским слухам, старик оказался на высоте, потому что, будучи человеком со сломанными ребрами, он, по крайней мере, успел зачать еще двух детей, если первого ребенка, как предполагали чегемцы, он успел зачать до того, как треснули его ребра. Всего у него родилось три

ребенка, причем, что опять же отмечалось чегемцами, первой родилась девочка, а двое других оказались мальчиками.

Отголоски этих слухов доходили до отца Маяны, он прислушивался к ним и, сопоставляя с явью, решил, что там, наверху, старика наградили мальчиками за проявленное мужество. Все же нелегко в его возрасте, да еще со сломанными ребрами, взнудать такую могучую девушку, как его Маяна.

Тетя Маша думала, что муж ее ничего не знает о том, что случилось с Маяной. Во всяком случае, до поры так думала. До той поры, пока он однажды, сидя перед костром в мокрой одежде, весь в клубах пара, вдруг пробормотал то, о чем не переставая думал многие дни и ночи...

— На старичишке решила зло сорвать... Ты бы в городе кой-кому ребра пересчитала бы...

Тетя Маша, тяжело вздохнув, промолчала и больше к этому ни прямо, ни намеками они не возвращались.

Кстати, когда Маяна выходила замуж, городской родственник тайно, через людей, передал подарок для Маяны: новые туфли, драповый отрез на пальто, тысячу рублей денег.

Подарок, что ни говори, был богатый, и тетя Маша, втайне от мужа, что сделать было легко, переправила его дочери. Дочка не приняла ничего, велев передать матери, что туфли ей так и так малы, а подарок она все равно брать не будет.

Прошло три года, в течение которых Маяна благополучно рожала своих детишек, а чегемцы поутихли, во всяком случае, перестали гадать о состоянии ребер старого мужа Маяны.

К этому времени у тети Маши созрел план послать в Мухус на бухгалтерские курсы следующую за Маяной дочку — Хикур. Сам председатель колхоза надоумил ее, сказав, что он отхлопотал у райкома местечко на этих курсах, чтобы послать туда кого-нибудь из чегемцев.

Когда слухи об этом дошли до колхозной фермы, Махаз, никому ничего не сказав, покинул ферму, пустился по верхнечегемской дороге, обогнул свой дом, спустился в котловину Сабида и, подойдя к молельному ореху, дал клятву выпить кровь того, который в городе или в любом другом месте покусится на его дочь Хикур.

Дав клятву, он успокоился и по дороге на ферму заглянул домой. Он не только успокоился, он просто не мог унять тайного ликования, охватившего его душу. Когда жена выложила ему свои соображения по поводу Хикур, он ей ответил:

— Хоть к дьяволу в пекло посылай... Я сейчас был у молельного ореха и дал клятву выпить кровь того, кто покусится на мою дочь...

— Авось не покусится, — отвечала тетя Маша, — да и жить она будет в общежитии, хотя этот наш злодей и лопается от недостатка.

Так и уехала следующая дочка тети Маши, еще более могучая и цветущая девушка Хикур. Она поступила на бухгалтерские курсы, хорошо училась, жила в общежитии, но сердце, сердце юной горянки (о чем никто не подозревал) пылало яростной жадью возмездия. Она была еще девочкой, когда ее обжег слух о том, что случилось с Маяной. Ни разу нико-

му из взрослых не показав, что она знает о случившемся, она страдала и вынашивала мысль о справедливой мести.

Бедняга Маяна была слишком доброй и доверчивой, а этот негодяй ее обманул. О, если бы Хикур была на ее месте, она бы показала ему! Она бы свернула ему голову, как цыпленку!

Хикур хорошо училась на курсах и в свободное время гуляла по городу, надеясь, наконец, встретиться с совратителем своей сестры и как-нибудь отомстить ему.

Внешность его она запомнила еще с тех пор, как Маяна училась в городе. Тогда она приезжала с отцом на базар продавать грецкие орехи, и они два дня пробыли в городе и несколько раз видели своего веселого родственника.

Она ожидала, что, приехав учиться в город, где-нибудь обязательно встретится с этим негодяем. Но вот уже прошло несколько месяцев, а он ей нигде не попадался. Ей было удивительно, что он ей нигде не попадается. Она ждала этой встречи, чтобы отомстить ему, хотя сама ясно не могла предсказать, как именно она ему будет мстить.

Первым делом надо было его как-нибудь встретить. Она стала прохаживаться по улице, где он работал. Однажды он прошел мимо нее с каким-то товарищем. Он не заметил или не узнал ее. Это ее еще больше подзадорило, она стала чаще прохаживаться по этой улице. Однажды, когда он шел ей навстречу, поигрывая связкой ключей от магазина, они столкнулись, и он ее узнал.

— Послушай, да ты не сестричка ли Маяны? — спросил он удивленно и ничуть, как она заметила, не смущаясь.

— Вроде бы, — ответила Хикур, как ей казалось, язвительно.

— Ну и растете же вы, — сказал он, с удовольствием оглядывая ее обильную цветущую плоть.

— Кто вверх растет, а кто в землю, — ответила она, намекая на его коварство.

— Да ты, я вижу, бойкая! — сказал он, продолжая оглядывать ее.

— Уж не Маяна, — отвечала она с грозным намеком, но он сделал вид, что ничего не понял.

— И Маяна была хороша, — сказал он примирительно, — слава Богу, вышла замуж... живет... Как отец?

— Дал клятву перед молельным деревом, — сурово отвечала Хикур, — выпить кровь того, кто покусится на меня...

Она почувствовала, что в городе, где бегают машины и громятся большие дома, клятва отца звучит неубедительно.

— Да кто ж тебя такую тронет! — радостно вскрикнул он. — Да ты сама небось кого хочешь убьешь!

— Пусть только покусится, — отвечала Хикур важно, и он рассмеялся.

Он пригласил ее заходить, и через несколько дней она пришла к ним в дом. Она решила, что это нужно для ее будущей мести. Жена его очень обрадовалась ей и, вспоминая Маяну, все удивлялась ее внезапному отъезду, из чего Хикур заключила, что она ничего не знает о случившемся с сестрой. До чего же хитер, думала Хикур, глядя на своего родственника, весело мельтешившего перед ней.

Она стала приходить к ним в дом. Хикур решила подпустить его поближе и, когда станет ясно, что он покушается на ее невинность, убить его или еще лучше навеки изуродовать. Теперь жена Шалико сама, если уезжала куда-нибудь, приглашала Хикур присмотреть за детьми, и Хикур приходила и оставалась ночевать, ни на мгновение не забывая о своем замысле.

Хикур кормила, укладывала детей спать, теперь их было трое, и все думала о предстоящей мести, и все не могла выбрать способ, самый внушительный и беспощадный.

Она еще не могла решить, на какой именно стадии ухода она может с полным правом проломить ему череп, задушить его или навеки изуродовать. Дальше поцелуев он пока не шел, а Хикур считала, что этого вроде недостаточно, чтобы задушить человека или, скажем, проломить ему спину, чтобы он сделался горбуном. По ночам, обдумывая этот способ мести, она язвительно улыбалась, представляя, как он, и без того маленький, а теперь сторбившись, едва торчит над прилавком своего магазина.

А между тем Шалико ждал, когда она привыкнет к его поцелуям и ласки его вызовут в ней ответную вспышку чувственности.

Никаких укоров совести по поводу судьбы Маяны он не испытывал. Он решил, что все кончилось благополучно, он хорошо одарил Маяну, а то, что она вышла замуж за старого человека, так это их дело, мало ли в деревнях выходят замуж за стариков.

Наконец наступила ночь, когда они снова остались в доме одни, и каждый про себя решил, что этой ночью все случится. Уложив его детей, Хикур не стала сидеть за учебниками, а отправилась спать, чутко прислушиваясь к тому, что происходит в доме.

Он долго не приходил, и она решила: ждет, чтобы дети крепче уснули. Или ждет, чтобы она уснула? Ну нет, этого он не дожидается! Примерно через час он погасил свет и, разувшись, тихонько вошел в ее комнату. Хикур лежала не шевелясь.

Она вдруг почувствовала, что боится его нерешительности. Он стоял у двери и смотрел на кровать, где, замерев, лежала Хикур, боясь, что он испугается и уйдет.

Она чувствовала в себе силы и способность выполнить то, что задумала. Она только боялась, что дети проснутся и начнут плакать, если что-нибудь услышат. Теперь она окончательно утвердилась в мысли, что задушит проклятого совратителя, заткнув подушкой ему лицо.

Он тихонько подошел к кровати и присел рядом. Я пригну его подушкой, думала Хикур, тихо ликуя, я буду давить его подушкой, пока он не перестанет барахтаться под ней.

Он уже наклонился над ней и начал осторожно целовать ее, а она продолжала делать вид, что спит, чтобы не вспугнуть его, а он делался все смелее и смелее, а она, дожидаясь мгновения, когда нужно будет кинуться на него и прихлопнуть его подушкой, вся замерла, но на миг, прислушавшись к его ласке, что-то упустила и уже не могла поймать то, что упустила,

не могла решиться, не могла ничего, потому что сладостная слабость обволокла ее тело и душу.

Ее девичество не обошлось Шалико и клоком волос, когда вырванным из его головы Маяной. Он тут же уснул, а Хикур плакала, плакала, уткнувшись головой в подушку, которой собиралась душить совратителя сестры. Сейчас он спал, приоткрыв рот, и она могла сделать с ним все, что хотела, но она понимала, что сейчас это ни к чему, это глупо, и поздно, и... жалко... Так Хикур не удалось отомстить за свою сестру.

Время шло, и жена Шалико продолжала ездить навещать своих деревенских родственников.

* * *

Примерно через три месяца после этой роковой ночи Махаз пахал на своем приусадебном участке. Близился полдень, и пахарь уже настораживал слух в сторону дома, что вот-вот жена его должна позвать обедать, да и быкам пора передохнуть.

На мгновенье приподняв голову, чтобы утереть пот с лица, он вдруг увидел, что по дороге к дому вдоль плетня приусадебного участка идет его дочь Хикур с проклятушим красным чемоданом в руке. Чего это она вдруг приехала, подумал Махаз, чувствуя, что случилось что-то недоброе. Лицо девушки было сумрачно и ничего хорошего не предвещало.

— Ты чего? — крикнул он ей, когда она по ту сторону плетня поравнялась с ним.

Девушка сумрачно посмотрела на отца и, ничего не говоря, пошла дальше. На ней было драповое пальто из присланного когда-то для Маяны отреза. Да и сама она сейчас точь-в-точь была похожа на Маяну, когда та приехала из города с этим же чемоданом в руке. Пораженный догадкой, Махаз несколько минут простоял неподвижно.

— Да на вас стариков не напасешься! — крикнул он в сторону исчезнувшей дочки и погнал быков. — Ор! Хи! Волчья доля!

Он решил не жалеть быков и допахать участок. Он знал, что пришел его час. Он допахал участок, загнал быков во двор и вошел в кухню, где заплаканная дочь сидела у огня рядом с матерью. Когда он вошел, дочь его замолкла.

— Полей отцу, — сказала мать и стала накрывать на стол. Из горницы прибежали остальные дети и уселись за столом — мал мала меньше. Махаз сел во главу стола. На первое ели горячую мамалыгу с фасолью и квашеной капустой, на второе кислое молоко. Махаз сейчас ничего не испытывал, кроме безотчетного чувства раздражения на красный чемодан, стоявший перед его глазами по ту сторону костра. Ему казалось, что все несчастья его жизни связаны с этим красным чемоданом.

— Одному удивляюсь, — сказал он, кивая на чемодан, — с тех пор, как он здесь появился, мы успели постареть, а ему сносу нет...

Тетя Маша встала и молча убрала чемодан в горницу. Полев, Махаз снова вымыл руки и ополоснул рот. Хикур ему поливала. Вымыв руки, он взял кружку с водой и пошел за дом, где лежал большой точильный камень. Он вынул из чехла,

висевшего у него на поясе, свой длинный пастушеский нож и, полив водой точильный камень, стал точить свой нож. Нож и так был острый, но он решил довести его до самого предела остроты. И когда нож стал, как бритва, срезать с руки волосы, он, проведя несколько раз лезвием по своей задубевшей ладони, вложил его в чехол.

Потом он вошел в горницу, переоделся, натянул на ноги ноговицы, а самодельную обувь из сыромятной кожи сменил на городские ботинки. После этого он надел на себя ватник и, хлопнув по карманам, убедился, все ли на месте. Взгляд его упал на графин с чачей, стоявший на очажном карнизе. Рядом с графином стояло несколько стопок. Одну из них он сунул себе в карман.

Он вошел в кухню, где у огня все еще сидела его жена с дочкой. Увидев его, они опять замолкли.

— Чего уж шептаться, девушки-подружки, — сказал он и, обращаясь к Хикур, добавил: — Он?

— А кто ж еще? — отвечала девушка, опустив голову.

— А про клятву мою он знал? — спросил Махаз.

— Сама говорила, — вздохнула Хикур.

— Ишь ты! — удивился Махаз. — Слушай меня, — продолжал он, все еще обращаясь к дочке и показывая, что обращается именно к ней, — отведешь быков в Большой Дом... Если я вдруг не приеду, пусть кто-нибудь из братьев засеет мой участок... Ближе к вечеру отгонишь коз на ферму, скажи, мол, уехал по делу, пусть они там кого-нибудь приставят к ним.

Он вышел во двор и, не прощаясь ни с кем, зашагал к калитке. На крутом откосе между его двором и верхнечегемской дорогой паслись его колхозные козы. Он даже не взглянул в их сторону.

— Да постой же ты! — крикнула тетя Маша и сделала несколько шагов в его сторону. Он не оглянулся и не сбавил шага. — Чего-нибудь дурного не натвори, — сказала она, бесильно останавливаясь посреди двора.

Впервые в жизни она почувствовала, что теперь не имеет над ним прежней власти и даже никакой власти не имеет. И впервые в жизни она почувствовала к нему уважение, которого никогда не знала.

— Худшего не натворишь, — отвечал он, не оглядываясь, и, пнув ногой калитку, вышел со двора и пошел тропинкой вдоль плетня, огораживающего приусадебный участок.

В Большом Доме видели, как он проходил мимо, но никто, кроме его старой матери, сидевшей на веранде, не обратил на это внимания. Она попросила домашних окликнуть его, узнать, куда это он заторопился, но никто не стал его окликать: мало ли куда человек идет!

Хотя старая его мать видела хуже всех, она по его решительной, не свойственной ему походке, поняла, что он собирается сделать что-то решительное, не свойственное ему. А по опыту своей жизни она знала, что когда мужчина пытается сделать что-то решительное, не свойственное ему, то это чаще всего кончается кровью. Ей стало тревожно за сына.

Махаз вышел из Чегема и стал спускаться вниз по крутой тропинке, ведущей к Кодору. Как только он вышел на косогор, в лицо ему ударил шум реки. Далеко внизу всеми своими рукавами мутно блестела дельта Кодора.

Окинув взглядом открывшуюся долину с дельтой реки, бегущей к морю, он вздохнул, словно впервые почувствовал власть своей роковой обязанности и одновременно конец вольной жизни, именно сейчас открывшейся ему в прощальной красоте распаханного перед ним пространства.

Он быстро спустился легким пастушеским шагом, и мелкие камушки осыпи катились вслед за ним сухим ручейком и ударяли по ногам, словно подгоняя его вперед.

Крутая тропинка напомнила ему то, о чем он, в сущности, никогда не забывал, вернее, то, что всегда было при нем, даже если он об этом не думал.

Много лет тому назад, когда он работал проводником в геологической партии, начальник партии однажды послал его в Кенгурск встречать его жену, ехавшую к нему из Ленинграда. В то далекое раннее утро он стоял на пристани среди встречающих паром, придерживая за поводья двух оседланных лошадей. Жена начальника его сразу узнала и, прямо от трапа махнув рукой, подбежала к нему. Видно, муж ее предупредил, что встречать ее будет человек с лошадьми.

Когда она подбежала к нему, поражая его белизной лица и ослепительной улыбкой, он так растерялся, что хотел вскочить на лошадь и ускакать, но сдержался и, только скинув войлочную шапку, долго и неловко тряс протянутую ему руку.

Потом они оба засмеялись над его растерянностью, и ему стало легко-легко. Он помог ей взобраться на лошадь, и она вскочила в седло, усаживаясь на нем по-мужски. Юбка на ее ноге с той стороны, с которой он ее подсаживал, слегка задра-лась, обнажив круглое и нежное, как щека ребенка, колено. Голова у него закружилась, и он, припав к этому прохладному колену, поцеловал его.

— Ах ты, дурачок! — сказала она и рукой отстранила его голову от своего колена. Но, прикоснувшись ладонью к его голове, чтобы оттолкнуть ее, она легким движением ладони на самое малое мгновение приласкала его, и он, вскочив на лошадь, ударил ее плетью и поднял на дыбы.

Ему было двадцать пять лет, и он впервые в жизни поце-ловал женщину.

Три года с перерывами на зимние месяцы он служил про-водником при ее муже, кое-как научился говорить по-русски, и каждый раз видеть ее было для него праздником. Он никог-да не пытался чего-нибудь добиваться от нее, потому что она была женой другого человека, да еще такого замечательного человека, как ее муж.

Человек этот поразил Махаза тем, что был совсем не по-хож на многих городских людей и в особенности на тех го-родских людей, которые недавно ушли из деревни и, став го-родскими, быстро, удивительно быстро отвыкали от физиче-ской работы, от преодоления всего того, что приходится преодолевать человеку, проводящему свою жизнь под от-крытым небом.

Раньше, до встречи с этим человеком, Махаз считал, что каждый ученый человек, начиная с тех, которые только умеют читать буквы и цифры, отходит от физической работы ровно настолько, насколько он учен. Да они и делаются учеными, считал он, начиная от всяких там писарей, именно для того, чтобы отойти от физической работы и от жизни под открытым небом.

А этот был совсем другой ученый человек. Он мог провести в седле семь-восемь часов, мог гнать коня через горный поток, развести огонь в самую мокрую погоду и спать, укрывшись буркой или, русским способом, влезши в мешок для спанья.

Глядя на этого человека, Махаз убедился, что не все так просто, и ученость необязательно вызывается желанием уйти от физической работы, а может быть следствием и лучших стремлений. И за это он испытывал к нему высокое уважение и любил его жену, сам того не зная, самой чистой, самой романтической любовью.

Через три года они закончили свои работы в окрестных Чегему горах и уехали в Ткварчели, где была их основная база. Почти за год до их отъезда он стал думать, что бы подарить жене начальника, чтобы они вместе с мужем долго помнили его. Именно в этот последний год ему в лесу попался очень редкий в наших краях рыжий медведь. Он убил его, высушил его огненную шкуру и подарил им на прощанье.

Потом он время от времени ездил в Ткварчели и навещал их, привозя с собой то бурдюк вина, то грецкие орехи, то копченое мясо, которое она впервые здесь попробовала и очень полюбила.

И когда он от них уезжал, они тоже дарили ему всякие подарки. Однажды его высокий кунак подарил ему даже двустволку. И позже, когда он женился на Маше и пошли дети, она дарила им одежду, ткани или городские сладости. Жена Махаза не только не ревновала его к ней, а, наоборот, всячески поощряла его ездить туда. И если они резали дома скотину, она говорила:

— Отвез бы своим русским родственникам их пай.

Когда наступила чума тридцать седьмого года, Махаз сразу же понял, что его высокий кунак не уцелеет, и предложил ему укрыться в Верхней Сванетии, где его никто не найдет. В ответ на его серьезные речи по этому поводу кунак его почему-то только посмеивался и говорил, что не может быть такого, чтобы и его взяли.

Удивительно, как ученые люди иногда не понимают простых вещей. Через месяц после их последнего разговора на эту тему он узнал, что кунака его забрали. Промаявшись несколько месяцев, жена его уехала вместе с маленькой дочкой к себе в Ленинград.

Через год гнилое время кончилось и людей перестали забирать, но тех, кого взяли, не выпускали. Ему бы этот год перетерпеть в горах, он целым и невредимым вернулся бы в свою семью. Махаз понимал, что кунаку его мешала ложная гордость (стыдно прятаться), и еще, чувствовал Махаз, он не верил, что от них можно спрятаться. А Махаз прекрасно знал, что от них можно спрятаться, как прятались некоторые абреки, да и не только абреки...

Да, хорошие люди, дай Бог им здоровья, если они еще живы. Со времени ее отъезда прошло три года. В первый год она им прислала несколько писем, где писала, что дома у нее все в порядке, но муж все еще в тюрьме и хлопоты пока что не помогают. Потом переписка засохла, и он не знал, что с ней и жив ли ее муж.

Да, около двадцати лет прошло с тех пор, как он ездил встречать жену начальника, и многое изменилось с тех пор. И сам он женился и наплодил девчонок, и старшая дочка вышла замуж по-людски, и две его девочки опозорены сукиным сыном, и он сейчас едет в город смывать с них бесчестие.

Много времени прошло с того дня, а он все так же, как и в первый год, помнит тот светлый день своей жизни. Хорошие дни выпадали и до этого дня и после, но такого счастливого не было никогда.

Махаз спустился в деревню Наа, что приютилась возле Кодора. Он вышел к реке, но паромщика на месте не оказалось. Дом паромщика был расположен ниже по реке, метрах в ста от места переправы. Махаз посмотрел в сторону его дома и увидел паромщика, пашущего на своем приусадебном участке. Пастух несколько раз пронзительно свистнул, паромщик, остановив быков, обернулся и, подняв руку, показал, что он заметил Махаза.

Недалеко от переправы было расположено сельское кладбище. Махаз увидел, как туда прошел старый волкодав и, перескочив в два приема через деревянную ограду одной из могил, скрылся за нею.

Он знал, что это могила местного охотника, умершего два года тому назад. Он слышал об этой собаке, что она после смерти хозяина живет на его могиле. В первое время она вообще никуда не отходила от могилы ни днем, ни ночью, так что родные охотника вынуждены были носить ей сюда еду. Теперь собака два-три раза в день приходит домой поесть и снова отправляется к могиле своего хозяина, словно сторожит ее.

У Махаза тоже в свое время был замечательный волкодав. Однажды он спас ему жизнь. Дело было так. В лесу за котловиной Сабида Махаз обнаружил у подножия дикой груши множество медвежьих следов. Видно, медведь приходил сюда лакомиться грушами. Махаз решил поставить капкан и поставил его.

Дней через десять он пастушил рядом с этим местом и решил проведать свой капкан. Вместе со своей собакой он отправился туда. К подножию дикой груши вела узкая тропинка между зарослями папоротника в человеческий рост, заключенного ежевикой.

Он шел вперед, а собака шла за ним. Шагов за десять от груши собака зарычала и попыталась выйти вперед, но он ее не пропустил. Через несколько секунд, как только он дошел до конца тропинки, перед ним внезапно вырос медведь, вставший на задние лапы. Обдавая его смрадным дыханием, медведь стоял на расстоянии одного шага, и он уже ничего не мог сделать: ни снять ружья, ни отступить назад. Инстинктивно он нырнул вперед, под медведя. Медведь ударил его лапой, удар пришелся на ложе ружья. От силы удара у Махаза

перехватило дыхание, и он ждал, что будет дальше, как вдруг почувствовал, что медведь зарычал и отступил.

Махаз поднял голову и увидел, что медведь стоит уже на четырех лапах, а на нем, взяв его за глотку, висит собака. Через несколько секунд огромный медведь рухнул на землю, а собака, рыча, продолжала держать его за горло. Медведь был мертв.

Махаз сел на землю, чтобы немного прийти в себя. Он подозвал собаку, но та, продолжая держать медведя за горло, в ответ только прорычала. Махаз заметил, что медведь рядом с капканом вырыл огромную яму. Капкан держал его за заднюю ногу. Видно, оголодав, медведь пытался добывать из земли корни.

Дрожащими пальцами Махаз скрутил сигарку и закурил. Он снова подозвал собаку, и на этот раз она подошла к нему, но все еще была сильно возбуждена, потому что, посидев возле него несколько минут, она снова подошла к трупку медведя и, рыча, вцепилась ему в горло, в то же самое место, за которое она его держала до этого. Казалось, собака хотела лишний раз убедиться в том, что это именно она его задушила.

Махаз никогда не слышал, чтобы собака могла задушить медведя. Но, видимо, этот медведь сильно отошал от голода и бесполезных попыток вырваться из капкана. Конечно, не попади он лапой о приклад ружья, сил у него хватило бы двумя-тремя ударами изувечить его или отправить на тот свет. Но какова собака, бесстрашно прыгнувшая на плечи вставшего на дыбы разъяренного медведя?!

Покамест он ждал паромщика, подошли двое местных крестьян, переправлявшихся на тот берег. Подошел и паромщик,

и все влезли в паром. Паромщик багром оттолкнулся от берега, и паром пошел против течения, порывисто дергаясь, вперед.

Узнав, что Махаз едет в город, паромщик попросил его привезти ему новый замок. Махаз отвечал, что боится, что дело, по которому он едет в город, может его надолго там задержать.

— Что за дело? — спросил паромщик. Они уже были на середине реки, и голоса заглушал шум реки.

— Дело маленькое, — крикнул ему в ответ Махаз, — да больно хлопотное!

Больше паромщик не стал у него ни о чем спрашивать. Паром ткнулся о противоположный берег, Махаз расплатился с паромщиком и спрыгнул на землю.

Давным-давно, когда сестра его выходила замуж за парня из Мухуса, он, Махаз, ехал в числе сопровождающих невесту. Они подъехали к переправе и убедились, что паром стоит на том берегу, а паромщик неизвестно где пропадает. И тогда Махаз слез с коня, влез на столб, на котором держался стальной трос, перекинутый через речку, и, не обращая внимания на крики сопровождающих, — особенно кричала сестра, — он, бесстрашно перебирая руками, перебрался через Кодор и, спрыгнув на том берегу на землю, оттолкнул паром и подошел на нем к другому берегу. Целый месяц после этого у него болели ладони, стертые стальным тросом.

Того парня, мужа его сестры, тоже взяли в тридцать седьмом году, и он тогда так же, как и кунаку, предлагал ему спрятаться в лесу и переждать гнилое время. Тот тоже не захотел прятаться, и вот сестра его осталась одна в городе с двумя де-

тymi на руках. Конечно, родные ей помогают, да и сама она работает санитаркой в больнице, но легко ли в городе одной с двумя детьми. Ему бы переждать гнилое время, и через год целехоньким вышел бы из леса и приехал в свою семью. Но теперь уже поздно, теперь об этом и думать не стоит...

Когда Махаз вышел в село Анастасовка, автобус, отправляющийся в Мухус, уже наполнялся пассажирами. Он взял билет, влез в автобус и сел на свое место. Всю дорогу до Мухуса он думал, зайти ли ему к сестре — увидеться с нею, а уже потом браться за свое дело — или же не стоит. В конце концов он пришел к мысли, что не стоит растравлять сестру этой ненужной встречей. И так ей предстоит многое пережить, когда он сделает свое дело.

От автобусной остановки в Мухусе он прямо пошел в сторону магазина, где работал Шалико. Магазин стоял на углу, и поэтому он мог издали следить за ним. Он остановился метрах в тридцати от магазина и стал следить за ним. Он увидел несколько раз мелькнувшего за прилавком Шалико. Шалико был заведующим магазином. Махаз знал, что после закрытия магазина заведующий обычно остается там — то ли подсчитывает выручку, то ли еще какими-нибудь делами занимается.

Он решил встретиться с ним в этом промежутке, когда уйдут продавцы, а он еще там останется. Если же он уйдет вместе с продавцами, Махазу придется сходить к нему домой и там с ним рассчитаться. Это было довольно неприятно, потому что там жена и дети. Он был уверен, что найдет способ остаться с ним с глазу на глаз, но все равно это было неприятно.

У прохожих он узнал, что до закрытия магазина оставалось еще больше часу, но он решил никуда не уходить, а дожидаться закрытия на этом месте. Мало ли что... Вдруг они вздумают закрыть свой магазин раньше времени.

Шалико не мог понять, почему у него весь день какое-то неприятное настроение, хотя дела его шли, как никогда, хорошо. Позавчера он получил двадцативедерную бочку меда, которую вчера рано утром они открыли вместе со старшим продавцом и, взяв из бочки четыре ведра меда, влили туда столько же воды. После этого они целый час размешивали густое месиво, пока вода полностью не растворилась в меде.

И что же? Два дня шла оживленная торговля медом, и покупатель-дурак стоял за ним в очереди и только похваливал мед. И надо же, чтобы именно сегодня, когда мед в большой бочке кончился и он велел продавать чистый мед, те самые четыре ведра, взятые из бочки, именно к этому меду придрался какой-то покупатель, говоря, что мед, видите ли, горчит.

Эта незаслуженная придирка лишний раз подсказывала Шалико, что с покупателя надо драть, только делать это надо умело.

Младший продавец, когда начали продавать мед из запасной бочки, видно, кое о чем догадался. Шалико его не посвятил в эту операцию, чтобы не делиться с ним: молод еще, пусть поишачит.

Но, видно, он кое о чем догадывался, потому что весь день ходил надутым, и Шалико думал, что именно это ему портит настроение. Шалико никак не мог решить — заткнуть ему рот

парой тридцаток или не стоит унижаться? Не стоит, наконец решил он, пусть с мое поищат, а потом будет в долю входить.

Год тому назад арестовали бывшего заведующего этим магазином, где Шалико работал старшим продавцом. Внезапная ревизия обнаружила в магазине мешок бесфактурного сахара, который тайно через доверенных людей переправлялся к ним с кондитерской фабрики.

Шалико был тогда в торге, и его успел предупредить один человек из торга, что у них вот-вот будет ревизия, и он должен об этом сказать своему заведующему. Но Шалико нарочно не спешил в магазин. Когда он через час пришел туда, там уже шла ревизия, которая этот бесфактурный сахар обнаружила.

На суде заведующий все взял на себя, и остальных продавцов не тронули, а самого Шалико через некоторое время назначили новым заведующим.

Он испытывал некоторые угрызения совести за проданного заведующего, но утешал себя тем, что этот заведующий в последнее время так много пил и так неосторожно себя вел, что рано или поздно сел бы сам и их мог потащить за собой.

За этот год он дважды давал по пятьсот рублей жене своего бывшего заведующего, оставшейся с двумя детьми, и она говорила, что все написала мужу и тот никогда не забудет о помощи, которую Шалико оказал своему бывшему заведующему.

Так обстояли дела Шалико в тот день, когда пастух караулил его, стоя недалеко от магазина.

Кстати, в этот же день он узнал еще одну приятную новость, которая на некоторое время победила его неприятные предчув-

ствия. Сегодня, заходя в торг, он столкнулся с другим заведующим магазином, и тот, наклонившись к нему, лукаво шепнул:

— Наш монах раскололся...

— Что ты! — удивился Шалико.

— Точно! — кивнул ему коллега.

Он рассказал, что новый инспектор, который работал у них около двух месяцев и которого все боялись, потому что он не брал взяток, пожаловался их общему знакомому, что его в торге обижают. Выяснилось, что он взяток не брал, потому что боялся напороться не на тех людей, а ему не давали, боясь, что он из тех, что не берут взятку. Недоразумение это, оказывается, благополучно разрешилось.

Все шло как надо, и сейчас, после рабочего дня, сидя в помещении склада и пересчитывая дневную выручку, которую он собирался сдавать в банк, он подумал — вот вещь, которой можно заткнуть любой рот и любую дыру.

Он вложил деньги в специальную сумку, но не успел ее запломбировать, когда услышал осторожный скрип открывающейся двери. Сперва у него мелькнуло в голове, что это кто-то из продавцов, что-то забыв в магазине, вернулся, но потом, увидев незнакомую фигуру в дверях, подумал, что это грабитель, и положил руку на тяжелые plombировальные щипцы, лежавшие на столе, за которым он сидел. Незнакомая фигура продолжала стоять в дверях, и через мгновенье, узнав в ней пастуха Махаза, он побледнел.

— Добром вас, — приветствовал он его по-абхазски и встал с места.

— Добром и тебя, — отвечал пастух и, прикрыв за собой дверь, вошел в помещение склада и огляделся. Он подумал, где бы это удобней было бы сделать, и, увидев налево от себя железную раковину с водопроводным краном, решил, что именно здесь это надо будет сделать.

Шалико, увидев отца Хикур, сразу же вспомнил, что ему весь день портило настроение. Дело в том, что сегодня утром он заходил в общежитие, где жила девушка, и комендантша ему сказала, что Хикур сегодня рано утром уехала к себе в деревню, прихватив с собой свой красный чемодан. Комендантша сказала все это так сумрачно, словно она знала, какие отношения у него с родственницей.

А он так надеялся на сегодняшний вечер: жена уезжала в деревню и сама просила передать Хикур, чтобы она накормила детей и уложила их в постель.

Шалико почувствовал, что ее внезапный отъезд не к добру. И это портило ему с утра настроение. Потом о причине, портившей ему настроение, он забыл, а настроение осталось.

Неужели она забеременела и, как сестра ее, ничего не сказав ему, уехала в деревню?! Проклятые дикарки! Ведь здесь, в городе все это можно обделать так, что все будет шито-крыто.

Ничего, главное, не падать духом, сказал он себе и подумал: хорошо, что не успел запломбировать сумку с деньгами. Своих денег у него в кармане было маловато.

— Садитесь, — почтительно предложил он гостю и, показав на стул по ту сторону стола, про себя подумал: дам ему тысячу рублей, и дело с концом.

Махаз не сел, и это было плохим признаком. Видя, что пастух не садится, Шалико и сам не посмел сесть.

— Так что вас к нам привело? — как можно гостеприимней спросил он, набравшись смелости.

Он лихорадочно подумал: пастух, видно, все знает про Хикур, но знает ли он про Маяну? Иногда раньше, задумываясь об этом, он решал: наверное, знает, раз цветущую молодую девушку отдали за старика. А иногда думал: может, и не знает, ведь он вечно со своими козами, а тетя Маша могла все это проделать помимо мужа.

— Разве Хикур тебе ничего не говорила? — спросил пастух.

Шалико подумал, что, по мнению отца, девушка должна была поговорить с ним перед отъездом. Но она ни о чем таком с ним никогда не говорила. Раз он так спрашивает про Хикур, подумал он с облегчением, значит, про Маяну он ничего не знает.

— Нет, ничего не говорила, — ответил он с полной искренностью, потому что она и в самом деле ничего не говорила.

— Разве она тебе не говорила, что я дал клятву: если это случится еще раз, я выпью кровь того, кто это сделает?! — спросил Махаз.

«Еще раз!» — как эхо повторилось в голове у Шалико. Значит, он про Маяну знает! Он решил отдать пастуху всю дневную выручку. В сумке лежало тысяча восемьсот рублей. Он еще раз с облегчением вспомнил, что еще не заплombировал деньги, словно этот маленький кусок свинца, как пуля, решал, жить ему или не жить.

Он слегка отодвинул сумку с деньгами в сторону пришельца, словно осторожно указывая направление развития их дальнейшей беседы. Потом он посмотрел на пастуха, но лицо Махаза оставалось непроницаемым.

И вдруг он сразу догадался, что с деньгами здесь ничего не получится. В этом лице нет щели, куда можно было бы просунуть деньги, нет слуха в этих ушах, способного радоваться колдовскому шелесту этих бумажек.

Все-таки он преодолел это дурное предчувствие и сказал, взглянув на сумку с деньгами:

— Может, деньги нужны... Мало ли что... По хозяйству...

Пастух обратил внимание на его слова не больше, чем если бы Шалико почесался. Переждав несколько секунд, он снова спросил с терпеливым упорством:

— Разве она тебе не говорила?

Если бы Шалико имел дело с человеком, подобным тем людям, с которыми он обычно имел дело, он стал бы выкручиваться, требовать доказательств и в конце концов выкрутился бы. Но он понимал, что перед ним совсем другой человек, и здесь эта мелкая ложь может только ухудшать его положение.

— Когда-то говорила, — вздохнул он, — так ведь я ненасилно...

— Если ребенку, скажем, протянуть отравленную конфету, это тоже ненасилно, не правда ли? — спросил Махаз. Было видно, что пастух хорошо обдумал, что говорить.

— Виноват, — сказал Шалико, опуская голову и в самом деле чувствуя вину и сознательно доигрывая это чувство, по-

тому что по его ощущениям теперь только такой путь мог отвести от него кару этого дикаря.

— Ха! — хмыкнул пастух и, не глядя, потянулся рукой за ножом, вытащил его из чехла и ткнул острием в сторону небеса. — Это ты ему скажешь...

— Как? — спросил Шалико, цепenea и не веря своим глазам. — Ты хочешь взять мою кровь?!

— Не взять, а выпить поклялся я, — поправил его пастух, ссылаясь на клятву, как на документ, который никак нельзя перетолковывать.

Сейчас он смотрел на Шалико без всякой вражды, и это сильнее всего ужаснуло Шалико. Так крестьянин без всякой вражды смотрит на овцу, предназначенную для заклания.

Шалико почувствовал, что внутри у него все немеет от страха, хотя он не был трусом. Мускулы отказывались подчиняться. Он скосил глаза на тяжелые щипцы для пломбирования, подумал, что можно было бы кинуть их в него или ударить его ими, но это была вялая, пустотелая мысль, он знал, что сейчас не способен сопротивляться.

В десяти шагах от места, где они сейчас стояли, проходила улица, и было слышно, как вверх и вниз по этой улице пробегают машины. И каждое мгновение, когда слышался звук приближающейся машины, душа Шалико замирала со смутной надеждой, словно машина должна была остановиться перед его магазином, словно оттуда должны были выйти люди и спасти его от этого страшного человека.

Но каждый раз машина пробежала мимо, и душа его с беззвучным криком отчаянья кидалась за ней, отставала, возвращалась сюда, чтобы снова прислушиваться к голосам людей, проходящих мимо магазина по тротуару, к шуму новых приближающихся машин.

Странно, что на людей, проходящих мимо магазина, он почти не возлагал никаких надежд, а возлагал надежды на машину, которая вдруг остановится возле его магазина, и тогда случится такое, что этот пастух не посмеет его тронуть. С мистической бессознательностью надежда его тянулась к машине, к технике, то есть к тому, что дальше всего стоит от этого пастуха и самим своим существованием уничтожает его древние верования, его дикие понятия и предрассудки.

Мгновеньями ему хотелось изо всех сил крикнуть, забросать пастуха бутылками из ящиков, стоявших позади него, но какой-то мелкий здравый смысл подсказывал ему, что, если он начнет шуметь, он раньше погибнет. Все-таки у него еще теплилась надежда, что пастух его пугает, но убивать не будет.

— Выйди из-за стола, — сказал пастух.

— Зачем? — спросил Шалико, едва ворочая во рту одеревеневшим языком.

— Так надо, — сказал пастух, и, чувствуя, что парень этот стал плохо соображать, подошел к нему, и, слегка подталкивая его, подвел к раковине. Не может быть, не может быть, думал Шалико, вот сейчас даст мне по шее и отпустит.

— Нагнись, — приказал пастух, и Шалико покорно согнулся над раковиной, словно собирался мыть голову.

В то же мгновение он почувствовал, что пастух налег на него сзади всем своим телом и с такой силой надавил на него, что ему показалось — вот-вот край раковины врежется в живот. Он чувствовал необыкновенную боль в продавленном крае раковины животе, но от этой боли в сознании выпрыгивала радостная мысль, что раз пастух делает ему так больно, он его убивать не будет. И когда пастух, схватив его за чуб, со страшной силой откинул его голову назад и еще сильнее придавил его тело, снова из боли выпрыгнула радостная догадка, что раз он ему делает так больно, он его не будет убивать.

В первое мгновенье, когда Махаз полоснул его ножом по горлу, он не почувствовал боли, потому что та боль, которую он испытывал, была сильнее. Он только успел удивиться, что вода в кране булькает и хлещет, хотя пастух вроде крана не открывал. Больше он ничего не чувствовал, хотя тело его еще несколько минут продолжало жить.

Махаз изо всей силы прижал его к раковине, потому что знал: всякая живая тварь, как бы ни оцепенела от страха перед смертью, в последний миг делает невероятные усилия, чтобы выскочить из нее. В эти мгновенья даже козленок находит в себе такие силы, что и взрослый мужчина должен напрячь все свои мышцы, чтобы удержать его.

Когда кровь, хлеставшая из перерезанного горла, почти перестала идти, он бросил нож в раковину и осторожно, чтобы не запачкать карман, полез в него и достал из него стопку. Продолжая левой рукой придерживать труп Шалико за воло-

сы, он подставил стопку под струйку крови, как под соломинку самогонного аппарата.

Набрав с полстопки, он поднес ее к губам и, отдунув соринки, попавшие туда из кармана, где лежала стопка, осторожно вытянул пару глотков. Он поставил стопку в раковину и, дождавшись, когда кровь совсем перестала идти из горла, осторожно переложил труп на пол.

Он вернулся к раковине и пустил сильную струю воды, и раковина заполнилась розовой, пенящейся смесью крови и воды, и постепенно в этой смеси воды становилось все больше и больше, она светлела и наконец сделалась совершенно прозрачной, и стопка сверкала промытым стеклом, и нож был чист, без единого пятнышка.

Он закрыл воду, вложил нож в чехол, а стопку вбросил в карман. Он оглядел помещение склада и увидел висевший на стене старый плащ. Он снял его со стены и укрыл мертвеца плащом. Он заметил, что плащ Шалико велик, значит, не его, подумал он, кого-нибудь из работников магазина. На самом деле этот плащ принадлежал бывшему заведующему.

Он его здесь забыл, когда прямо после ревизии под стражей выходил из магазина.

Прикрывая его плащом, Махаз замешкался, залюбовавшись его лицом, сейчас спокойным и красивым, собственной кровью очищенным от скверны собственной жизни.

Он подумал, что, если бы все было по-человечески, не отказался бы от такого зятя, несмотря на его малый рост. Да, не

отказался бы, даже счел бы за честь. Но теперь об этом не стоило думать.

Он огляделся в поисках замка и нашел его висящим на стене возле дверей. Он еще раз огляделся, обшарил глазами стол, но нигде не увидел ключа от замка. Он подумал, что ключ может быть в кармане Шалико. Но ему не хотелось шарить по карманам мертвеца. В этом, по его разумению, было что-то нечистоплотное. Взяв в руки замок, он вышел из магазина, прикрыл дверь и, навесив на нее замок, так повернул его, чтобы снаружи казалось, что он заперт.

Он вышел на улицу и огляделся. С наружной стороны магазина двое бродяжяго вида людей, разложив на прилавке нехитрую снедь, пили водку, закусывая копченой ставридкой и хлебом. Судя по всему, они никуда не торопились.

Ему не понравилось, что здесь, у незакрытого магазина, он оставляет двух подозрительных людей. Они могли зайти в магазин и обворовать его. Кроме того, он подумал, что они могут осквернить труп, роясь в его карманах и как попало передвигая его. Пожалуй, это его беспокоило больше, чем возможность ограбления магазина.

Он заспешил поскорее отдаться в руки властям, чтобы они приехали сюда и, запечатав магазин, отвезли бы труп родственникам.

Милиционера нигде не было видно, но он знал, что в городе полным-полно милиционеров. Но ему сейчас почему-то не попадался ни один. Он вспомнил, что видел милиционера у входа в городской ботанический сад.

Он поспешил туда. Он почувствовал, что с каждым шагом в ногах у него прибавляется легкости, а голова начинает звенеть, как будто он хватил стопку первача. Неужто от человеческой крови можно опьянеть, подумал он. Нет, поправил он себя, это сказывается, что я выполнил свой долг, и Господь облегчил мне душу. Ему тоже, подумал он, теперь Господь отпустил грехи, и душа его, может быть, спешит в родную деревню, чувствуя, что она очистилась. В таком случае, подумал он, душа его скоро будет на месте. Шалико родом был из Эшер, совсем близко от города.

Завернув за угол, Махаз увидел идущего ему навстречу милиционера. По обличью он понял, что милиционер — русский. Ему бы больше всего подошел абхазский милиционер или, если уж абхазского нет, мингрельский. Но выбирать не приходилось, и он напряг голову, чтобы она правильно подносила к языку русские слова.

Легкой и, как показалось милиционеру, гарцующей походкой он подошел к нему.

— Моя резала амагазин ахозяин, — сообщил он ему.

Милиционер решил, что к нему подошел подвыпивший крестьянин. Он кончил дежурство и шел домой, и ему совершенно неохота было с ним связываться.

— Езжай домой, — сурово ответил ему милиционер и пошел дальше. Махаз остановился, удивленный равнодушием милиционера. Он постоял немного и снова нагнал его.

— Моя резала амагазин ахозяин! — крикнул он требовательно.

— Будешь буйнить — арестую, — вразумительно сказал милиционер и помахал пальцем возле его носа.

— Да, да, арестуй! — радостно подтвердил пастух. Это важное слово он никак не мог вспомнить, а тут милиционер сам его подсказал.

— Ты убил человека? — спросил милиционер заинтересованно.

— Убил, — сокрушенно подтвердил пастух. Он сказал это сокрушенно не потому, что чувствовал раскаянье, а потому, что хотел показать милиционеру, что правильно понимает печальное значение этого слова. — Горло резал: хрр, хрр, — также сокрушенно добавил он, — амагазин ахозяин...

— За что? — спросил милиционер, начиная что-то понимать и замечая кончик чехла от ножа, торчавший у него сбоку из-под ватника.

— Плохой дело делал, — старательно разъяснил Махаз, — моя клятва давал: кто плохой дело делает — моя кровь пьет. Моя пил кровь амагазин ахозяин.

Махаз вынул стопку из кармана и показал милиционеру, чтобы тот окончательно убедился в правдивости его слов. Но милиционер, почти поверивший ему, увидев стопку, снова усомнился в его трезвости.

— Езжай домой, — сказал он ему, — садись в автобус и езжай...

— Езжай — нельзя! — крикнул раздраженный пастух. Он столько усилий употребил, чтобы донести до сознания

милиционера суть своего дела, и вот теперь оказывается, что они возвратились к тому, с чего он начинал. — Чада! Чада! (Осел! Осел!) — добавил он по-абхазски для облегчения души и снова перешел на русский. — Моя резала амагазин ахозяин... Клянусь Господом, этот осел заставит меня совершить преступление, — добавил он по-абхазски, страшно утомленный непонятливостью милиционера.

Он подумал, что сказанное милиционеру было сказано ему с такой предельной ясностью, что не понять его было невозможно. До чего же неясен русский язык, подумал он, абхазец понял бы его с полуслова.

— Ладно, пошли, — сказал милиционер и повернул назад в сторону городской милиции. Легким шагом ступал рядом с ним пастух. Если он и в самом деле убил человека, думал милиционер, меня отметят как проявившего бдительность.

Махаз, почувствовав, что с ним распорядились верно и теперь его арестуют, стал проявлять беспокойство по поводу тела убитого.

— Амагазин ахозяин мертвая, — сказал он после некоторой паузы.

— Ты убил? — спросил у него милиционер.

— Моя убил, — подтвердил он как бы мимоходом, чтобы милиционер не останавливал внимание на этом выясненном вопросе. — Мертвая ночью крыс кушайт — нехорошо. Людям стыдно — нехорошо. Скажи домой: возьми мертвая амагазин ахозяин. Ночь — нельзя: крыс портит...

— Сейчас все выясним, — сказал милиционер. Они уже входили во двор милиции.

Милиционер ввел его в помещение и сдал дежурному лейтенанту, объяснив ему все, что он понял из рассказа пастуха. Дежурный лейтенант вызвал абхазского милиционера, и пастух рассказал ему все как было, объяснив, что он мстит за дочерей. Но почему его дочери нуждаются в мести, он не стал объяснять, но милиционер и так догадался, в чем дело.

Через пятнадцать минут милицейская машина подъехала к указанному магазину. Открыли его и убедились, что все сказанное пастухом правда. Махаза обыскали и при обыске отняли стопку и пояс с пастушеским ножом в чехле.

— Мертвого отправили домой? — спросил Махаз, увидев абхазского милиционера.

— За него не беспокойся, все в порядке, — отвечал ему абхазский милиционер, чтобы успокоить его. Он не стал ему объяснять, что еще немало формальностей предстоит сделать, прежде чем труп можно будет отдать родственникам.

Милиционер, приведший пастуха, убедившись, что он в самом деле совершил преступление, жалел, что сразу не сказал лейтенанту, что он сам задержал преступника. Теперь ему казалось, что вид этого крестьянина ему сразу же показался подозрительным и он хотел его задержать, но тот сам подошел к нему.

Махаза ввели в камеру предварительного заключения и закрыли за ним дверь. Он сразу же улегся на нары и, прикрыв лицо своей войлочной шапкой, стал думать.

Вот я наконец исполнил свой долг, думал он, освободил свою душу, отомстив за обеих дочерей. Он подумал, что теперь, исполнив свой самый высший мужской долг, он доказал, что имеет право на сына. Жаль, что теперь жены долго не будет под рукой, чтобы проверить, насколько он прав. Он подумал, что если его не убьют и он не слишком постареет в тюрьме для этих дел, то он сможет иметь сына и через десять и через пятнадцать лет, смотря, сколько ему дадут.

То, что жена его Маша для этих дел не постареет, он был уверен. Он был уверен, что жена его сама, добровольно, для этих дел никогда не постареет. Но он не беспокоился о ее чести. Он знал, что теперь он так защитил честь своих дочерей и собственную честь, что больше их ничто не запачкает. Тем более если его убьют. Он знал, что если суд решит, что его надо убить, и его убьют, то для чести дочерей это будет еще одной водой, которая отмоем их честь на всю жизнь, как бы долго они ни жили.

Он заснул, и ему приснилась далекая молодость, кенгурийский порт, где он дождался прибытия из Новороссийска большого парохода, держа за поводья двух лошадей.

И было множество праздничных людей, махавших платками с пристани, и было много праздничных людей, махавших платками с медленно пристававшего к пристани парохода.

И юная женщина, которую он никогда не видел, подбежала к нему, ослепив его светлым лицом и сияющей улыбкой, и он ее подсаживал на лошадь, и обнажилось колено, круглое и нежное, как щека ребенка, и он, не удержавшись, поцеловал это колено, и женщина сверху, с лошади, трепанув его по во-

лосам, сказала ему самое сладкое, что он слышал от женщины и вообще на этом свете:

— Ах ты, дурачок!

И он был счастлив во сне и во сне же пронзительно печалился, зная, что это сон, а сон рано или поздно должен окончиться.

14. умыкание, или загадка эндурцев

В этот теплый октябрьский день, уже основательно близившийся к закату, трое молодых парней стояли у огромного ствола каштана, крона которого была слегка позолочена солнцем и неторопливой абхазской осенью.

В воздухе стоял кисловатый дух то ли слегка подгнивающих прошлогодних листьев, устилающих землю, то ли усыхающих ягод черники, не оборванных людьми и не доклеванных птицами, то ли древесных соков, бродящих в могучих стволах смешанного леса.

Всем троим этот кисловатый дух напоминал запах вина «изабелла» на осенних свадебных пиршествах, что нам кажется вполне правдоподобным, учитывая причину, по которой эти молодые люди притаились у подножья огромного каштана.

Впрочем, чтобы установить с абсолютной точностью истинный состав запахов, который вдыхали молодые люди в описываемый час, нам пришлось устроить спиритический сеанс с вызовом духа нашего замечательного писателя

Ивана Бунина, гениальные ноздри которого по своей чуткости не уступали ноздрям дворянской гончей, а широту умственных интересов даже и сравнить не с чем.

Кстати, мы чуть не забыли упомянуть, что выше по косогору, метрах в двадцати от кряжистого каштана, к веткам молодого ольшаника были привязаны четыре лошади. И так как привязаны они здесь были довольно давно, к вышеупомянутым запахам примешивался запах свежего конского навоза, на что, между прочим, сурово указывал дух нашего знаменитого классика, а мы, по своей тупости, не сразу поняли, что он имеет в виду.

Итак, трое молодых людей, двое в черных черкесках, а один в белой (ошибаетесь, в белой не дядя Сандро, у него вообще никогда не было белой черкески), притаились у подножья каштана, четыре лошади привязаны к молодому ольшанику, и читатель сам догадывается, что речь идет об умыкании.

Но кто же двое остальных? Один из них дружок дяди Сандро по имени Аслан. Он-то как раз и шеголяет в белой черкеске. Аслан, несмотря на недавнюю Октябрьскую революцию, не только не скрывает своего дворянского происхождения, а, наоборот, всячески подчеркивает его, в том числе и своей белоснежной черкеской. Больше всего Аслан боится, как бы кто не подумал, что он боится своего происхождения.

И что характерно для обычаев наших краев, новая, Советская, власть, отстранив представителей этого сословия от высших должностей, тех, которые занимали таковые, не только не продолжала преследовать, как это делалось в России, но издали поглядывала на них с прощальной почтительностью.

Правда, новая, Советская, власть так поглядывала на них в тех случаях, когда выражение ее лица со стороны Москвы невозможно было разглядеть. А так как в те времена из Москвы разглядеть Абхазию было затруднительно, не только из-за естественной преграды Кавказского хребта, но также из-за слабого развития средств связи, местные власти почти всегда, за исключением революционных праздников, поглядывали на своих бывших аристократов с прощальной почтительностью.

Национальное своеобразие абхазской психологии наряду со своими недостатками имеет одно безусловное достоинство — почти полное отсутствие холопства, а отсюда и хамства.

В силу особенностей национальных традиций абхазцы по сравнению с многими народами почти не знали сословной обособленности. Аталычество — воспитание дворянских детей в крестьянских семьях — было обычным явлением. Именно воспитание лет до десяти—двенадцати, а не кормление грудью.

Кроме того, всенародные скачки, свадебные пиршества, поминки, сходки — все это достаточно часто собирало людей разных сословий в некую национальную мистерию, где крестьянин, встречаясь с дворянином, обычно разговаривал с ним почтительно, но и без малейшего оттенка потери собственного достоинства.

Поэтому в силу традиций, усвоенных с молоком матери, абхазский крестьянин, даже став революционером-большевиком, полностью не мог нарушить сложившихся отношений.

Победивший холоп, естественно, превращается в хама. Победенный хам легко переходит в холопство. Но тот, кто

не знал холопства, сразу не мог превратиться в хама. Потребовался некоторый исторический срок.

Вот почему Аслан продолжал гордиться своим дворянским происхождением и шеголял в белоснежной черкеске. Рядом с Асланом стоял веселый головорез Теймыр, неизменный исполнитель черновой, но почетной работы умыкания. Кстати, закатанные рукава черкески, обнажавшие его сильные волосатые руки, прямо говорили о том, что работа умыкания — это именно работа. На круглом лице веселого головореза Теймыра то и дело появлялась блудливая улыбка в предвкушении того, о чем мы не замедлим рассказать на этих страницах.

Чем примечательна эта сцена? Она примечательна тем, что на лице дяди Сандро, может быть, в первый и последний раз в жизни запечатлелось выражение гамлетизма.

Что же случилось? Откуда это выражение нерешительности, раздвоенности, рефлексии?

Начнем с минимальной информации. Друг дяди Сандро, а именно Аслан, готовился к умыканию своей невесты. Допустим. В таких случаях выражение нерешительности, раздвоенности, радости, печали естественно было бы ожидать на лице его друга. Почему же все эти противоречивые чувства, свойственные нормальным людям, когда они собираются жениться, выражает не лицо Аслана, кстати говоря, туповато-спокойное, а именно лицо дяди Сандро, столь решительного во всех случаях жизни?

Дело в том, что дядя Сандро влюблен в невесту своего друга, и она, судя по всему, тоже в него влюблена. И вот этой

ночью она должна стать женой его друга, а он, дядя Сандро, не только не может воспрепятствовать этому, но и вынужден помогать своему другу.

Но почему, почему так все получилось? Потому, что дядя Сандро, при всем своем лукавстве, не мог нарушить законы дружбы даже ради своей пламенной страсти.

Аслан, живший в селе Атары, пригласил дядю Сандро погостить у себя дома с тем, чтобы он помогал ему встречаться с девушкой, которая ему нравилась, а потом принял бы участие в умыкании.

В таких случаях молодые люди, понравившиеся друг другу, стараются встречаться в каком-нибудь нейтральном доме, не имеющем родственных связей ни со стороны тайного жениха, ни со стороны тайной невесты.

И вот именно в такой дом Аслан привел дядю Сандро, до этого успев рассказать невесте о его еще молодой, но уже легендарной жизни, полной веселых приключений и опасных (в основном для желудка) застольных подвигов.

Целый месяц с небольшими перерывами Аслан и дядя Сандро ходили в этот дом и там встречались с тайной невестой Аслана, которая тоже приходила туда со своими подружками.

Дядя Сандро с первого дня влюбился в эту миловидную девушку. Может быть, он и вынес бы как-нибудь ее миловидность, но ямочки на щеках этой девушки сыграли свою роковую роль. Дядя Сандро был совершенно не подготовлен для встречи с девушкой, у которой при каждой улыбке на щеках возникают головокружительные ямочки, куда каждый раз

душа дяди Сандро (предварительно раздвоившись) опускалась и ни за какие блага не желала оттуда выходить.

Не исключено, что свою небольшую, но в этом случае завершающую роль сыграло и само имя этой девушки, такое редкое в наших краях русское имя, которое мы до поры не будем открывать.

Как известно, имя женщины, особенно, если это имя носит на себе печать чужого племени, пленяет многих мужчин дополнительной чувственной окраской.

Теперь опять возвращаемся к ямочкам, как если б мы сами, согласно известному учению, выражали якобы собственную тайную привязанность к ним.

Дело в том, что любовный опыт дяди Сандро, вершиной которого, безусловно, можно считать знаменитую своим любвебилием княгиню, как-то обходился без этих ямочек на щеках. Возможно, что ямочки на щеках вообще не свойственны горянкам (княгиня была из них), возможно, они выражают некоторое генетическое благодушие, свойственное потомственным жителям долин. Нам это неизвестно. Во всяком случае, село, о котором идет речь, было расположено в низине.

До встречи с этой девушкой дядя Сандро вообще не придавал значения всем этим ямочкам, луночкам, вороночкам, всем этим маленьким капканчикам женской природы.

Может быть, он их даже не замечал. Вообще, в те времена в наших краях в женской красоте больше всего ценилась бровастость, глазастость и длиннокосость. Во всяком случае, в эстетическом меню тех лет, отраженных в песнях, сказани-

ях и легендах, такого блюда, как «ямочки на щеках», не указывалось.

Но интересно отметить, что высшим женским свойством считалось тогда и продолжает считаться до сих пор степень легкости, с которой женщина обслуживает свой дом и особенно гостей. И, давая оценку той или иной женщине или девушке, абхазцы вообще, а чегемцы в особенности, прежде всего ценят это качество.

Высший тип женщины — это такая женщина, которая все свои обязанности выполняет не только хорошо, этого мало нашим взыскательным дегустаторам женского обаяния, но и радостно, даже благодарно за то, что окружающие дают повод, или, еще лучше, много поводов, заботиться о них.

— С лица-то она хороша, — говорят чегемцы про ту или иную женщину, — да что толку-то — тяжелозадая.

И тут — конец красоте. Полная гибель. Или, совсем наоборот, про другую женщину:

— На вид-то она неказистенькая — зато летает!!!

И все восхищенное определение полностью снимает некоторые недоработки природы во внешнем облике женщины и как бы распахивает красоту ее крылатой души. Восторгаюсь стихийной гуманистичностью такого подхода. Нос длинноват?! Не надо никаких операций, поворачивайся быстрее, и ты на лету похорошеешь! Но мы отвлеклись. А нам необходимо, подавив некоторое раздражение, снова возвратиться к этим роковым ямочкам, потому что мы еще не исчерпали их роль в этой истории.

И вот дядя Сандро впервые увидел, или впервые разглядел, на миловидном лице невесты Аслана эти нежные вдавлики! Браво неизвестному скульптору!

И опять же дядя Сандро, может быть, и к этим двум ямочкам как-нибудь притерпелся бы и не выдал свою страсть никому на свете... Но однажды невеста Аслана пришла на это легализованное обилием друзей и подружек свидание (странный, запоздалый отголосок большевистских маевок), так вот, пришла в платье, открывавшем ее шею, и дядя Сандро обомлел.

Там, где нежная шея девушки начинала свое цветущее произрастание над, по-видимому, не менее цветущим телом, была еще одна ямочка, которая оказалась самой губительной для сердца дяди Сандро.

«Да сколько же их у нее!» — успел крикнуть дядя Сандро (про себя), уже охваченный пожаром любовного безумия. То, что дядю Сандро охватило любовное безумие, можно считать медицинским фактом, потому что оно не ограничилось общим восторгом от обилия ямочек, а потребовало от дяди Сандро немедленно установить точный перечень их, а всякая педантичность, как известно, всегда признак безумия.

Задача, прямо сказать, нешуточная. Дядя Сандро пытался урезонить свое любовное безумие, он ему внушал, что устанавливать количество ямочек на теле невесты друга — дело и неблагородное и некрасивое, и, в конце концов, опасное. Но любовное безумие ему отвечало:

«Ради дружбы ты жертвуешь самой большой своей любовью. Так неужели ради своей любви ты не можешь сделать са-

мую малость, выполнить ее маленькую прихоть, просто установить количество ямочек, расположенных на ее, по-видимому (как ты думаешь?), цветущем теле?»

Ну что ты скажешь этому любовному безумию?! Дядя Сандро не нашел убедительного довода в пользу скромности. Да, дорогой читатель, мы бы с тобой нашли, но дядя Сандро не нашел. Поэтому он живет для того, чтобы жить, а мы живем для того, чтобы любоваться его жизнью. Это просто две разные профессии, и я иногда с грустью догадываюсь, какая из них интересней.

Итак, дядя Сандро не нашел убедительного довода в пользу скромности. «Да, да, — сказал он себе, — я отказываюсь от любви к девушке, которая явно подает мне знаки своего внимания. Я отказываюсь от счастья, потому что не хочу отнимать его у своего друга. Но, прощаясь с любовью, эту маленькую прихоть я могу позволить своему любовному безумию?» И он себе эту маленькую прихоть позволил. Дядя Сандро знал, что девушки этого села в очень жаркие дни уходят купаться в лес, где со скалистого откоса по широкому деревянному желобу стекает ключевая вода. Этот древний народный душ именуется абхазцами «ачичхалей». На наш слух слово это передает не только журчание стекающей с высоты воды, но и пульсирующую неравномерность хлещущего потока.

Здесь в жаркие дни купались деревенские девушки. Обычно, собираясь купаться, они выставляли на лесной тропе, проходящей недалеко от этого места, дозор. Две девушки охраняли тропу с двух сторон от случайных, хотя и маловероятных, прохожих.

Но такому лукавцу, как дядя Сандро, немного надо было сообразительности, чтобы обмануть их. Бедный принц Ольденбургский! Если б он знал, на какие дела употребит дядя Сандро его прекрасный цейсовский бинокль, может быть, он воздержался бы от своего подарка. Кстати, как парадоксальны подарки сильных мира сего! Вспомним, что бинокль этот был подарен Александром Петровичем именно за остроглазие дяди Сандро, впрочем, явно преувеличенное им же, то есть дядей Сандро.

Выбрать дерево метрах в ста от этого искусственного водопада, с которого можно было поймать в кругозор широкий деревянный желоб с низвергающейся в него белопенной струей, было делом нетрудным. И дядя Сандро в один из жарких дней, исключительно под влиянием любовного безумия, сидя на ветке бука, осуществил свое маленькое преступление.

Нет, нет, мы не будем следовать за ним и подглядывать в бинокль принца Ольденбургского! Мы не будем даже уточнять, опускал ли дядя Сандро свой бинокль, когда другие девушки, выбежав из-за кустов лещины с развевающимися волосами, храбро вбегали под величаво хлещущие, бьющие твердым холодом струи воды, расхлестывающие струи волос, обламывающиеся на юных плечах, леденящие эти разгоряченные плечи и, щедро разлетаясь, барабанившие по огромным, дрожащим, первобытным листьям подбела, как бы жадно хватающим эти отброшенные брызги, пока девушки не выбегали из-под водопада, истерзанные до сладостной одури, исколотые тысячами серебряных игл — хохочущие, мокрые, кричащие!

Мы только отметим, что бинокль не только приближал фигуру купающейся девушки, но неизменно усиливал ее крики, словно таил в себе звукоулавливающее устройство. На этом почему-то настаивал дядя Сандро, может быть, отчасти этим пытаясь объяснить, что он чуть не сверзился с ветки бука, потянувшись за жарко приближенной, кричащей возлюбленной.

О молодость, опьяненная суровым мастерством шлифовальщика цейсовских стекол! Дядя Сандро чудом удержался на ветке и впоследствии говорил, что это был Божий знак, тогда не угаданный им.

С дрожащими руками и ногами дядя Сандро слез с дерева и тихонько, кружным путем направился к дому Аслана, столь неосторожно привлекающего его к делу своей женитьбы. Эта якобы маленькая прихоть любовного безумия оказалась на самом деле его тончайшим тактическим ходом. Теперь дядя Сандро был готов. Но что же его возлюбленная?

Милая, чистая, никогда не любившая девушка, естественно, приняла свою симпатию и уважение к Аслану за любовь. Симпатия ее была вполне объяснима, потому что Аслан был достаточно привлекателен, хотя и явно преувеличивал влияние своих чар. А уважение к Аслану было вызвано тем, что он был отпрыском высокородных родителей, тогда как его невеста была простой крестьянкой.

Может быть, именно потому она не понимала, что по законам Маркса теперь, после революции, она должна считаться высокородной, а он, наоборот, должен считаться выброшенным на свалку истории.

Правда, трудно себе представить, что этот молодой человек породистой внешности вылез из свалки истории, отряхнулся и, даже не оставив пятнышка на своей белоснежной черкеске, стал ухаживать за миловидной крестьянской девушкой.

Зато гораздо легче себе представить, что случилось бы с каким-нибудь провинциальным теоретиком пролетарской философии, если бы он, встретившись с Асланом, попытался бы ему втолковать, что его место на свалке истории. Серебряный кинжал, висевший на его тонком поясе, было бы большой ошибкой в этом случае считать чисто орнаментальным приложением к национальному костюму.

Единственный шанс на жизнь наш бедный теоретик мог сохранить только за счет необыкновенной трудности доведения до сознания молодого деревенского феодала, что такое свалка истории. Для него, и тут мы с ним вполне согласны, это было бы таким же бессмысленным понятием, как уборная Бога.

Одним словом, невеста Аслана была еще дальше, чем он, от всех этих премудростей и потому спокойно и весело ждала замужества со своим женихом. Но тут нагрянул дядя Сандро. Когда она увидела дядю Сандро, до этого неоднократно хвалимого ее родовитым женихом, в голове у девушки возникло то состояние, которое Стендаль назвал бы благоприятным для кристаллизации чувств.

Если верить биографам Стендаля, женщины его любили мало или, во всяком случае, меньше, чем ему хотелось бы. Так или иначе этот изумительный француз создал «Теорию любви». Он мечтал выиграть любимую женщину, как блестящую

шахматную партию. Задача фантастическая, но какова вера в силу разума!

Одним словом, любопытство, разожженное в голове невесты Аслана рассказами жениха, вполне оправдалось. Дядя Сандро был в самом деле хорош собой, весел, решителен. И что ж тут удивительного, что молодые люди полюбили друг друга. За этот месяц они не только полюбили друг друга, но и успели признаться друг другу в любви.

Простая девушка, не связанная никакими формальными узами со своим, подчеркнем, тайным женихом, предложила честно признаться во всем Аслану. Но дядя Сандро отверг этот простодушный план. Он не был рожден для простодушных планов. Он был рожден для простодушного осуществления фантастических планов.

Дядя Сандро считал, что такое признание было бы смертельным оскорблением законов дружбы и, что не менее важно, всего именитого рода Аслана. Хотя родители Аслана восприняли бы на первых порах женитьбу своего отпрыска на простой крестьянской девушке как малоприятное нарушение обычаев, но возможность того, что простая крестьянская девушка отвергла их сына ради Сандро, была бы для них непростительным оскорблением.

— Нет, — решительно сказал дядя Сандро своей возлюбленной, — так нельзя. Я не могу оскорбить своего друга, признавшись в нашей любви. Я придумаю что-нибудь такое, чтобы он сам от тебя отказался. И, клянусь молельным орехом села Чегем, я такое придумаю!

— Тогда придумывай скорей, — сказала милая девушка, — а то потом будет поздно.

— Верь мне до конца! — пылко воскликнул дядя Сандро, хотя, а может быть именно потому, сам еще не был ни в чем уверен.

— Я тебе верю, — сказала возлюбленная дяди Сандро, радуясь его пылкости и по этому поводу, разумеется непринужденно, образуя на своих щеках нежные (говорю в последний раз) ямочки.

И дядя Сандро стал думать, но, несмотря на его изощренный ум, на этот раз ничего не придумывалось. Пойти по классическому пути, то есть оклеветать девушку, он не мог. Во-первых, как нам кажется, из соображений порядочности, а во-вторых, и это уже точно, ведь не мог же он жениться на девушке, которую сам же оклеветал.

По ночам голова дяди Сандро пылала от множества комбинаций, неисполнимость которых неизбежно обнаруживалась с первыми утренними лучами солнца.

А между тем, как водится, Аслан, готовившийся жениться, ничего не подозревал. И без того будучи уверенным в своей неотразимости, он считал, что своей женитьбой осчастливит и возвысит простую крестьянскую девушку.

Подходил назначенный день умыкания, а дядя Сандро еще ничего не придумал. Уже был извещен дальний родственник Аслана из соседнего села о том, что в какой-то день, вернее ночь, он прискачет с украденной невестой в его дом.

Накануне решительного дня был приглашен из села Анхра веселый головорез Теймыр для выполнения черновой, но

почетной работы умыкания. А между тем дядя Сандро не нашел способа внушить Аслану мысль о добровольном отречении от невесты.

И хотя дядя Сандро верил в свою звезду, как никто в мире, он все-таки сильно волновался. В ночь накануне умыкания он настолько сильно волновался, что это заметил даже Аслан.

— Слушай, Сандро, — сказал он ему, — ты так волнуешься, как будто не я женюсь, а ты.

— Родителей твоих жалко, — вздохнул дядя Сандро, — для них это будет такой удар... Тут большевики власть захватили, а тут еще сын женился на крестьянке...

Они лежали в одной комнате в своих кроватях. Из соседней комнаты доносился мирный храп головореза Теймыра.

— Как-нибудь уладится, — успокоил его Аслан, проявляя традиционную беззаботность дворянства, благодаря которой отчасти они и упустили власть. Через несколько минут дядя Сандро почувствовал по его дыханию, что беззаботность Аслана отнюдь не была наигранной.

И вот на следующий день они стоят у подножья могучего каштана над проселочной дорогой, от которой в этом месте ответвляется тропа, ведущая к одному из выселков.

Все договорено. Три девушки из этого выселка, среди которых невеста Аслана, после воскресных игрищ в центре села будут возвращаться к себе домой. И тогда веселый головорез Теймыр выскочит на тропу, подхватит одну из них, и та, для приличия побарахтавшись в его объятиях, через несколько

минут окажется рядом со своим женихом, и они все умчатся туда, где их ждут.

С минуты на минуту девушки должны появиться на дороге, а дядя Сандро все еще ничего не придумал. Стоит ли удивляться, что обычно решительное лицо дяди Сандро на этот раз несло на себе печать неведомого ему гамлетизма.

И вот девушки появились! Две из них весело щебетали, делясь воспоминаниями о воскресных играх, а невеста Аслана, она же возлюбленная Сандро, с грустным лицом шла рядом с ними, не в силах перенести эту двойную нагрузку. Когда ее нежный печальный профиль мелькнул на дороге — внутри у дяди Сандро все перевернулось.

— Какая из них? — шепнул веселый головорез Теймыр и облизнулся, предвкушая свой сладостный труд.

— Та, что с краю, поближе к нам, — тихо ответил Аслан, и девушки скрылись в зарослях бузины, куда нырнула тропка, ведущая к их выселку.

Хищно пригнувшись, Теймыр пошел через кусты азалий, чтобы неожиданно выскочить на тропу впереди девушек. Через десять минут раздалась душераздирающие крики, и вдруг, как медведь, ломая кусты, Теймыр появился у каштана с девушкой на плече, которая непрерывно кричала и колотила его по лицу свободной рукой. Аслан замер с приоткрытым ртом...

— Не та! Не та! — опомнившись, закричал Аслан.

— Как не та?! — заорал головорез, которого сейчас никак нельзя было назвать веселым. Сбросив свою несмирившуюся

полонянку и утирая рукой окровавленную щеку, он добавил: — Ты же сказал: та, что с краю, поближе к нам?!

— Не та! Не та! — снова закричал Аслан. — Видно они переменились местами!

— Какого дьявола ты мне ничего не сказала! — заорал Теймыр, обращаясь к девушке. — Да еще всю щеку мне расцарапала!

С горящими ненавистью глазами, растрепанная и ощерившаяся, девушка стояла, воинственно озираясь, и дядя Сандро, несмотря на то, что был занят головоломными расчетами и в то же время чувствовал себя в сильнейшем цейтноте, выражаясь современным языком, однако, несмотря на все это, успел заметить, что она хорошенькая, и даже вспомнил, что где-то видел ее, но не мог вспомнить где.

— А ты у меня спрашивал?! — закричала девушка, подбоченившись и даже придвигаясь к Теймыру. — Мало тебе, изверг! Жалко, что я тебе глаза твои не вырвала!

— Ладно, уходи, — сказал Аслан, — а ты беги за моей! Только не бери ту, что в красной кофточке, волочи другую!

Теймыр зашумел в кустах азалий и вдруг обернулся:

— А если они кофточками обменялись?

— Этого не может быть, — закричал Аслан, — она же с ума сходит по мне!

Теймыр скрылся в кустах.

— А ты чего стоишь? Иди! — махнул рукой Аслан, показывая ошибочно украденной девушке, что она свободна. Он был взволнован неудачным началом умыкания и сейчас нервно

оправлял полы своей черкески, одновременно вглядываясь в ее белоснежную поверхность, словно стараясь понять, не запятнала ли его черкеску эта неудача.

— Я никуда не уйду! — дерзко крикнула девушка, оглядывая Аслана и дядю Сандро, словно оценивая их. И дядя Сандро опять мучительно вспоминал, что где-то ее видел, но никак не мог вспомнить где. Главное — она была тогда во что-то другое одета. И почему-то это было важно, что она была во что-то другое одета. Но во что?! Ах, вот во что — ни во что!

Бинокль принца Ольденбургского, висевший у него на груди и при резком движении толкнувшийся ему в грудь, напомнил об этом! И мы теперь убеждаемся, что дядя Сандро не всегда опускал бинокль, когда в его кругозоре появлялась не его возлюбленная. Во всяком случае, один раз не успел опустить.

— Как не уйдешь? — раздраженно, но и рассеянно переспросил Аслан, потому что прислушивался к тому, что должно было произойти на тропе, а там, по-видимому, ничего не происходило.

— Так, не уйду! — крикнула девушка, приводя в порядок свои волосы и исподлобья бросая на Аслана горящие взгляды.

— Вы меня опозорили на глазах у подруг, а теперь бросаете? Не выйдет!

— Да кто тебя позорил?! — заорал Аслан, все еще прислушиваясь к тропе и удивляясь, что ничего не слышно. — Ты же видишь — ошибка!

— Вы меня похитили, вы должны жениться, — резко отвечала девушка, — иначе мои братья перестреляют вас, как перепелок!

Она привела в порядок свои косы и теперь опять подбоченилась.

— Оба, что ли? — рассвирепел Аслан, потому что со стороны тропы все еще ничего не было слышно.

— Зачем же оба, — с неслыханной дерзостью отвечала девушка, — мне хватит и одного!

— Ты слышишь, что она говорит?! — обратился Аслан к дяде Сандро и, как бы с некоторым опозданием осознавая социальные изменения, произошедшие в стране, добавил: — Пораспустились!

С этими словами он оправил серебряный кинжал, висевший у него на поясе, но, судя по всему, этот его воинственный жест не произвел на девушку должного впечатления. Девушка то и дело переводила свой пылающий взгляд с дяди Сандро на Аслана, в каждом из них стараясь угадать будущего жениха и одновременно коварного хитреца, который ищет способ избавиться от нее.

И тут, именно тут, в голове у дяди Сандро мгновенно выстроилось реальное решение его неразрешимой задачи! Подобно истинным художникам и ученым, которые, долго мучась творческой загадкой, внезапно во сне или по сцеплению внешне случайных слов или событий находят разгадку мучившей их задачи, дядя Сандро с вдохновенной ясностью осознал, что делать.

— Девушка права, — сказал дядя Сандро твердо, — кто-нибудь из нас должен на ней жениться.

— Уж, во всяком случае, не я, — ответил Аслан, все еще прислушиваясь к тропе и уже сильно нервничая. Видно, пока

головорез Теймыр возился с этой полонянкой, неожиданно обернувшейся самозванкой, девушки успели далеко уйти или вообще дали стрекача.

— Посмотрим, — сказал дядя Сандро, — во всяком случае, девушка хорошая, уж поверь мне...

— Не спорю, девушка хорошая, — согласился Аслан, начиная осознать нависшую на нем опасность. Он знал, что если весть о том, что ее слегка умыкнули и бросили, коснется слуха ее братьев, еще более дерзких, чем она, дело может кончиться кровью. Они не посмотрят на его род, тем более в такое время. Впрочем, и раньше в таких случаях мало кто вдавался в генеалогию. Аслану показалось, что девушка понравилась Сандро. Было бы забавно, подумал он, привезти сегодня двух невест. Это было бы по-нашенски, по-кавказски, по-дворянски. Вот так, с другом, умыкнул невесту, а чтоб и друг не скучал, прихватил заодно и ее подружку!

— А что, — сказал Аслан, подмигивая дяде Сандро, — наша Шазина и хорошенькая, и стройная, как косуля...

— Это точно, — согласился дядя Сандро, а тут затрещали кусты азалий, и веселый головорез Теймыр появился с милой невестой Аслана, обреченно повисшей у него на плечах, — но я тебе, Аслан, должен сказать что-то печальное...

— Что еще? — тревожно спросил Аслан и двинулся к своей невесте. Но дядя Сандро его опередил.

— Вот это, я понимаю, скромная девушка! — крикнул веселый головорез и, поставив на землю грустно поникшую невесту Аслана, стал утирать обильный пот, струившийся по его лицу.

— Отойди, я у нее должен что-то спросить, — сказал дядя Сандро, и Теймыр, пробуя ладонью слегка кровотокающую щеку, расцарапанную Шазиной, отошел.

— Ты еще здесь, драная кошка! — крикнул он, увидев ее.

— Я никуда не уйду! — отвечала она. — А если вы меня опозорите, мои братья перестреляют вас, как перепелок!

— Пусть остается, — подмигнул Аслан веселому головорезу, — я тут кое-что придумал!

— Уж не собираешься ли ты жениться на обеих, как турок? — спросил Теймыр, теперь утирая лицо и шею большим платком.

— Поумнее что-то придумал, — отвечал Аслан с загадочной улыбкой, кивнув на дядю Сандро.

А дядя Сандро в это время приводил в действие свой гениальный план.

— Слушай внимательно, — сказал дядя Сандро своей возлюбленной, — вот что я придумал. Ты скажешь ему, что у тебя родственники эндурцы. И до конца держись за сказанное — остальное получится само.

— Ладно, — сказала слегка обалдевшая от всех этих дел возлюбленная дяди Сандро, хотя все еще и невеста Аслана, — я скажу, что у меня бабушка по материнской линии эндурка.

— Не важно, по какой линии, — быстро уточнил дядя Сандро, — главное — держись за сказанное!

— Да что вы там расшушукались, — крикнул Аслан, — неровен час кто-нибудь нагрянет!

— Я тебе должен сказать что-то важное, — промолвил дядя Сандро и с мрачным выражением горевестника подошел к Аслану и отвел его в сторону.

— Да что мы тут будем сходку устраивать, — пробормотал Аслан, чувствуя, что предстоит что-то неприятное, и понимая, что от него невозможно увильнуть.

Тут дядя Сандро сообщил ему печальную весть. Он сказал, что вчера до него дошел слух о том, что у его невесты бабушка по материнской линии эндурка. И так как он сам вчера не мог у нее проверить, правда ли это, он всю ночь волновался, но ничего не говорил Аслану, чтобы не расстраивать его, если этот слух не подтвердится. Но вот, к сожалению, она сама сейчас подтвердила.

— Ты меня убил без ножа, — тихо завыл Аслан, — простая девушка да еще эндурка! Теперь я навсегда потерял отца, мать, братьев, сестер!

— Знаю, — сказал дядя Сандро и твердо добавил: — Я тебя выручу!

— Выручи! — озарился Аслан. — Любой подарок за мной!

— Одного быка приведешь к нам во двор, — сказал дядя Сандро, все еще испытывавший слабость к быкам.

— Двух быков! — воскликнул Аслан.

— Нет, одного хватит, — скромно возразил дядя Сандро.

— Но как ты меня выручишь? — воскликнул Аслан.

— Я женюсь на ней, — сказал дядя Сандро, торжественно, как человек, берущий на себя выполнение трудного долга.

— Ты?! — опешил Аслан.

— Да я, — сказал Сандро, — мой отец — простой человек, и он не будет дознаваться, какие там у нее родственники по материнской линии.

— Но согласится ли она?! — воскликнул Аслан. — Она же меня любит. И как я ей в глаза посмотрю после этого?

— Я все беру на себя, — сказал дядя Сандро, — а потом она перед тобой виновата.

— В чем? — оживился Аслан, очень хотевший, чтобы она перед ним была виновата.

— Собираясь замуж за такого родовитого человека, как ты, — важно сказал дядя Сандро, — она тебя должна была предупредить, что у нее эндурская примесь.

— Тоже верно, — согласился Аслан, — но ведь я никогда у нее об этом не спрашивал. Мне такое и в голову не могло прийти! Но ты уверен, что она согласится выйти за тебя?!

— Я постараюсь ее уговорить, — сказал дядя Сандро, — ведь теперь ей некуда деться...

— Вообще-то я тебя ей очень хвалил, — обнадежил его Аслан, — но, ради Бога, Сандро, избавь меня от разговора с ней! Мне будет ужасно стыдно!

— Я все беру на себя, — сказал дядя Сандро.

— Но куда же ты ее приведешь, ты ведь не подготовился к женитьбе? — спросил Аслан, имея в виду, что по абхазским обычаям жених, умыкающий невесту, не сразу приводит ее в свой дом.

— К твоим родственникам, — сказал дядя Сандро просто, — мы оба женимся, я на твоей бывшей невесте, а ты на этой... как ее?

— Шазине?! — снова опешил Аслан и, оглянувшись на Шазину, бдительно следившую за ними, взглянул на свою белоснежную черкеску, словно спрашивая у нее совета.

— Да, — сказал дядя Сандро неумолимо, — во-первых, она прекрасная девушка. Во-вторых, мы ее опозорим, если, умыкнув, не женимся на ней. А в-третьих, твои родственники ждут тебя с невестой, а получится, что ты ввел их в расходы ради того, чтобы женить своего друга. Насмешка получится.

— Ой, — сказал Аслан и схватился за голову, — я про них совсем забыл... Если я не женюсь, пойдет сплетня, что я не смог умыкнуть девушку...

— В том-то и дело, — снова согласился дядя Сандро.

— Это запятнает мою честь, — сказал Аслан и снова оглядел свою белоснежную черкеску.

— В том-то и дело, — снова согласился дядя Сандро.

— Но мне ужасно неловко, — вдруг задумался Аслан, — на глазах у собственной невесты жениться на ее подруге.

— Ничего, — сказал дядя Сандро, — твоя невеста тоже на твоих глазах выйдет замуж за твоего друга.

— Как так?! — пыхнул Аслан.

— По твоему собственному желанию, — напомнил ему дядя Сандро.

— Да, — успокоился Аслан, — по моему собственному. Слушай, — спохватился Аслан, — а вдруг Шазина тоже с эндурской примесью? Тогда я лучше женюсь на своей.

Тут дядя Сандро испугался.

— Ну уж такого невезенья не может быть! — воскликнул он. — Я сейчас все узнаю!

Чувствуя, что тело его от волнения покрылось холодным потом, дядя Сандро подошел к Шазине. Заставить свою возлюбленную признать себя эндуркой, когда она абхазка, и тут же уговорить чужую девушку, если она с эндурской примесью, чтобы она выдавала себя за чистокровную абхазку, было и для дяди Сандро слишком.

— Послушай, — тихо сказал дядя Сандро, подойдя к девушке, — говори только правду. В твоём роду есть эндурцы?

— Эндурцы?! — взвизгнула девушка, и глаза ее метнули в глаза дяди Сандро две молнии. — Вы посмотрите, через какую бесовскую хитрость они от меня хотят избавиться! Да мои братья только за то, что вы так подумали, перестреляют вас, как перепелок!

— Все, — сказал дядя Сандро, — ты выходишь замуж!

— За кого? — полыхнула самозванка достаточно уместным любопытством.

— За Аслана, — сказал дядя Сандро, — и больше ни слова!

— За Аслана? — слегка опешила девушка. — А разве у них с Катей не было...

— Не было! — перебил ее дядя Сандро, чувствуя приступ ревности. — Не было и не могло быть!

Дядя Сандро подошел к своей возлюбленной и сказал ей, что она больше не невеста Аслана, а его невеста. Главное — держать себя в руках. Никакой радости. Легкий, благопристойный, однако и ненавязчивый траур. Возлюбленная дяди

Сандро, почти ничего не соображая, кивнула ему и опустила голову.

— Эх, Катя, Катя! — сказал Аслан, со стороны наблюдавший за ними и почувствовавший, что дядя Сандро ее уговорил. — Зачем ты мне сразу не сказала правду?

— Ты у меня не спрашивал, — ответила Катя и вовсе потупилась.

— Поздно каяться, все решено! — зычно воскликнул дядя Сандро. — На лошадей!

— Поклянись Аллахом, что в тебе нет эндурской примеси! — в последний раз взмолился Аслан, болезненно вглядываясь в свою новую невесту и одновременно как бы извиняясь перед старой, показывая ей причину, по которой он не мог не отступить от нее.

— Эндурской примеси?! — возмутилась Шазина. — Не смеши людей! Да мои братья...

— Про твоих братьев мы уже услышали, — сказал дядя Сандро, — быстрее в путь!

— Чудо! — воскликнул веселый головорез Теймыр. — Кто бы подумал, что эта вертихвостка такого парня отхватит.

— Но у нас только четыре лошади, — вспомнил Аслан, первым подходя к ольшанику, где были привязаны лошади.

— Эта вертихвостка так хотела замуж, — сказал веселый головорез, — что я думаю, она рядом с лошадкой побежит!

— Так и побежала! — опять воскликнула Шазина. — Да мои братья...

— Не надо так ее называть, — сказал Аслан примирительно, — ты же знаешь, чья она теперь невеста...

— Кажется, разобрались, — сказал Теймыр и тронул поцарапанную щеку.

— Мы с Асланом сядем на мою лошадь, — сказал дядя Сандро, — она вынесет обоих!

Девушек посадили на лошадей, причем Аслан, помогая Кате сесть на лошадь с женским седлом, проявил благородный такт, то есть, изменив содержание первоначального замысла, мы имеем в виду смену невест, он оставил в целости техническую сторону — Катя должна была сесть на эту лошадь, и она на нее села. Впрочем, мужское седло Шазине, по ее характеру, было как раз впору.

Дядя Сандро гостеприимно предоставил свое седло Аслану, а сам уселся сзади на спину своего рябого скакуна.

— Если б я знал, что вы оба женитесь, — сказал веселый головорез, — я бы и третью для себя приволок!

— Поздно, — отозвался дядя Сандро из-за белой черкески своего друга, — к тому же для жениха тебе Шазина подпортила портрет!

Они ехали гуськом глухой лесной тропкой, и Теймыр, он был впереди, иногда оттягивал кнутовищем камчи нависавшие над тропой буковые, ольховые, каштановые ветви, оплетенные лианами обвойника, и давал проехать остальным.

Сквозь могучий заколоченный лес, потом сквозь узорчатые папоротниковые пампы, стреноживающие лошадиные ноги, и снова в зеленый влажный сумрак леса, переплетенного всеми ветками и корнями, опутанного всеми лианами, задыхающегося от собственного яростного обилия и неожидан-

но, как вздох, расступающегося возле шумной речушки с несколькими светлыми, покорно склоненными ивами на берегу, как бы намекающими на возможности христианского начала в буйном царстве языческого леса.

Намек этот, как нам кажется, кавалькадой остался непонятым. Молодые люди, крича и шелкая камчами, загнали лошадей в поток, а лошади, то и дело упираясь, шли через него, косясь друг на друга, всплескивая гривами, фыркая, цокая копытами, оскальзываясь на камнях дна, спотыкаясь и гневно вздергиваясь, и тогда девушки ахали, а молодые люди смеялись и с гиканьем, огрев лошадей камчой, вымахивали на крутой берег, поросший кустами облепихи и тамариска.

Дядя Сандро чувствовал нестерпимое веселье, клокотавшее внутри него, но сдерживал себя изо всех сил, чтобы Аслан ничего не понял. Аслан то и дело поглядывал на свою бывшую невесту, потом переводил взгляд на новоиспеченную, иногда как бы не понимая, откуда она взялась, а потом приглядывался к ней, привыкая к своему новому положению.

Впрочем, когда тропу обступали особенно колючие кустарники или лошади входили в воду, он забывал об обеих невестах, целиком озабоченный боязнью оцарапать или закапать брызгами воды свою белоснежную черкеску.

Шазина то и дело оборачивалась в сторону жениха и почему-то прыскала от смеха, и дядя Сандро удивлялся ее дерзости, думая, что она смеется, вспоминая подробности всей этой истории. Удивление его, однако, вскоре сменилось гневным изумлением, когда выяснилось, что на самом деле она

оборачивается на них и смеется необычайной (видите ли!) рябизне его чубарого скакуна, его прославленной гордости!

Не успел дядя Сандро прийти в себя от этой неожиданной дерзости, как Шазина вслух предположила, что ее братья, хоть убей их, ничем не сели бы на этого хвостатого, рябого змея.

Дяде Сандро захотелось отправить ее назад, и притом пешком, но боязнь, что в этом случае Аслан вернется к первому варианту своей женитьбы, остановила его.

Но, видно, дерзости ее не было предела. На полпути к дому родственников Аслана лошадь дяди Сандро стала слегка отставать, все-таки ей трудновато было под двойной нагрузкой. Так эта Шазина и тут не удержалась, чтобы не надерзить.

— Быстрее, — сказала она, оборачиваясь на своего жениха, — а то мои братья догонят...

— Да твои братья Богу свечку поставят, что избавились от тебя! — крикнул Теймыр-головорез.

— Ее братья, — осторожно вступился Аслан за свою невесту, — храбрые, уважаемые парни.

— Это видно по ней, — не унимался веселый головорез, — она же тебя просто умыкнула! По правде сказать, тебя бы надо было посадить на лошадь с женским седлом!

— Друзья, — предупредил Аслан, — только не надо так шутить в доме, куда мы едем. Они могут обидеться за меня, не понимая, что вы шутите.

Все согласились с ним, и остаток пути, пока еще можно было что-нибудь видеть, Аслан то и дело поглядывал на свою невесту, стараясь к ней привыкать и потихоньку влюбляться.

Ночью кавалькада прибыла в дом, где их ждали. Хозяева, конечно, очень удивились, что друзья привезли двух невест. Но по законам гостеприимства, чтобы скрыть свое замешательство, они придали ему противоположное направление, то есть удивились тому, что их третий спутник приехал без невесты.

За пиршественным столом гости и друзья просидели почти до утра. Длинный след ногтя Шазины, перерезавший щеку веселого головореза, сначала выдавался за смутный намек на некие сложности, возникшие при умыкании, но постепенно с выпитыми стаканами этот смутный намек превращался в прозрачный намек на пулю преследователей, чиркнувшую щеку Теймыра. Любопытствующие пытались уточнить, преследователи какой именно невесты задели своей пулей Теймыра.

— Скорее всего, братья Шазины, — отвечал веселый головорез, — они особенно неистовствовали...

— Я одного не пойму, — выбрав удобное мгновение, спросил Аслан у Кати, — почему ты, когда Теймыр схватил Шазины, не сказала, что он ошибся?

— Разве девушка может навязываться? — отвечала Катя вполне искренне, — может, ты передумал, может, еще что...

— Тоже верно, — согласился Аслан, однако, продолжая внимательно вглядываться в нее, спросил: — Ну, ты довольна, что выходишь за Сандро?

Дядя Сандро успел ударить ее ногой под столом, чтобы она была посдержанней.

— Ты же сам говорил, что он хороший, — сказала Катя, может быть, тайно объясняя причину своей влюбленности.

— Да, конечно, я сам, — твердо подчеркнул Аслан.

Дней десять новобрачные прожили в этом гостеприимном доме, и каждое утро, когда они выходили из своих комнат и встречались на веранде, Аслан почему-то пытливо заглядывал в глаза своей бывшей невесты. Не исключено, что он все еще искал в ее глазах и не находил следов легкого благопристойного траура.

За это время его юная жена дважды стирала его белоснежную черкеску, а веселый головорез Теймыр шутил по этому поводу, говоря, что в самом ближайшем будущем Шазина перекрасит его черкеску, чтобы не так часто ее стирать, и при этом скорее всего в красный цвет, чтобы слиться с наступившими временами.

— Никогда, — отвечал Аслан, даже в виде шутки не принимая такого будущего.

Но вот, как водится, приехали родственники молодых мужей и развезли их по своим селам.

Две свадьбы были справлены в двух домах уже независимо друг от друга. Дней через двадцать после свадьбы дядя Сандро увидел, что к Большому Дому подъезжает Аслан, ведя на веревке хорошего рыжего быка. Белоснежная черкеска победно сверкала на Аслане. Дядя Сандро обрадовался гостю и даже почувствовал некоторые угрызения совести за этот подарок, но не принять его уже было нельзя.

В доме дяди Сандро именитый гость был встречен прекрасно, а милая Катя так и летала, стараясь как можно лучше принять своего бывшего жениха.

— Все же не дал перекрасить черкеску, — напомнил дядя Сандро шутку Теймыра-головореза.

— Как можно, — сказал Аслан горделиво, как бы намекая, что абхазский дворянин все еще контролирует не только порядок в семье, но и в самой Абхазии.

Когда дядя Сандро с Асланом остались одни, тот ему сделал неожиданное признание.

— Должен тебе сказать, Сандро, — начал Аслан, — что я немножко усомнился в твоей честности. И теперь хочу покаяться перед тобой. Очень уж, подумалось мне, все это странно получилось. Я решил, что ты это все подстроил. И то, что Теймыр-головорез приволок Шазину, и то, что невеста моя вдруг оказалась с эндурской примесью. Несмотря на гнев и обиду, я решил трезво во всем разобраться, прежде чем мстить за оскорбление моей чести и чести моего рода. И я рассудил так. Если ты подстроил так, что Теймыр схватил Шазину, которая, конечно, была влюблена в меня, я от нее правду никогда не узнаю. Но тогда, подумал я, почему она так сильно расцарапала щеку Теймыру? И я так себе ответил на этот вопрос: чтобы все это было похоже на правду.

Ну, хорошо, думаю, если Сандро соврал, что у Кати бабушка эндурского происхождения, то бабушку он не может подменить! Я узнал, где она живет, поехал в Эндурск и убедился, что все это правда. Да, ты был настоящим другом, а меня попутал бес...

— Что правда? — опешил дядя Сандро.

— Что она эндурского происхождения, — сказал Аслан.

— Как эндурского?! — вскричал дядя Сандро.

— А ты что, не знал? — теперь опешил Аслан.

Но дядя Сандро уже взял себя в руки.

— Эндурского, но по материнской линии, а не по отцовской! — воскликнул дядя Сандро.

— Так я же об этом и толкую, — успокоил его Аслан, — по отцовской у нее все в порядке... Я всегда буду помнить о том, что ты меня выручил... У меня родители со старыми понятиями, а то бы я от Кати никогда не отказался... А эндурство в новой жизни, я думаю, не должно мешать...

— Нет, конечно, — согласился дядя Сандро, мысленно жалея, что в свое время отказался от второго быка, — я думаю, новая жизнь сама склоняется к эндурству.

— Мои родители тоже так думают, — важно согласился Аслан, — так что не унывай... Все к лучшему...

На следующий день Сандро и его молодая жена провожали Аслана в обратный путь. Дядя Сандро, как водится провожать уважаемых гостей, поддерживал ему стремя и одновременно, как водится у гостеприимных абхазцев, уговаривал его остаться погостить. Но вот мягкий носок сапога Аслана вошел в подставленное стремя, он попрощался с молодоженами, выехал в открытые ворота и зарысил в сторону своего дома. Так закончилась история женитьбы дяди Сандро.

* * *

Я о ней услышал в такой же ласковый осенний день, правда, лет пятьдесят спустя. Мы сидели у него во дворе на турьею шку-

ре в тени инжирного дерева, потягивая из граненых стаканов холодный, кислотоватый айран — смесь простокваши с водой.

Рассказывая эту историю, дядя Сандро время от времени подносил к лицу огромный плод золотистой айвы, похожий на морду льва. Казалось, внюхиваясь в тонкий аромат мочучего плода, он через его запах приближает дни молодости, как некогда через бинокль принца Ольденбургского приближал купающихся девушек.

Время от времени тетя Катя выходила из огорода с небольшой плетеной корзиной в руке, наполненной фасолью в стручках и фиолетовыми баклажанами. Баклажаны она относила на кухню, а фасоль высыпала на пол веранды, где она досушивалась.

Проходя мимо нас, тетя Катя снисходительно улыбалась, как бы показывая, что рассказ дяди Сандро не надо принимать так уж всерьез, но от нечего делать можно и послушать. Рассуждение о ямочках на щеках и тем более эпизод, связанный с биноклем, дядя Сандро, передавал с оглядкой, чтобы тетя Катя этого не слышала.

— Вот так обманом она женила меня себе, и, как видишь, я до сих пор с ней живу, — заключил он свой рассказ, не обращая внимания на то, что тетя Катя приближалась к нам с очередной корзиной, наполненной фасолью. Она услышала слова дяди Сандро, и, хотя видно было, что она это слышит не в первый и даже не в десятый раз, она остановилась, поравнявшись с нами, поставила корзину на землю и с выражением обиды посмотрела на дядю Сандро.

— Почему же обманом, бессовестные твои глаза? — сказала тетя Катя с некоторым усталым упрямством.

— А то не обманом? — бодро подхватил ее слова дядя Сандро. — Я же тебе сказал: «Скажи, что ты эндурка...» А ты что сказала?

— А я сказала: «Хорошо, я скажу, что у меня бабушка по материнской линии эндурка...» Какой же тут обман, бессовестные твои глаза?

— Вот эндурский характер! — воскликнул дядя Сандро, восхищаясь, как мне кажется, и упрямством своей жены (редкое свойство, присущее исключительно эндурским женщинам), и полнотой отсутствия юмора у своей жены (тоже редкое качество, присущее эндурцам обоего пола), однако дающее ему самому неисчерпаемые возможности для проявления собственного юмора, — сколько лет прошло, а она талдычит свое! Я же считал, что выдумал твое эндурство, козлиная голова! А если бы ты тогда мне сказала: «Да, я на самом деле с эндурской примесью», еще неизвестно, женился бы я на тебе или нет.

— Ты скажи, чем эндурцы хуже тебя? — опять же с некоторым усталым упорством спросила тетя Катя. — Да они в сто раз лучше тебя... Они и пьют меньше...

— Пьют меньше, — повторил дядя Сандро саркастически, — не могут, потому и пьют меньше...

— Эндурцы стараются для своей семьи, для своего дома, для своих близких, — проворковала тетя Катя, погружаясь в грезу эндурского очаголюбия, но, очнувшись, тоскливо добавила: — А ты?

— Вот в этом твоя эндурская дурость и сказывается, — отвечал дядя Сандро, — ты до сих пор не можешь понять, как важно для жизни людей, чтобы они весело, с умом, не спеша ели, пили, слушали мои рассказы и иногда сами кое-что вставляли, если у них есть что вставить...

— Ты забываешь свой возраст, — безнадежно вздохнула тетя Катя.

— Заладила, — махнул рукой дядя Сандро и, повернувшись ко мне, добавил: — Нет, я тебе честно скажу. Для эндурки моя жена даже слишком хороша. Больше пятидесяти лет со мной живет и пока — тьфу! тьфу! не сглазить! — не отравила.

— Интересно, кого это эндурцы отравили? — с некоторым вызовом спросила тетя Катя. Она уже приподняла было свою корзину, но теперь снова поставила ее на землю.

— Ты лучше спроси, кого они еще не отравили, — сказал дядя Сандро и, приподняв айву, внимательно внюхался в нее, словно заподозрив, не отравлена ли она эндурцами. Нет, видимо, еще не успели. Он опустил руку с айвой на шкуру и обратился ко мне: — Эндурцы испокон веков ядами промышляют. Они с такой хитростью яды пускают в ход — ни один прокурор не подкопается.

Например, ты гостишь у эндурца, а у него в это время враг в этом же селе или в соседнем. И этот эндурец тебе говорит: «Слушай, живет тут один человечек. Он о тебе слышал много хорошего. Зайди к нему, уважь, он тебе устроит хлеб-соль. Только не говори, что я тебя к нему послал, потому что ему от этого стыдно будет. Так зайди к нему в дом, как будто тебя ночь застала в этом месте».

И ты доверчиво идешь к этому человеку, радуясь, что люди знают про твои хорошие дела, а ты не думал, что они об этом знают. Ты даже иногда думал, вроде маловато у тебя хороших дел. Но, оказывается, нет, оказывается, хороших дел у тебя достаточно и добрые люди об этом знают.

И ты доверчиво идешь к этому человеку, думая обрадовать его и принять у него хлеб-соль. И ты приходишь к нему, и он, бедняга, устраивает тебе хлеб-соль, потому что деться некуда — гость. Но тот эндурец, который послал тебя к нему, уже дал тебе яд, и он подействует на тебя через сутки. И ты, приняв хлеб-соль, ложишься спать у этого добродушного человека и умираешь.

И на следующий день милиция-челиция, доктур-моктур, и они узнают, что ты отравлен, и твоего бедного хозяина сажают в тюрьму как отравившего ни в чем не повинного человека. Вот так эндурцы иногда расправляются со своими врагами. И что интересно — он лично против тебя ничего не имеет, он только думает про своего врага. А то, что ты при этом умрешь, ему и в голову не приходит.

— А если, допустим, — смеюсь я, — ты обещал пойти к этому человеку, но не пошел?

— Ничего страшного, — махнул рукой дядя Сандро, — в следующий раз другого пошлет! А то, что ты неповинно умираешь, ему даже в голову не приходит...

— Не слушай старого дурака! — говорит тетя Катя, как бы сердясь на себя за то, что сама заслушалась. Она решительно берется за корзину и, уходя, бросает: — Его арестуют за язык,

рано или поздно... И правильно сделают... Только перед людьми стыдно...

Она поднимается на веранду, а дядя Сандро, с добродушной иронией (на самом деле любит, старый хитрец!) поглядев ей вслед, снова нюхает айву и говорит:

— Мне бы на нее в перевернутый бинокль смотреть, а я, глупый, приближал. На эндурца всегда надо в перевернутый бинокль смотреть, подальше от него держаться... И в том, что я тогда чуть не сверзился с дерева, был Божеский знак, но я его не понял. «Осторожно, эндурка!» — крикнул мне Бог, но я тогда его не понял, а теперь что... Теперь поздно...

— Дядя Сандро, — спросил я, — а что вы вообще думаете о женщинах?

— Всякой женщине, — мимоходом ответил дядя Сандро, явно продолжая думать об эндурцах, — можешь сказать одно и никогда не ошибешься: «При таком характере могла бы быть покрасивее...» Но эндурцы — это совсем другой разговор...

Дядя Сандро разглаживает усы, явно довольный, что добавил еще несколько штрихов к неустанно создаемому психологическому облику эндурцев. Он задумчиво замирает.

Я вытягиваю из стакана кислую прохладу айрана и взвешиваю в уме афоризм дяди Сандро. По-моему — он просто хорош. Я думаю, не выдать ли его в кругу друзей за собственный экспромт... Или сохранить для очередной главы романа о жизни дяди Сандро? После некоторых колебаний прихожу к выводу, что не стоит выбалтывать. Растащат, потом не дока-

жешь, что ты первым его раздобыл. Вот так, ради творчества, приходится себя во всем ограничивать, а что оно дает?

С веранды доносится шорох стручков, которые, все еще поварчивая, перебирает тетя Катя. В окно веранды, щебетнув на лету, влетает ласточка и, косо полоснув пространство помещения (она это сделала быстрее, чем я описал), вылетает в другое окно. Какая ей была надобность влетать в веранду и вылетать из нее? Никакой, чистое озорство. Но это знак жизни, ее восторженная роспись в воздухе, и этим все оправдано. Солнце греет, но не печет. В густо-зеленой листве корявых мандариновых деревьев золотятся зреющие мандарины. Отсюда, с холма, видны пригородные дома, окруженные фруктовыми деревьями, среди которых бросаются в глаза оголенные от листьев деревья хурмы, ветки которых как бы утыканы багряными плодами.

— Дядя Сандро, — спрашиваю я, решив отблагодарить его за афоризм, — что это я часто слышу, что эндурцев называют парашютистами?

— Так оно и есть, — оживляется дядя Сандро, — их сейчас на парашютах спускают к нам.

— Кто спускает? — спросил я.

— Неизвестное, но враждебное государство, — твердо отвечает дядя Сандро.

— Неужели вы можете поверить, — говорю я, — что, несмотря на погранзаставы, радарные установки и всякую технику, иностранные самолеты могут залетать на нашу территорию и сбрасывать парашютистов?

— Зачем мне верить, если я точно знаю, — отвечает дядя Сандро, — горные пастухи то и дело находят в горах парашюты. А сколько тысяч таких парашютов гниет в непроходимых лесах? Между прочим, хороший материал, говорят... Ему сносу нет...

— Вы видели такого пастуха?

— Нет, — говорит, — я что, председатель колхоза, что ли? Да он и председателю не покажет, чтобы парашют не сдавать в милицию. Пригодится, и палатку можно из него сделать — не протекает.

— Дядя Сандро, — сказал я спокойно и твердо, — это абсолютно невозможно.

— Ну да, — сказал дядя Сандро и поднес айву к лицу, — ты поверишь тогда, когда эндурец прямо на голову тебе спустится... Но он не такой дурак...

— Ну, как это возможно, — начал я слегка повышать голос, — ведь эндурцы жили в наших краях, когда еще самолетов не было?

— Ну и что, — невозмутимо ответил дядя Сандро и снова понюхал айву, — самолетов не было, но парашюты были...

— Но как же парашюты могли быть, когда самолетов не было?! — попытался я достучаться до логики.

— Ты, как палка, все прямо понимаешь, — сказал дядя Сандро и, положив айву на шкуру, продолжал: — Для каждого времени свой парашют. Вот ты смеешься, когда я говорю, что эндурцы опутали нас по рукам и по ногам. Но я с тобой иду на спор. Возвращаясь в город, ты будешь идти мимо Дома Правительст-

ва, где все наши министерства. Выбирай любой этаж и пройди подряд десять кабинетов. И если в восьми не будут сидеть эндурцы, я выставлю тебе и любым твоим друзьям хороший стол и даю клятву больше ни разу не говорить об эндурцах.

— Вы это всерьез?! — спросил я, пораженный таким оборотом разговора. Дело в том, что его домыслы об эндурцах никогда не опирались на цифры, а теперь он вдруг прямо обратился к статистике.

— Конечно, — сказал дядя Сандро и, приподняв львиномордную айву, внюхался в нее, как эстет в розу, — но если ты проиграешь, ты выставишь мне стол в ресторане и признаешься перед всеми моими друзьями, что ты был слепой телок, которого дядя Сандро всю жизнь тыкал в сосцы правды.

— Идет! — согласился я и тут же вспомнил, что он говорил мне неделю назад.

Дело в том, что новый секретарь ЦК Грузии Шеварднадзе начал кампанию по борьбе со всякого рода взяточниками и казнокрадами. В связи с этим в нашем городе, как и во всех других городах Грузии и Абхазии, пробежал слух, что теперь крайне опасно кутить в ресторанах, потому что туда приходят переодетые работники следственных органов и устанавливают, кто именно прокучивает ворованные деньги.

Неделю тому назад в разговоре со мной, коснувшись этой темы, дядя Сандро сказал, что теперь он никогда не войдет в ресторан, даже если его шапку туда закинут. Этим самым он одновременно намекал, что имеет какое-то отношение к подпольной жизни местных воротил, хотя я точно знал, что он

никакого отношения к ним не имеет. Сиживал за их столами, пивал их напитки, но к делам никогда не допускался. Это я знал точно. Сейчас в связи с нашим спором я ему напомнил его высказывание насчет шапки, закинутой в ресторан.

— Ты меня не так понял, — сказал дядя Сандро, — те люди, которые следят за посетителями ресторанов, смотрят, кто будет расплачиваться. А тут я уверен, что расплачиваться будешь ты.

— Хорошо, посмотрим, — сказал я и, попрощавшись с дядей Сандро, стал уходить. Я уже спускался по тропке, ведущей к калитке, когда из-за мандариновых кустов услышал его зычный голос:

— Когда будешь заказывать стол, скажи, что дядя Сандро будет за столом, а то тебе подсунет плохое вино... тот же эндурец!

Через двадцать минут я уже был возле Дома Правительства. Я на минуту замешкался у входа. Я здорово волновался. Я сам не ожидал, что так буду волноваться. Я не знал, какой этаж выбрать для чистоты эксперимента. Почему-то я остановился на третьем. Он мне показался наиболее свободным от игры случая.

Перешагивая через одну-две ступеньки, я вымахивал на третий этаж. Передо мной был огромный коридор, по которому лениво проходили какие-то люди, пронося в руках дрябло колыхающиеся бумаги.

Я пошел по коридору и, отсчитав справа, почему-то именно справа, десять кабинетов, распахнул дверь в последний и остановился в дверях.

За столом сидел лысоватый немолодой эндурец, и, когда я открыл дверь, он посмотрел на меня с тем неповторимым

выражением тусклого недоумения, с которым смотрят только эндурцы, и притом только на чужаков.

Я быстро закрыл дверь и направился к следующему кабинету. Толкнул дверь, и сразу же мне в лицо ударила громкая эндурская речь. За столом сидел эндурец, и двое других эндурцев стояли у стола. Говорили все трое, и все трое замолкли на полуслове, как только я появился в дверях, словно обсуждался план заговора. Замолкнув, все трое уставились на меня.

Гейзер паники вытолкнул в мою голову мощную струю крови! Я распахивал дверь за дверью, и, как в страшном школьном сне, когда тебе снится, что экзаменатор отвернулся от стола и разговаривает с кем-то, а ты переворачиваешь билеты в поисках счастливого, но в каждом незнакомые вопросы, а ты все ищешь счастливый билет, уже тоскуя по первому, который все-таки был полегче остальных, а счастливый все не попадается, а экзаменатор вот-вот повернется к столу, и у тебя уже не будет возможности выбрать билет, и ты уже забыл, где лежит тот, первый, что был полегче остальных, и по хитровой улыбке экзаменатора, который теперь слегка развернулся к тебе и договаривает то, что он говорил кому-то, ты понимаешь, что улыбается он тому, что делаешь ты, и ты вдруг догадываешься, что он все это знал заранее, что он нарочно отвернулся, чтобы полнее унижить тебя, вот так и я...

Вот так и я открыл восемь дверей, и в каждом из восьми кабинетов сидел эндурец. И я в отчаянии открыл девятую дверь. В кабинете оказался очень молодой эндурец, и он очень доброжелательно посмотрел на меня. Я рванулся к не-

му и замер у стола. Сидя за столом, он кротко и внимательно следил за мной.

— Извините, — сказал я, — я хочу вам задать один вопрос.

— Пожалуйста, — ответил он, застенчиво улыбаясь и тем самым как бы беря на себя часть моего волнения.

— Вы эндурец? — спросил я, может быть, слишком прямо, а может быть, самой интонацией голоса умоляя его оказаться неэндурцем или в крайнем случае отказаться от эндурства.

Молодой человек заметно погрузтел. Потом, бессильно прижав ладони к груди, он встал и, склонив как бы отчасти признающую себя повинной голову, промолвил:

— Да... А что, нельзя быть эндурцем?

— Нет! Нет! — крикнул я. — Что вы! Конечно, можно! Правь, Эндурия, правь! — С этими словами я выскочил из кабинета и, не переставая бормотать: — Правь, Эндурия, правь! — скатился с третьего этажа и вырвался на воздух.

Я очнулся у моря в открытой кофейне, где для успокоения души заказал себе две чашки кофе по-турецки. То, что дядя Сандро оказался прав, потрясло меня. Однако после первой чашки, поуспокоившись и поостыв на морском ветерке, я вдруг понял, что только в двух кабинетах сидели безусловно эндурцы, — это там, где громко разговаривали и осеклись, когда я открыл дверь, и там, где молодой человек склонил свою отчасти признающую себя повинной голову. Остальное дорисовало мое испуганное воображение. Второе открытие потрясло меня еще больше, чем первое. Значит, и я способен поддаваться этой мистике?!

Теперь я понял, как это получилось. Сначала я был абсолютно уверен, что утверждение дяди Сандро безумно. Но в самой глубине души мне хотелось, чтобы восторжествовала не убогая реальность действительности, а фантастическая реальность; хотелось, чтобы жизнь была глубже, таинственней. Поэтому, признав первого владельца кабинета эндурцем, я как бы дал фору маловероятной мистике, но, когда во втором кабинете оказались эндурцы, да еще так внезапно и враждебно осеклись, когда я открыл кабинет, произошла мгновенная кристаллизация идеи. Очень уж неприятно, когда люди осекаются на полуслове при виде тебя.

Впрочем... Теперь мне было легче выставить дяде Сандро стол, чем повторять эксперимент.

Интересно отметить, что среди гостей, которых дядя Сандро привел в ресторан, трое оказались эндурцами. Он и раньше с ними встречался, вступая с ними в идеологические поединки. И сейчас двое эндурцев в течение почти всего вечера спорили с дядей Сандро, кстати, вполне академично, пытаясь доказать, что они, эндурцы, менее коварны, чем абхазцы. Дядя Сандро доказывал обратное.

— Ваши ядами приторговывают, вот что плохо, — начал один из эндурцев и вдруг изложил вариант текста, весьма близкий каноническому, если только текст дяди Сандро принять за таковой. Я посмотрел на дядю Сандро, но он ничуть не смутился. Холодным, твердым взглядом он опрокинул мой скептический взгляд, даже как бы приказал мне: «Не верь! Тавтология мнима».

А, между прочим, третий эндурец почему-то отмалчивался, попивая вино и прислушиваясь к спорящим. Я спросил у него, что он думает по поводу этого спора.

— Он прав, — неожиданно сказал этот эндурец, кивнув на дядю Сандро. Глаза его были печальны.

Мне стало его ужасно жалко, и я, не зная, как его утешить, взял из общего блюда самую большую форель, так нежно зажаренную, что на шкурке ее все еще прозолочивались девственные крапинки, и переложил в его тарелку.

— Все это ерунда, — сказал я, похлопав по его согбенной спине, поощряя ее в сторону распрямления, — не обращай внимания, ешь!

Спина его не вняла моему поощрительному похлопыванию, а, наоборот, затвердела, отстаивая свою форму. Тем не менее этот печальный эндурец взялся за форель, обратив на нее свою сиротливую согбенность.

(Кстати, читатель может здесь опрометчиво схватить меня за руку и сказать: «Неправда! В каком это ресторане Абхазии в наше время можно заказать форель?!» Отвечаю: «Почти в любом, но только в том случае, если вы находитесь в обществе дяди Сандро».)

Одним словом, вечер прошел неплохо, тем более что кроме основной темы были и другие, достаточно забавные. За полночь мы расстались с застольцами и часть пути до дому шли с дядей Сандро. Я вспомнил эндурца с печальными глазами и спросил, что он о нем думает.

— Эндурец, признающий коварство эндурцев, — сказал дядя Сандро назидательно, — это и есть самый коварный эн-

дурец. Признавая коварство эндурцев, он делает нас добродушными, а потом уже через наше добродушие еще легче добивается своих эндурских целей.

На этом мы расстались с дядей Сандро. Кстати, и без дяди Сандро у нас в городе относительно эндурцев говорится черт знает что. Так, два-три раза в году город наполняется слухами, что эндурцы захватили власть в Москве. Как захватили, почему захватили и, главное, кто допустил, что захватили, — неизвестно. Все знают одно: эндурцы захватили власть в Москве.

При этом говорится, что одной из первых реформ в стране, которую проведут эндурцы в ближайшее время, — это объявление всех народов нашей страны эндурцами, правда, с указанием атавистических оттенков, как-то: русские эндурцы, украинские эндурцы, эстонские эндурцы, грузинские эндурцы, армянские эндурцы, еврейские эндурцы и так далее. Сами эндурцы будут называться — эндурские эндурцы — со скромным пояснением: коренное население. Однако без указания: коренное население какого именно края, или республики, или страны? Или земного шара? Эта зловещая недоговоренность больше всего пугала наших.

- Они, выходит, коренное население? Значит, мы пришлые?
- Выходит, — вздыхает собеседник.

Слухи о захвате власти эндурцами обычно держатся с неделю. В таких случаях попытка навести справку у самих эндурцев обычно ни к чему не приводит.

— Да нет, — уклончиво отвечает эндурец, — вечно у нас преувеличивают...

В таких случаях наши иногда бросаются с расспросами к москвичам, которые только что приехали к нам отдыхать. Но и они толком ничего не знают, хотя, между прочим, не слишком скрывают опасения быть захваченными кем-нибудь.

— Лишь бы не китайцы, — говорят москвичи.

Все эти слухи в основном распространяет эндургенция. Считаю, что пора объяснить, что это такое. Наша интеллигенция давным-давно расслоилась на две части. Меньшая ее часть все еще героически остается интеллигенцией в старом русском смысле этого слова, а большая ее часть превратилась в эндургенцию.

Внутри самой эндургенции можно разглядеть три типа: либеральная эндургенция, патриотическая эндургенция и правительствующая эндургенция.

Либеральная эндургенция обычно плохо работает, полагая, что, плохо работая в своей области, она тем самым хорошо работает на демократическое будущее. Понимает демократию как полное подчинение всех ее образу мыслей.

Дома при своих или в гостях у своих всегда ругают правительство за то, что оно не движется в сторону парламента.

Глядя на просторы родины чудесной, нередко впадают в уныние, представляя грандиозный объем работ предстоящей либерализации.

Однако при наличии взятки легко взбадриваются и четко выполняют порученное им дело. Взятки берут в том или ином виде, но предпочитают в ином. Берут с оттенком собирания средств в фонд борьбы за демократию.

Патриотическая эндургенция и ее местные национальные ответвления. Подобно тому как их отцы и деды делали карьеру на интернационализме, эти делают карьеру на патриотизме. Внутри старой идеологии патриотическая идеология существует, как сертификаты внутри общегосударственных денежных знаков.

Обычно плохо работает и плохо знает свою профессию, считая, что приобретение знаний, часто связанное с использованием иностранных источников, принципиально несовместимо с любовью к родине. Элегически вспоминает золотые тридцатые годы, а также серебряные сороковые. Часто ругает правительство за то, что оно превратилось в парламентскую говорильню.

Это не мешает ей время от времени входить в правительство с предложением: пытающихся эпатировать — этапировать.

Патриотическая эндургенция считает своим долгом все беды страны сваливать на представителей других наций. Эту свою привычку любит выдавать за выражение бесхитростного прямодушия.

С восторгом глядя на просторы родины чудесной, в конце концов приходит в уныние, вспоминая, сколько инородцев на ней расположилось. Однако при наличии взятки быстро взбадривается и довольно сносно выполняет порученное дело. Взятки берет в том или ином виде, но предпочитает в том. Берет с намеком собирания средств на алтарь отечества. Судя по размерам взяток — алтарь в плачевном состоянии.

Правительствующая эндургенция. Работает плохо, считая, что любовь к правительству отнимает столько сил, что ни

о какой серьезной работе не может быть и речи. Правительствующая эндургенция тоже иногда поругивает правительство за то, что оно, не замечая ее одинокой любви, недостаточно быстро выдвигает ее на руководящие должности.

Эндургенцию двух других категорий ненавидит, но патристическую побаивается и кое-что ей уступает, боясь, что иначе она отнимет все. Считая свое умственное состояние государственной тайной, с иностранцами никогда не заговаривает, а только улыбается им извиняющейся улыбкой глухонемого.

Глядя на просторы родины чудесной, иногда впадает в уныние, представляя, сколько инакомыслящих может скрываться на такой огромной территории. Однако при наличии взятки легко утешается и довольно четко выполняет порученное дело. Одинаково берет как в том, так и в ином виде. Берет с оттенком помощи вечно борющемуся Вьетнаму.

Любимое занятие — рассказывать, а если под рукой карта, и показывать, сколько иностранных государств могло бы вместиться на просторах родины чудесной.

Но пора вернуться к нашей теме. Обычно в таких случаях, когда слух о том, что эндурцы захватили власть в Москве, еще держится, любую случайность принимают за тайный знак.

Например, все сидят у телевизоров и смотрят проводы какого-нибудь министра. Ну, министры, как известно, куда-нибудь уезжая, целуются с остальными министрами. Так уж принято у нас — футболисты, хоккеисты, министры — все целуются на экранах телевизоров.

И вот, значит, министры целуются, и вдруг в толпе провожающих какой-нибудь третьестепенный, а главное, никому не известный руководитель хитровато улыбнулся с заднего плана, и тут сидящие у телевизоров издают грохот, какой бывает на стадионе, когда забивают гол.

— Он! Он! — кричат все в один голос. — Все в его руках!

Интересно, что через несколько дней, когда все убеждаются, что ничего не случилось и страна плавно движется в прежнем направлении, слухи эти полностью отменяются.

— Видно, что-то сорвалось, — говорят наши, — но разве теперь узнаешь что...

Однажды в центральной газете ругали одного дирижера. Ну, подумаешь, ругают дирижера, кому это интересно. Но когда через неделю в той же газете, ничего не говоря о его предыдущих ошибках, сообщили, что он с огромным успехом дает концерты в Америке, мухусчане пришли в неслыханное волнение. Ведь такого не бывало никогда! Номер газеты, где ругали дирижера, многими легкомысленно порванный или выброшенный, предприимчивые люди для ясности сопоставления стали продавать за десять рублей, и достать его было невозможно.

Сравнивая обе заметки, мухусчане пришли к выводу, что эндурцы установили полный контроль над правительством. И сейчас, давая наперекор прежней, положительную заметку о концертах дирижера, они показывают, что теперь они все перевернули, и теперь все будет наоборот.

При этом, как водится, наши заглядывали в лица местных эндурцев, чтобы установить, как они намерены вести себя в связи с таким необыкновенным возвышением.

Но эндурцы вели себя с таинственной сдержанностью, что оптимистами понималось как обещание лояльности по отношению к нашим, а пессимистами понималось как временная уловка в связи с переброской основных сил в Москву.

Одним словом, у нас все время чего-то ждут. И хотя сам ты давно ничего не ждешь и доказываешь другим, что ждать нечего, ты невольно и сам начинаешь ждать, чтобы, когда кончится время ожидания других, напомнить им, что ты был прав, говоря, что ждать было нечего. А так как время ожидания других никогда не кончается — вот и выходит, что и ты вместе со всеми ждешь, что у нас все всё время чего-то ждут.

В сущности, это даже неплохо. Было бы ужасно, если бы люди ничего не ждали. Смирись, гордый человек, и живи себе в кротком или бурном, как мои земляки, ожидании чего-то.

Однако становится грустно. Вот так, начинаешь за здравие, а кончаешь за упокой...

Что смолкнул веселия глас? Русь, дай ответ?! Не дает ответа. Дядя Сандро, дай ответ? Иногда дает.

15. молния-мужчина, или чегемский пушкинист

Быстрыми, сноровистыми движениями приторочив два мешка с грецкими орехами к деревянным рогаткам седельца,

Чунка слегка приподнял и потрянул мешки, тихо громыхнувшие орехами. Это он проверял, ладно ли прикреплена поклажа к спине ослика. Он стал отвязывать веревку, которой ослик был привязан к перилам веранды. Рядом с ним молча стоял Кунта.

— Когда приедешь? — спросила Нуца.

Она стояла на веранде напротив ослика. Чуть подальше от нее в глубине веранды, выражая этим некоторое отчуждение, горестно скрестив на груди руки, стояла большеглазая Лилиша, сестра Чунки. Быстрые, праздничные движения брата возбуждали в ней неприятные, смутные подозрения: он опять пойдет к этой ужасной женщине!

— Скорее всего, завтра, — отвечал Чунка, прикрепляя конец веревки к седлу.

— Почему завтра, а не сегодня? — удивилась Нуца и, нагнувшись, убрала тазик из-под морды ослика. В тазике еще оставалась горсть кукурузных зерен, и морда ослика потянулась за ними. Нуца плеснула в сторону зерна из тазика, и сразу же туда, где они посыпались, метнулись куры.

— Я на обратном пути заночую у товарища в Анастасовке, — сказал Чунка и, шлепнув ослика ладонью по шее, повернул его в сторону ворот.

— Знаю, у какого товарища, — бормотнула ему вслед сестра и тяжело вздохнула.

— Знаешь, так молчи, — не оборачиваясь бросил Чунка, следуя за осликом.

Бодро перебирая ногами, ослик пересек озаренный осенним солнцем двор. Было тепло. В воздухе пахло перезревшим

виноградом и прелью высохших кукурузных стеблей еще не убранныго приусадебного поля.

Рядом с Чункой шагал Кунта. Чунка ехал в Мухус продавать орехи и прихватил с собой Кунту, чтобы тот сопровождал его до Анастасовки, где он сядет на попутку, а Кунта пригонит назад ослика.

Нуца с минуту, пока они переходили двор, смотрела им вслед. Высокий, стройный как выстрел Чунка в коричневой фланелевой рубаше и черных шерстяных брюках, идущий покачивающейся походкой, словно уверенный, как он ни ступи на землю, она его все равно будет любить, и Кунта, вдумчиво вышагивающий рядом с ним, маленький, как подросток, с акkuratно выпирающим горбиком под линялой сатиновой рубашкой.

Нуца невольно залюбовалась высокой, гибкой фигурой Чунки и, словно вспомнив о вспышливой силе, заключенной в ней, бросила ему вслед:

— Не задирайся с городскими хулиганами! Подальше от них!

— Авось не задерусь, — ответил он не оборачиваясь, и в голове его Нуца почувствовала горделивую улыбку.

В самом деле на губах Чунки сейчас блуждала задумчивая улыбка. Чунка был слегка горбонос. Горбоносость была следствием того, что нос его был перебит в одной из драк, и, может быть, в этом роковом ударе проявилась несколько запоздалая, но эстетически смелая воля творца, потому что эта удачно дозированная перебитость носа придавала славному лицу Чунки особенную воинственную привлекательность.

Его лицо, обычно выражавшее одновременную готовность к беспредельному добродушию и такой же отваге, сейчас, мимолетно улыбнувшись собственной отваге, задумчиво просветлело.

Да, сестра была права. Чунка и в самом деле думал о соблазнительной Анастасии из Анастасовки. Такое уж было совпадение названия села и имени этой греческой девушки. Чунка, как и его кумир Пушкин, придавал большое значение всем этим знакам и совпадениям.

Анастасия была юной подпольной куртизанкой. Ее красотой исподтишка, хотя об этом все знали, подторговывала ее старая, безобразная мать. Так она помогала двум своим старшим дочкам, вышедшим замуж за неудачливых городских греков и нарожавших кучу прожорливых детей.

Уважение к целомудрию края выражалось в том, что мать не разрешала принимать у себя в доме людей из самой Анастасовки, но еще ярче выражалось в том, что плата за ласки Анастасии была нешуточная. Так, по расчетам Чунки, продажа пяти пудов орехов должна была уйти на блаженство, последний шестой пуд — на скромные подарки домашним женщинам.

Анастасия Чунке очень нравилась, но он никогда не собирался на ней жениться, чего так боялась его наивная сестра. Он с ней впервые встретился два года назад и с тех пор был у нее около двадцати раз. Порой, не имея денег, он просто заходил поглазеть на нее, что всегда вызывало откровенное негодование ее матери: нет денег, не болтайся, не позорь девушку своими пустыми приходами!

Два великих духовных потрясения испытал Чунка в своей жизни — это Пушкин и тигр.

Пушкин потряс Чунку еще в последнем, седьмом классе чегемской школы и продолжал потрясать до сих пор, а тигр потряс его два года назад в зверинце, приехавшем на сезон в Мухус.

На посиделках с районной золотой молодежью Чунка не уставал рассказывать про тигра и про Пушкина. Так как районная золотая молодежь состояла из представителей разных наций, говорили обычно по-русски. Чунка довольно хорошо знал русский язык. Тому причиной — Пушкин, армия да и природная переимчивость.

— И вот мы стоим перед клеткой, — обычно начинал Чунка, постепенно воодушевляясь, — а он ходит, ходит, ходит, а на нас — положил с прибором. Кое-кто кричит, кое-кто бублики бросает в клетку, как будто тигр, как нищий, кинется за бубликом. Но он в гробу видел эти бублики. А людям обидно. Хоть бы один раз на них посмотрел. Нет! Не смотрит! Ходит, ходит, ходит. А людям обидно: один раз посмотри, да? Нет, не смотрит. И, наконец, что он делает, ребята? Клянусь покойной мамой, если выдумываю что-нибудь! Он останавливается, поворачивается к нам спиной и, как за столом говорят культурные люди, мочится прямо в нашу сторону. И хотя струя до нас не доходит и даже из клетки не выходит — по смыслу на нас! И при этом по-во-ра-чи-вает голову, как будто говорит: «Хоть вы меня и посадили в клетку, но я вас презирал, презираю и буду презирать!»

Несмотря на то, что эта столь живо написанная картина явно свидетельствовала в пользу тигрицы, Чунка неизменно добавлял:

— Вот это, я понимаю, мужчина! И хотя с тех пор я не раз бывал в драках, кое-кого колотил и мне попадало, но я мечтаю, ребята, о другом. Я мечтаю, чтобы мне в руки попался самый подлый мерзавец, чтобы я свалил его ударом, чтобы помочился на него, как тигр, и спокойно ушел. Больше ни о чем в жизни не мечтаю!

— Чунка! — кричали разгоряченные представители районной молодежи. — Ты настоящий джигит! Сейчас мы выпьем за тебя и ты прочитаешь куплеты Пушкина!

— Пушкина, — соглашался Чунка, — в любой час дня и ночи!

Чунка многие стихи Пушкина знал наизусть. Но вершиной, вернее двумя вершинами, его творчества по праву считал «Черную шаль» и «Песнь о вещем Олеге».

Таинства личных отношений с гречанкой чаще всего выводили его на чтение «Черной шали». Ни у слушателей, ни у самого Чунки ни на миг не возникало сомнения, что Пушкин описал случай из собственной жизни.

Угрожающим от вдохновения голосом Чунка начинал:

*Гляжу, как безумный, на черную шаль.
И хладную душу терзает печаль.
Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил.*

Он с такой силой передавал возрастание драматического напряжения происходящего, что, когда произносил:

*В покой отдаленный вхожу я один,
Неверную деву лобзал армянин... —*

некоторые из слушателей, не выдержав, вскакивали, и, если в компании бывал парень армянского происхождения, бросали на него угрожающие взгляды.

Описание беспощадной расправы Пушкина с изменницей и ее любовником вызывало у слушателей настоящий катарсис.

— Чунка, — восклицали некоторые после чтения, — ты настоящий поэт!

— Тогда почему ты сам не пишешь? — нередко спрашивали у него.

— Я мог бы писать по-русски, — вразумительно отвечал Чунка, — но, во-первых, у русских уже был Пушкин. Во-вторых, это с моей стороны было бы даже нескромно, что я, чегемский парень, нахально лезу в литературу стомиллионного русского народа. Нет, из гостеприимства в лицо мне об этом могут не сказать, но про себя могут подумать. А я не хочу, чтобы и про себя подумали! Теперь вы у меня спросите: почему я не пишу по-абхазски? Потому, что эти бюрократы изменили нам алфавит! Не то что писать, я теперь читать не могу по-абхазски!

Слушатели сочувственно ахали, охали, цокали языками и как-то никому не приходило в голову спросить, почему бы ему не писать стихи на старом алфавите.

— Ладно, — махнув рукой, продолжал Чунка, — дело не в том, что я не пишу стихи, а дело в том, что я в стихотворении «Черная шаль» сделал открытие, которое в течение ста лет ни один русский ученый не мог сделать. Когда я об этом открытии рассказал директору Атарской средней школы, он чуть с ума не сошел. Вернее, сошел, но позже. Он месяца на два куда-то исчез. Я думаю — в психбольнице у доктора Жданова лежал. Тот, наверное, его подлечил, а потом сказал: «Для Атарской средней школы достаточно. Езжай домой!»

— Как ты со своей семилеткой, — закричал этот директор в первый раз, еще до психбольницы, — сделал это открытие, когда я, окончив Краснодарский педагогический институт и преподавая русскую литературу в школе, не догадался?

Немного оскорбляет меня через семилетку, но я тут же даю ему оборотку.

— Для открытия, — говорю ему, — уважаемый директор, кроме диплома, еще кое-что надо иметь...

— Какое же открытие ты сделал, Чунка? — спрашивали друзья, движеньем удивленных бровей приводя в готовность свои умственные силы.

— Слушайте, тогда поймете, — отвечал Чунка, — помните строчки:

*Я дал ему злата и проклял его.
И верного позвал раба своего.*

Я всегда на этом месте спотыкался. Я думал, как это может быть? Пушкин всю жизнь сам боролся с рабством, за это царь его выслал к бессарабам, где он и встретил свою блядовитую гречанку. И он же содержит раба? Тут что-то не то! Значит, Пушкин вынужден был так написать и в то же время дает намек, что надо понимать эту строчку по-другому. И тогда я еще одну ошибку заметил в этой строчке. Почему он вместо позва́л говорит по́звал, как малограмотный эндурец? Опять дает намек, что эту строчку не так надо понимать.

Ведь мы через историю знаем, что Пушкин создал русский культурный язык. До Пушкина русские люди говорили на деревенском языке. Вроде современных кубанцев. Они не говорили: «Арбуз!» Они говорили: «Кавун!» — как кубанцы говорят. Теперь вы у меня спросите: неужели царь и его придворные князья тоже говорили как современные кубанцы? Отвечаю. Они вообще по-русски не говорили. Они говорили по-французски. Так было принято тогда.

И вот в одной строчке две грубые ошибки. Пушкин говорит, что содержит раба, и это говорит человек, который крикнул на всю Россию:

Здесь рабство тощее влачится по браздам...

Нет, это не значит, что тогда на крестьянах пахали, как на быках. Но это значит, что народ содержали в унижительном рабском виде. И я понял, что Пушкин, певец свободы, это сделал нарочно, чтобы остановить на этом месте внимание

потомков. Я долго, долго ломал голову, и вдруг, как молния, сверкнула отгадка. И сразу все стало ясно.

Строчку надо понимать так:

*Я дал ему злата и проклял его.
И верного брата позвал своего.*

Пушкин нарочно для рифмы слово оставил. Брата — злата — рифма называется. Рифма — это когда слова чокаются, как мы чокаемся стаканами, когда хотим дружно выпить.

У Пушкина был младший брат. Лева звали. Оказывается, младший брат тайно приехал к нему в Бессарабию. Может, Пушкин через кого-то попросил: «Пусть братик приедет, ску чаю». Может, брат сам приехал. И Пушкин, когда поскакал мстить гречанке и ее армянскому хахалю, взял с собой младшего брата. Тогда принято было мужеству учить младшего брата. Но тогда он так написать не мог, чтобы от жандармерии скрыть фактические данные. Главный жандарм России, Бенкендорф звали, вроде нашего Лаврентия, Пушкина ненавидел. И он, прочитав стихотворение «Черная шаль», не мог не попытаться установить, как Пушкин убил гречанку и ее хахалю. Но Пушкин так все замаскировал, что Бенкендорф запутался, концы не мог найти.

Ищут раба. Нет раба. Люди, близко знающие Пушкина, говорят: «У них в семье содержать раба вообще не принято! У Пушкина и дядя поэт. А старушку Арину Родионовну он любит больше родной матери».

Ищут родственников убитой гречанки — не могут найти. Может, она была одинокая. Может, родственники после такого случая тихо снялись и уехали к себе в Грецию. И Бенкендорф ничего не мог сделать. В те времена, чтобы арестовать человека, доказательства требовались. Это вам не тридцать седьмой! Докажи — тогда арестуй!

И вот Пушкин замаскировал строчку так, чтобы современники не поняли, а кто-то из потомков открыл, как в действительности все происходило. И я это открытие сделал.

— Но, Чунка, — удивлялись ошеломленные представители районной молодежи, — наверное, в Москве какая-то комиссия есть по таким делам? Может, тебе премия положена? Поедем в Сочи! Прокутим!

— Посмотрим, — неопределенно отвечал Чунка, — там тоже — знаете, какие бюрократы сидят. Или себе заберут мое открытие, или скажут: «Без диплома не имел права». Надо найти человека, который имел бы хорошую должность и так же любил Пушкина, как я. Через такого надо действовать. Но пока я такого не нашел. Подожду. Если за сто лет никто не мог догадаться, за два-три года не очухаются.

Вот каким парнем был Чунка. Теперь, рассказав о его главной страсти, мы догоним его и Кунту, уже спустившихся с чегемских высот, переплывших на пароме через Кодор и добирающихся до Анастасовки.

В центре села рядом с помещением сельсовета стоял грузовик. Несколько человек с мешками и корзинами разместились в кузове. От них Чунка узнал, что машина идет в Мухус, а шофер

часа через два-три должен подойти. Чунка был с ним знаком. Он снял с ослика мешки и перебросил их через борт в кузов.

Кунта погнал ослика назад, а Чунка, любопытствуя, подошел к раскидистой шелковице, росшей вблизи сельсовета, где полукругом стояло около дюжины местных крестьян: мингрельцев, греков, армян.

Здесь объезжали вороную кобылицу. Оседланную лошадь с подвязанными к подпругам стремянами на длинной веревке, прикрепленной к недоуздку, какой-то парень водил по кругу. Кобылица время от времени взбрыкивала, давала свечу или прыгала вбок, но натянутая веревка никуда ее не пускала. Когда она выбегала из-под тени шелковицы, черная шерсть ее мускулистого крупа лоснилась, словно она окунулась в теплое масло осеннего солнца.

— Бешеная собака, а не лошадь, — сказал пожилой крестьянин, стоявший впереди Чунки, — два часа себя не дает.

— Почему? — спросил Чунка.

— Увидишь, — кивнул крестьянин на лошадь и не спеша достал кожаный портсигар, скрутил сигарку и задымил.

Чуть впереди толпы крестьян стоял молодой парень с камчой в одной руке и уздечкой в другой. Чунка понял, что он и есть объездчик. Парень был одет в голубую атласную рубашку, подпоясанную тонким ремнем. На ногах галифе и мягкие сапоги. Однако вид у него был не такой уж бравадный: рубаха была разорвана у горла и большой лоскут ее телепался на плече. Да и галифе было в пыли. «Видно, лошадь его уже сбрасывала», — подумал Чунка.

На веранде здания сельсовета появился председатель колхоза. Он вышел из дверей правления. Это был крупный мужчина в чесучовом кителе.

— Хо! — громовым голосом выразил он крайнее удивление, взглянув на крестьян, стоявших под шелковицей. — Вы еще здесь, дармоеды?! Цурцумия, тюковать табак кто будет? Моя бабушка?! Цурцумия — на тюковку табака, остальные — на ломку кукурузы! Вы что, думаете, такая погода всегда будет? Быстро по рабочим местам!

Он на мгновенье замолк и вдруг, взглянув на лошадь, рысющую по кругу, крикнул совсем другим голосом в толпу:

— Зачем лошади стремяна подвязали?! Отвяжи сейчас же! Наоборот, она должна привыкать, чтобы стремяна били ей в живот!

Парень, державший лошадь за веревку, осторожно по веревке подошел к ней и отвязал стремяна, подвязанные к подругам. Он снова отошел от лошади на расстояние вытянутой веревки и снова пустил ее. Теперь стремяна свободно болтались, но лошадь, все так же взбрыкивая, гневной рысцей бежала по кругу.

— Теперь совсем другое дело, — сказал председатель, словно за этим и вышел, однако уже у дверей правления снова повернулся и крикнул: — А с тобой, Цурцумия, особый разговор будет...

Худенький, пожилой крестьянин в черной рубашке и полотняной кепке, нервно вздрогнув, вскинул голову в сторону председателя, словно хотел ему что-то ответить, но сдержался.

— Чего он Цурцумия ругает? — спросил Чунка у того, что стоял перед ним. Тот опять обернул к нему седобровое лицо и с лукавой улыбкой человека, знающего тайные пружины взаимоотношений местных людей, начал старательно пояснять:

— Цурцумия — родственник вот этого, который хочет сесть на лошадь. А председатель думает, что Цурцумия собрал людей, чтобы через любованье его родственником себе уважение получить. За это зуб на него имеет. А так Цурцумия неплохой человек, только немножко бедный...

Тут он на мгновенье задумался и, видимо, решив раз и навсегда исчерпать тему Цурцумия, добавил:

— Но тот Цурцумия, который в городе живет, родственник нашего Цурцумия. Тот лопается, как инжир, такой богатый. А наш Цурцумия бедный, а так человек неплохой... Табак хорошо понимает...

После того как председатель победно покинул веранду и исчез в дверях, побежденные несколько оживились. Лошадь все еще кружилась на веревке. Цурцумия бросил на объездчика взгляд, полный тревожной мольбы.

— Еще раз попробуем, — сказал объездчик тому, что держал конец веревки.

Тот, осторожно перебирая ее, подошел к кобылице. Она теперь стояла совершенно неподвижно, едва прядая ушами, и только по черному крупу временами пробегала дрожь, как рябь по воде.

Объездчик крадчивой походкой подошел к ней, все еще держа в левой руке уздечку, а в правой камчу. Лошадь, каза-

лось, не обращала на него внимания. Она была неподвижна. Чунка заметил, что Цурцумия от волнения сорвал со своей головы полотняную кепку и прижимал ее к груди, то и дело перебирая жующими пальцами.

— Сейчас бешеную собаку увидишь, — сказал крестьянин, стоявший впереди Чунки, и отбросил окурок.

Объездчик передал уздечку тому, что держал теперь лошадь за недоуздок. Тот осторожно сунул ей в рот удила, осторожно пристегнул нащечный ремень и так же осторожно подвел поводья к седлу, продолжая другой рукой придерживать лошадь за недоуздок. Объездчик перехватил поводья. Лошадь продолжала стоять совершенно неподвижно, но почему-то именно эта ее неподвижность больше всего подтверждала ее неуклонную нацеленность на взрыв.

Тот, что держал ее за недоуздок, стал пятиться, пропуская веревку в ладони, пока не дошел до конца вытянутой веревки, которую он намотал на кулак, и остановился.

— Давай! — сказал он и ухватился за веревку второй рукой.

Объездчик, придерживая поводья, положил руки на переднюю луку седла. Потом осторожно вдел ногу в стремя и замер в такой позе. Толчок! Парень метнулся к седлу, но не успела его нога перемахнуть через него, как лошадь мгновенно дала свечу, отшвырнула объездчика и, со свечи повернувшись на задних ногах, бросилась на него, оскалив желтозубую пасть. Она едва не схватила его за отбивающийся сапог, но тут натянутая веревка не пустила ее дальше.

— Бешеная собака, — радостно закричал крестьянин, стоявший впереди Чунки, — человека за человека не считает!

Цурцумия, хлопнув о землю свою шапчонку, бросился подымать объездчика, но тот, оттолкнув Цурцумия, сам вскочил и стал ругать парня, державшего веревку, за то, что тот якобы недостаточно натягивал ее. Потом он вдруг, словно только заметил, схватил ладонью телепавшийся у плеча лоскут рубахи и, вырвав, отбросил.

Подобрав камчу, выпавшую у него из рук, он, скрывая бешенство, подошел к лошади и изо всех сил огрел ее. Лошадь всхрапнула и галопом помчалась по кругу, и тот, что держал ее на веревке, сейчас еле удерживал ее, обеими руками вцепившись в нее и почти запрокинувшись на оттяжке.

— Главное, — сказал крестьянин, обернувшись к Чунке, — эта лошадь сразу не кусает, как другие. Сперва выбрасывает человека, потом становится на задние ноги, а потом уже кусает. Таковую привычку имеет. Видишь, рубашку порвала? В тот раз чуть за горло не схватила.

— А сколько раз он пытался сесть? — спросил Чунка.

— При мне четыре раза! — восторженно пояснил крестьянин. — А сколько до меня — Аллах знает!

Минут через десять объездчик снова подошел к ней, и Цурцумия снова прижимал к груди свою подобранную шапчонку, и все до смешного повторилось, как в тот раз.

Только теперь тот, что держал кобылицу на веревке, и в самом деле не успел натянуть ее, и свалившемуся объездчику пришлось несколько метров на заднице отползать от бешен-

ной вытянутой морды кобылицы. И неизвестно, чем бы это кончилось, если б внезапно не выбежал Цурцумия и бесстрашно шапчонкой несколько раз не ударил кобылицу по морде. Кобылица от неожиданности отступилась, а объездчик вскочил и стал ругать того, что плохо натягивал веревку.

Цурцумия, взвинченный всем случившимся, тоже присоединился к ругани своего родственника. При этом он то и дело помахивал своей столь удачно использованной шапчонкой, и хотя прямо не ссылался на нее, но явно давал знать, что и гораздо более скромными средствами, чем натянутая веревка, некоторые кое-чего добиваются.

Парень, державший веревку, почти не оправдываясь, молча пустил лошадь по кругу. Всезнающий крестьянин обернулся к Чунке и тут же объяснил причину терпеливости этого парня. Причина была простая — кобылица была его. Заинтересованный в этом объездчике, он своей излишней покорностью как бы пытался уравновесить излишнюю норовистость своей кобылицы.

Снова на веранду вышел председатель колхоза, и, выразив на своем лице крайнее изумление, что крестьяне не разошлись по рабочим местам, опять стал ругаться, и опять выделил Цурцумия, с немалым упорством добиваясь у него ответа, кто должен тюковать табак: он, Цурцумия, или его, председателя, бабушка?

— С такими негодьями, как вы, — зычно закончил он свою речь с веранды, — не то что один хороший коммунизм, один хороший феодализм нельзя построить!

После этого он, мгновенно успокоившись, обратил внимание на то, что лошадь теперь рысит по кругу с болтающимися стременами.

— Сейчас совсем другое дело, — сказал он, — теперь, когда он на нее сядет, она спокойней будет. Вообще не надо привязывать стремя... А с тобой, Цурцумия, особый разговор будет... — С этими словами председатель снова покинул веранду и скрылся в дверях правления.

— Когда он на нее сядет, — по-мингрельски, горестно передразнил его Цурцумия, — в том-то и дело, что сесть не дает... Еще председатель называется...

И тут Чунка не выдержал.

— Я ее объезжу! — крикнул он и пробрался вперед.

Теперь его горбоносое лицо выражало только отвагу. Шальная мысль мелькнула у него в голове. Он не то чтобы был особенно опытным объездчиком, но около десяти лошадей успел объездить. Но дело было не в этом.

В мальчишестве у них в Чегеме была такая игра. Они забирались на чинару, стоящую посредине выгона, куда в полдень табун приходил отдыхать. Осторожно по ветке добираясь до лошади, стоявшей под ней достаточно удобно, ребята свешивались с нее и прыгали на скакуна, одновременно стараясь цапнуть гриву обеими руками.

Даже объезженные лошади от неожиданности шалели, а необъезженные просто устраивали родео. Кто дольше всех удерживался на спине лошади, тот и считался героем. Интересно, что, когда кто-нибудь прыгал на одну лошадь, другие не разбе-

гались. Лошади привыкли опасаться человека, приближающегося по земле. А человек, прыгающий на лошадь с дерева, был непонятен остальным лошадям и потому не очень их беспокоил.

Сейчас Чунка решил объездить эту кобылицу именно таким способом. Кроме всего, ему хотелось, чтобы эти анастасовцы раз и навсегда обалдели от его чегемской лихости.

— Дай камчу! — сказал он объездчику и протянул руку. Тот, угрюмо набывчившись, сделал вид, что неохотно передает камчу.

— Снимите седло! — приказал Чунка, пошлепывая камчой по брюкам.

Объездчик вопросительно на него посмотрел, но Чунка не удостоил его ответным взглядом. Он уже поймал глазами то место на нижней ветке шелковицы, откуда собирался спрыгнуть. Объездчик подошел к остановленной лошади, отстегнул подпруги, снял седло и поставил его на землю. Кобылица опять замерла, и сейчас, когда она была без седла, особенно бросалось в глаза, как волны дрожи, словно рябь по воде, пробегают по черному крупу.

— Сними веревку и надень уздечку! — приказал Чунка хозяину лошади.

Тот, продолжая держать веревку, двинулся к лошади, приподняв валявшуюся на земле уздечку. Он снова сунул ей в рот удила, пристегнул нащечный ремень и, взявшись за поводья, обернулся:

— Но ведь она убежит?

Вот анастасовцы со своими долинными понятиями об объездке!

— Лошадь — для того и лошадь, чтобы бегать, — вразумительно сказал Чунка и, подойдя к нему, взял у него поводья.

— Сними недоуздок, — кивнул Чунка.

Хозяин лошади снял с нее недоуздок и отбросил его подальше вместе с вильнувшей веревкой. Чунка подвел лошадь к месту под веткой, наиболее удобной для прыжка. Еще никто не понимал, что он собирается делать. Кивком он подзвал хозяина лошади и, перекинув поводья через голову кобылицы, передал ему.

— Вот так стой, — приказал он ему, — ни на шаг не сдвигайся.

— Зачем? — спросил тот, окончательно сбитый с толку.

— Увидишь, — сказал Чунка и, сунув ладонь в кожаную петлю на конце кнутовища, чтобы камча держалась на запястье, подошел к дереву и стал влезать на него. Тут и анастасовские тугодумы зашумели, поняв, что он собирается делать. Похохатывая, стали вышучивать чегемцев.

— Одного чегемца спросили, — громко крикнул кто-то, — почему вы коз в кухне доите? — А он: — От загона молоко тащить далековато.

— Ха! Ха! Ха!

— Козы — ерунда, — сказал другой, — чегемцы коров на чердак подымают, чтобы солью накормить!

— Ха! Ха! Ха!

— Лошадь, что будет, не знаю, — ехидным голосом выкрикнул какой-то мингрелец, — но для гречанки яичница будет!

— Ха! Ха! Ха!

Чунка не обращал внимания на эти шутки. Он уже сидел на ветке прямо над лошадьё. Но вот, обхватив ее руками, он осторожно свесился и теперь висел, слегка покачиваясь и растопырив ноги над крупом лошади.

— Как только схвачу поводья — отбегай! — приказал он хозяину, державшему поводья над шеей лошади и с некоторым испугом следившему за ним.

— Хорошо, — быстро согласился тот, явно готовый отбежать даже еще раньше.

Тут Чунка вспомнил о машине и своих орехах. Он знал, что если удержится, лошадь его умчит, и неизвестно, когда он вернется.

— Если придет шофер, — кивнул он для ясности в сторону машины, — скажи, чтоб Чунку подождал.

В те времена шоферы были редкими и потому важными людьми. Похвастаться личным знакомством с шофером тоже было приятно.

В последний раз примерившись покачивающимся телом к спине лошади, он спрыгнул. Чунка успел схватить поводья, хозяин кинулся в сторону, а кобылица, обезумев, дала свечу, пытаясь опрокинуться на спину и подмять всадника. Но Чунка хорошо знал эту повадку лошадей. Он всем телом налег на шею кобылицы и вдобавок кнутовищем камчи хрястнул ее по голове, чтобы она невольно опустила голову и сама опустилась. Кобылица в самом деле опустилась, но тут же снова взмыла свечой и прыгнула вбок, чтобы стряхнуть его со спины. Чунка изо всех сил вжался ногами в живот лошади.

Кобылица грозно всхрапнула и, наконец, вспомнив свой кусачий нрав, вывернула голову, чтобы схватить его за правую ногу. Чунка успел отдернуть ногу и с размаху трахнул ее по башке кнутовищем камчи.

Лошадь рванулась за его левой ногой и, как собака, взбешенная укусом блохи, завертелась на одном месте, пытаясь поймать его левую ногу и вышвыривая из-под копыт комья дерна, долетавшие до охающих зрителей. Чунка несколько раз промахивался, сеча кнутовищем плещущую гриву. Наконец так саданул ее по голове, что голова гукнула, как пустой кувшин.

Кобылица всхрапнула и дала свечу. Чунка всей тяжестью перегнулся вперед, но на этот раз она прямо со свечи ударила задними копытами, сквозила, как говорят лошадики. Все это было для Чунки не ново. Новым было то, что она, ударив задом, одновременно со всего маху длинной шеи сунула голову между передних ног. Такой повадки Чунка не знал и чуть было не вывалился вперед. И только намертво клешнящая сила ног помогла ему удержаться на лошади.

Кобылица понесла. В ушах гудело. Плотнеющий воздух бил в лицо, как полотнище неведомого знамени. Сейчас держаться было легко, но Чунка знал, что она еще не смирилась и можно ожидать от нее всякого. По деревенской улице она мчалась в сторону Кодора. Собаки не успевали ее облаять, а только лаем перекидывали друг другу весть о мчащемся чудище.

У самой последней усадьбы, где уже кончалась улица и начинался пойменный луг, эту весть приняла маленькая собачонка и, словно считая себя последней надеждой всех осталь-

ных собак, с отчаянным лаем выкатилась прямо под ноги кобылице. Кобылица шарахнулась в сторону и очутилась перед плетнем приусадебного кукурузника. Собачонка за ней! Кобылица вдруг взлетела, перемахнула через плетень и понеслась по кукурузе. Высокие кукурузные стебли с оглушительным шорохом хлестали Чунку по лицу, с метелок сыпалась на глаза пыль и труха.

Неожиданно лошадь запуталась в бесчисленных тыквенных плетях, ополоумев, проволокла их за собой, круша ими кукурузные стебли и волоча по земле вместе с плетями полупудовые тыквы.

Собачонка, все это время заливавшаяся лаем и, видимо, искавшая в плетне дыру, нашла ее и догнала лошадь, когда она, ломая кукурузные стебли, волочила за собой тыквы, пытаясь выпрыгнуть из стреножащих плетей. Чужая лошадь, топчущая хозяйскую кукурузу, а главное, уволакивающая за собой родные тыквы, привела ее в такое неистовство, что, казалось, от лая она вот-вот вывернется наизнанку.

И тут у кобылицы подломились передние ноги. Чунка сумел удержаться и, сгоряча вырвав кукурузный стебель, огрел ее по голове корневищем, брызнувшим комьями земли. Лошадь рванулась и выпрыгнула из тыквенных плетей.

Через несколько минут она снова перемахнула через выросший перед ней плетень и помчалась по пойменному лугу, приближаясь к шуму Кодора и оставляя за собой угасающий, но все еще победный лай собачонки. Возможно, она думала: тыквы все-таки спасла!

И опять струи затвердевшего воздуха били в лицо, и Чунка, про себя улыбаясь, думал об этой бесстрашной собачонке. Вдруг он почувствовал, что лошадь забирает вправо на большую старую ольху, росшую посреди луга. Он знал эту лошадиную хитрость, и все-таки было страшновато. Он попытался повернуть ей голову, но она не слушалась поводов. Казалось, не лошадь, а могучее течение несет его на дерево.

В таких случаях неопытный всадник, думая, что лошадь собирается с размаху грянуться о дерево, теряет самообладание или пытается спрыгнуть на ходу. Точно так же она может мчаться к обрыву.

Но Чунка знал, что это игра на нервах. В двух шагах от ствола она внезапно замерла на всем скаку, стала, как врытая, чтобы сошвырнуть его со спины на ствол дерева. Но Чунка за несколько мгновений до этого успел откинуться назад и удержался. Лошадь, словно растерявшись на мгновение, подчинилась поводьям и снова помчалась по луговой пойме.

Недалеко от переправы она свернула к воде, видимо, решив испугать всадника близостью могучей реки. Разбрызгивая гальку, теперь она бежала вверх по течению.

Она пронеслась мимо людей, ожидавших парома, где стоял Кунта вместе со своим осликом. Кунта долго из-под руки глядел вслед промчавшемуся всаднику, стараясь понять: настоящая лошадь промчалась с призраком Чунки или оба они призраки — всадник и его лошадь.

Через некоторое время, видимо, от боли, которую причиняла прибрежная галька ее неподкованным копытам, она

свернула на луг и домчалась до зеленого всхолмия. Чунка пустил ее вверх по тропке. Минут через двадцать она хрипло задышала и остановилась. Чунка повернул вниз. Теперь лошадь признавала всадника.

Когда они съехали на пойму, лошадь пошла ровным, послушным шагом в сторону центра села. Но Чунка снова стеганул ее несколько раз камчой, чтобы выжать из нее остатки строптивости, если они еще были в ней. Лошадь рванулась, но минут через десять сама перешла на шаг. Чунка ею больше не помыкал.

Под одобрительный гул анастасовцев Чунка въехал под сень шелковицы, спрыгнул с лошади, поцеловал ее горячую, замученную морду, кинул камчу объездчику, как кидают выпитый на спор бокал, и, не говоря ни слова, пошел в сторону машины.

Он старался идти небрежной походкой, хотя едва передвигал окаменевшими от перенапряжения ногами, чувствуя огненную боль в натертом межножье. Главное — никакого внимания восторженным возгласам: для чегемца это обычное дело!

Оказывается, когда он отходил от лошади, она на него обернулась или просто случайно повернула голову в его сторону. Но окружающие увидели в этом особый знак.

— Лошадь, как женщина, первого любит, — важно заметил по этому поводу один из анастасовцев.

Все одобрительно зацокали и закивали, некоторым образом вкладывая в свое киванье далеко идущий личный опыт, извлеченный из глубин памяти.

— Слушай, парень, — обратился председатель к Чунке. Он опять стоял на веранде, и, видно, ему уже рассказали, каким способом Чунка сел на лошадь, — если ты вот так спрыгнешь с дерева или еще лучше с крыши сельсовета и объездишь нашего Цурцумия, клянусь партией, колхоз тебе подарит патефон!

Тут наконец Цурцумия взбунтовался. Возможно, невольное торжество Чунки, вырвавшего у его родственника столь важную для Цурцумия победу над кобылицей, окончательно надорвало его терпение.

— Что такой! — закричал он, нервно тряся руками перед собой. — Всегда Цурцумия! Цурцумия! Убей Цурцумия и построй Коммуния!

— Язык, Цурцумия! — крикнул председатель и уже ко всем: — По рабочим местам! Три часа бездельничали, а теперь три часа будут ляй-ляй конференция, как чегемский парень их лошадь объездил!

Крестьяне толпой покинули сень шелковицы и двинулись в сторону, на ходу обсуждая подробности случившегося. Одинокий Цурцумия шел в другую сторону.

— А ты куда, Цурцумия?! — крикнул председатель.

— Как куда?! — резко обернулся Цурцумия. — В табачный сарай! Куда еще может пойти Цурцумия?!

— А-а-а, правильно, — примирительно сказал председатель. — Иди! Ты меня, Цурцумия, совсем с ума свел!

С этими словами он повернулся и вошел в двери правления. Владелец лошади, оседлав ее и, видимо, пока не ре-

шаясь сесть, повел ее домой, держа за поводья. Обьездчик, голубея неоправданно праздничной рубахой, понуро уходил куда-то. Под сенью шелковицы на зеленой траве, изрытой копытами кобылицы, телепался на ветерке лоскуток его рубахи, как раненая бабочка, пытающаяся взлететь.

В кузове машины и возле нее уже собралось человек десять пассажиров. Шофера все еще не было. Чунка снял рубаху и промокшую от пота майку. Он вытряхнул из них труху кукурузных метелок, протер мускулистое, худое тело большим носовым платком, счищая и сбивая с него растительный мусор. Снова оделся.

— Я схожу в одно место и приду, — сказал Чунка собравшимся, — если шофер придет раньше, скажите, чтобы Чунку подождал!

Собравшиеся охотно закивали. Почти все они видели, как он объездил лошадь. Чунка отправился к Анастасии. Она жила в десяти минутах ходьбы от сельсовета. И как всегда, чем ближе Чунка подходил к ее дому, тем сильнее он чувствовал волнение ревности, переходящее в сдержанное бешенство.

И хотя он точно знал, что ее время от времени покупают какие-то люди и он давно с этим смирился и знал, что ни о какой женитьбе не может быть и речи, но, несмотря на все это, каждый раз, подходя к ее дому, он начинал трепетать от уязвленного мужского достоинства. Он знал, что не удержится и избьет любого мужчину, нет, конечно, не какого-нибудь случайного соседа, а именно такого, что пришел по этому делу. Он был аб-

солютно уверен, что мгновенно почувствует такого, но, как назло, ни разу не случилось, чтобы он кого-нибудь там застал.

То, что он не мог застать ни одного мужчину в доме Анастасии, только усиливало его ревность и уверенность в необыкновенном коварстве, нет, не добродушной Анастасии, но ее матери, старой ведьмы. Они жили вдвоем, Анастасия и ее мать.

Открыв воротца, он вошел в зеленый дворик и сразу же увидел свою возлюбленную. Возле кухни, пригнувшись над лоханью, она мыла голову, а мать ее стояла рядом и поливала ей воду из большой кружки. Белые голые руки, озаренные солнцем, мелькали над мокрыми каштановыми волосами, длинными, как лошадиный хвост.

И хотя ясно было, что, раз она моет голову, в доме никого нет, Чунка, пользуясь тем, что мать ее пока его не заметила, проходя мимо домика, успел быстрым, хищным взглядом взглядеться в низкие окна и убедиться, что обе комнаты пусты. Мягко и уже спокойно ступая по курчавой траве, он подошел к женщинам.

— Калимера, мамаша, — сказал он с ироническим добродушием.

— Калимера, — сухо ответила та и стала сосредоточенно поливать дочке голову, показывая, что не намерена тратить на него время. Она недолюбливала Чунку, чувствуя, что дочка радуется его приходу гораздо больше того, что стоят деньги этого парня. Старуха боялась, что дочка, если за нею недоглядеть, может связаться с Чункой и вовсе бесплатно, что, по ее мнению, уже было бы настоящим, позорным развратом.

— Чунка, это ты? — узнав его по голосу, спросила Анастасия и, сдвинув голой рукой, — она была в безрукавной кофточке, — набок чадру мокрых волос, посмотрела на него исподлобья темными, промытыми глазами, улыбнулась ярким ртом и сверкнувшими, словно тоже промытыми, зубами.

И Чунка в который раз подивился: как такую красавицу могла родить такая уродина!

— Я сейчас кончу! — радостно сказала она и занавесилась опущенными волосами. Старуха набрала полную кружку воды и стала поливать ей голову, что-то быстро и недоброжелательно лопоча по-гречески. «Старая скупердяйка, — подумал Чунка, — ей жалко, что я даром смотрю на голые руки ее дочери».

— Я еду в город продавать орехи, — сказал он и, усилив голос, добавил: — Вечером приеду! Жди!

Он усилил голос, потому что, как только он начал говорить, старуха, до этого осторожно поливавшая голову дочке, сразу же опрокинула огромную кружку, бессознательно пытаясь сделать волосы дочери звуконепроницаемыми для слов Чунки.

— Я буду ждать тебя, Чунка! — крикнула Анастасия сквозь шум льющейся воды, показывая, что поняла его и сама может перекричать искусственный ливень матери.

— Путана! Путана! — заквакала старуха. Так народы Средиземноморья для удобства взаимопонимания именуют женщин древнейшей профессии.

Чунка повернулся и вышел со двора. У ворот он с раздраженной пронизательностью оглядел деревенскую улочку, стараясь угадать, не идет ли какой-нибудь мужчина в сторо-

ну Анастасии. Но улочка была пустой, и Чунка, как всегда, отходя от дома Анастасии, все меньше и меньше ее ревновал, а у машины уже и вовсе о ней не думал.

Он залез в кузов, где расположились все, кто собирался в город. Чунка уселся на один из своих мешков. В кузове в новенькой форме стоял могучего сложения красноармеец. По обличию его Чунка понял, что он грузин, но не из местных, потому что такого богатыря он обязательно приметил бы раньше. Чунка залюбовался им.

Ему нравились такие парни, в которых чувствовалась заматерелая мощь. А ведь этот парень еще служил, значит, он был года на два-три моложе его. Чунка хоть и был сильным и необыкновенно цепким парнем, но вот такой заматерелой мощи в нем не было. А он о ней мечтал. Красноармеец, заметив, что Чунка любит его сложением, улыбнулся ему в знак того, что ценит одобрение его могущества.

— Вес? — спросил Чунка.

— Девяносто, — скромно пригашая впечатление, ответил красноармеец и в знак вежливости сам спросил у Чунки:

— А твой?

Гордость не дала Чунке соврать.

— Семьдесят, — сказал он не без некоторой сокрушенности.

— Тоже неплохо, — примирительно заметил красноармеец.

— Не знаю, — пожал плечами Чунка, — аппетит как у волка, а вес почему-то не растет.

— Это от породы идет, — пояснил красноармеец, — у меня отец тоже такой.

— Садись, — сказал Чунка и кивнул на второй мешок.

Красноармеец сел, и Чунка с удовольствием услышал, как орехи под ним хрястнули. Они познакомились. Красноармейца звали Зураб. Оказывается, он житель Мухуса. Сейчас он прибыл из России на побывку домой и на денек заскочил сюда к дяде.

Тут появился шофер и стал быстро собирать с пассажиров по три рубля. Он слегка кивнул Чунке, как бы по рассеянности недоузнавая его, чтобы как бы по той же рассеянности взять и с него три рубля. Это Чунку слегка огорчило. Он бы и так ему обязательно дал деньги, но, что поделаешь, шоферы люди капризные, избалованные.

Грузовик запыллил в город. По дороге Зураб и Чунка, разговаривая о том о сем, естественно, вышли на героические случаи из своей жизни.

— В прошлом году, — сказал Зураб, — у меня был такой случай. Я сам в городе Брянске служу. И у меня там была девушка. Зоя звали. Она жила на окраине. И вот однажды вечером мы с ней сидим на скамейке и к нам подходит местный парень. Немного выпивший. И начинает приставать. Мол, отбиваешь наших девушек, мол, кто ты такой, тем более кавказец. А я шучу, потому что Зоя знает мою силу и самолюбие не задевает. А он не отстает. Еще больше злится на мои шутки, тем более в темноте мое телосложение не очень понимает. И он горячится.

— Отойдем на пару слов! — говорит.

И не один раз. Много раз говорит. Ну, драться с ним с моей стороны было бы даже нечестно. Я первозрядник по штанге, но откуда он знает. Тем более в темноте телосложение

незаметно. И тем более мы сидим, а он стоит. И тем более он немного выпивший. И чем больше я отшучиваюсь, тем больше он горячится, думает, что я мандражирую.

Наконец мне надоело. А Зоя ему не говорит, какой я из себя, потому что тамошние девушки вообще любят, чтобы за них дрались. И он мне надоел наконец. И я вот что придумал.

Напротив скамейки, где мы сидели, был дом. И был жаркий, как сейчас помню, августовский вечер. В России тоже бывают жаркие вечера. И в этом доме окна были открыты, и там семья сидела за столом и ела арбуз. Муж, жена, ребенок и какая-то старуха, похожая на тещу. И они ели большой астраханский арбуз. Долго ели. А мы с Зоей шутили над этим арбузом. Она мне сказала, что, если ты меня любишь, попроси ломтик арбуза, потому что жарко, пить хочется. Она знала, что я у незнакомых людей не буду просить арбуз, но она так шутила, одновременно проверяя, на что я способен ради нее.

И вот как раз в этот момент этот парень подошел и начал приставать. И мне он наконец надоел.

— Ну, хорошо, — говорю, — отойдем поговорим, если ты так хочешь.

И когда я встал со скамейки и он увидел мое телосложение, ему, конечно, это сильно не понравилось. Но он, между прочим, не смандражировал.

— Пойдем, — говорит.

И вот мы через тротуар отходим к этому домику, где были раскрыты окна и семья ела большой арбуз и никак не могла его съесть, потому что арбуз был большой, астраханский.

Но и семья была настойчивая и старуха не отставала от молодых. И мы с Зоей это все видели и потому смеялись. А там перед окнами был заборчик и цветы. Палисадник называется. И мы теперь стоим перед этим заборчиком.

— Парень, — говорю, — ты слишком разгорячился. Тебе надо скушать арбуз, и ты успокоишься.

А он ничего не понимает и злится при виде моего телосложения, как будто я от него скрывал свое телосложение.

— При чем арбуз?! — говорит. Но не отступает.

— А вот, — говорю, — при чем!

Хватаю его обеими руками за поясицу, кладу, как тренировочный вес, на грудь и кидаю через палисадничек прямо в окно. Окно невысокое — там так принято на окраинах. А мы были на окраине, потому что там Зоя жила.

Он влетает в окно. Шум, крик, визг! Я сразу же возвращаюсь и сажусь на скамейку. Зоя умирает от хохота. Через несколько секунд опять через это же окно выскакивает этот же парень и бежит.

— Держи его! — кричит хозяин, высовываясь из окна.

— Кого держать, — говорю, — в чем дело?

— Пьяный вор, — говорит, — сейчас залез в окно, но при виде меня упал, вскочил и выскочил в окно.

И теперь мне тоже смешно слышать его слова, потому что он фактически в майке, и мускулатуры фактически нет, и его никто не мог испугаться. И мне смешно, но правду не могу сказать.

— Не знаю, — говорю, — какой-то шум был, но мы ничего не поняли.

А Зоя умирает от хохота, и он это замечает. И он чувствует, что мы как-то связаны с этим парнем. И он правильно чувствует, но доказать не может.

— Мне, — говорит, — очень даже странно, что вы ничего не заметили. Тем более ваша подружка хохочет, когда ничего смешного не происходит.

И тут он с женой и мальчиком выходит на улицу и осматривают свой палисадничек, чтобы по вытоптаным цветам определить вора.

А у Зои глаз был — не дай Бог! И она, конечно, заметила, что, когда все вышли из дому, старуха, пользуясь случаем, налегла на арбуз. И она меня толкает в бок и совсем умирает от хохота. И тогда этот мужчина в майке подходит к нам и спрашивает:

— Чем объясняется веселье девушки?

Я показываю на окно и делаю вид, что раньше тоже Зоя смеялась над аппетитом этой старушки. И ему эта наблюдательность Зои очень понравилась. И он быстро успокоился и начал тихо, чтобы жена не слышала, рассказывать, как он всю жизнь страдает от аппетита тещи. Рассказывает и одним глазом смотрит в окно, где теща уже добивает арбуз. Но тут жена его, видно, догадалась, о чем он говорит, и строгим голосом позвала его. И он пошел, делая вид, что не успел рассказать, а на самом деле все успел. И они ушли, а мы с Зоей от души смеялись весь вечер.

Чунка с удовольствием выслушал рассказ Зураба и в ответ подобрал случай из своей жизни, тоже связанный с бего-

ней. Однажды у выхода с базара его окружили четыре городских хулигана. Одного из них он в прошлый приезд избил за то, что тот пытался стащить круг сыра у старой крестьянки, продававшей его.

И в следующий его приезд в город, когда он продавал фасоль, тот хулиган его приметил, собрал своих дружков и вместе с ними хотел его избить. Чунка понял, что он один с четырьмя не справится, что вместе они его избыют, и пошел на военную хитрость.

Он неожиданно опять вмазал тому, которого избил в прошлый раз за подлое дело. Тот рухнул, а Чунка побежал. Он хорошо бегал и мог сбежать от них. Но он сбежать не хотел, он хотел растянуть преследователей.

Через два квартала он заметил, что один из них вырвался вперед. Чунка сбавил ход и дал ему догнать себя. Чунка и ему врезал изо всей силы, и тот упал. Чунка побежал снова. Те двое, видя, что Чунка бежит, и считая, что он их боится, продолжали преследование. И третьему он дал догнать себя и третьему врубил от души, а четвертый, догадавшись наконец, что дело плохо, повернул на ходу и сбежал.

Так, болтая о том о сем, они приехали в город и красноармеец первым прыгнул за борт, и Чунка с удовольствием услышал увесистый чмок его ботинок об асфальт. Чунка подал ему мешки, и тот помог донести их до базара, где они расстались, довольные друг другом.

Чунка быстро продавал свои орехи. С шутками-прибаутками, демонстрируя домохозяйкам полноценность и тонкоскорлупость чегемских орехов, он, гребанув из мешка, тут же

с хрустом раздавливал в большом кулаке один-два ореха и, протягивая лоснящуюся маслом ладонь, давал убедиться в полноценности раздавленного ядра.

— Не орех — голубиное яйцо! — кричал он.

От покупательниц не было отбоя. Рядом с ним торговал орехами цебельдинский армянин, с которым Чунка переговаривался по-турецки, потому что тот плохо знал русский язык. У того товар шел медленнее, он не мог в одной ладони раздавить орех об орех. Далековато цебельдинскому ореху до чегемского, далековато!

Когда сосед спросил у Чунки, откуда он родом, Чунка, верный своему обычаю в городе никогда не называть свое село, ответил:

— Я из верхних.

В городе всякое может случиться. Не надо, чтобы лишние люди знали, откуда ты родом. Он уже приканчивал свои орехи, когда в ряду, отведенном под продажу орехов, фасоли, кукурузной муки, появился комсомольский патруль. Он проверял у крестьян справки, что колхоз разрешил им выехать в город продавать свой товар. Таким образом в те времена поддерживали в колхозах трудовую дисциплину. Если справки не оказывалось, колхозник должен был прекратить торговлю и ехать домой.

У Чунки такой справки не было. Конечно, он мог ее получить в правлении колхоза, но ему было лень туда идти за три километра. Да и проверяли редко. Так что он надеялся — пронесет. Но сейчас патруль приближался неумолимо.

Когда патрульные, всего их было трое, были от него за несколько продавцов, Чунка, раздраженный приближающейся неприятностью, бросил своему соседу по-турецки:

— Партия — это сила, а вот этот комсомол чего подскакивает?

На беду, один из патрульных, оказывается, знал турецкий язык и, услышав слова Чунки, очень нехорошо посмотрел на него. Он стал переговариваться со своими товарищами, все так же нехорошо посматривая на Чунку. Было ясно, что он переводит на русский язык его слова.

Чунке было неприятно. Он почувствовал, что невольно забрел в область того городского безумия, над которым легко смеяться в Чегеме, а здесь это может плохо кончиться. Неприятное чувство усилилось, когда после переговоров со своими товарищами этот парень одного из них куда-то услад. За милицией — кольнула догадка.

Теперь двое продолжали проверку справок, и Чунке очень не понравилось, что, когда очередь дошла до него, они пропустили его и сразу же приступили к следующему. Вернее, приступил один из них, а тот, что понял его слова, остался стоять возле него, положив на прилавок аккуратненькую ладошку с чернильными пятнами на указательном пальце. При этом он не смотрел на Чунку, а смотрел в ту сторону, куда ушел один из его товарищей за милицией.

— А чего вы у меня не спрашиваете? — дерзко бросил Чунка, понимая, что этот теперь от него не отступится.

— У тебя в другом месте спросят, — сказал патрульный, почти не разжимая губ и продолжая смотреть туда, куда он смотрел.

— Ну и что будет? — презрительно спросил Чунка, стараясь перешибить собственную унижительную тревогу.

— Увидишь, — кратко ответил тот, словно уже решив его судьбу и не достаивая взглядом того, чью судьбу он решил.

— Вот это будет, змея! — сказал Чунка, взорвавшись и сжав правую руку в кулак и перехватив ее у локтевого сгиба левой рукой, выразительно потряс ею у самого лица этого парня. Тот, не шелохнувшись, продолжал смотреть вперед.

Но Чунка уже знал — что-то будет. Минут через пятнадцать пришел пожилой милиционер с патрульным комсомольцем, и тот, что стерег Чунку, отошел с милиционером на несколько шагов.

—...Партия — это сила, — донеслись до Чунки его же слова, — а вот этот комсомол... чего подскакивает.

Не врет, сволочь, подумал Чунка, удивляясь, что его же слова, почти шуточные, сейчас каким-то образом наполняются грозным смыслом бессмысленного безумия.

Милиционер что-то отвечал этому парню, и Чунка сразу же по выговору определил, что тот абхазец. Блеснула надежда. Сейчас, подумал он, главное, — не выдать, что я тоже абхазец.

—...Потом придем и подпишем, — донеслись до Чунки последние слова патрульного комсомольца, и тот пошел договаривать своих товарищей, даже не взглянув на Чунку.

Подошел милиционер.

— Пшли, пжалста, — сказал он с непреклонной вежливостью и сильным абхазским акцентом.

— Дай продать орехи, потом пойдем, — сказал ему Чунка по-русски, стараясь внушить ему, что сам не придает своим словам никакого значения и призывает его к тому же.

— Не пойдешь — силой возьмем, — ответил милиционер, отсекая такую возможность.

Патрульные были еще слишком близко, и Чунка решил, что не здесь, а по дороге откроет ему, что он абхазец.

— Ты присмотри, — кивнул он цебельдинцу на свои орехи, — я быстро приду.

— Хорошо, — сумрачно согласился тот. Когда они с милиционером покинули базар, Чунка сказал ему по-абхазски:

— Неужто ты, абхазец, меня, абхаза, отдашь им в руки?

Милиционер на несколько секунд опешил и остановился.

— Ты абхазец?! — сердито спросил он у него по-абхазски, хотя это уже ясно было и так.

— А кто ж еще, — ответил Чунка.

— Откуда ты? — спросил милиционер.

— Из верхних, — сказал Чунка, — неужто ты меня за какие-то чепуховые слова отдашь им в руки?

— Чепуховые слова, — сердито повторил милиционер, — вы, верхние, до сих пор не понимаете время, в котором стоим.

— Я же благодетельницу не тронул, — вразумительно сказал Чунка, уже почувствовав туповатость милиционера, — я же только про этих недомерков...

— Ты совсем дикий! — взгорячился милиционер. — Партия — это... это... это вроде хорошей, породистой кобылицы, а комсомол ее жеребенок. Неужто хорошая кобылица даст в обиду своего жеребенка?!

— Ну, ладно, я ошибся, — сказал Чунка, преодолевая отвлечение к себе, — я на базар не вернусь... Скажи, что он сбежал на дороге... Не мог же ты стрелять в человека за то, что он что-то ляпнул невпопад?

— Это политика! — вскричал милиционер. — Меня проверят! Даже не заикайся, что ты такое предлагал мне!

Чунка понял, что с этим служакой не договоришься, и озлился на себя за самую попытку договориться.

— Заткнись! — оборвал он его, намеренно выказывая неуважение к его возрасту. — Делай свое предательское дело.

Теперь они молча шли по главной улице города. Чунка был так разъярен предательством этого милиционера, что даже не хотел сбежать. Будь милиционер не абхазец, он непременно сбежал бы. При его легконогости догнать его было бы непросто. Но сейчас он был так уязвлен в самую сердцевину своего родового чувства, что даже хотел, чтобы предательство этого отступника проявилось во всей позорной полноте.

Пройдя центр города, они вошли в дежурное помещение городской милиции. Милиционер стал подобострастно докладывать дежурному капитану о происшествии на базаре, и опять прозвучали слова:

— Партия — это сила, а вот этот комсомол... чего подскакивает...

Чунка, все больше удивляясь, чувствовал, что, чем чаще повторяются эти случайные слова, тем они делаются грозней, неотвратимей и, главное, наполняются каким-то дополнительным смыслом, который он явно не чувствовал, когда говорил, а сейчас оказывалось, что этот смысл в них все-таки был.

Дежурный, пока милиционер ему докладывал, бросил несколько взглядов на Чунку. Чунке показалось, что в глубине этих взглядов таилась тень жалости к нему. Это усилило его тревогу.

— Отведи его к следователю, — сказал дежурный и, назвав фамилию следователя, добавил: — Он сейчас свободный...

— Пошли, — сказал милиционер, и они вышли из дежурки и стали по лестнице подниматься на второй этаж.

— Только кайся, — сказал ему в спину милиционер, когда они поднимались по лестнице, — скажи: по дуруости сболтнул... Больше ничего не говори!

— Заткнись и делай свое предательское дело! — ответил Чунка, не оборачиваясь.

Теперь они шли по длинному коридору второго этажа, освещенному электрическими лампочками. Милиционер остановился перед одной из дверей и, явно набираясь решительности, приосанился. Потом он осторожно приоткрыл ее и, не входя, спросил:

— Разрешите?

— Входи! — раздался уверенный бас.

Тот вошел, и Чунка остался один возле дверей. Двое молоденьких милиционеров, бодро стуча сапогами, словно

спеша на какой-то праздник, проходили по коридору. Один из них, метнув взгляд на Чунку, стоявшего у дверей, кивнул другому:

— Не завидую!

— Уж не позавидуешь! — согласился второй, и оба, почему-то рассмеявшись по этому поводу, прошли дальше, спеша на свой праздник.

Чунке стало тоскливо. Он удивился, что о нем уже все знают. Неужто его слова были такими важными?

На самом деле эти милиционеры о нем ничего не знали. Они просто видели, у каких дверей он стоит, и понимали, какой там следователь. А следователь был такой, что уже имел два строгача за грубое обращение с подследственными и рукоприкладство. Выговоры были строгими по форме и дружескими по содержанию.

Иначе и не могло быть. Ведь нельзя объявить пьянство великим источником национального оптимизма и в то же время всерьез преследовать пьяных дебоширов.

И точно так же торжество права силы над силой права на практике приводило к вакханалии грубости и нарушению собственных инструкций со стороны носителей власти. Ибо если сама идея права силы узаконена, то она уже несет в себе пафос полноты самовыражения, то и дело выхлестывающего за рамки инструктивного приличия.

И хотя эти выхлестывания формально не поощрялись и кое-кто иногда получал за это выговоры, однако люди, облеченные властью, чувствовали, что эти перехлесты — хотя и не

совсем желательная инерция, но инерция, в конечном итоге подтверждающая действия в желательном направлении.

...Милиционер вышел и, жестом приглашая его в приоткрытую дверь, шепнул по-абхазски:

— Кайся, говори, что по глупости сболтнул...

— Заткнись, предатель, — процедил Чунка и вошел в комнату. Он решил быть как можно более осторожным и в то же время боялся, как бы из-за своей осторожности не прозевать оскорбления. Поэтому горбоносое лицо его одновременно выражало сдержанность и отвагу, как бы контролирующую эту сдержанность.

А лицо и фигура сидевшего за столом человека выражали силу, уже слегка расплывающуюся от отсутствия хотя бы тренировочной дозы сопротивления этой силе. Покуривая, он с минуту молча рассматривал Чунку.

— Вон ты какой, — сказал он не без любопытства и жестом указал на стул, — садись, не бойся.

— А чего мне бояться, — ответил Чунка и своей покачивающейся походкой пересек комнату и сел напротив следователя.

Следователь милиции по существу дела имел право тут же позвонить в НКВД. Он мог позвонить и передать его туда. Но он также имел право и допросить его. Учитывая, что после допроса его все равно надо было переправить смежникам, — так в милиции называли чекистов, — в самом допросе не было никакого нарушения правил.

Поэтому, но и не только поэтому, следователь решил его допросить. Видеть, как человек на глазах постепенно сплющива-

ется от страха, доставляло его душе сладостное удовольствие. И то, что на лице этого парня он сейчас не замечал ни страха, ни униженности, его не только не беспокоило, но, наоборот, оживляло его творческую энергию. Слишком многие люди в его кабинет входили уже готовенькими, и это как-то ослабляло ощущение, что он сам своими руками перелепил человека.

— Значит, «партия — это сила, а этот комсомол... чего подскакивает»? Такая у нас установка на сегодняшний день? — спросил следователь и, выдыхая дым, выразительно посмотрел на Чунку.

Чунка пожал плечами и ничего не ответил. Он вдруг обратил внимание, что на столе следователя стоит не канцелярская, а школьная чернильница-непроливайка.

А дело было в том, что от темпераментного кулака следователя часто страдал неповинный стол, на который выливалась опрокинутая канцелярская чернильница. Вот он и пошел на это смелое упрощение убранства стола, и скромная чернильница выглядела на нем как проституточка, напялившая школьную форму. Кстати, этот следователь не спешил с писаниной: тише едешь — дальше будешь.

— Откуда ты приехал? — спросил он у Чунки, как бы выпуская его из когтей лобового вопроса.

— Я из верхних, — с достоинством ответил Чунка. Следователь почувствовал легкое раздражение.

— Из верхних, — усмехнувшись, повторил он, — горец, что ли?

— Да, — сказал Чунка. Раздражение почему-то нарастало.

— Я вижу, ты гордишься тем, что горец? — не без ехидства спросил он у него.

— А почему бы не гордиться, — сдержанно отпарировал Чунка.

— Значит, у нас теперь такая установка, — снова повторил следователь, показывая, что возвращает Чунку с мифических высот к грозной реальности низины, — «партия — это сила, а этот комсомол... подскакивает»?

— Это же шутка, — снова пожал плечами Чунка, но невольно в голосе его прозвучало брезгливое: до чего прилипчивые!

Эта нотка не осталась незамеченной следователем.

— Далеко заведут тебя твои шуточки, — сказал он уверенно и неожиданно даже для самого себя повернул колесо, — но, по-моему, ты простой деревенский парень. Эту отработанную формулу тебе кто-то подсказал. Я тебе даю честное слово, что, если ты назовешь человека, от которого ты ее услышал, я сделаю все, чтобы тебе помочь...

Следователь почувствовал прилив творческой радости. Как это он сразу не догадался! Конечно, такую формулу этот парень от кого-то услышал! Он ее и повторил, может быть, сам до конца не понимая, что является рупором враждебной пропаганды.

Творческая радость нарастала. Одно дело — передать смежникам деревенщину, сболтнувшего что-то, а другое дело — самому нащупать следы антисоветской группки! Хорошо, что не поленился поговорить с этим джигитом!

— Ха! — усмехнулся Чунка, услышав знакомый оборот разговора, и сам забылся на несколько мгновений: — Вот у нас и новый председатель сельсовета такой! Чуть что: «Кто тебя научил?» Да вы что думаете — у нас своей головы нет? Да у нас почище ваших есть головы... Взять хотя бы дядю Кязыма...

Чунка осекся, почувствовав, что сказал лишнее, нельзя было называть дядю Кязыма. Впрочем, мало ли абхазцев с таким именем...

Как только Чунка заговорил, следовательно ощутил тоскливое угасание творческой радости: партнер не только не включился в игру, а просто-напросто издевался над ним под видом деревенского простачка.

И хотя до этого мысль о существовании какой-то подпольной группировки подследственный ему внушил именно тем, что он сам, как деревенщина, не мог придумать такую формулу, теперь следовательно решил, что этот парень — птица гораздо более высокого полета и он мог сам сочинить такую формулировку.

Однако этот новый поворот мысли не отсекал желанной, первоначальной догадки, что группировка существует. Да, группировка существует! Только этот парень занимает в ней гораздо более видное место! И сразу же, как только он это подумал, всплыл неопровержимый аргумент, и он, сдерживая гневное торжество, спросил у Чунки:

— А что это ты, горец, так складно по-русски говоришь?

Чунка пожал плечами.

— Пушкин, армия, — сказал он и, подумав, добавил: — Ну, и базар, конечно.

В те времена имя Пушкина в мешанских кругах почему-то имело шутливо-презрительное хождение: Пушкин знает, Пушкин за тебя сделает, и так далее.

В этом смысле следователь сейчас и воспринял имя Пушкина как чудовищное, наглое и хитрое издевательство. Хитрость состояла в том, что этот парень к имени Пушкина приплел армию и базар, которые и в самом деле могли быть источником знания русского языка.

— Значит, Пушкин? — спросил следователь, еле сдерживаясь и в то же время показывая, что понял издевательство и нарочно отсекает его от маскировочных слов.

— Да, — сказал Чунка гордо, — Пушкин Александр Сергеевич.

Это было новое издевательство: делать вид, что следователь еще не понял его издеательства, и тем самым продолжать издеваться!

— Значит, Пушкин? — повторил следователь и почувствовал острую боль в конце спинного хребта, точную, неостановимую предшественницу яростной вспышки.

— Конечно, Пушкин, — сказал Чунка, — а кто же еще?

— Я твою мать-перемать! — заорал следователь и грохнул кулаком по столу, так что пепельница перевернулась и окурки рассыпались. — Я тебя сгною в Сибири, кулацкое отродье, я тебя...

Но Чунка уже не слышал ни грохочущего кулака, ни грохочущих слов следвателя. Опасное дело оскорблять родительницу горца и четырежды опасное, если она в могиле!

Мечь, святая мечь! Огненный смерч, пыхнувший в голову, мгновенно выжег в ней мусор жизнезащитных рефлексов. И голова, очищенная от этого мусора, с ясной хищной прозорливостью стала искать самый верный способ сотворения мести.

Прыгнуть через стол? Закричит, и прибегут другие. Да и пистолет, наверное, в столе. Надо заставить его закрыть дверь и тогда расправиться с ним. Пока взломают двери и ворвутся, он успеет сделать свое дело!

И вдруг лицо Чунки на глазах следователя увяло, плечи опустились и он пригнул повинную голову. Такой быстрой ломки даже этот матерый следователь не ожидал. Тяжело дыша, он замолчал и прислушался к боли в позвоночнике — боль исчезла. Так бывало всегда.

— Понял, дубина, с кем шутишь? — сказал он и стал сгребать окурки в пепельницу.

— Да, — сказал Чунка понуро.

— Так скажешь, кто тебя научил установке?

— Да, — почти шепотом ответил Чунка, испуганно озираясь, — только закрой дверь.

— Зачем?

— Это большой человек... Очень большой человек... Его люди везде... Даже здесь они...

— Здесь, у нас?! — переспросил тот, чувствуя, как от мертвящего восторга шевельнулись волосы на затылке.

— Да, — почти шепотом выдохнул Чунка и отчаянно кивнул на дверь в том смысле, что крайне опасно говорить об этом, пока дверь не заперта.

Следователь почувствовал, как мертвящий восторг, двигаясь от затылка, дошел до кончиков пальцев, холодя их. Смрадно-сладостная музыка еще недавних процессов зазвучала в голове. О, мудрость вождя, уничтожившего сотни тысяч врагов! А кое-кто сомневался в нужности. Мало, мало уничтожили! И вдруг мысль пронзительной точности просверкнула в голове: из самого факта, что было так много разоблаченных врагов, неопровержимо следует, что их было еще больше! Как же это до сих пор никому в голову не пришло?!

Мысли одна плодотворней другой лихорадочно мелькали в голове. Продолжая думать о великих последствиях того, что он узнает сейчас, следователь вытащил ключ из ящика стола, стараясь не шуметь, подошел к дверям, даже выглянул в коридор, потом аккуратно затворил дверь, волнуясь, сунул ключ в скважину, и, когда щелкнул повернутый ключ, что-то вдруг обрушилось на него, и поток мыслей оборвался. Это Чунка неимоверной силы ударом кулака по затылку, как ударом кукурузной колотушки, оглушил его.

Грохот обрушившегося на пол тяжелого тела был услышан в коридоре одним из проходивших работников милиции. И он, зная повадки этого следователя и возмущенный тем, что тот переходит всякие границы, толкнулся в дверь, но она была заперта.

— Открой сейчас же! — крикнул он и стал трясти дверь. Молчание.

— Зверюга, что ты там делаешь?! Открой!

Молчание.

Мгновенность сотворенного возмездия опьянила Чунку, но как-то не утолила его до конца. Он брезгливо ткнул ногой неподвижное тело, явно призывая его к жизни, чтобы со всей полнотой лишить его жизни. Но тело оставалось неподвижным, и он остановился. Он не знал сейчас — следователь жив или мертв, но, в конце концов, это теперь не имело значения. Главное — возмездие сотворено. Он, Чунка, стоит над поверженным мерзавцем. Да, негодяй, оскорбивший память его матери, лучшей из матерей, как падаль лежит на полу, а он, Чунка, стоит над ним!

Но ему хотелось еще что-нибудь сделать. Но что? И вдруг он вспомнил свою тигриную мечту. Настал ее час! В дверь уже стучало несколько кулаков, в нее толкали плечами. Там в коридоре поняли, что случилось нечто другое, не то, что предполагал работник милиции, услышавший грохот свалившегося тела. Надо было торопиться! И Чунка заторопился, но вдруг ощутил, что не может. То ли от волнения, то ли от подсознательного генетического ужаса горца перед возможным осквернением трупа он почувствовал, что тигриная мечта не сотворится.

Однако через несколько секунд он сообразил, что тигриную мечту можно заменить ее шакальным вариантом — чернилами. Он схватил со стола многозначную чернильницу и стал, как перечницу, трясти ее над мясистым лицом следователя.

Равномерно орябив чернилами все его лицо, он отбросил чернильницу и уселся за стол, решив вынуть из его ящика пистолет и отстреливаться до последнего патрона. Рванул ящик стола, но тот оказался пуст.

Дверь трещала и кто-то кричал: «Где завхоз?! Достаньте лом у завхоза!» Чунка на мгновение растерялся, не зная, чем защищаться, и посмотрел по сторонам. И вдруг он мельком увидел за окном ветку шелковицы, трепещущую на ветерке. Он вспомнил утреннюю шелковицу, вспомнил мокрое, улыбающееся ему исподлобья лицо Анастасии, и внезапно его озарило: он отомстил и уже имеет право на жизнь!

Чунка вскочил и распахнул окно. Шелковица росла в трех метрах от окна. Милицейский двор был пуст. Рывком на подоконник, прицелился телом к ближайшей ветке, мелькнуло с веселым отчаяньем: вторая шелковица, поймают — на третьей ей повесят! — и прыгнул.

Через минуту он уже стоял на земле и быстрыми шагами пересекал милицейский двор. Именно в этом не было особенного везения. В ту минуту, когда он прыгнул на шелковицу и слезал с нее, никто его не видел, а по двору милиции мало ли проходит разных людей. Он вышел на улицу, повернул на углу и пошел по дороге, ведущей в сторону Чернявской горы. Через несколько минут не выдержал и припустил до самой горы.

Из города вниз к Гаграм и вверх к Очамчирам вела вдоль моря одна шоссейка. Он знал, что ехать или идти по ней смертельно опасно; вскоре ее обязательно перекроют в нескольких местах. Перемахнув через Чернявскую гору и дальше с холма на холм, ни разу не спустившись на шоссе, он шел в сторону Анастасовки. Он шел остаток дня и большую часть ночи и только перед самым рассветом вышел к Анастасовке.

Мсть и свобода его так возбудили, что он за всю ночь ни разу не остановился, потому что не чувствовал усталости.

* * *

А в это время в городской милиции чрезвычайное происшествие приняло неожиданно крутой оборот. Когда взломали дверь и увидели следователя, лежавшего на полу с лицом, обрызганным чернилами, некоторые не могли сдержать злорадного хохота. Тем более что следователь быстро пришел в себя. Собственно говоря, он еще раньше пришел в себя, но от страха делал вид, что все еще без сознания. Он не знал, что Чунка выпрыгнул в окно.

Когда о случившемся доложили начальнику, он приказал всем, видевшим преступника, а их оказалось шесть человек, перекрыть в нескольких местах шоссе и проверить всех пешеходов, фаэтоны и машины, идущие из города.

В самом факте побега этого деревенского болтуна ничего особенного не было. Но для личной судьбы начальника городской милиции дело осложнялось тогдашней общей политической обстановкой в Абхазии. В сущности, начальник милиции был единственным человеком абхазского происхождения, оставленным к этому предвоенному году на реальной руководящей должности. Двух-трех абхазцев, не имевших никакой практической власти, однако как некие чучела автономной республики выставленных на высоких должностях, нельзя было принимать всерьез.

Полная грузинизация Абхазии, которая в основном проводилась за счет мингрельских кадров, была суровой полити-

ческой реальностью того времени. Если бы в 1937 году Берия не уничтожил абхазское руководство и если б в Абхазии жил какой-нибудь народ, более малочисленный, чем абхазцы, и при этом сохранивший этническое единство, то вполне вероятно, что абхазские руководители так же старались бы его размыть и растворить внутри своего народа.

Центростремительная тенденция к сокращению всякой сложной дроби человеческих отношений лежит в самой сущности диктатуры.

В Грузии это сокращение дроби проходило, как и по всей стране, но принимало дополнительно уродливую форму опьянения от самого факта, что Сталин — грузин. Таинственные слухи о Пржевальском тогда еще не циркулировали, и мы не будем касаться этой темы, тем более что и без лошади Пржевальского в этой главе достаточно много говорится о лошадях.

Вернемся к начальнику милиции. Итак, в этой суровой реальности он, абхазец, оставался начальником городской милиции республики. И потому у многих местных руководителей он вызывал раздражение как некая неприятная шероховатость на гладко отполированной поверхности национальной политики.

Как он мог оставаться? Во-первых, хотя политика эта исходила из Тбилиси, но именно в Тбилиси его непосредственное руководство его ценило как опытного оперативника. Он знал не только абхазский и русский, но совершенно чисто говорил на грузинском и мингрельском языках. Это последнее обстоятельство работало на него, может быть, больше,

чем качества опытного оперативника. Кроме того, он неплохо знал турецкий и греческий языки.

Он был храбр, во многих опасных операциях (преступники, абреки) принимал личное участие, обстоятелен, хитер, искренне любил Сталина и был абсолютно предан его политике.

Однако, несмотря на все эти качества и поддержку непосредственного руководства из Тбилиси, говоря языком вождя, постоянно действующий фактор оказался сильнее. Два года назад его все-таки сняли с должности начальника городской милиции, и он несколько месяцев ходил без работы. Конечно, его устроили бы на работу, но на гораздо более низкой должности. Однако он вскоре был восстановлен на своей прежней должности. Помог необычайный случай.

В тот день, возвращаясь с охоты, он проходил неподалеку от военного объекта, который был возведен здесь за последнее время. Ввиду особой важности этого объекта жители небольшого поселка, расположенного рядом с ним, были выселены и расквартированы в городе. Поселок заняли люди, непосредственно работавшие на объекте.

И вот, вместе со своей охотничьей собакой проходя мимо этого поселка, он встретил там человека, показавшегося ему подозрительным. Каким-то оперативным чутьем (по-видимому, верхним) он почувствовал, что человек этот не местный. Тогда что он здесь делает? Попросил прикурить, перекинулись несколькими словами. Оказалось, что человек этот действительно приехал из Батуми к родственнику, раньше жившему в этом поселке, а теперь куда-то переселившемуся.

Опытному оперативнику показалось странным (для кавказца), что родственник не знает о том, что его родственник уже два года здесь не живет.

Он сказал этому человеку, что знает, где теперь в городе живет его родственник и может к нему отвести его. Простодушие, с которым последовал за ним этот человек, только усилило его подозрения. Скорее всего, это был посыльный, которому поручили узнать, живет ли все еще в поселке нужный кому-то человек.

С перепелками, болтающимися на поясе, он этого человека, как живую перепелку, доставил чекистам. Все оказалось так, как предполагал начальник милиции. В самом деле, в Батуми была шпионская резиденция и она действительно заинтересовалась этим объектом, а этого человека просто за деньги через подставное лицо прислали узнать, живет ли там еще нужный им человек.

Разумеется, посыльному сказали, что речь идет о каких-то личных взаимоотношениях, до времени не позволяющих тому, кто его посылал, приехать прямо. Короче, благодаря бывшему начальнику милиции была раскрыта настоящая, а не липовая шпионская организация.

И вот именно тогда могучая поддержка смежников помогла ему сесть на прежнее место. Однако постоянно действующий фактор продолжал действовать в силу того, что он был, как метко заметил вождь, именно постоянно действующим фактором.

С год назад по течению этого фактора из Зестафона приплыл человек, которого назначили заместителем начальника милиции. За этот год он уже неоднократно подкапывался под своего начальника с явной целью сесть на его место. Он слыш-

ком спешил. Было похоже, что в глубине души он не был уверен в постоянстве постоянно действующего фактора.

Начальник несколько раз намекал ему, что знает о его интригах в обкоме, но тот не унимался. Действовал он грубовато, но и не без оглядки, точно зная, что начальника пока что поддерживает его непосредственное руководство из Тбилиси. Был даже случай, и он об этом знал, что его хотели взять на работу в Тбилиси.

Местное руководство тоже все еще колебалось в силу той же поддержки начальника его тбилисским руководством, да и для пользы дела считало, что зестафонский кадр должен набраться опыта, подождать. Время и так работало на него, но он пытался опередить скорость постоянно действующего фактора, а это тоже не одобрялось.

Так обстояли дела, когда милиционер вместе с Чункой был отправлен дежурным к следователю. Дежурный, как только они вышли, доложил заместителю начальника милиции о происшествии на базаре. Заместитель вошел к начальнику с предложением немедленно отправить преступника в НКВД. Начальник, не придав большого значения этому происшествию, сказал, что торопиться некуда, отправят его туда после допроса.

И вот преступник сбежал, и заместитель начальника, почти не скрывая торжества, вошел к начальнику с напоминанием о своем предложении, которое объективно, как тогда говорили, предупредило побег, а начальник, по меньшей мере, проявил головотяпство. И сейчас, выслушав это напоминание, начальник понял, что у зестафонского выскочки никогда раньше не было в руках такого выигрышного козыря. В сущ-

ности, он еще не побежал с доносом только для того, чтобы по ответной реакции начальника почувствовать, насколько крепко его все еще поддерживает Тбилиси.

...Еще не побежал, но, конечно, очень скоро побежит, соображал начальник, оценивая ситуацию. Разумеется, он не собирался ни от кого скрывать то, что случилось. Скрыть это было невозможно, слишком многие об этом знали. А вот то, что зестафонец предлагал ему переправить преступника смежникам, а он отложил, это сильно работало против него.

Все это прокрутилось в его голове за несколько секунд, пока заместитель, почти не скрывая победы, взглядывался в его лицо, ища на нем признаки растерянности. Но не было на лице начальника этих признаков!

— Да, — сказал он задумчиво, — век живи, век учись... Это тебе будет уроком на будущее. Но не стоит выносить сор из избы... Мелкий сор... Мне опять звонили из Тбилиси... Предлагают переезжать... Видно, соглашусь... Конечно, будущего начальника милиции утверждает обком... Но и у меня спросят о кандидатуре и к моему слову прислушаются...

— Вас понял, товарищ начальник, — радостно вскочил заместитель, — вы опытный оперативник, и наш долг у вас учиться и учиться...

— Да, — сказал начальник, глядя ему в глаза, — опыт у меня есть...

Когда заместитель бодро выходил из его кабинета, странная догадка мелькнула в голове у начальника: этот зестафонец

в последний раз выходит из его кабинета. Предчувствие явно было следствием какой-то причины, которую он еще не знал. И это было так странно — увидеть следствие, не зная причины. И тогда, словно перевернув следствие, он увидел причину и понял, что причина должна быть такой, и только такой.

Сказав своей секретарше, что отлучается по делу на один час, он вышел из здания милиции и пошел к берегу моря, где у старой крепости ютился пестрый приморский поселок.

С людьми уголовного мира, тогда еще очень сильного, у него были отношения сложные, но незапутанные. Их кадры он знал не хуже, чем свои. Впрочем, и они его кадры знали не хуже. Иногда ему приходилось закрывать глаза на одни преступления, чтобы лучше видеть другие, более важные.

Имели место и взаимные услуги. Например, договориться через нужных людей, чтобы арестованный преступник взял на себя какое-то нераскрытое дело (когда точно известно, что оно уже не может прибавить ему срок к тому сроку, который ему предстоит получить по суду), было обычным делом.

С другой стороны, за долгую работу в милиции настоящие уголовники привыкли к нему. Уважали его за личную храбрость, за то, что он и в самом деле не брал взяток, и за то, что он никогда не обманывал и не обещал сделать того, чего он не считал возможным сделать. Точнее сказать — никогда не обманывал, когда обман имел шанс раскрыться.

Сейчас он шел к дому известного вора Тико, который был, хотя дважды попадался и сидел, одним из самых дерзких и хитрых людей своей профессии.

Несколько месяцев тому назад в Лечкопе, в пригороде Мухуса, был ограблен магазин, и начальник милиции по некоторым малозаметным признакам заподозрил, что это дело рук Тико.

В ту же ночь кинулись за ним, но сестра его сказала, что он с вечера ушел кутить к знакомому греку. Тико жил один с сестрой. В ту же ночь милиция нагрянула к этому греку, но, разумеется, все застольцы утверждали, что Тико с вечера никуда не выходил из-за стола. Да и как он мог уйти, товарищи милиционеры, когда его выбрали тамадой? Грек грека никогда не продаст, за исключением тех случаев, когда грек работает в милиции тайным осведомителем. Именной такой, и притом самый его толковый, осведомитель сидел за столом. И он, конечно, ему все рассказал. И все-таки начальник Тико не тронул! И в этом проявился его истинный, тончайший нюх оперативника.

Дело в том, что по составу пирушки и дому, где она происходила, его осведомителя не должны были туда приглашать. Сам он туда не напрашивался. И вдруг напоролся на пирушку, откуда Тико ушел на грабеж и куда он потом вернулся. И тогда начальник вычислил, что его осведомителя кто-то из сидящих на этой пирушке тихо вычисляет. А Тико, сам того не ведая, служит приманкой. Если Тико возьмут, его лучший осведомитель накрылся. Его бедный пиндос так усердно следил за преступниками, что не заметил, как один из них уже сам идет по его следу. И начальник, спасая своего лучшего осведомителя, не тронул Тико, и Тико теперь ему понадобился. Так кто же достоин своего места, он, начальник, или этот зестафонский выскочка?

...В передней запах жареной рыбы ударил в ноздри. Худенькая чернявенькая сестра Тико жарила на мангале хамсу.

— Вы, греки, без хамсы жить не можете, — сказал он и, пуская в ход свое обаяние, слегка потрепал некрасивую девушку за ушко, — калон карица, андроник кехо? (Хорошая девушка, а парня нет?)

— Парень был бы, — по-русски важно ответила девушка, поддевая ножом и переворачивая в сковородке хамсу, — брат строгий.

— Правильно, — сказал начальник, — вас нужно в строгости держать. А где твой строгий брат?

— Спит, — сказала она.

— Твой брат, как волк, — шутливо сказал начальник, — днем спит, а ночью охотится.

— Э-э-э, начальник, — покачала головой девушка, показывая, что и шутливые хитрости не принимает, — брат просто лег отдохнуть...

— Разбуди его, — сказал начальник и, взяв со сковородки горсть горячей хамсы, дуя на нее, отправил в рот, — разговор есть...

Сестра правильно поняла этот жест начальника как приход с миром. Она вошла в квартиру, через несколько минут вышла оттуда и пригласила его в комнату. Тико уже надел брюки и в знак уважения к начальнику накинул на майку пиджак. Это был светлоглазый, курчавый сатир, проходящий в хорошо рассчитанное одиссеевское неистовство при виде ночных замков и запоров.

Они быстро договорились, хотя такого рода услугу начальник вообще просил первый раз. Он многое в жизни делал в первый раз и всегда удачно, ибо то, что он делал первый раз,

никто никогда не ожидал. И то, что он делал в первый раз, он никогда не делал второй раз или делал совсем по-другому.

Слова не было сказано, но все было ясно, и Тико знал, что такие услуги даром не просят.

— Хочет сесть на твое место, — быстро определил Тико суть дела, — нам это тоже не нужно.

— Надо сегодня, — сказал начальник, — завтра уже будет поздно.

— Хорошо, — Тико кивнул на окно, — еще время много... За друга тоже хочю отомстить...

Он имел в виду Христо, жившего за городом. Христо целый год был в бегах, но по агентурным сведениям тайно вернулся домой. Ночью за ним пришли, но он стал отстреливаться. Операцию возглавлял заместитель начальника. В перестрелке Христо был убит, кажется, пулей зестафонца. Он был смел, этот зестафонец. Если б не его наглость... Но теперь об этом поздно думать...

— Да, — сказал начальник, словно случайно вспоминая об этом, — как ты думаешь, Христо на нас не обидится на том свете, если мы челкопский магазин на него спишем?

— Это твое дело, начальник, — сказал Тико, — как хочешь, так и делай.

— Все-таки, как ты думаешь, дело же надо закрыть? — повторил начальник, пытаясь выудить у него заинтересованность.

— Это твое дело, начальник, — повторил Тико, — Тико вообще не имеет привычка чужие дела вмешиваться...

У него тоже неплохой оперативный ум, подумал начальник, знает, где надо остановиться.

— Хорошо, Тико, — сказал начальник, вставая, — только чтобы никакой ошибки не было.

— Ошибка не будет, — сказал Тико уверенно и добавил: — Но вот что я думаю, начальник. Вы все время говорите: интернационализма, интернационализма, а твою нацию везде прогнали, ты один остался. А среди ваших ребят всегда была интернационализма... Тико пуля не боится — Тико уважают. Нацию никто не спрашивает...

— Это временно, — остановил его начальник, мрачняя, — временно, и не надо об этом болтать.

— Э-э, начальник, — сказал Тико, воздев палец и становясь философствующим сатиром, — учти, что на этом свете все временно! И я временный! И ты временный! И все другие, даже самые большие начальники, тоже временные!

С начальником о таких вещах трудно было разговориться, и они расстались. Хотя все пока шло, как хотел начальник, Тико ему все-таки сумел подпортить настроение. Он вспомнил, как за несколько дней до случайной поимки посыльного из Батуми, его товарищи по наркомату привели его к новому наркому, только приехавшему из Тбилиси. Товарищи его, кстати, по национальности грузины, хотели помочь ему устроиться начальником милиции одного из районов.

Новый нарком о нем не знал и, взглянув на его паспорт, удивленно поднял глаза на его товарищей и спросил у них по-грузински:

— Неужели нашего парня не могли найти?

Нарком не думал, что он знает по-грузински. Товарищи его смутились.

— А я что, чужой? — не выдержал он и спросил на чистом грузинском языке.

Нарком внимательно взглянул ему в глаза и, возвращая паспорт, сказал по-русски:

— Оформляйся.

Тогда последовавшие события вернули его на прежнее место начальника городской милиции, но до чего же неприятно было об этом думать.

...В половине двенадцатого ночи в доме начальника милиции зазвенел звонок, которого он очень ждал.

— Слушаю, — нарочито сонно сказал он в трубку.

— Товарищ начальник, — доложил дежурный, — покушение на вашего заместителя...

— Ко мне подбираются, — сказал начальник, выругавшись. — Он жив?

Дежурный, как и вся милиция, знал об интригах заместителя и болел за начальника. Но, разумеется, о подоплеке случившегося не знал.

— Мертвей и Гитлер не придумает, — начал он, но начальник его перебил.

— Отставить Гитлера, — сказал он, — как было совершено покушение?

— Двадцать минут назад кто-то позвонил в дверь вашего заместителя. Тот ее открыл, и человек в маске выстрелил ему в грудь. А когда он упал, человек в маске выстрелил вто-

рой раз ему в ухо и скрылся. Жена видела, когда он стрелял второй раз...

— Немедленно машину! — приказал начальник и положил трубку.

Через пятнадцать минут начальник мухусской милиции спускался к машине, просигналившей у дома. Он мурлыкал модную в те годы застольную песенку: Зестафоно. Зестафоно...

Сейчас он был уверен, что все будет как надо. А между тем постоянно действующий фактор продолжал действовать еще многие годы, вплоть до смерти вождя и казни его самого верного и одновременно самого коварного помощника.

«Ужасный век! Ужасные сердца!» — хотелось бы нам воскликнуть, как восклицали во все времена, думая, что худшего времени не может быть. Но мы промолчим и с радостным облегчением вернемся к нашему Чунке, ибо во все времена живая душа человека была, есть и будет единственной надеждой.

В тот предрассветный час Чунка, подходя к дому Анастасии, ничего, конечно, не знал о последствиях своих слов, брошенных на базаре. Чем ближе он подходил к ее дому, тем отчетливей чувствовал знакомый, неотвратимый прилив бешеной ревности. Если она, думал он, не дождавшись меня, приняла кого-то — убью! И ее и его! И как Пушкин в дунайские волны, в кордорские волны и брошу тела.

Он тихо подошел к дому и взглянул в низкое окошко комнаты, где спала Анастасия. Но там ничего невозможно было разглядеть. Был тот самый полумрак, под которым любит скрываться измена. Он тихо постучал в стекло. Безмолвие. Он еще не-

сколько раз постучал. Опять безмолвие. Полумрак за окном был предательски дразнящим: вроде все видно, но ничего нельзя разглядеть. Чунке захотелось ударом кулака проломить оконную раму, чтобы ворваться и поймать прелюбодеев. И все-таки, рискуя разбудить старуху, он еще раз постучал, уже погромче.

Белая тень отделилась от кушетки и двинулась к окну. «Ничего не боится!» — с восторженной яростью подумал Чунка. Тень, слегка прояснев, растворила створки окна.

— Это ты, Чунка? — шепнула девушка и, не дождавшись ответа, прильнула к нему своим наспанным телом.

— Ты одна? — тихо спросил Чунка, не давая этому телу закрыть от себя кушетку и как бы идейно сопротивляясь простодушному натиску сонной Анастасии.

— Конечно, — сказала она, — влезай... Только тихо...

Он влез в окно, ни на мгновение не спуская глаз с кушетки, и, только в комнате окончательно успокоившись, стал быстро раздеваться. Одновременно он тихо и горячо от пережитого азарта рассказал ей о своем городском приключении. Они легли.

—...Умираю, кушать хочу! — сказал Чунка после близости. Анастасия соскочила с кушетки и, шлепая босыми ногами, пошла на кухню. Через минуту она принесла оттуда чурек и большую кружку молока, но Чунка уже спал беспробудным сном.

Девушка долго сидела на постели рядом с ним, гладила его потную голову и тихо смеялась, вспоминая, что он сделал со следователем. Тут надо сказать, что Чунка слегка подоврал, он сказал, что в прямом смысле исполнил свою тигриную мечту.

...Уже было далеко за полдень, а Чунка все еще спал, свесив свою длинную жилистую руку с кушетки, что почему-то раздражало старуху, которая несколько раз, громко ворча, входила в комнату, надеясь его разбудить.

С брезгливой целомудренностью трижды она водворяла его свесившуюся руку на кушетку, но та через некоторое время опять вываливалась, словно хозяин ее во сне продолжал творить и славить свободу.

Анастасия, пока он спал, вымыла его туфли, вычистила изжеванные за ночь брюки и тщательно выгладила их. Она деловито вывернула карманы его брюк, перед тем как их выглаживать, и вывалила на стол все бумажные деньги и мелочь, которая там лежала.

Выгладив брюки, она сгрэбла все деньги бумажные и мелочь и отнесла матери. Однако двадцатикопеечную монету утаила. С нежностью взглянув на спящего Чунку, она вбросила монету в карман его выглаженных брюк, висевших теперь на стуле возле постели. Это была стоимость проезда на пароме через Кодор. Нет, нельзя было допустить, чтобы такой парень, как Чунка, просил паромщика перевезти его бесплатно.

16. харлампо и деспина

Чувствую, что пришло время рассказать о великой любви Харлампо к Деспине. Харлампо, пастух старого Хабуга, был обручен с Деспиной. Они были из одного села, из Анастасовки.

Деспина Иорданиди была дочерью зажиточного крестьянина, который, по местным понятиям, считался аристократом. Харлампо был сыном бедного крестьянина, и, хотя отец Деспины разрешил им обручиться, он отказывался выдавать дочь замуж, пока Харлампо не обзаведется домом и своим хозяйством. В этом была драма их любви.

У Харлампо в доме оставалось девять братьев и сестер. Харлампо был старшим сыном своего отца. Следом за ним шла целая вереница сестер, которых надо было выдавать замуж и готовить им приданое. Поэтому Харлампо весь свой заработок отправлял в семью и никак не мог обзавестись собственным хозяйством. А без этого отец Деспины отказывался выдать за него свою дочь. По-видимому, не сумев прямо отговорить ее выходить замуж за более состоятельного грека.

Но Деспина оказалась преданной и терпеливой невестой. Семь лет она ждала своего жениха, а о том, что случилось на восьмой год, мы расскажем на этих страницах.

Все эти годы, дожидаясь возможности жениться на своей невесте, Харлампо никогда не забывал о нанесенном отцом Деспины, ее патеро, оскорблении его дому, ему самому, и в конце концов Деспине.

— О, патера, — произносил он сквозь зубы несколько раз в день без всякого внешнего повода, и было ясно, что в душе его, никогда не затухая, бушует пламя обиды.

— О, патера?! — произносил он иногда с гневным удивлением, поднимая глаза к небу, и тогда можно было понять его так: «Отец небесный, разве это отец?!»

Два-три раза в году Деспина навещала своего жениха. Она появлялась в Большом Доме в сопровождении худенькой, шустрой старушки в черном сатиновом платье, тетушки Хрисулы, которая играла при своей племяннице роль девохранительницы, хотя пыталась иногда довольно наивным образом скрывать эту роль.

Тетушка Хрисула, сестра отца Деспины, никогда не имела своей семьи, в сущности, она воспитывала Деспину и не чаяла в ней души. По-видимому, Деспина тоже любила свою тетушку, иначе было бы трудно объяснить, как она, ни разу не взорвавшись, терпела ее бесконечные поучения. Тетушка Хрисула часто с гордостью повторяла, что вскормила Деспину исключительно двужелтошными яйцами.

И это было видно по ее племяннице. Деспина была жизнерадостная, сильная девушка, с широкими бедрами, с приятным, необычайно белым лицом. Белизной ее лица гордилась она сама, гордилась тетушка Хрисула, гордился Харлампо, с выражением сумрачного удовольствия слушавший, когда кто-нибудь из чегемцев удивлялся ее необычно белому лицу, которому странно не соответствовали ее крепкие, загорелые, крестьянские руки.

Длинные каштановые косы Деспины, когда она ходила, шевелились на ее бедрах, а на голове всегда была синяя косынка, которой она, выходя на солнце, почти как чадрой, занавешивала лицо. Глазки ее были такие же синие, как ее косынка, и так как она косынку никогда не снимала, мне почему-то казалось, что глаза ее постепенно посинели от постоянного отражения цвета косынки.

Так вот. Если Деспина, бывало, забывшись, на минуту выходила на солнце, не сдвинув косынку на лицо, тетушка Хрисула тут ее окликала:

— Деспина!

И Деспина привычным, ловким движением стягивала косынку на лицо. По-видимому, тетушкой Хрисулой, а может, и другими родственниками Деспины обыкновенный загар рассматривался как частичная потеря невинности.

В доме старого Хабуга, безусловно, по его прямому повелению, Деспину и ее старушку принимали очень почтительно.

Обычно, если в доме не было гостей, все мы усаживались за низенький, длинный абхазский стол, во главе которого всегда восседал старый Хабуг. Но если были гости, взрослые мужчины во главе с дедушкой садились за обыкновенный (русский, по чегемским понятиям) стол. Харлампо в таких случаях за этот стол никогда не сажали. Его сажали вместе с нами, детьми, подростками, женщинами (домашними женщинами, конечно) за низенький стол.

И хотя многие годы этот обряд оставался неизменным, Харлампо всегда болезненно воспринимал, что его не сажают рядом с гостями. Это было видно по выражению его лица, и тетя Нуца, моя тетя, пытаясь задобрить его, то и дело подкладывала ему самые вкусные куски с гостевого стола.

Харлампо, конечно, съедал все, что она ему давала, но как бы демонстративно отключив всякое личное удовольствие. Это было видно по сдержанной презрительной работе его челюстей, по какому-то насильственному глотательному

движению, и мне порой казалось, что он каким-то образом даже приостанавливает действие слюнных желез. Его лицо говорило: да, да, я затолкал в себя все, что вы мне дали, но вкуса не почувствовал, не мог почувствовать и не хочу почувствовать.

Когда же Деспина с тетушкой Хрисулой приезжали навестить Харлампо, старый Хабуг сажал их вместе с ним за гостевой стол, а мы, все остальные, усаживались за обычный.

В такие часы чувствовалось, что Харлампо в душе ликует, хотя внешне остается, как всегда, сумрачно сдержанным. Оттуда, из-за высокого стола, он иногда поглядывал на нас со странным выражением, как бы стараясь себе представить, что чувствует человек, когда его сажают за низенький стол, и, как бы не в силах себе это представить, отворачивался.

Временами он бросал взгляд на свою невесту и тетушку Хрисулу, стараясь внушить им своим взглядом, что вот он здесь сидит с дедушкой Хабугом, что он, в сущности, в этом деле не какой-нибудь там нанятый пастух, а почти член семьи.

Старый Хабуг на все эти тонкости не обращал внимания. У него была своя линия, которую можно было так расшифровать: я принимаю твоих гостей на самом высоком уровне, потому что знаю, что это полезно для твоих отношений с невестой. А то, что я тебя не сажаю за высокий стол с моими гостями, это дело моих обычаев, и мне безразлично, что ты переживаешь по этому поводу.

Тетушка Хрисула и Деспина гостили в Большом Доме иногда неделю, иногда две. Бывало, по вечерам в кухне или на

веранде собирались молодые чегемцы, и Деспина с удовольствием с ними болтала по-русски или по-турецки, порой безудержно хохоча шуткам чегемских парней, на что неизменно получала замечание от тетушки Хрисулы.

— Кондрепесо, Деспина! (Не стыдно, Деспина!) — говорила она и что-то добавляла по-гречески, судя по движению ее губ, показывала пределы приличия, на которые во время смеха может раздвигать губы аристократическая девушка — «аристократико корице».

Деспина быстро прикрывала рот большой загорелой ладонью, но через несколько минут забывалась и снова закатывалась в хохоте.

Иногда, даже если Деспина и не хохотала, а просто слишком оживленно разговаривала с каким-нибудь из чегемских парней, тетушка Хрисула снова делала ей замечание.

— Деспина! — предупреждала ее тетушка Хрисула и, обращаясь к тете Нуце, говорила, что Деспина здесь, в Чегеме, совсем отбилась от рук, ошалев от встречи с Харлампо. Там, в Анастасовке, говорила она, Деспина с чужими людьми не разговаривает и ее многие принимают за немую. «Какая хорошая девушка, — нередко говорят чужие люди, попадая в Анастасовку, — как жаль, что она немая».

Тут Деспина снова закатывалась в хохоте, и тетушка Хрисула снова бросала ей голосом, полным укоризны:

— Кондрепесо, Деспина!

Харлампо следил за Деспиной со спокойным, сумрачным обожанием, и было ясно, что в его представлении все проис-

ходящее в порядке вещей, что «аристократико корице» только так себя и ведет.

Иногда Харлампо, пригоняя коз, возвращался домой с большой кладью дров и с каким-то неизменным, подчеркнутым грохотом очаголюбия сбрасывал ее с плеча у кухонной стены (сбросить явно можно было и помягче), а тетя Нуца, где бы она ни была в это время, благодарным эхом отзывалась на этот грохот:

— Пришел наш кормилец!

И подобно тому, как Харлампо, сбрасывая дрова, подчеркивал грохот очаголюбия, чтобы его приход был слышен во всем доме, так же тетя Нуца громким голосом добрасывала до Харлампо свою преувеличенную благодарность.

Во время пребывания тетушки Хрисулы и Деспины в Большом Доме Харлампо этот грохот очаголюбия доводил до верхнего предела. Он сбрасывал дрова, не только не наклоняясь, как обычно, но теперь, даже и не заходя на кухонную веранду, а только дойдя до нее, сильным толчком плеча добрасывал кладь до кухонной стены.

Обычно после этого Харлампо озирался и, поймав глазами тетушку Хрисулу, через нее, как через передаточную станцию, отправлял отцу Деспины свой незатухающий, свой сумрачный укор.

— О, патера, — иногда при этом выхлопывало из него.

— Деспина, — тихо говорила тетушка Хрисула, несколько подавленная этим грохотом очаголюбия Харлампо, справедливостью его укора и, может быть, самой своей ролью передаточной станции, — полей Харлампо.

Деспина быстро отправлялась на кухню и выходила оттуда с полотенцем, перекинутым через плечо, с мылом и кувшинчиком с водой, Харлампо стягивал с себя рубашку и, оставаясь в майке, обнажал могучие голые руки и мощные плечи.

Вид полуголого Харлампо возвращал тетушку Хрисулу к тревожной яви. Минутной подавленности как не бывало. Покинув свое место на веранде, примыкающей к горнице, она останавливалась в непосредственной близости от Деспины, поливающей воду Харлампо.

Тетушка Хрисула впивалась в них глазами, и они под ее взглядом как-то замирали, старательно подчеркивая свою телесную разъединенность и самой скульптурной силой этого старания обнажая тайную взаимоустремленность, что вызывало некоторое неясное беспокойство тетушки Хрисулы.

И вот, наблюдая за тем, как Деспина поливает воду Харлампо, следя за кристальной струей, льющейся из кувшинчика, который держит целомудренно приподнятая, сильная рука девушки, тетушка Хрисула начинала волноваться, когда струя эта укорачивалась, то есть Деспина приближала руку с кувшином к затылку Харлампо или к его выставленному предплечью.

— Деспина! — раздавался предостерегающий голос тетушки Хрисулы, и девушка снова приподымала руку с кувшинчиком.

Умывшись, Харлампо разгибался и протягивал ладонь к полотенцу, висящему на плече у девушки, причем самым замедленным движением ладони (видите, как я владею собой), а также наглядно выставленными двумя пальцами он заранее

давал убедиться в исключительной функциональности своего намерения ухватиться за край полотенца.

— Деспина, — все-таки считала тетушка Хрисула нелишним напомнить о приближающейся опасности.

Стоит ли говорить, что за все дни пребывания Деспины в Большом Доме тетушка Хрисула не выпускала из виду свою племянницу. О том, чтобы Деспина вместе с Харлампо удалась в сад или пошла к соседям, не могло быть и речи. Иногда Харлампо брал их с собой в лес, куда он ходил пасти коз. Тетушка Хрисула возвращалась оттуда с губами, измазанными, как у девочки, соком черники, ежевики или лавровишни.

Надо сказать, что тетушка Хрисула отличалась необыкновенным не только для аристократической старушки, но и для обычной старушки, аппетитом. Просто было непостижимо, куда это все идет, учитывая, что она была довольно сухонькая старушка.

Но тетушка Хрисула любила не только поесть, она была большой охотницей и до домашней водочки. И опять же, учитывая, что она была хоть и шустрая и не очень старая старушка, но все-таки старушка, выпить она могла довольно-таки порядочно. Пять-шесть рюмок она выпивала запросто.

Чегемские ребята нарочно старались ее как следует угостить, чтобы она уснула и оставила вдвоем Деспину и Харлампо. Но тетушка Хрисула никогда настолько не пьянела, чтобы лечь спать, она только, слегка размякнув, прижималась головой к плечу Деспины и что-то растроганно говорила своей племяннице.

И милая Деспиночка нисколько не ругала свою тетушку, а, наоборот, жалела, целуя смуглое, слегка сморщенное личико, приникшее к ее молодому плечу, и что-то ласково приговаривала. Тетушка Хрисула ей что-то лепетала в ответ. И эта взаимная воркотня, с равномерными паузами, вздохами тетушки Хрисулы и повторами, как-то сама собой делалась понятной, словно они говорили по-русски или по-абхазски.

— Хрисула — глупышка, Хрисула немножко перебрала.

— Деспина, прости свою старушку...

— Хрисула глупенькая, Сула немножко перебрала...

Чегемские ребята, знавшие долгую горестную историю любви Харлампо, нередко предлагали ему найти удобный случай и овладеть Деспиной, тогда ее отцу некуда будет деться и он наконец выдаст ее замуж, не дожидаясь, пока Харлампо обзаведется хозяйством.

Они даже предлагали, раз тетушка Хрисула не оставляет их вдвоем, удрать от нее в лес, сделать свое дело, а потом вернуться к ней. Только чтобы она не затерялась в лесу, уточнял кто-нибудь при этом, надо сначала снять с какой-нибудь козы колоколец и надеть ей на шею.

Нет, поправляя другой, колоколец не поможет, потому что тетушка Хрисула так и будет бежать за ними, гремя колокольцем и ни на шаг не отставая. Лучший способ, пояснял он, это привязать ее к дереву хорошими лианами, только нельзя слишком задерживаться, а то ее комары заедят.

Нет, уточнял третий, раз уж на такое дело решились — спешить не стоит. Но чтобы тетушку Хрисулу не заели кома-

ры, надо, привязав ее к дереву, рядом с ней развести костерок, подбросив в него гнилушек, чтобы он хорошо дымил.

Харлампо все эти советы выслушивал с сумрачным вниманием, без тени улыбки и отрицательным движением головы отвергал их.

— Деспина не простая, — говорил он, — Деспина аристократиса.

Многозначительно покачивая головой, он давал знать, что если таким способом и можно жениться на обыкновенной девушке, на аристократке нельзя. Несмотря на ясный ответ Харлампо о том, что он не собирается таким путем жениться на Деспине, каждый раз, когда он, погоняя коз, возвращался из лесу вместе с Деспиной и тетушкой Хрисулой, чегемские ребята издали вопросительно смотрели на него и, помахивая рукой, задавали безмолвный вопрос: мол, что-нибудь получилось?

Харлампо опять же издали ловил их вопросительные взгляды и твердым отрицательным движением головы показывал, что он не собирается таким коварным путем овладеть любимой девушкой. Возможно, тут сказывалось его затаенная под лавиной унижений гордость, его уверенность, что он, столько прождавший, в конце концов законным путем получит то, что принадлежит ему по праву любви.

(Вспоминая облик Харлампо и особенно его этот взгляд, я часто думал, что нечто похожее я неоднократно встречал в своей жизни. Но долго никак не мог понять, что именно. И вот наконец вспомнил. Да, точно так, как Харлампо, интеллигенция наша смотрит на людей, предлагающих насильст-

венно овладеть Демократией: тоже гречанка, как и Деспина. И точно так же, как и Харлампо, наша интеллигенция неизменным и твердым отрицательным движением головы дает знать, что только законным путем она будет добиваться того, что принадлежит ей по праву любви.)

Интересно, что, даже возвращаясь из лесу с большой вязанкой дров на плече, подпертой с другого плеча топориком-цалдой, и вынужденный из-за этой тяжести идти с опущенной головой, Харлампо все-таки, увидев чегемских ребят и терпеливо дождавшись их терпеливого вопроса, не ленился приподнять лицо, и твердым, отрицательным движением головы, преодолев затрудненность этого движения из-за вязанки, торчащей над плечом, да, все-таки преодолев эту затрудненность, он давал ясно знать, что ожидания их напрасны.

Видно, такая заинтересованность чегемских парней в его любовной истории не казалась ему назойливой, видно, его могучая, замкнутая в своей безысходности страсть нуждалась в поддержке доброжелателей или хотя бы зрителей.

Постоянная слезка тетушки Хрисулы за целомудрием Деспины была предметом всевозможных шуток и подначек обитателей Большого Дома и их гостей.

Например, если вечером все сидели на веранде, а Харлампо в это время находился на кухне, кто-нибудь потихоньку просил Деспину якобы не в службу, а в дружбу принести что-нибудь из кухни: то ли ножницы, то ли вязанье, то ли шерсть, то ли веретено. Обычно в таких случаях тетушка Хрисула,

словно случайно услышав просьбу, успевала вскочить раньше Деспины и побежать на кухню.

Если же удавалось все же отправить Деспину незаметно для тетушки Хрисулы, то она вела себя по-разному в зависимости от многих обстоятельств. К слову сказать, тетушка Хрисула была невероятная говорунья. По этому поводу обитатели Большого Дома отмечали, что рот ее хоть так, хоть этак, но обязательно должен работать.

— Дали бы ей чего-нибудь пожевать, авось замолкнет, — говорил кто-нибудь по-абхазски, когда она своим лопотаньем заморочивала всем головы.

Так вот. Иногда, увлекшись разговором, тетушка Хрисула в самом деле упускала из виду Деспину. Однако опомнившись и сообразив, что она племянницу видела несколько мгновений тому назад, она спокойно вставала и как бы по своим надобностям уходила на кухню.

Если она замечала, что Деспина куда-то ушла, а Харлампо и все молодые люди, пришедшие в большой Дом, сидят на месте, то она довольно долго терпела ее отсутствие. И тут обитатели Большого Дома или его гости нарочно пытались вызвать в ней тревогу, спрашивая, куда, мол, запропастилась Деспина.

— А-а-а! — говорила тетушка Хрисула и отмахивалась: мол, и знать не знаю и знать не хочу.

Но если тетушка Хрисула, заметив отсутствие Деспины, вспоминала, что она, скажем, увлекшись разговором, уже минут десять как выпустила ее из виду, а Харлампо или кто-ни-

будь из молодых парней тоже исчез, она забывала о всякой маскировке.

— Деспина! — кричала она и вскакивала, словно пытаясь голосом еще до того, как добежала до кухни, удержать ее от гибельного шага.

Любоваться многообразием и богатством тактики тетушки Хрисулы в охране невинности Деспины было любимым занятием обитателей Большого Дома.

Иногда, бывало, и Деспина исчезала на кухне, и тетушка Хрисула прекрасно знает, что Харлампо там, но почему-то никакого волнения не проявляет. Эта тончайшая, по мнению тетушки Хрисулы, хитрость доставляла обитателям Большого Дома утонченное веселье.

— Хрисула! — говорил кто-нибудь и многозначительно кивал в сторону кухни, — там Харлампо и Деспина?!

— А-а-а, — махала рукой тетушка Хрисула, — жених и невеста!

Проходило еще какое-то время, и снова с великой тревогой напоминали тетушке Хрисуле о неприлично затянувшемся пребывании на кухне Деспины и Харлампо.

— А-а-а, — говорила тетушка Хрисула и, махнув рукой, добавляла по-русски: — К чертум!

Чем же объяснить такую беззаботность тетушки Хрисулы? Тетушка Хрисула точно знала, что сейчас на кухне старый Хабуг, но думала, что другие об этом не знают.

Харлампо и дедушка Хабуг ночью спали на кухне. Деспину и тетушку Хрисулу укладывали в лучшей комнате, в зале. И хотя там стояли две кровати и две кушетки, тетушка Хри-

сула раз и навсегда отказалась спать в отдельной кровати. Она спала вместе с Деспиной. Ложились они в кровать не валиком, а головой в одну сторону. По уверению моих двоюродных сестричек, спавших в этой комнате (не исключено, что насмешницы преувеличивали), тетушка Хрисула, укладываясь, наматывала на руку длинную косу Деспины, чтобы та ночью не сбежала к Харлампо.

По уверению тех же сестриц, тетушка Хрисула за ночь несколько раз, не просыпаясь, произносила: «Деспина!» — и опять же, не просыпаясь, подергивала руку, чтобы почувствовать тяжесть головы Деспины, чтобы убедиться, что она не сбежала к Харлампо, добровольно отрезав свою косу.

Однажды, дело было к вечеру, Деспину удалось послать за водой к роднику именно тогда, когда Харлампо пас коз возле родника, а тетушка Хрисула об этом не знала. Она думала, что он, как обычно, ушел в котловину Сабида. Вернее, так оно и было, но по договоренности с дядей Исой он должен был помогать ему шепить дрань возле родника, и он туда через котловину Сабида перегнал своих коз.

Все обитатели Большого Дома и ближайшие соседи, разумеется, все, кроме старого Хабуга, которого в эти планы никто не посвящал, с любопытством ждали, чем это все кончится.

Деспина явно задерживалась, из чего было ясно, что она там встретилась с Харлампо. Как ни отвлекали тетушку Хрисулу, через некоторое время она забеспокоилась, вышла во двор и стала кричать:

— Деспина! Деспина!

Деспина отозвалась. Громко укоряя ее, тетушка Хрисула пошла ей навстречу. Только она, пройдя скотный двор, вышла за ворота, как на тропе, ведущей к роднику, появилось стадо, в конце которого шла Деспина с кувшином на плече, а рядом важно выхаживал Харлампо. Тетушка Хрисула всплеснула руками и побежала им навстречу.

— Кондрепесо, Деспина! Кондрепесо, Деспина! — кричала она, указывая на Харлампо, который сумрачным выражением лица внушал тетушке Хрисуле, что ее подозрения унижают его достоинство, но он и это вытерпит, как терпит все ради своей великой любви.

Деспина, придерживая одной рукой кувшин, другой бойко жестикулировала у самого лица тетушки Хрисулы, и по ее жестам можно было понять, что она совершенно случайно встретила Харлампо, и в то же время ее ладонь, несколько раз метнувшаяся в сторону кувшина, как бы указывала, что при таком свидетеле, как медный кувшин, ничего не могло произойти. По-видимому, она настаивала на том, что встретила с Харлампо, когда уже с кувшином поднималась от родника, и ей ничего не оставалось, как продолжить свой путь рядом с Харлампо.

Тут тетушка Хрисула накинулась на Харлампо, и по ее жестам можно было понять, что раз он случайно встретился на дороге один на один со своей невестой, он должен был быстрее вместе с козами уйти вперед (она показала рукой, как это надо было сделать) или отстать (и опять же она показала, как это надо было сделать).

Харлампо ей что-то отвечал, и они в это время уже входили во двор. Судя по интонациям его голоса, ответ его был исполнен сдержанного достоинства, и смысл его, вероятно, был в том, что ему незачем бегать от невесты, тем более когда она встречается ему на дороге с кувшином на плече. При этом он выдвинул собственное плечо, как бы согбенное под тяжестью кувшина и как бы настаивая на полной нелепости предположения, что девушка под такой тяжестью может заниматься любовными шашнями.

Отвечая тетушке Хрисуле на ее выпады, Харлампо в то же время сумрачно искал глазами чегемских парней, которые прямо с веранды, вопросительно глядя на него и помахивая рукой, безмолвно спрашивали: «Ну, теперь-то наконец тебе что-нибудь удалось?!»

И продолжая отбиваться от нападков тетушки Хрисулы, Харлампо сумрачно смотрел на них и твердым движением головы показывал, что ничего такого не было и не могло быть.

Одним словом, тетушка Хрисула неустанно следила за Деспиной, все время находя самые неожиданные поводы вводить ее в рамки аристократического поведения. Стоило, скажем, Деспине погладить большую кавказскую овчарку, забежавшую на веранду, как тетушка Хрисула, по-видимому, находя в облике собаки слишком явно выраженное мужское начало, останавливала ее.

— Деспина, — говорила она и что-то поясняла. Судя по тому, что она при этом показывала на кошку, мирно дремавшую на балюстраде веранды, можно было догадаться, что «аристо-

кратико корице», даже если она обручена с пастухом Харлампо, не должна забавляться с пастушеской овчаркой, но при этом смело может погладить кошку или даже взять ее на руки.

Молодые чегемцы, которые захаживали в Большой Дом, с удовольствием поглядывали на Деспину, а мой двоюродный брат Чунка, остроязыкий балагур, высокий, тонкий и гибкий, как ореховый прут, даже слегка приударял за ней, насколько это было возможно под неусыпным оком тетушки Хрисулы.

Чунка был внуком брата дедушки Хабуга. Вместе с сестрой Лилишей он жил в нашем дворе в своем доме, хотя большую часть своей жизни проводил с нами в Большом Доме. Отец и мать у него давно умерли. По чегемским обычаям сироту балуют, и среди моих молодых дядей и многоюродных братьев он был самым избалованным.

Харлампо, замечая это внимание к Деспине, не только не ревновал ее, а как бы сумрачно поощрял ухаживания, впрочем, достаточно невинные. Очевидно, ему казалось, что так и должно быть, не может быть, чтобы молодые чегемцы, раз уж им повезло побывать в обществе аристократической девушки, не попытались за ней ухаживать.

Как-то Чунка принес большую деревянную миску, полную слив, и поставил ее у ног Деспины, сидевшей на веранде вместе с другими женщинами. Девушка благодарно улыбнулась Чунке, потянувшись, достала большую лиловую сливу и только хотела надкусить ее, как тетушка Хрисула выхватила у нее плод.

— Деспина! — воскликнула она и, быстро протирая сливу о подол своего платья, стала ей что-то объяснять.

По-видимому, речь шла о том, что девушка ее круга, прежде чем надкусить сливу, обязательно должна стереть с нее пыльцу, даже если ничего другого нет под рукой, кроме тетушкиного подола. Протирая каждую сливу о подол своего платья, она подавала их Деспине, при этом, конечно, и о себе не забывала.

* * *

Но больше всего тетушка Хрисула любила полакомиться инжиром. Два больших инжировых дерева росли на огороде. Одно дерево было инжиром белого сорта, другое — черного. Тетушка Хрисула особенно любила черный инжир.

Однажды Деспина и Чунка влезли на дерево с черным инжиром. Деспина, сняв сандалии, попыталась первая влезть, но тетушка Хрисула остановила ее и, пропуская вперед Чунку, быстро залопотала что-то. По-видимому, она ей объясняла, что аристократическая девушка, влезая на дерево с чужим мужчиной, всегда пропускает его вперед.

Чунка и Деспина влезли на дерево и, на разных ветках, начали рвать инжир, то сами поедая, то нам подбрасывая. Чунка еще и в корзину успевал собирать.

Мне инжиры бросал только Чунка, а тетушке Хрисуле в основном бросала Деспина, но и Чунка нередко подбрасывал, потому что тетушка Хрисула прямо с ума сходила по черному инжиру. Забыв о своем происхождении (а может, и не забыв), она поедала инжиры с необыкновенным проворством, не потрудившись снять с плода кожуру.

Инжиры то и дело шлепались ей на ладони, и было удивительно, учитывая ее преклонный возраст, как она ловко их ловила, ни разу не промахнувшись. Иногда переспелый инжир шмякался на ее ладони, но она этим нисколько не смущалась, а прямо-таки слизывала в рот сладостное месиво.

— Одно чудо в своей жизни я совершу, — сказал Чунка по-абхазски, дотягиваясь до ветки и, шурша листьями, осторожно сгибая ее, — когда тетушка Хрисула умрет, я спущусь в Анастасовку с ведром черного инжира. Я подойду к гробу и поднесу ей ко рту инжир. И тут, к ужасу окружающих греков, она разомкнет свою пасть и съест этот инжир. Потом она привстанет и, не сходя с гроба, опорожнит все ведро, если, конечно, греки, опомнившись, не пристрелят меня самого за то, что я оживил эту прорву.

Пока Чунка это говорил и, сгибая ветку, тянулся к инжиру, тетушка Хрисула, разумеется, ничего не понимая, не сводила с него преданных глаз, очень заинтересованная судьбой именно этого инжира.

Иногда Чунка нарочно подряд бросал ей несколько инжиров, то ли для того, чтобы посмотреть, как она их будет подбирать с земли и есть, то ли для того, чтобы она замолкла, хотя бы на время поедания этих инжиров.

Сам остроязыкий балагур, он, может быть, подревновывал незамолкавшую тетушку Хрисулу, да к тому же она мешала ему настроить Деспицу на свой лад. Но когда он ей бросал почти сразу несколько инжиров, тетушка Хрисула, мгновенно перестраиваясь, подставляла под летящие инжи-

ры свой многострадальный аристократический подол, куда они и шлепались.

— Одного не пойму, — говорил Чунка в таких случаях по-абхазски, — какого черта я взял с собой корзину, раз эта старуха увязалась за нами?..

Когда инжир падал в мои ладони, тетушка Хрисула тоскливым взглядом окидывала мой инжир, и, если он ей казался особенно крупным и спелым, а он ей таким казался почти всегда, она явно жаловалась Деспине, что ее обделяют.

Поедая инжиры, тетушка Хрисула беспрерывно тараторила.

— Деспина! — кричала она и, воздев руку, показывала девушке на спелый инжир, который Деспина никак не могла заметить, хотя он был совсем близко от нее. Наконец, отворачивая лопухие, кожистые листья, Деспина добиралась до желанного инжира, срывала, стараясь не раздавить, и кидала тетушке Хрисуле.

— Деспина! Деспина! — вскрикивала она, когда девушка ступала на слишком тонкую ветку. — Деспина! — строго окликнула она ее, когда ветка, на которой стояла девушка, оказалась выше, чем ветка, на которой стоял Чунка. При этом она что-то залопотала, для наглядности оглаживая собственное платье и явно напоминая ей, что «аристократико корице», оказавшись на одном дереве с чужим мужчиной, не должна подыматься на такую высоту, куда чужой мужчина может снизу на нее взглянуть.

Деспина что-то отвечала ей, показывая рукой на ветку, на которой стоял Чунка, и обращая внимание тетушки на то, что

с этой ветки кривая взгляда чужого мужчины никак не может нанести ущерба ее скромности.

— Деспина! — сокрушенно крикнула ей в ответ тетушка Хрисула, пораженная ее наивностью и, как бы предлагая ей учиться смотреть немножко вперед, жестами показала, с какой легкостью при желании Чунка может перескочить со своей ветки на ее ветку.

— Господи! — взмолился Чунка. — Да замолкнет она когда-нибудь или нет?! Слушай, выдерни из земли хорошую фасолевую подпорку, потихоньку подойди сзади и хрястни ее как следует по башке! Сдохнуть она, конечно, не сдохнет, но, может, замолкнет на полчаса, а я, глядишь, кое-чего и в корзину накидаю. Только такой болван, как я, мог полезть на инжир с корзиной, когда эта обедала стоит под деревом и при этом ни на минуту не замолкает.

Между прочим, отвечая тетушке Хрисуле, бросая ей инжиры и поедая их сама, Деспина, полыхая своими синими глазками, успевала и с Чункой позубоскалить. Переговаривались они по-русски, и тетушка Хрисула несколько раз делала замечание Деспине за то, что она говорит на непонятном ей русском языке, а не говорит на общепонятном турецком. Тетушка Хрисула не могла взять в толк, что разноязыкой нашей деревенской молодежи к этому времени проще всего было говорить по-русски.

— Иди домой — водка, водка! — крикнул ей Чунка по-русски.

Но не тут-то было! Тетушка Хрисула в ответ ему возмущенно залопотала по-гречески, забыв, что Чунка по-гречески

не понимает. Из ее лопотания, в котором несколько раз прозвучало: «Водка! Водка!» — можно было понять, что если она, как и многие аристократические старушки, и любит выпить две-три рюмки, то это не значит, что она бросит на произвол судьбы здесь, на дереве, свою любимую племянницу.

— Цирк! — крикнул Чунка. — Она меня в греки записала!

Чунка с корзиной перелез на другую ветку, и я внизу переместился так, чтобы ему удобней было бросать мне инжиры. Тетушка Хрисула растерянно посмотрела на меня, чувствуя, что теперь Чунке трудновато будет добрасывать до нее инжиры, и в то же время не желая показывать свою зависимость от него, сделала пару шагов в мою сторону, что надо было понимать как случайное, нецеленаправленное перемещение.

Сейчас прямо за мной грозно взмывал сочный куст крапивы. Бросая мне инжир, Чунка приметил его и крикнул мне по-абхазски:

— Ты что, решил ее крапивой отстегать?! От крапивы она только развопится на весь Чегем. Я же тебе сказал — хрястни ее по башке хорошей фасолевым подпоркой! Ты же просился на медвежью охоту. Это и будет тебе проверкой! Хотя, может, ты и прав. Может, как раз наоборот. Может, сначала надо проверить тебя на медведице, а потом пускать на эту невероятную старуху.

Вдруг Чунка дотянулся до огромного спелого инжира с красной разинутой пастью, осторожно сорвал его, окликнул Деспину, и, поцеловав инжир, перебросил его ей. Деспина ловко поймала его, ослепительно улыбнулась Чунке и, для

устойчивости слегка откинувшись спиной на ствол дерева, стала двумя пальчиками очищать инжир от кожуры.

Тетушка Хрисула, видевшая все это, от возмущения онемела. В тишине некоторое время было слышно, как шкурки — шлеп! шлеп! шлеп! — падают на широкие инжировые листья. Когда тетушка Хрисула пришла в себя, Деспина уже отправляла в рот сладкую мякоть плода.

— Деспина! — истошно закричала тетушка Хрисула и быстро-быстро залопотала, по-видимому, объясняя ей, что аристократическая девушка, оказавшись с чужим мужчиной на одном дереве, не может принимать от него плодов этого дерева, тем более плод, оскверненный его поцелуем. Она поднесла пальцы к губам, показывая, до чего отвратителен был этот поцелуй.

Деспина ей что-то отвечала, и, судя по движению ее рук, она показывала, что съела инжир, очистив его от шкурки и тем самым нейтрализовав действие оскверняющего поцелуя.

— Деспина! — в отчаянии крикнула тетушка Хрисула и, выбросив обе руки в стороны, что-то пролопотала, по-видимому, означающее: зачем вообще надо было есть этот инжир?!

— У меня один способ заставить замолкнуть эту старуху! — крикнул Чунка и, дотянувшись до инжира, сорвал его и вбросил в корзину. — Это прыгнуть с дерева ей на голову вместе с корзиной. И то сказать — сам я сломаю шею, а она только отряхнетя и станет собирать инжиры, выпавшие из моей корзины.

Дожевывая инжир, Деспина что-то ответила тетушке Хрисуле, и, судя по движению ее рук и взгляду на ветку, где

стоял Чунка, она сказала, что инжир был брошен без ее одобрения и ей ничего не оставалось, как поймать его и съесть.

— Деспина! — крикнула тетушка Хрисула, как бы отказываясь осознать самую возможность быть столь неосведомленной в простейших правилах хорошего тона. После этого она снова залопотала, непрерывным движением рук поясняя свои слова, так что легко было понять, что она имела в виду. Она имела в виду, что, даже поймав оскверненный инжир, Деспина могла с честью выйти из этого положения, просто перебросив этот инжир ей, тетушке Хрисуле.

Вся в солнечных пятнах, с лицом, озаренным солнцем, Деспина посмотрела на тетушку Хрисулу с высоты своей ветки ясными, синими глазками, как бы сама удивляясь простоте такого выхода и сожалея, что ей это вовремя не пришло в голову. При этом она рассеянно дожевывала оскверненный инжир, что, по-моему, особенно раздражало тетушку Хрисулу. Махнув рукой, тетушка Хрисула снова залопотала, и я как бы отчетливо услышал начало фразы:

— Оставь, пожалуйста.

— Ты ее трахнул фасолевой подпоркой, а ей хоть бы хны?! — сказал Чунка, не глядя вниз. Он пробирался к концу ветки, упругими движениями ног то и дело пробуя ее крепость и придерживаясь одной рукой за верхнюю ветку. Почувствовав, что дальше ветка, пожалуй, не выдержит, он остановился, нашел глазами сучок, подвесил корзину и, озираясь в поисках спелых инжиров, продолжал свою мысль: — Я так и знал. Эту старуху может заставить замолкнуть только моя

двустволка. Но надо сразу нажимать на оба курка, опять же сунув ей в рот оба ствола. Иначе глупость получится. Если от ружья до нее будет хотя бы один метр — пули в ужасе перед этой старухой разлетятся в разные стороны.

Вдруг Деспина перелезла со своей ветки на более высокую и скрылась в густой листве инжира. Тетушка Хрисула, воздев голову, несколько секунд молча ожидала, когда она высунется из листвы и кинет ей инжир. Но Деспина почему-то из листвы не высывалась, а Чунка перелез на эту же ветку, и прежде чем скрыться в густой листве, нахально повесил корзину на сучок, как бы не скрывая, что теперь инжирные дела закончились и начались совсем другие дела. Все произошло в несколько секунд, если они и сговорились, то мы внизу этого не заметили.

— Деспина! — в ужасе крикнула тетушка Хрисула. Никакого ответа.

— Деспина! — И опять безмолвие.

Тетушка Хрисула посмотрела по сторонам, явно стараясь узнать, нет ли случайных свидетелей этого позора. Взгляд ее упал на меня, она быстро заглянула мне в глаза, стараясь опередить меня, если я попытаюсь придать своему лицу притворное выражение. Решив, что опередила, она постаралась узнать, понимаю ли я смысл происходящего. Установив, что, к сожалению, понимаю, она захотела определить, смогу ли я, если случится самое худшее, по крайней мере, держать язык за зубами. Не сумев это определить и не желая тратить на меня драгоценные секунды и досадуя об уже потраченных,

она с воплем подбежала к дереву и попыталась, двигаясь взглядом вдоль ствола, обнаружить исчезнувшую пару. Но обнаружить не удалось. Тогда она вдруг опустила глаза, и взгляд ее упал на сандалии Деспины, и она несколько секунд растерянно глядела на них, как если бы Деспина унеслась на небо, и было решительно непонятно, что теперь делать с ее сандалиями.

Потом, как бы встряхнувшись от гипноза, приковывавшего ее взгляд к сандалиям, она, крича и причитая, стала бегать вокруг дерева, стараясь найти такой разрыв в листве кроны, откуда можно было бы их увидеть. По интонациям ее голоса надо было понимать, что напрасно они думают, что спрятались от нее, что она их давно обнаружила, но так как она при этом все время перебегала с места на место, было ясно, что она их все-таки не видит.

Минуты через две или три из густой листвы раздался смех Деспины и хохот Чунки.

— Деспина! — крикнула тетушка Хрисула с надрывным упреком и все-таки радуясь, что она, по крайней мере, жива.

Наконец Деспина раздвинула листья и высунула свое смеющееся, озаренное солнцем лицо, а тетушка Хрисула, держа одной рукой за сердце, долго укоряла ее.

Тут высунулось из листвы смеющееся лицо Чунки. Он дотянулся до инжира, сорвал его и, кинув мне, крикнул:

— Да скажи ты ей, ради Аллаха, раз уж ты не оглушил ее фасолевой подпоркой: я не ястреб, чтобы на дереве склевать девицу, как цыпленка!

Когда брошенный Чункой инжир шлепнулся на мои ладони, тетушка Хрисула, не переставая укорять Деспину и Чунку, все-таки не удержалась, чтобы не поглядеть, насколько хорош мой инжир.

Деспина сорвала инжир и, отводя руку, показала, что собирается его кинуть тетушке. Тетушка Хрисула с новой силой залопотала, замахала обеими руками, показывая, что после такого вероломного поступка она не станет принимать у нее инжир. Но Деспина кинула инжир, и тетушка Хрисула как бы против воли его поймала и как бы против воли отправила в рот, продолжая укорять свою племянницу.

Чунка снова высунулся из листвы, дотянулся до хорошего инжира, сорвал его с улыбкой, отводя руку, показал, что собирается его кинуть тетушке Хрисуле. Тетушка Хрисула замотала головой, задвигала руками, как бы заново залопотала, хотя и до этого не переставала лопотать, всем своим видом показывая, что вот уж от кого она теперь никогда не примет ни одного инжира.

— Дай Бог мне столько лет жизни, сколько ты от меня инжиров возьмешь, — сказал Чунка и кинул ей инжир.

Тетушка Хрисула как бы нехотя (раз уж летит) поймала инжир и как бы нехотя (раз уж в руках) отправила в рот.

— Клянусь молельным орехом! — крикнул Чунка по-абхазски. — Эту старуху на нашей земле никто не переговорит, не переест и даже не перепьет! Дядя Сандро, может, и смог бы ее перепить, да ведь она его сначала заговорит до смерти, а там уж и перепьет!

Постепенно тетушка Хрисула успокоилась, вернее, перешла на ту частоту лопотания, на которой она находилась до того, как Деспина и Чунка скрылись в инжировой кроне.

Последнее замечание (не вообще, а на дереве) тетушка Хрисула сделала Деспине и Чунке, когда они слезли. Чунка опередил было Деспину, но тетушка Хрисула его остановила и велела пропустить ее вперед. Последовавшее пояснение можно было понять так, что если «аристократико корице», влезая на дерево с чужим мужчиной, пропускает его вперед, то, слезая с дерева, чужой мужчина, наоборот, должен пропустить ее — так принято.

Мягко, хотя и достаточно увесисто, Деспина спрыгнула с дерева и, взяв в руки сандалии, нашла глазами зеленый островок травы, подошла к нему и, тщательно протерев подошвы босых ног, надела сандалии. Тетушка Хрисула, глядя на нее, слегка кивнула, одобряя, что Деспина хотя бы в этом сама разобралась и поступила так, как поступают в таких случаях девушки ее круга.

Спрыгнув с дерева, Чунка в знак полного примирения протянул тетушке Хрисуле корзину с инжирами с тем, чтобы она выбрала оттуда самые спелые. Несколько мучительных мгновений тетушка Хрисула боролась с собой, то заглядывая в корзину, то с укором на Деспину, стараясь подчеркнуть, что, в сущности, основная тяжесть вины лежит на ней, так как она первая скрылась в инжировой кроне.

Она даже на меня посмотрела проницательным взглядом, стараясь почувствовать, не выветрился ли у меня из головы

этот порочный эпизод. И я, чтобы угодить ей, кивнул головой в том смысле, что выветрился. Тогда тетушка Хрисула выразила своим взглядом недоумение, как бы спрашивая, как я мог понять значение ее взгляда, если этот порочный эпизод действительно выветрился у меня из головы?

После этого она протянула руку в корзину и, давая знать, что не слишком долго выбирает, вытащила оттуда три инжира и, показав смеющемуся Чунке, что она вытащила только три инжира, и, как бы дав ему осознать проявленную скромность, она в виде маленькой награды за эту скромность вытащила еще один инжир.

Тетушка Хрисула обожала черный инжир.

Дядя Сандро, вечно присматривавший, кто бы из окружающих мог на него поработать, в один из приездов Деспины и тетушки Хрисулы, пренебрегая их происхождением, взял обеих на прополку своей приусадебной кукурузы. Тетя Нуца пыталась отговорить его, напоминая, что они гости и неудобно использовать их на такой тяжелой работе. Но дядя Сандро и глазом не моргнул.

— Греки в отличие от наших, — сказал он жестко, как бы во имя истины жертвуя национальным чувством, — не любят сидеть сложа руки.

Впрочем, Деспина и тетушка Хрисула охотно согласились помогать ему, тем более что Сандро обещал им за это два пу-

да кукурузы, правда, из нового урожая. Как видно, аристократы тоже иногда не пренебрегают случайным заработком.

Дня три или четыре они работали на его усадьбе. Дядя Сандро тоже недалеко от них помахивал мотыгой.

Иногда чегемцы останавливались возле усадьбы дяди Сандро, удивляясь, что Деспина мотыжит кукурузу, почти полностью закрыв лицо синим платком.

— Персючка, что ли? — гадали они, пожимая плечами.

Харлампо, прогоняя стадо мимо усадьбы дяди Сандро, тоже останавливался и выслушивал удивленные замечания чегемцев относительно закрытого лица Деспины. С сумрачным удовольствием глядя на свою невесту, он давал пояснения чегемцам по поводу этой странности.

— Деспина не персючка, — говорил он, воздев палец и, усмехаясь наивности чегемцев, добавлял: — Деспина аристократиса.

Он хотел сказать чегемцам, что аристократическая девушка не станет мотыжить кукурузу с открытым лицом, как обычная крестьянка, но вот так полностью прикроет его, оставив чистым и белым.

Постояв так некоторое время, Харлампо отгонял коз в заросли лещины, чтобы они, не дожидаясь его, начинали пастись, и, перемахнув через плетень, подходил к тетушке Хрисуле и брал у нее мотыгу.

Может, Харлампо и начинал мотыжить, чтобы показать тетушке Хрисуле, какой работающий муж будет у ее племянницы, но постепенно он входил в азарт, в самозабвение труда,

а Деспина, низко склонившись к мотыге, старалась не отставать от него.

Комья земли так и выпрыгивали из-под мотыги Харлампо, так и заваливали кукурузные корни, срезанные сорняки так и никли под выволоченными глыбами, столбики пыли так и вспыхивали под его ногами, а он все взметывал мотыгой, ни на мгновение не останавливаясь для передышки, и только изредка на ходу менял руки, резким движением головы стряхнув с лица пот, и продолжал мотыжить, иногда разворачиваясь в сторону Деспины и помогая ей дотянуть свою полосу, а потом снова шаг за шагом продвигаясь вперед. А Деспина тоже старалась не отставать от него, мелко-мелко, быстро-быстро действуя своей мотыгой.

А дядя Сандро в это время, продолжая помахивать своей мотыгой, с грустной укоризной поглядывал на изумленных чегемцев, как бы напоминая им, что он их всю жизнь именно так учил работать, а они, увы, мало чему научились.

Напряжение трудового экстаза все усиливалось и усиливалось и даже отчасти, с точки зрения тетушки Хрисулы, становилось излишним, хотя и она опасливо любовалась ими.

— Деспина, — произносила она время от времени, как бы предлагая им слегка утихомириться.

Глядя на эту мозаабвенную пару, один из чегемских фрейдистов вдруг произнес:

— Размахались мотыгами! Небось им кажется — они вроде не на поле Сандро, а друг с дружкой усердствуют!

— В точку попал! — хором согласились с ним несколько чегемцев, стоявших рядом, и было видно, что у них сразу же отлегло на сердце, они поняли, что им незачем убиваться на работе, незачем завидовать этой видоизмененной любовной игре. Кстати, вспоминая высказывания чегемцев в таком роде и сравнивая их с цитатами из книг венского фокусника, которые мне попадались, я поражаюсь обилию совпадений. Так как заподозрить чегемцев в том, что они читали Зигмунда Фрейда, невозможно, я прихожу к неизбежному выводу, что он когда-то под видом знатного иностранца проник в Чегем, записал там всякие байки и издал под своим именем, нагло не упомянув первоисточник.

Я так думаю, что в течение множества лет, пользуясь безграмотностью моих земляков, мир разбазаривал чегемские идеи, подобно тому, как древние римляне беспощадно вырубали абхазский самшит. Теперь-то я подросел и кое-что добираю, но многое безвозвратно потеряно.

Возьмем, например, теорию прибавочной стоимости. В сущности говоря, это чегемская идея. Нет, я не отрицаю, что Маркс ее открыл сам. Наверяд ли он мог побывать в Чегеме, даже если бы Энгельс, как всегда, бедняга, взял на себя расходы на это путешествие.

Но ведь эту же теорию сам без всякой подсказки открыл безграмотный чегемский крестьянин по имени Камуг, которого многие чегемцы принимали за сумасшедшего, хотя и неопасного для жизни людей.

(Нам, как говорится, не то обидно, что этот безумный мир многих гениальных людей принимает за сумасшедших. Неко-

торые из гениальных людей с этим примирились, лишь бы их не трогали. Но нам-то обидно, что этот безумный мир, осуществляя свои безумные представления о справедливости и равновесии, часто сумасшедших людей объявляет гениальными, при этом он подсчитывает, сколько гениальных людей объявлено сумасшедшими, и именно столько же сумасшедших людей объявляет гениальными. И многие гениальные люди, зная, что по их количеству сумасшедшие люди будут объявляться гениальными, приходят в ужас. Им жалко человечество, и они, скрывая свою гениальность, нередко погибают от запоя. Но это очень большая тема, и не будем ее здесь касаться.)

Наш милый Чегемчик тоже не вполне избежал безумий этого мира. Да, конечно, чегемцы гениального Камуга считали сумасшедшим, но зато к чести чегемцев надо отнести то, что они за всю свою историю ни одного сумасшедшего не объявили гениальным. В этом мои чегемцы молодцы.

Камуг имел такую привычку. Каждый раз перед тем, как идти на мельницу и приступить к лушению кукурузных початков, он ломал надвое каждый початок и половину сломанных початков, принеся на кукурузное поле, зарывал в землю. Когда у него спрашивали, почему он так делает, он не ленился в течение всей своей жизни объяснять людям смысл своего великого открытия.

— Из одного зерна, — говорил Камуг, — в среднем можно получить один хороший кукурузный початок. В одном початке в среднем двести кукурузных зерен. Достаточно взять с початка сто зерен, чтобы покрыть расходы на еду землелепашца

и его семьи, на семенной запас, на содержание плуга, мотыг, серпов. Значит, кому принадлежат остальные сто зерен? Земле. Она работала на твой урожай, она заработала половину его, и надо ей вернуть то, что принадлежит ей.

И он неизменно возвращал земле половину сорванных початков. Жена его от этого очень страдала и даже вопреки его воле одно время стала откапывать эти сломанные початки, кое-как очищать их и потихоньку скармливать курам. Камуг, узнав об этом, пришел в неслыханную ярость, тем более что жена не сознавалась, как долго она этим занимается, и он не знал, сколько он задолжал земле.

Одним словом, он избил жену, что по абхазским обычаям считается очень позорным, и выгнал ее из дому, что тоже не украшает абхазца, но считается более терпимым. Можно сказать, что в поведении Камуга с женой стихийно, в зачаточной форме проявилась идея диктатуры пролетариата, стоящего на страже интересов трудящейся земли.

В следующий раз бедняге Камугу жениться было очень трудно. Как честный человек, сватаясь, он объяснял родственникам своей будущей жены, почему и как он будет распределять урожай кукурузы со своего поля, одновременно, правда без всякой пользы, пытаясь заразить их своим примером.

— Из одного зерна, — начинал Камуг объяснять им свою теорию, и родственники женщины, к которой он сватался, иногда начинали мрачнеть, иногда трусливо поддакивать, а иногда немедленно прекращали переговоры в зависимости от собственного темперамента и понимания степени опасности его безумия.

Иногда Камуг сватался к вдовушкам или девицам, которых родственники уж очень хотели сбыть с рук, и они, пытаясь как-нибудь смягчить, облагородить его версию распределения урожая кукурузы, намекали ему, что понимают его теорию как неизвестный, но, в сущности, добрый чегемский обычай приносить жертву богу плодородия.

Но Камуг со всей прямотой (кстати, на определенном этапе свойственной носителям этой идеи) отвергал такую версию и говорил, что он преследует только одну цель — справедливо возратить земле то, что она заработала. Наконец, ему удалось посвататься к многолетней вдовушке, отец которой, видимо, в знак брезгливого неодобрения его теории, велел передать своему будущему зятю:

— Половину урожая с нее уже собрали, пусть попробует собрать вторую половину.

Новая жена Камуга, освоившись в его доме, решила внести поправку в теорию Камуга. Соображения ее, видимо не лишённые какой-то хитрости, остались чегемцам непонятны.

— Раз уж ты решил изводить половину урожая, — сказала она мужу, — зачем его закапывать в землю?.. Разбрасывай его просто так по полю...

Камуг, говорят, посмотрел на нее и выразительно постучал себя по лбу.

— Да ты, я вижу, еще глупее, чем та жена, — сказал он, — та хоть курам скармливала кукурузу, заработанную землей, а ты хочешь этим сойкам-пустомелям ее скормить. Не выйдет!

Больше новая жена не вмешивалась в его теорию, но в нее стали вмешиваться дикие кабаны, случайно дорывшись до заработанной землей кукурузы. Жил он немного на отшибе, поблизости от леса. Кстати, там-то, на отшибе, всегда и возникают великие идеи.

По ночам дикие кабаны все чаще и чаще стали посещать его усадьбу. Камуг теперь каждый раз все глубже и глубже закапывал в землю заработанную землей кукурузу. Но дикие кабаны своими погаными, длинными рылами все равно докапывались до нее.

Камуг стал зарывать кукурузу в самых разных местах своей усадьбы, но они все равно ее находили. Тогда Камуг стал по всему приусадебному участку малыми порциями закапывать кукурузу, чтобы не все доставалось кабанам, чтобы и земле кое-что перепало. Но дикие кабаны, эти сухопутные акулы чегемских лесов, в поисках кукурузы к весне перерыли своими рылами весь приусадебный участок Камуга. (Кстати, слово «рыть» не от слова ли «рыло»? То есть то, что роет. Как плодороден Чегем! Стоит прикоснуться к его делам, как попутно делаешь небольшие открытия даже в русской филологии.)

Глядя на перерытый дикими кабанам приусадебный участок Камуга, чегемцы по-своему оценили случившееся.

— Да теперь ему и пахать не надо, — говорили они, — не такой уж он сумасшедший, этот Камуг.

Камугу слышать такое было очень обидно, и он, решив доказать свое полное бескорыстие, взялся за ружье. Он стал по

ночам дежурить на своем приусадебном участке и до следующей весны убил пятнадцать кабанов.

Как истинный абхазец, хоть и открыватель всемирной идеи, Камуг свинины не ел. Оттащив за хвост убитого кабана к изгороди, он давал знать местным абхазским эндурцам, и те приходили к нему и по смехотворно низкой цене покупали его добычу.

— Я беру деньги только за порох, пули и бденье, — говорил Камуг.

— Вот это чуднее всего, — рассуждали чегемцы по этому поводу, — какая бы чума на нашу голову ни свалилась, а эндурцам, глядишь, все на пользу.

Измученный ночными бдениями, Камуг приспособил для передышки иногда дежурить свою жену. Но тут восстали чегемские старейшины. Смириться с таким нарушением абхазских обычаев они не могли.

— Женщина по нашим законам оскверняет оружие, — говорили они, — а оружие бесчестит женщину. Неужто он этого не знает?

Тем более год тому назад остроглазый охотник Тендел, побывавший в городе, принес оттуда неслыханную весть.

— Светопреставление! — закричал он, вступая в Чегем, и рассказал об увиденном.

Оказывается, он шел вечером по городу и заметил возле одного магазина старуху с ружьем в руках да еще с глазными стеклами на носу, сторожившую магазин. Старуха с ружьем в руках, охраняющая магазин, да еще в очках — это потрясло воображение чегемцев.

Многие чегемцы нарочно ездили в город посмотреть на эту удивительную старуху. Они подолгу стояли поблизости от нее, жалея ее и удивляясь такому варварскому обращению со старой женщиной.

— Чтoб я оплакал тех мужчин, что выставили тебя на позорище, — говорили одни по этому поводу.

— Бедная, — говорили другие, — вместо того, чтобы возиться с внучатами, она с ружьем в руках и с глазными стеклами на носу сторожит казенный магазин.

— Чтo случилось с русскими, — разводил руками кто-нибудь из чегемцев, — какая порча на них нашла, что они своих матерей выставляют сторожить магазины?

— Да они всегда такими были, — находился какой-нибудь скептик.

— Нет, — качал головой кто-нибудь постарше, — мы их помним совсем другими. Кто-то под них подкапывается...

— Уж не эндурцы ли?

— Нет, эндурцы, пока нас не изведут, за других не возьмутся...

Бедная старуха, бдительно следившая за этими непонятными ночными делегациями чегемцев, однажды не выдержала и засвистела в свисток, призывая милиционера.

— Да у нее еще свистулька на шее! — поразились чегемцы, нисколько не обеспокоенные ее призывным свистом, а еще более потрясенные количеством предметов, находящихся при старухе, несовместимых с обликом почтенной старой женщины: ружье, глазные стекла, свистулька.

— Теперь свисти не свисти, — сказал один из чегемцев, — просвистели твою старость твои родственники с мужской стороны, чтоб я их оплакал.

Милиционер, явившийся на призывный свист, к своему несчастью, оказался абхазцем, и ему, вместо того чтобы водворять порядок, пришлось обороняться и от чегемцев и от сторожихи.

— За что ее так?! — подступились к нему чегемцы. — Она что — сирота?!

Пытаясь объяснить причину, по которой старуху выставили сторожить магазин, милиционер сказал, что дело не в ее сиротстве, а в том, что новый закон теперь признал в городах равенство мужчин и женщин. Такое смехотворное равенство чегемцы никак не могли признать и удивлялись милиционеру, почему он, будучи облеченным властью и при оружии, признает такое глупое равенство.

С другой стороны, сторожиха пыталась узнать о причине любопытства чегемцев и требовала от милиционера решительных мер.

— Они грабить не будут, — успокаивал ее он, — они просто никогда не видели сторожих, немножко дикие горцы.

Когда один из чегемцев, чуть-чуть понимавший по-русски, перевел остальным слова милиционера, чегемцы не только не обиделись, но увидели всю эту картину в новом истинном свете ее безумного комизма.

Неудержимо хохоча и вспоминая отдельные детали этой встречи — особенно им казалось смешным, как она

свистела в свисток, раздувая щеки и не сводя с чегемцев глазных стекол, — они отправились ночевать к своему родственнику.

— Мы, жалея бедную старуху, удивлялись ее дикости, — смеялись чегемцы, — а они, оказывается, в это время нас считают дикарями! Ха! Ха! Ха!

— Выставить на ночь старуху с ружьем в руках, с глазами стеклами на носу и со свистулькой на шее — уж дичее этого и эндурец не придумает! Ха! Ха! Ха! Ха!

— И наш милиционер туда же! — вспоминали они попытки милиционера объяснить это позорище каким-то там равенством мужчины и женщины, признанным властью в городах.

И вот не прошло и года после такого светопреставления, как в самом Чегеме появился человек, заставляющий свою жену с ружьем в руках подстергать диких кабанов. Этого терпеть было нельзя.

— Ты бы еще купил глазные стекла и выставил бы ее с ружьем, как ту русскую сторожиху, — язвительно заметил один из старцев, когда Камуг вошел в комнату, где сидели старейшины.

— Да повесил бы ей свистульку на грудь, как дитяти, — сказал другой.

— Неужто ты не знаешь, — добавил третий, — что, по нашим обычаям, женщина оскверняет оружие, а оружие бесчестит женщину. Отправить жену в ночь с ружьем — все равно что отправить ее в ночь с чужим мужчиной. Какой ты после

этого муж, если отправляешь в ночь собственную жену с чужим мужчиной?!

Но тут самый старый из старейшин властным, но не оскорбительным движением руки остановил старцев и сказал Камугу, склонившему повинную голову, спокойные, мудрые слова.

— По нашим обычаям, сынок, — сказал он, — женщина может взять в руки ружье только в одном случае — если в ее роду не осталось мужчин, которые могли бы отомстить за пролитую кровь. Тогда женщина — герой, и наш народ ее славит в песнях и сказаниях. Но чтобы абхазская женщина взяла в руки ружье и стреляла, да еще в такое гяурское животное, как дикая свинья, такого позора мы, сынок, не потерпим. Или покинь село, или оставь жену в покое.

И Камугу пришлось смириться. Истощенный ночными бдениями, бедняга Камуг умер до своего срока. В сущности, его можно назвать истинным мучеником идеи и причислить его к лику революционных святых.

Никак не оспаривая первенство Маркса, я предлагаю переименовать закон о прибавочной стоимости в закон Маркса—Камуга, подобно тому, как закон сохранения веса веществ называют законом Ломоносова—Лавуазье.

Я думаю, было бы справедливо, если бы имя нашего гениального самоучки хотя бы и с опозданием вошло в историю. В конце концов, он это заслужил своим открытием, своими страданиями и самозабвенной защитой трудящейся земли от паразитов-кабанов.

— Что случилось с русскими? — с каким-то недоумением и горечью время от времени вопрошали чегемцы, сколько я их помню.

Я думаю, вопрос этот впервые прозвучал, когда чегемцы узнали, что Ленин не похоронен, а выставлен в гробу в особом помещении под названием «Амавзолей».

Предание покойника земле для чегемцев настолько важный и неукоснительный акт, что нравственное чувство чегемцев никогда не могло примириться с тем, что мертвый Ленин годами лежит в помещении над землей, вместо того чтобы лежать в земле и слиться с землей.

Вообще чегемцы к Ленину относились с загадочной нежностью. Отчасти, может быть, это чувство вызвано тем, что они о жизни великого человека узнали впервые тогда, когда слышали о его смерти и о несправедливом непредании его праха земле. До этого о существовании Ленина, кроме дяди Сандро и еще, может быть, двух-трех чегемцев, никто не знал.

Я думаю, так возник чегемский миф о Ленине. Чегемцы про него говорили, что он хотел хорошего, но не успел. Чего именно хорошего, они не уточняли. Иногда, стыдясь суесловного употребления его имени и отчасти кодируя его от злого любопытства темных сил природы, они не называли его, а говорили: Тот, кто Хотел Хорошего, но не Успел.

По представлению чегемцев, над которыми в мое время молодежь втихомолку посмеивалась, Ленин был величай-

шим абреком всех времен и народов. Он стал абреком после того, как его старшего брата, тоже великого абрека, поймали и повесили по приказу царя.

Его старший брат не собирался становиться абреком. Он собирался стать учителем, как и его отец. Но судьбе было угодно другое. Оказывается, в Петербурге в те времена, как и в Абхазии, тоже бывали всенародные скачки. И вот старший брат Ленина, увлеченный скачками, не заметил, что слишком высовывается из толпы и мешает царю Николаю проехать к своему почетному месту, чтобы любоваться скачками.

Брат Ленина не хотел оскорбить царя, но так получилось. Люди царя не подоспели вовремя, чтобы очистить дорогу перед царской лошастью, а царь на то и царь, чтобы, не останавливаясь, ехать к своему почетному месту. И когда царь Николай, одетый в белую черкеску и сидя на белой лошади, доехал до брата Ленина, а тот, увлеченный скачущими всадниками, его не заметил, царь при всем народе стегнул его камчой, сплетенной из львиной шкуры, и поехал дальше.

С этого все началось. Оказывается, род Ленина был очень гордым родом, хотя люди этого рода всегда бывали учителями или метили в учителя. Брат Ленина не мог вынести оскорбления, нанесенного ему при народе даже царем Николаем.

Кстати, по абхазским обычаям самое страшное оскорбление, которое можно нанести человеку, — это ударить его палкой или камчой. Такое оскорбление смывается кровью и только кровью оскорбителя. Ударил камчой или палкой —

значит, приравнял тебя к скоту, а зачем жить, если тебя приравняли к скоту?!

Кстати, удар камчой или палкой считается нешуточным оскорблением, иногда приводящим даже к пролитию крови, и в том случае, если кто-то без разрешения хозяина ударил его лошадь. Особенно возмутительно, если кто-то по невежеству или из присущей ему наглости ударил лошадь, на которой сидит женщина. Конечно, если женщина промолчит, а никто из родственников этого не заметил, все может обойтись мирно. Но если ударивший лошадь вовремя не принес извинений, дело может кончиться очень плохо.

Бывает так. Кавалькада односельчан едет в другое село на свадьбу или поминки. Вдруг лошадь, на которой, скажем, сидит женщина, заупрямилась переходить брод, то ли чувствуя, что всадница не очень-то уверена в себе, то ли еще что.

И тут может случиться, что едущий сзади сгоряча, не спросив, стеганул эту лошадь, чтоб она шла в воду. И как раз в это мгновение обернулся кто-то из родственников женщины и видел всю эту картину во всей ее варварской непристойности. Нет, тут он, конечно, промолчит, чтобы не разрушать общественное мероприятие, в котором они принимают участие.

Но кристаллизация гнева в душе этого родственника уже началась почти с химической неизбежностью. Однако всадник, легкомысленно ударивший лошадь, на которой сидела женщина, еще может все исправить.

Стоит ему подъехать к омраченному родственнику и сказать: — Не взыщи, друг, я тут стеганул вашу лошадь невзначай...

— О чем говорить! — отвечает ему тот с вполне искренним великодушием. — Скотина, она на то и скотина, чтобы стегать ее. Выбрось из головы! Не мучься по пустякам!

Но мы отвлеклись. А между тем парь Николай стеганул брата Ленина, совершенно не подозревая, какие грандиозные исторические события повлечет за собой эта мгновенная вспышка царского гнева.

Брат Ленина ушел в абреки, взяв с собой двух-трех надежных товарищей, с тем чтобы кровью царя смыть нанесенное ему на людях оскорбление. Но жандармы его поймали и повесили вместе с его товарищами.

И тогда Ленин еще мальчиком дал клятву отомстить за кровь брата. Конечно, если бы царь Николай был таким же, как Большеусый, он тут же уничтожил бы весь род Ленина, чтобы некому было мстить. Но царь Николай был довольно добрый и слишком доверчивый царь. Он не думал, что род учителей может оказаться таким гордым. И тут он дал промашку.

Ленин ушел в абреки, двадцать лет скрывался в сибирских лесах, и жандармы всей России ничего с ним не могли поделаться. Наконец он подстерег царя, убил его и перевернул его власть. По другой версии он его только ранил, а Большеусый позже его прикончил. Но так или иначе, царь уже не в силах был удержать власть, и Ленин ее перевернул.

Однако многолетнее пребывание в холодных сибирских лесах подорвало его здоровье, чем и воспользовался Большеусый. Правда, перед смертью Ленин успел написать бумагу, где указывал своим товарищам, что и как делать без него.

Первое, что он там написал, — Большеусого отогнать от власти, потому что он — вурдалак.

Второе, что он там написал, — не собирать крестьян в колхозы.

Третье, что он там написал, — если уж совсем не смогут обойтись без колхозов, не трогать абхазцев, потому что абхазцу, глядя на колхоз, хочется лечь и потихоньку умереть. Но так как абхазцы хотя и малочисленная, но исключительно ценная порода людей, их надо сохранить. Их надо сохранить, чтобы в дальнейшем при помощи абхазцев постепенно улучшать породу других народов, гораздо более многочисленных, но чересчур простоватых, не понимающих красоту обычаев и родственных связей.

Четвертое, что он там написал, — за всеми государственными делами не забывать про эндурцев и постоянно приглядывать за ними.

Пересказывая завещание Ленина, чегемцы неизменно обращали внимание слушателей на тот неоспоримый факт, что Ленин перед смертью больше всего был озабочен судьбой абхазцев. Как же чегемцам после этого было не любить и не чтить Ленина?

Кстати, весть о завещании Ленина, я думаю, принес в Чегем некогда известный командир гражданской войны, дядя Федя, живший в Чегеме то у одних, то у других хозяев. Он иногда запивал с таинственной для Чегема длительностью. А так как в Чегеме все пили, но алкоголиков никогда не бывало, его запои чегемцами воспринимались как болезнь, присущая русским дервишам.

— Ему голос был, — говорили чегемцы, — поэтому он бросил все и пришел к нам.

Чегемцам это льстило. Подробнее о дяде Феде мы расскажем в другом месте. Это был тихий, мирный человек, в сезон варения водки сутками дежуривший у самогонного аппарата и никогда в это ответственное время не запивавший.

Он в самом деле был легендарным командиром гражданской войны, а потом, после победы революции, стал крупным хозяйственным работником. В отличие от многих подобного рода выдвиженцев он откровенно признавался своему начальству, что не разбирается в своей работе. Его несколько раз снижали в должности, и вдруг в один прекрасный день он прозрел. Он понял, что в мирной жизни он ничего, кроме крестьянского дела, которым занимался в Курской губернии до германской войны, делать не может.

Сопоставив эту истину с реками крови, пролитыми в гражданскую войну, с родителями и женой, зарубленными белоказаками в родном селе, он не выдержал.

Грандиозный алкогольный цунами подхватил его, протащил по всей России, переволок через Кавказский хребет, и однажды цунами схлынул, а герой гражданской войны очнулся в Чегеме, с чудом уцелевшим орденом Красного Знамени на груди.

Но о нем — в другом месте, а здесь мы продолжим чегемскую легенду о Ленине. Значит, Ленин написал завещание, или бумагу, как говорили чегемцы, но Большеусый выкрал ее и сжег. Однако Ленин как мудрый человек, хотя и сломлен-

ный смертельной болезнью, успел прочесть ее своим родственникам.

После смерти Ленина Большеусый стал уничтожать его родственников, но те успели пересказать содержание ленинской бумаги другим людям. Большеусый стал уничтожать множество людей, чтобы прихватить среди них тех, кто успел узнать о бумаге. И он уничтожил тьму-тьмушую людей, но все-таки весть о том, что такая бумага была, не мог уничтожить.

И вот тело Ленина выставили в домике под названием «Амавролей», проходят годы и годы, кости его просятся в землю, но их не предают земле. Такое жестокое упорство властей не могло не найти в головах чегемцев понятного объяснения. И они его нашли. Они решили, что Большеусый, гордясь, что он победил величайшего абрека, каждую ночь приходит туда, где он лежит, чтобы насладиться его мертвым видом.

И все-таки чегемцы не уставали надеяться, что даже Большеусый наконец смилостивится и разрешит предать земле несчастные кости Ленина. С великим упорством, иногда переходящим в отчаяние, чегемцы годами и десятилетиями ожидали, когда это случится.

И если в Чегем кто-нибудь приезжал из города, куда они давно не ездили, или тем более из России (откуда приезжали те, что служили в армии), чегемцы неизменно спрашивали:

— Что слышно? Того, кто Хотел Хорошего, но не Успел, собираются предавать земле или нет?

— Да вроде не слышать, — отвечал пришелец.

И чегемцы, горестно присвистнув, недоуменно пожимали плечами. И многие беды, накатывавшие на нашу страну, они часто склонны были объяснять этим великим грехом, непременным делом земли покойника, тоскующих по земле.

И не то чтобы чегемцы день и ночь только об этом и думали, но души многих из них свербил позор неисполненного долга.

Бывало, с мотыгами через плечо идут на работу несколько чегемцев. Идут, мирно переговариваясь о том о сем. И вдруг один из них взрывается:

— Мерзавцы!!!

— Кто — эндурцы? — спрашивают у него опешившие спутники.

— Эндурцы само собой, — отвечает, успокаиваясь, тот, кто взорвался, — я о тех, что Ленина не хоронят...

— Так у нас же не спрашивают...

Или, бывало, уютный вечер в какой-нибудь чегемской кухне. Вся семья в сборе в приятном ожидании ужина. Весело гудит огонь в очаге, и хозяйка, чуть отклонив от огня котел, висящий на очажной цепи, помешивает в нем мамалыжной лопаточкой. И вдруг она оставляет мамалыжную лопаточку, выпрямляется и, обращаясь к членам семьи, жалостливо спрашивает:

— Так неужто Того, кто Хотел Хорошего, но не Успел, так и не предадут земле?

— Эх, — вздыхает самый старший в доме, — не трогай наш больной зуб, лучше готовь себе мамалыгу.

— Ну, так пусть сидят, где сидят, — с горечью восклицает женщина, берясь за мамалыжную лопаточку. И неясно, что она имеет в виду: то ли толстокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа.

Однажды, стоя в кустах лещины, я увидел одинокого чегемца, в глубокой задумчивости проходившего по тропе. Поравнявшись со мной и, разумеется, не видя меня, он вдруг пожал плечами и вслух произнес:

— ...Придумали какой-то Амавзолей...

И скрылся за поворотом тропы, как видение.

Или, случалось, стоит чегемец на огромном каштане и рубит толстенную ветку. И далеко вокруг в знойном воздухе раздается долгое, сиротское: тюк! тюк! тюк!

Врубив топор в древесину, распрямится на минуту, чтобы, откинувшись на ствол, перевести дух, и вдруг замечает, что далеко внизу по верхнечегемской дороге проходит земляк. По его одежде он догадывается, что тот идет из города.

— Эй, — кричит он ему изо всех сил, — идущий из города! Того, кто Хотел Хорошего, но не Успел, предали земле или нет?!

И прохожий озирается, стараясь уловить, откуда идет голос, чувствуя, что откуда-то сверху (не с небес ли?), и, может быть, так и не поймав взглядом стоящего на дереве земляка, он машет отрицательно рукой и кричит, вскинув голову:

— Не-ет! Не-ет!

— Ну так пусть сидят, где сидят! — сплюнув в сердцах, говорит чегемец, и неизвестно, что он имеет в виду: то ли тол-

стокожесть правителей, то ли многотерпеливую неподвижность народа. И снова, выдернув топор, — неизбывное, долгое, сиротское: тюк! тюк! тюк!

Или, скажем, заболел какой-нибудь чегемец, залежался в постели на полгода или больше. Приходят навешать его односельчане, родственники из других деревень, приносят гостинцы, рассаживаются, спрашивают о здоровье.

— Ох! Ох! Ох! — стонет больной в ответ на вопросы о здоровье. — Что обо мне спрашивать... Я давно мертвый, да вроде бедняги Ленина: похоронить меня некому..

Смерть Сталина и водворение его в Мавзолей были восприняты чегемцами как начало возмездия. И они сразу же стали говорить, что теперь имя его и слава его долго не продержатся.

Поэтому, узнав о знаменитом докладе Хрущева на Двадцатом съезде, они нисколько не удивились. В целом одоблив содержание доклада, они говорили:

— Хрущит молодец! Но надо было покрепче сказать о вурдалачестве Большеусого.

И опять чегемцы удивлялись русским.

— Что с русскими, — говорили они, — мы здесь, в Чегеме, и про бумагу, написанную Лениным, знали, и про все вурдалачества Большеусого. Как же они об этом не знали?

Вопреки либеральному ликованию в стране, когда гроб с телом Сталина убрали из Мавзолея, чегемцы приуныли.

— Надо же было все наоборот сделать, — говорили они в отчаянии, — надо было Ленина похоронить, а этого оста-

вить, написав на Амавзоле: «здесь лежит вурдалак, выпивший нашу кровь». Неужели им некому было подсказать?

И, несмотря на все превратности жизни, чегемцы упорно продолжали ждать, когда же наконец предадут земле Того, кто Хотел Хорошего, но не Успел.

* * *

Но хватит отвлекаться. Будем рассказывать о Харлампо и Деспине, раз уж мы взялись о них говорить. А то эти отвлечения, чувствую, рано или поздно, изведут меня до смерти, как извели беднягу Камуга его ночные бдения.

Когда Деспина и тетушка Хрисула уезжали в Анастасовку, мы, дети, и тетя Нуца во главе с Харлампо провожали их до спуска к реке Кодор.

Перед прощанием тетушка Хрисула ставила на землю корзину, наполненную орехами, чурчхелами и кругами сыра. Деспина держала в руках живых кур со связанными ногами. Меня почему-то слегка беспокоило, что вот она берет с собой наших кур, а ведь они никогда не несутся двужелтошными яйцами.

Несколько минут длилось горькое прощание влюбленных.

— Харлампо, — говорила Деспина, и ее синие глазки наполнялись слезами.

— Деспина! — глухо, сдержанно, с такой внутренней силой говорил Харлампо, что куры, чувствуя эту силу, начинали тревожно кудахтать и взмахивать крыльями на руках у Деспины.

— Деспина, — вмешивалась в этот дуэт тетушка Хрисула, сама расстроенная и стараясь успокоить племянницу, которая, приподняв сильную руку, сжимавшую кур, утирала слезы.

— Харлампо, — успокаивала тетя Нуца своего пастуха и поглаживала его по широкой спине.

Тетушка Хрисула наконец бралась за свою корзину, и они уходили вниз. А мы глядели им вслед, и длинные косы Деспины, позолоченные солнцем, вздрагивали на ее спине, и платок долго синел.

— Эй, гиди, дунья! (Эх, мир!) — говорил Харлампо по-турецки и, поворачиваясь, уходил к своим козам.

— Уж лучше бы они совсем не приезжали, — вздыхала тетя Нуца, Бог знает о чем задумавшись.

И все мы, опечаленные этим прощанием, омытые им, я думаю, неосознанно гордясь, что на земле существует такая любовь, и неосознанно надеясь, что мы когда-нибудь будем достойны ее, жалея Харлампо и Деспину.

* * *

Теперь нам придется изобразить фантастическое любовное безумство, приписанное чегемцами Харлампо и, в сущности, являющееся отражением их собственного безумства.

Читатель помнит, что Харлампо на следующий день после умыкания Тали объелся орехов и в состоянии орехового одурения погнался за ее любимой козой, добежал до мельницы, где был перехвачен еще более, чем он, могучим Гераго, связан

и погружен в ручей, в котором сутки пролежал с пятипудовым жерновом на животе для противоборства течению и окончательного заземления вонзившейся в него молнии безумия.

Через сутки ореховая одурь испарилась, горячечный мозг остыл в ледяной воде, а молния безумия, покинув его тело, заземлилась. Отогревшись у мельничного костра, Харлампо пришел в себя и вместе с козой был отправлен в Большой Дом. Один из чегемцев, который тогда был на мельнице и на некотором расстоянии последовавший за ним, ничего особенного в его поведении не обнаружил. Только коза иногда робко оглядывалась.

Вскоре Харлампо полностью оправился, и чегемцы как будто забыли про этот случай. Но, оказывается, не забыли. На следующий год одна из коз в стаде старого Хабуга оказалась яловой. Явление это достаточно обычное. К несчастью, яловой оказалась именно та коза, за которой гнался Харлампо.

— У-у-у! — говорят, сказал один из чегемцев (впоследствии чегемцы никак не могли припомнить, кто именно сказал это первым.) — Ясно, как день, отчего она ояловела. Да он с ней балует! Да он ни одного козла к ней не подпускает!

Вскоре это открытие стало достоянием всего Чегема. В Большом Доме ни на мгновение не поверили этому слуху, и тетя Нуца, принявшая эту весть как личное оскорбление, насмерть переругалась с несколькими женщинами, пытавшимися на табачной плантации подыгать эту тему.

Надо сказать, что многие чегемцы эту весть восприняли с юмором, но были и такие, что не на шутку обиделись

за честь чегемского скота, а через свой скот и за собственную честь.

Они обратились к старейшинам Чегема с тем, чтобы они велели Хабугу изгнать Харлампо из села, но старцы заупрямились. Старцы потребовали показания очевидца, но такого не оказалось в доступной близости. Многие чегемцы оглядывали друг друга, как бы удивляясь, что оглядываемый до сих пор принимался за очевидца, а теперь почему-то не сознается.

Впрочем, это их ненадолго смутило. Чегемцы уверились, что раз весь Чегем говорит об этом, такого и быть не может, чтобы хоть один не видел своими глазами баловство Харлампо. Было решено, что теперь, когда дело дошло до старейшин, этот неуловимый очевидец застеснялся, чтобы не омрачать отношений со старым Хабугом.

При всем безумии, охватившем Чегем, ради справедливости надо сказать, что чегемцы даже в этом состоянии оказались настолько деликатными, чтобы самому Харлампо напрямую не предъявлять своих обвинений.

И только вздорный лесник Омар вконец осатанел, узнав о подозрениях чегемцев. Ни честь козы старого Хабуга, ни честь чегемского скота сами по себе его не интересовали. Но в его дурную башку засела уверенность, что Харлампо на козе и даже вообще на козах не остановится, а непременно доберется до его кобылы, которая обычно паслась в котловине Сабида и о привлекательности которой он был самого высокого мнения.

— Увижу — надвое разрублю! — кричал он. — Как разрубал чужеродцев в германскую войну!

Некоторые родственники Омара, стыдясь его вздорности, говорили, что он стал таким в Дикой дивизии, где якобы возле него на фронте разорвался снаряд. Но старые чегемцы, хорошо помнившие его, говорили, что до германской войны он был еще хуже, что, наоборот, в Дикой дивизии он даже слегка пообтесался.

Лесник Омар множество раз незаметно спускался в котловину Сабиды, зарывался там в папоротниках и часами следил оттуда за поведением Харлампо.

Однажды мы с Чункой ели чернику в котловине Сабиды, как вдруг пониже нас на тропе появился Омар и стал быстро подыматься, цепляясь шашкой, висевшей у него на боку, за плети сассапарилия, нависавшие над тропой. Он явно возвращался после многочасовой слежки за Харлампо.

— Ну что, застукал? — спросил Чунка, издеваясь над Омаром, но тот, конечно, этого не понимал.

Омар обернулся на нас с лицом, перекошенным гримасой сомнения, и несколько раз, раскидывая руки и медленно приближая их друг к другу, показал, что вопрос этот остается на стадии головоломной запутанности.

— Два раза прошел возле моей кобылы, — сказал он мрачно, как бы уверенный в преступности его намерений, но в то же время, как человек, облеченный властью закона, понимая, что все-таки этого недостаточно, чтобы разрубить его надвое.

— Близко прошел? — спросил Чунка.

— Первый раз метров десять было, — сказал Омар, стараясь быть поточней, — второй раз метров семь.

— Видать, примеривается, — сказал Чунка.

— Разрублю! — крикнул Омар, проходя мимо и гремя шашкой по неровностям кремнистой тропы. — Слыхано ль дело, меня две власти приставили следить за лесом, а этот безродный грек заставляет меня следить за скотом! Поймаю — разрублю!

Но поймать Харлампо он никак не мог, и от этого его самого все чаще и чаще сотрясала падучая неистовства. Он его не только не мог застать со своей кобылой, но и с козой не мог застать. Однако сама невозможность поймать его с четвероногой подругой не только не рассеивала его подозрений, а, наоборот, углубляла их, превращала Харлампо в его глазах в коварно замаскированного извращенца-вредителя.

К вечеру, когда Харлампо со стадом возвращался из котловины Сабида, некоторые чегемцы, тоже возвращавшиеся домой после работы, иногда останавливались, чтобы пропустить мимо себя стадо Харлампо, поглазеть на него самого, на заподозренную козу и посудачить.

Некоторые женщины после работы на табачной плантации или в табачном сарае, несколько отделившись от мужчин, тоже останавливались и с любопытством следили за Харлампо и его козой. Те, что не знали, какая именно коза приглянулась Харлампо, подталкивая других, вполголоса просили показать ее.

— Ты смотри, какую выбрал!

— Вроде бы грустенькая!

— Притворяется!

- Впереди всех бежит — гордится!
- Не, прячется от него!
- Как же! Спрячешься от этого вепря!

Мужчины молча, с угрюмым недоброжелательством оглядывали стадо и самого Харлампю и, пропустив его мимо себя, начинали обсуждать случившееся. Но в отличие от женщин, они не останавливались на интимных психологических подробностях, а напирали на общественное значение постигшей Чегем беды.

- Если мы это так оставим, эндурцы совсем на голову сядут!
- А то не сидят!
- Вовсе рассядутся!
- Да они ж его и подучили!
- А какая им выгода?
- Им все выгода — лишь бы нас принизить!
- Хоть бы этот проклятуший отец Деспины выдал бы наконец за него свою дочь!
- А зачем она ему? Если теперь весь чегемский скот — Деспина!
- Да он теперь весь наш скот перехарлампит!
- То-то я примечаю, что у нас с каждым годом скотина все больше яловеет!
- По миру нас пустит этот грек!
- Неужто наши старцы так и не велят Хабугу изгнать его?!
- Наши старцы перед Хабугом на цыпочках ходят!
- Они велят доказать!

— Что ж нам, рыжебородого приманить из Мухуса, чтоб он на карточку поймал его с козой?

— Как же, поймаешь! Он свое дело знает!

— А через сельсовет нельзя его изгнать?

— А сельсоветчикам что? Они скажут: «Это политике не мешает...»

— Выходит, мы совсем осиротели?

— Выходит...

Харлампо молча проходил мимо этих недоброжелательно молчащих чегемцев, с сумрачной независимостью бросая на них взгляды и показывая своими взглядами, что он и такие унижения предвидел, что все это давно было написано в книге его судьбы, но ради своей великой любви он и это перетерпит.

Иногда среди этих чегемцев оказывались те парни, которые раньше предлагали ему овладеть Деспиной и тем самым вынудить ее отца выдать дочь за Харлампо. И сейчас они напоминали ему своими взглядами, что напрасно он тогда не воспользовался их советом, что, воспользуясь он в свое время их советом, не было бы этих глупых разговоров. Но Харлампо и эти взгляды угадывал и на эти взгляды с прежней твердостью отрицательным движением головы успевал отвечать, что даже и сейчас, окруженный клеветой, он не жалеет о своем непреклонном решении дожидаться свадьбы с Деспиной.

Однажды, когда мы с Харлампо перегоняли стадо домой, из зарослей папоротников выскочил Омар и, весь искореженный яростью бесплодной слежки, со струйкой высохшей пены в углах губ (видно, ярость давно копилась), дергаясь сам

и дергая за рукоятку шашки, побежал за нами, то отставая (никак не мог выдернуть шашку), то догоняя, и, наконец, догнав, с выдернутой шашкой бежал рядом с нами, тесня Харлампю и осыпая его проклятиями.

— Греческий шпионка! — кричал он по-русски. — Моя лошадь! Секим-башка!

Сейчас это выглядит смешно, но я тогда испытал внезапно отяжеливший мое тело физиологический ужас близости отвратительного, нечеловеческого зрелища убийства человека. Единственный раз вблизи я видел лицо погромщика, хотя, разумеется, тогда не знал, что это так называется. И самое страшное в этом лице были не глаза, налитые кровью, не струйки засохшей пены в углах губ, а выражение своей абсолютной, естественной правоты. Как будто бы человек на наших глазах перестал быть человеком и выполняет предназначение переставшего быть человеком.

К этому ужасу перед возможным убийством Харлампю еще добавлялся страх за себя, боязнь, что он на Харлампю не остановится, ощущение того, что он и меня может рубануть после Харлампю. Как-то трудно было верить, что он после убийства Харлампю снова сразу станет человеком и перестанет выполнять предназначение переставшего быть человеком, и было подлое желание отделиться, отделиться, отделиться от Харлампю.

И все-таки я не отделился от него, может быть, потому, что вместе со всеми этими подлыми страхами я чувствовал с каждым мгновением вдохновляющую, вырывающую из этих страхов красоту доблести Харлампю!

Да, единственный раз в жизни я видел эллинскую доблесть, я видел поистине сократовское презрение к смерти, и ничего более красивого я в своей жизни не видел!

Наверное, метров пятьдесят, пока мы не поднялись до молельного ореха, Омар, изрыгая проклятия, теснил Харлампо, взмахивая шашкой перед его лицом, иногда стараясь забежать вперед, то ли для того, чтобы было удобней рубить, то ли для того, чтобы остановить Харлампо перед казнью.

Но Харлампо, не останавливаясь, продолжал свой путь, иногда окриком подгоняя отставшую козу, иногда рукой отстраняя трясущуюся перед его лицом шашку, отстраняя не с большим выражением заинтересованности, чем если бы это была ольховая ветка, нависшая над тропой. И он ни разу не взглянул в его сторону, ни разу! И только желвак на его скуле, обращенной ко мне, то раздувался, то уходил, и он время от времени горестно и гордо кивал головой, давая знать, что слышат все и там, наверху, тоже слышат все и понимают все, что терпит Харлампо!

На подступах к сени молельного ореха Омар отстал от нас, издали продолжая кричать и грозиться. И вдруг мне тогда подумалось на мгновение, что священная сень молельного ореха своей силой остановила его. И Харлампо, продолжая идти за козами, бросил на меня взгляд, который я тогда до конца не понял и который только сейчас понимаю, как напоминание: «Не забудь!» По детской чуткости тогда я много ночей терзался подлостью своего страха и ясным, унижительным сознанием своей неспособности вести себя так, как вел Харлампо. Я тогда

не понимал, что только великая мечта может породить великое мужество, а у Харлампо, конечно, была эта великая мечта.

До старого Хабуга, безусловно, доходили отголоски этих безумных слухов, хотя и в сильно ослабленном виде. Когда в Большом Доме заговаривали об этом, тетя Нуца то и дело выглядывала в дверь, чтобы посмотреть, нет ли его поблизости. Чегемские глупцы, а, к сожалению, их в Чегеме тоже было немало, при виде старого Хабуга делали единственное, что может сделать глупец со своей глупостью, — скромно проявлять ее.

Но однажды один из них не удержался. Несколько чегемцев стояли поблизости от Большого Дома, по-видимому, в ожидании, когда Харлампо пойдет со своим стадом. И тут на дороге появился старый Хабуг. Он нес на плечах огромную вязанку ветвей фундука — корм для козлят. И когда он прошел мимо них, шелестя холмом свежих ореховых листьев и почти покрытый ими, и, может, именно из-за этой прикритости его, осмелев, один из ожидающих Харлампо вскочил на дорогу и крикнул вслед уходящему Хабугу, как бы ослабленному этой огромной шумящей листьями кладью, как бы отчасти даже буколизированному ею:

— Так до каких же нам пор терпеть твоего козлоблуда!!!

Старый Хабуг несколько мгновений молча продолжал идти, и холм ореховых листьев за его спиной равномерно вздрагивал. Потом из-под этой движущейся рощи раздался его спокойный голос:

— Вы бы собственные зады поберегли от усатого козла, чем заниматься моими козами...

Опешив от неожиданности ответа, этот чегемец долго стоял, стараясь осознать слова старого Хабуга, и, наконец осознав, всплеснул руками и плачущим голосом крикнул ему вслеп:

— Так не мы ж его содержим в Кремле.

В конце концов слухи о козлоблудии Харлампо докатились до Анастасовки, хотя в Большом Доме не исключали, что Омар тайно туда уехал и там обо все рассказал.

Однажды к вечеру в Большом Доме появилась тетушка Хрисула и Деспина. Уже издали по их лицам было ясно, что они о чем-то знают. Деспиночка похудела, и ее синие глазки словно выщвели и теперь казались гораздо бледней ее косынки.

Тетушка Хрисула начала было жаловаться, но старый Хабуг остановил ее и сказал, что сначала надо поужинать, а потом обо всем поговорить. Тетушка Хрисула тихо присела у очага на скамью, и, глядя на огонь, сидела, подпершись худенькой, будто птичья лапка, ладонью и скорбно покачивала головой. Деспина сидела на тахте и грустно отворачивалась, когда Чунка пытался с ней заигрывать.

Ничего не подозревающий Харлампо пригнал стадо, вошел во двор с дровами на плече и, издав свой обычный очаголюбивый грохот, сбросил их у кухонной стены. Услышав этот грохот, тетушка Хрисула еще более скорбно закачала головой, словно хотела сказать: он этим грохотом очаголюбия тоже хотел нас обмануть.

Войдя на кухню и увидев Деспину, опустившую голову, когда он вошел, и тетушку Хрисулу, которая даже не поверну-

лась в его сторону, он понял, что они все знают, и сумрачно замкнулся.

Почти молча сели ужинать, и — о Боже! — тетушка Хрисула едва притронулась к еде.

— Мир перевернулся, — сказал Чунка по-абхазски, — тетушка Хрисула малоежкой сделалась!

— Да замолчи ты! — прикрикнула на него тетя Нуца и воткнула в дымящуюся мамалыгу тетушки Хрисулы большой кусок сыру. Она очень волновалась и хотела как-нибудь смягчить ее.

Поужинав, вымыли руки, и все расселись у очага на большой скамье, а Харлампо сел отдельно на кушетке и этим слегка напоминал подсудимого.

Тетушка Хрисула начала. Это был долгий греческий разговор с горькими взаимными упреками, с постоянными печальными жестами тетушки Хрисулы в сторону Деспины. Мне показалось, что мелькнуло и упоминание о двухжелтошных яйцах. Деспина время от времени всплакивала и терла свои голубые глазки концом голубого платка.

В глазах Харлампо горел сомнамбулический огонь отчаяния. Голос его делался все резче и резче. Никогда таким голосом он не говорил с тетушкой Хрисулой. Это было восстание демоса против аристократов!

Он представил перечень унижений, пережитых им из-за жестокого упрямства отца Деспины, ее патеро! На пальцах для полной наглядности он перечислил годы насильственной разлуки с любимой и, перечисляя, все выше и выше подымал свой голос:

— Эна! Диа!! Трио!!! Тесара!!!! Пенде!!!!!!

Пять загнутых пальцев отметили невероятные страдания пяти лет. Но и этого не хватило, пришлось загнуть еще три пальца на другой руке. Он застыл на некоторое время с приподнятыми руками и загнутыми в мощный кулак пальцами одной из них и почти готовым кулаком второй руки. Казалось, еще два года, и Харлампо набросится с кулаками на отца Деспины и всех аристократов Анастасовки, если там еще есть аристократы.

(Я вижу Харлампо так ясно, как будто все это было вчера. И опять никак не могу избавиться от навязчивого ощущения его сходства с обликом нашей интеллигенции. Вот так же и она в пересчете на исторические сроки ее терпения, не пройдет и пятидесяти лет, как набросится на своих аристократов!)

Тетушка Хрисула не без понимания выслушала могучий выпад Харлампо, она как бы признала, что восстание против аристократов имело некоторые основания.

Однако она не растерялась и сама пошла в атаку. Иногда они оба, как к судьбе, обращались к дедушке Хабугу, переходя на турецкий язык, хотя он и по-гречески понимал хорошо. Тетя Нуца тоже время от времени вставлялась, пытаясь на своем чудовищном турецком языке защитить Харлампо. Когда она особенно коверкала слова, Чунка в ужасе хватался за голову, показывая, что такой выговор обязательно угробит дело Харлампо.

Обвинение тетушки Хрисулы сводилось к тому, что теперь отец Деспины не захочет иметь дело с Харлампо, а другие греки не захотят жениться на Деспине.

«Кто такая Деспина?» — по словам тетушки Хрисулы, будут спрашивать греки из других сел.

«Деспина, — будут отвечать им греки из Анастасовки, — это та „аристократико корице“, чей жених предпочел ей козу».

— Кондрепесо, Харлампо?! — обращалась тетушка Хрисула к Харлампо, который тоже как бы отчасти признавал значительность доводов тетушки Хрисулы.

Разговор был долгим, сложным, запутанным. Оказывается, тетушка Хрисула перед тем, как явиться в Большой Дом, инкогнито пришла на мельницу и узнала у Гераго о том, что Харлампо, гоняясь за козой, прибежал на мельницу.

Харлампо и дедушка Хабуг объяснили ей, что дело его с козой ограничилось этой бесцельной и безвредной беготней.

Зачем, зачем, вопрошала тетушка Хрисула, ему надо было бегать за козой, когда в Анастасовке его дожидается невеста белая, как снег, и невинная, как ангелица? Услышав ее слова, Деспина снова всплакнула.

Харлампо сказал, что все это получилось, потому что он объелся орехов и заболел ореховой дурью. Тетушка Хрисула презрительно отрицала само существование такой болезни. И она привела доказательство. Тетушка Хрисула сказала, что, когда они в последний раз уходили с Деспиной из Большого Дома в Анастасовку, она по дороге съела почти полкорзины грецких орехов и никакой ореховой дурью не заболела.

— Правда, Деспина? — обратилась она к племяннице, но отозвался Чунка.

— Конечно, правда! — воскликнул он по-турецки. — Кто же в этом усомнится!

— Нет, ты не видел, — сказала тетушка Хрисула, взглянув на Чунку. — Деспина видела.

Деспина, грустно кивнув головой, подтвердила слова тетушки Хрисулы. И тут Харлампо, видимо, решил окончательно расплесться с аристократами. По-турецки, чтобы всем была понятна дерзкая прямота его слов, он сказал, что она не заболела ореховой дурью, потому что и она, и ее брат и так от рождения безумны. (Делидур!)

— Да, — подтвердила тетушка Хрисула, горестно качая головой, — Хрисула, конечно, безумная, раз она разрешила своей невинной овечке обручиться с этим дьяволом.

— Ну, от овечки до козы не так уж далеко! — крикнул Чунка по-абхазски.

— Да замолчи ты, бессовестный! — замахнулась тетя Нуца на него.

Деспина снова беззвучно заплакала и снова стала утирать свои синие глазки концом своего синего платка.

И тут старый Хабуг сказал свое слово. Он сказал, что отделяет Харлампо тридцать коз в счет его будущей работы. Он сказал, что рядом с усадьбой дяди Сандро он высмотрел хороший участок для Харлампо. Он предложил там выстроить дом и этой же осенью сыграть свадьбу и поселить в нем молодых. Он сказал, что дрань и доски они начнут заготавливать с Харлампо с завтрашнего дня.

Медленно бледнея, Харлампо медленно встал с кушетки. Выражая взглядом безусловную власть над Деспиной, власть, выстраданную восемью годами ожиданий, он протя-

нул непреклонную руку в сторону старого Хабуга и сказал непреклонным голосом:

— Вот твой отец, Деспина! Другого отца у тебя нет. Деспина! Филисе тон патеро су, Деспина! (Поцелуй своего отца, Деспина!)

И Деспина вскочила, Деспина расплакалась, Деспина рассмеялась и мгновенно преобразилась в прежнюю цветущую, веселую девушку. Она подбежала к старому Хабугу и, наклонившись, нежно обняла его и поцеловала в обе щеки. Старый Хабуг осторожно отстранил ее от себя, как переполненный сосуд, угрожающий пролиться на него непристойной для его возраста влагой молодого счастья.

— Теперь меня, Деспиночка!

И Деспина, взглянув на Чунку, весело расхохоталась, и тетушка Хрисула тоже мгновенно преобразилась в прежнюю тетушку Хрисулу и совсем прежним голосом предупредила племянницу:

— Дес-пи-на!

Преображение ее было столь удивительным, что все рассмеялись.

Через пять месяцев Харлампо справил свадьбу в своем новом доме, и тамадой на свадьбе был, конечно, дядя Сандро. На свадьбе было выпито много вина, спето много греческих и абхазских песен. Чунка рядом с тетушкой Хрисулой танцевал сиртаки, пытаясь или делая вид, что пытается рассказать о том, как они с Деспиной рвали инжир, и тетушка Хрисула с негодованием бросалась на него и закрывала ему рот. Разу-

меется, тетушка Хрисула на этой свадьбе всех переговорила, переела, но перепить дядю Сандро ей все-таки не удалось.

По сложным психологическим соображениям старый Хабуг вместе с тридцатью отделенными козами отдал и ту, заподозренную в особых симпатиях Харлампо. Оставь он ее у себя, дурноязыкие стали бы говорить, что он это сделал, чтобы не расстраивать семейную жизнь Харлампо.

Мне запомнилась картина, может быть, самого безоблачного семейного счастья, которую я видел в своей жизни. Вместе с несколькими женщинами мы, мальчики, идем от табачной плантации к табачному сараю. У женщин на плечах большие корзины с табаком.

Вот мы проходим мимо дома Харлампо. Харлампо стоит в загоне среди коз и придерживает за рога ту злополучную козу, наконец-то родившую козленка. А Деспина, беременная Деспина с большим животом, в широком цветастом платье, с подойником в руке, присаживается на корточки возле козы и начинает ее доить. А Харлампо сумрачно и победно озирается на нас, и я чувствую, что теперь сумрачность Харлампо — это маска, защищающая его счастливую жизнь от сглаза судьбы. Глядя на нас, он как бы приглашает обратить внимание на строгое, классическое, естественное, которое только могло быть и есть, расположение их фигур возле козы.

— Что-то он придерживает козу? — говорит одна из женщин, не поленившись остановиться, и осторожно, чтобы удержать огромную корзину в равновесии, оборачивается к другой.

— Еще бы, — говорит другая с такой же корзиной на плече, — козе же обидно...

Но она вдруг осекается, может быть, покоренная могучим, спокойным струением гармонии этой картины ветхозаветной идиллии.

Харлампо придерживает козу за рога, и сквозь сумрачную маску его лица я чувствую, чувствую неудержимое, победное клокотание его счастья. И в моей душе смутно брезжит догадка, что к такому счастью можно прийти только через такие страдания. И сейчас, вспоминая эту картину и вспоминая то изумительное, сладостно растекающееся в крови чувство благодарности чему-то непонятному, может быть, самой жизни, которое я тогда испытал, глядя на Харлампо и Деспину, я думаю, у человека есть еще одна возможность быть счастливым — это умение радоваться чужому счастью. Но взрослые редко сохраняют это умение.

Через три года у Харлампо было трое детей. Первую, девочку, в честь тетушки назвали Сулой. Целыми днями тетушка Хрисула возилась с детьми. Сама Деспина к этому времени стала лучшей чегемской низальщицей табака, но сравняться с Тали она, конечно, не могла. Однако для молодой аристократической женщины, рожающей каждый год по ребенку, это было немалым достижением.

После того как Деспина родила третьего ребенка, тетушка Хрисула пришла в Большой Дом и сказала, что в течение одного года собирается дежурить у постели Деспины, и просила кого-нибудь из женщин Большого Дома время от времени

подменять ее. Когда у нее спросили, зачем она должна дежурить у постели Деспины, она отвечала, что надо не допускать Харлампо к постели Деспины, чтобы та отдохнула от беременности, хотя бы на год.

Тетя Нуца справилась у старой Шазины: принято ли по нашим обычаям дежурить не только у постели больного, но и у постели замужней женщины? Та отвечала, что по нашим обычаям тоже это принято, но разрешается дежурить только близким родственникам, и поэтому обитательницы Большо-го Дома не могут сторожить у постели Деспины.

— Буду дежурить одна, пока сил хватит, — вздохнув, сказала тетушка Хрисула.

Но тетушка Хрисула если и дежурила, то недолго, потому что грянула Отечественная война и всю молодежь Чегема вместе с Харлампо забрали в армию.

В отличие от многих наших близких, в отличие от бедняги Чунки, которого убили в начале войны на западной границе, Харлампо вернулся домой. Да, он вернулся, и жизнь его была счастлива вплоть до 1949 года, когда его вместе с Деспиной, и детьми, и тетушкой Хрисулой, и всеми греками Черноморья выслали в Казахстан.

...Грузовик возле правления колхоза. К этому времени машины стали подыматься до Чегема. Кузов, переполненный несколькими отъезжающими семьями. Рыдания женщин уезжающих и женщин, прощающихся с ними.

Шагах в двадцати от машины на бревнах уселись нахотленные, отчужденные, как орлы за вольером, чегемские стар-

цы. Уже не постукивая, как обычно, посохами о землю, а угрюмо опершись о них, они неодобрительно поглядывают в сторону машины, изредка перебрасываясь словами.

Они как бы осознают, что происходящее должно было быть ими остановлено, но, понимая, что не в силах ничего сделать, они чувствуют гнет вины за собственное молчание, оскверненность своей духовной власти.

...Зареванная Деспина то и дело прыгивала с кузова в толпу, чтобы обняться с теми, с кем не успела попрощаться. Тетушка Хрисула в черном платье стоит в кузове и кричит что-то непонятное, воздев худую руку к небесам. (Отцу народов мало было тысячи русских крестьянок, высланных в Сибирь, которых он, надо полагать, пробовал на роль боярыни Морозовой для картины нового, неведомого Сурикова, ему еще понадобилось тетушку Хрисулу попробовать на эту роль.)

Двое бледных, растерянных автоматчиков в кузове и внизу еще более бледный, с трясущимися губами офицер, старающийся унять лезущих, кричащих, протягивающих руки в кузов машины, прыгивающих на землю и вновь водворяемых в кузов.

И над всем этим ревом, заплаканными лицами, протянутыми руками, сумрачное, бесслезное лицо Харлампю, с желваками, то и дело сокращающимися под кожей щек, с глазами, обращенными к чегемцам. Он покачивает головой, как бы напоминая о пророческом смысле своего всегдашнего облика. Он как бы говорит: да, да, я это предвидел и потому всю жизнь своим сумрачным обликом готовился к этому.

Офицер, отчаявшись отогнать чегемцев от машины, что-то крикнул автоматчикам, и они, спрыгнув вниз и держа перед собой автоматы в горизонтальном положении, как шлагбаумы, стали отжимать толпу. Но так как задние не отходили, толпа не отжималась, а сжималась. И словно от самого сжатия толпы в воздухе сгушалось электричество спертого гнева. И офицер, вероятно, лучше других чувствовавший это, пытался опередить возможный взрыв нервного напряжения.

И все-таки взрыв произошел. Два мальчика-подростка, абхазец и греченок, обнявшись, стояли у машины. Один из солдат несколько раз пытался отцепить абхазского мальчика от его уезжающего друга. Но мальчики не разняли объятий. И тогда солдат, тоже, вероятно, под влиянием нервного напряжения, толкнул мальчика прикладом автомата.

На беду, тут же стояли двое дядей и старший брат мальчика. Все трое пыхнули разом! Брат мальчика и один из дядей выхватили ножи, а второй дядя вырвал из кармана немецкий вальтер.

Женщины завывали. Оба солдата, прижавшись спинами к кузову машины, выставили автоматы, а офицер, стоявший рядом с ними, забыв о своем пистолете, все повторял, как пластинка с иглой, застрявшей в борозде:

— Вы что?! Вы что?! Вы что?!

Брат мальчика все норовил выбрать мгновение и сбоку наброситься с ножом на солдата, ударившего мальчика. Первый дядя, держа его под прицелом своего вальтера и угрожая им, пытался его отвлечь, чтобы создать такое мгновение. Второй дядя грозил ножом второму автоматчику, державшему под прицелом

того, что грозил вальтером первому солдату. Обе стороны, не сговариваясь, разом распределили, что кому делать.

И неизвестно, чем бы это все кончилось, если б на крики женщин, поняв, что в толпе случилось что-то ужасное, старейшина Чегема не поднялся бы с места. Он всадил свой посох в землю, расправил свои белые усы и пошел в сторону толпы, не меняя на лице выражения угрюмой, отчужденной нахохленности.

Он шел ровным, спокойным шагом, словно уверенный в том, что если то, что случилось в толпе, можно вести в разумные рамки, то оно, то, что случилось, и так его подождет. А если невозможно обуздать разумом то, что случилось, тогда и торопиться некуда.

Люди расступились, когда он, все еще нахохленный, вошел в толпу, которая пыталась ему рассказать суть случившегося, и он, видно сразу же поняв эту суть, теперь только брезгливо отмахивался от лишнего шума.

Ничего не говоря, он подошел к этим трем и, мгновенно определив степень опасности каждого, не ожидая сопротивления и даже не задумываясь о возможности сопротивления, небрежно вырвал нож из руки брата мальчика, потом из руки первого дяди пистолет, потом из руки второго дяди нож и все это, почти не глядя, отбросил в сторону, как железный мусор, как отбрасывает крестьянин к изгороди камни, вынутые из пахоты.

После этого он повернулся к мальчику, из-за которого все это произошло, и с размаху шлепнул его ладонью по голове. У мальчика с головы слетела войлочная шапочка, но он, не

поднимая ее, повернулся и пошел сквозь толпу, нагнув голову и, видимо, сдерживая слезы обиды. Так и ушел, ни разу не оглянувшись.

— Ты бы у них отнял автоматы, а мы бы поглядели, — нервно крикнул владелец вальтера, — а то привыкли над нами куражиться!

Толпа неодобрительно зашумела.

— Солдат — казенный человек, — сказал старец, обращаясь к толпе, — он делает, что ему сказали... На Большеусого, видать, снова нашло вурдалачество... Время, в котором стоим, такое, что, даже если тебя палкой ударят, надо смолчать...

— Эх, время, в котором стоим, — вздохнули в толпе.

Старец повернулся и пошел к своим товарищам, дожидавшимся его, приподняв нахохленные головы и не проявляя никаких внешних признаков любопытства.

— В машину! — крикнул офицер солдатам и сам вскочил в кабину, стараясь опередить толпу. Солдаты взлетели в кузов, но толпа опять успела облепить его.

Машина засигналила и тихо тронулась. Грянул прощальный рев, а офицер, высунув руку в окно, конвульсивно махал ею, чтобы остающиеся отцепились, и продолжал махать, пока они окончательно не отстали.

...Сегодня не слышно греческой и турецкой речи на нашей земле, и душа моя печалится, и слух мой осиротел. Я с детства привык к нашему маленькому Вавилону. Я привык слышать в воздухе родины абхазскую речь, русскую речь, грузинскую речь, мингрельскую речь, армянскую речь, турец-

кую речь, и теперь, когда из этого сладостного многоголосия, из брызжущего свежестью щебета народов выброшены привычные голоса, нет радости слуху моему, нет упоения воздухом родины!

...Вот так Харлампо и Деспина исчезли из нашей жизни навсегда. Но я надеюсь, они сильные люди, и там, на сухой казахстанской земле, укоренились, зажили своим домом, своим хозяйством, и тетушке Хрисуле, надо думать, нашлось, что пожевать. Но в Казахстане, по-моему, нет инжира, а тетушка Хрисула так любила инжир, особенно черный.

Впрочем, с тех пор прошло столько времени, что тетушка Хрисула, конечно, уже умерла, и я уверен, что светлая душа ее сейчас в садах Эдема вкушает столь любимый ею черный инжир.

17. колчерукий

Я уже писал, что однажды в детстве, ночью, пробираясь к дому одного нашего родственника, попал в могильную яму, где провел несколько часов в обществе приبلудного козла, пока меня оттуда не извлек, вместе с козлом, один проезжий крестьянин. Дело происходило во время войны.

Через некоторое время после моего ночного приключения с козлом в могильной яме мы, то есть мама, сестра и я, стали жить в этой деревне. Сначала мы жили у маминой сестры, а потом наняли комнату в одном доме и переехали туда.

В этом доме до войны жили три брата. Теперь все они были в армии. Один из них успел жениться, и на весь дом оставалась его юная, цветущая и не слишком скупающая жена. Вспоминая ее, я прихожу к выводу, что соломенная вдова потому и называется соломенной, что воспламеняется легко, как солома.

При нас один из братьев вернулся, и именно тот, что был женат. Он как-то слишком бесшумно вернулся. Однажды утром мы его увидели на кухне. Он сидел перед горящим очагом и жарил на вертеле кукурузный початок, словно сам себе напоминал довоенное детство. Было похоже, что лучше бы ему пока не возвращаться. А, может быть, лучше бы ему было подождать с женитьбой, потому что, мне кажется, он скучал по жене, и это ускорило его возвращение.

С какой-то обреченной жадностью с недельку он возился в саду, а потом его взяли, и немного позже мы узнали, что он был дезертиром. Его взяли так же бесшумно, как он пришел. Постепенно мы освоились на новом месте. Сестра устроилась работать в колхозе учетчицей, нам выделили участок земли, на котором мы выращивали дыни и кукурузу. Тыквы тоже выращивали. Кроме того, мы выращивали огурцы и помидоры. Мы все тогда выращивали.

Оказывается, недалеко от нас жил тот самый человек, в чью могильную яму я тогда угодил. Кстати, про эту могильную яму в деревне говорили, что в нее попадают все, кроме того, кому она предназначалась. История ее оказалась сложной и запутанной. Будущий владелец ее, если можно так сказать, старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, лежал,

говорят, в городской больнице не то с аппендицитом, не то с грыжей (хотя по-русски правильней было бы сказать Сухорукий, но Колчерукий точнее соответствует духу, а следовательно, и смыслу прозвища). Так вот, Колчерукому сделали операцию, и он спокойно выздоравливал, когда неожиданно позвонили из больницы в сельсовет и сказали, что больной умер и его надо срочно забрать домой, потому что он уже второй день лежит мертвый.

В это время в больнице никого из родственников не было, потому что он сам вот-вот должен был выписаться. Правда, в эти дни в городе был односельчанин Мустафа, который поехал туда по своим надобностям, и ему, кстати, поручили заглянуть в больницу и узнать, чего Колчерукий не возвращается и не решил ли он заодно с грыжей или аппендицитом избавиться от своей колчерукости. И вдруг такая неожиданная весть.

Родственники, по нашим обычаям, разослали в соседние деревни горевестников, натянули во дворе укрытие из плащ-палатки, где собирались устроить тризну, и даже вырыли на кладбище эту самую яму.

Колхоз выделил свою единственную машину, чтобы привезти покойника, потому что в те времена в связи с войной сделать это частным путем было трудно. Одним словом, все честь по чести, как у людей. Все, как у людей, кроме самого покойника Шаабана Ларба, который и при жизни никому, говорят, покою не давал, а после смерти и вовсе распоясался.

На следующий день после печального известия приехала машина с покойником, который оказался живым.

Говорят, Колчерукий, слегка придерживаемый Мустафой, громко ругаясь, вошел в свой двор. Его возмутила не весть о его смерти и приготовления к похоронам, а то, что он сразу заметил, взглянув на укрытие из плащ-палатки. Из-за этого укрытия пришлось у двух яблонь срезать ветки. Колчерукий, ругаясь, тут же показал, как надо было протягивать брезент, чтобы не трогать деревья.

Потом он, говорят, обошел гостей, здороваясь с каждым и пытливо вглядываясь в глаза, чтобы узнать, какое впечатление на них произвела весть о его смерти, а заодно и неожиданное воскресение.

После этого он, говорят, поставил над глазами свою усыхающую, но так и не усохшую за двадцать лет руку, стал нахально оглядывать плакальщиц, как бы не понимая, зачем они здесь.

— Вы чего? — громко спросил он.

— Мы ничего, — ответили они, смутившись, — мы приехали тебя оплакивать.

— Ну, так начинайте, — говорят, сказал Колчерукий и представил ладонь к уху, чтобы внимательно слушать свое оплакивание. Но тут кто-то вмешался и отвел плакальщиц от него.

Увидев приношения родственников, говорят, Колчерукий призадумался. Дело в том, что у нас всякого рода поминки устраивают так широко, что, если бы все это делалось за счет семьи умершего, живым ничего бы не оставалось, как ложиться и помирать.

Поэтому в таких случаях все родственники и соседи помогают. Кто принесет вино, кто соленья, а кто и телку пригонит

к сороковинам. И как раз один из родственников из соседнего села пригнал хорошую телку, которая Колчерукому особенно понравилась. Кстати, говорят, по размерам этого родственника и вырыли яму, потому что он был примерно такого же роста, как и Колчерукий. Говорят, когда один из парней, которому поручили копать яму, подошел к нему со шпагатом, чтобы измерить его, он проявил недовольство, стал утверждать, что есть люди более подходящие, что он, пожалуй, выше Колчерукого, а Колчерукий покоренастей.

При этом он пытался отстраниться от шпагата, но парень отстраниться ему не дал. Как и все могильщики, склонный к шутке, он сказал, что теперь коренастость Колчерукого ни к чему, что вообще в крайнем случае, если Колчерукий не подойдет, они его будут держать на примете.

Родственник, говорят, усмехнулся на эти шутки, но, видно, обиделся, потому что отошел к своим односельчанам и стоял среди них, хмуро поглядывая на свою телку, привязанную к забору.

Увидев все эти приношения, Колчерукий объявил, что радоваться рано, что он чувствует себя плохо, да и выписали его, чтобы он не помер в больнице, потому что врачей за это штрафуют, как колхозников за брак. Он тут же лег в постель и дал распоряжение могильную яму не засыпать, а держать наготове. Родственники, говорят, неохотно разъехались. Особенно был недоволен тот, что приволок телку. Но Колчерукий его успокоил, уверив, что ждать теперь недолго, так что телка его навряд ли слишком похудеет, если даже ее не выпускать со двора.

Колчерукий с неделю пролежал в постели. Через пару дней после приезда его стали одолевать любопытные, потому что к этому времени разнесся слух, что Колчерукий, умерший в городской больнице, по дороге ожил и приехал на собственные похороны. Другие говорили, что он не умер, а уснул вечным сном, и доктора его никак не могли разбудить, но по дороге домой его так растрясло, что он проснулся.

Первое время Колчерукий принимал посетителей, особенно пока они приносили всякие гостинцы, как бывшему умершему и еще не окончательно ожившему. Но потом они ему надоели, да и председатель приказал выходить на работу. Так что он, говорят, заслышав скрип ворот, выбежал на веранду и кричал своим громким голосом: «Назад! Дармоеды! Собаку спущу!»

Кстати, слухи о его воскресении как-то сами по себе жили и развивались. Уже через год при нас я слышал, как в одной из соседних деревень говорили, что Колчерукий ожил не по дороге из больницы домой, а в самой могиле через несколько дней после того, как его похоронили. А услышал его какой-то мальчик, который вечером искал на кладбище свою козу. Так что пришлось его откопать. Не будь, говорят, у него такого громкого голоса, умер бы от голода или даже от жажды, потому что место ему выбрали сухое, хорошее.

Вот так вот и оказалось, что Колчерукий пережил или предотвратил свои похороны, правда, оставив за собой могилу в полной готовности.

Увидев живого Колчерукого, сначала в деревне решили, что это секретарь сельсовета подшутил над ними, потому что

он сообщил, что говорил с больницей или с тем, кто выдавал себя за больницу. Но секретарь сельсовета сказал:

— Как я мог так пошутить, когда сейчас военное время.

И все ему поверили, потому что так шутить в военное время даже для секретаря сельсовета слишком глупо. В конце концов решили, что в больнице что-то спутали, что умер какой-то другой старик, может быть, даже однофамилец Колчерукого, потому что ларбовцев у нас в Абхазии великое множество.

С первых же дней, как мы стали жить в доме соломенной вдовушки, я уже слышал голос Колчерукого, хотя самого его не видел в глаза.

Ровно в полдень, возвращаясь с колхозной работы домой на обед, он метров за триста от своего дома начинал окликать старуху, проклиная ее и яростно справляясь, готова ли мамалыга к обеду.

На его крики старуха отвечала таким же яростным криком, и голоса их, не теряя ни силы, ни отчетливости, постепенно сближались, потом перехлестывались и, наконец, замолкали. Через некоторое время голос старухи победно выныривал из тишины, но Колчерукий молчал. Позже, когда я стал бывать у них, я понял, что старик молчит по той причине, что рот его занят едой, причем ел он с такой же яростью, так что ругаться одновременно он никак не мог.

Вечерами, возвращаясь с работы, он таким же голосом справлялся насчет своей лошади, скотины или своего внука Яшки и опять же насчет той же мамалыги к ужину.

Потом я познакомился и подружился с этим Яшкой, таким же громогласным, как его дед, но, в отличие от него, добродушным ротозеем. Обычно Колчерукий возил его в школу верхом на своей лошади. Всю дорогу он ругался, что приходится возить его в школу и тратить драгоценное время на этого лоботряса. Яшка молча сидел за дедом, держась за его пояс, и, смущенно улыбаясь, глядел по сторонам.

Если дед бывал в отъезде, в школу его возила бабка на этой же лошади, и он так же сидел за нею и только не позволял ей подъезжать к самой школе, чтобы мальчишки над ним не смеялись. Мы с ним учились в разные смены. Возвращаясь из школы, я их встречал где-нибудь на полпути в школу, и Яшка, вывернув голову, долго-долго, тоскливо смотрел мне вслед, что служило поводом для дополнительной ярости Колчерукого. Яшку приходилось возить в школу, потому что она была в трех километрах от дома, а Яшка был так рассеян, что иногда забывал, куда идет, и сворачивал в сторону.

В первое время, увидев меня на улице, Колчерукий ставил ладонь козырьком над глазами и спрашивал: — Ты чей будешь?

— Я сын такой-то, — учтиво отвечал я ему и называл маму, которую он хорошо знал еще с давних пор.

— А кто она такая? — спрашивал он громогласно и еще пристальней смотрел на меня из-под своей колчерукой ладони.

— Она сестра жены дяди Мексута, — объяснял я, хотя и понимал, что он притворяется.

— Так вы те самые городские дармоеды? — кивал он в сторону нашего дома.

— Да, — уклончиво подтверждал я, что это мы здесь живем, одновременно как бы отчасти признавая и наше дармоедство.

Он стоял передо мной, удивленно вглядываясь в меня буравчиками глаз, небольшого роста, коренастый, с широкой, по-петушиному красной шеей. Стоял, удивленно вглядываясь в меня, словно осмысливая меня целиком, одновременно прислушиваясь к чему-то постороннему, к тому, что происходило за забором в кукурузе его приусадебного участка, словно по шорохам, по возне, по каким-то ему одному уловимым звукам точно определял все, что делается у него на усадьбе, во дворе и, может быть, в самом доме.

— Так это ты провалился в мою могилу? — спрашивал он неожиданно, продолжая прислушиваться к тому, что делается у него на усадьбе и уже улавливая там какие-то ненормальности и недовольно похмыкивая по этому поводу.

— Да, — отвечал я, с тайной опаской наблюдая за ним, потому что чувствовал, что он начинен какой-то взрывчатой силой.

— Ну и как тебе там показалось? — спрашивал он, продолжая прислушиваться и постепенно возбуждаясь тем, что там происходило, и уже бормоча вполголоса: — Вымерла, что ли, эта старуха... Чтоб она ослепла... Разорит меня, старая дура...

— Хорошо, — отвечал я, стараясь проявить благодарность за гостеприимство. Все-таки это была его могильная яма.

— Место хорошее, сухое, — соглашался он, уже поскуливая от возмущения тем, что происходило у него на усадьбе, и внезапно срывался и кричал своей старухе, с места, без разгону,

взяв самую высокую ноту: — Эй ты, что-то там хрукает на огороде, хрукает! Чтоб твои уши полопали — свиньи, свиньи!

— Чтоб я их с тобой в твою могилу уложила, вечно тебе мерещатся свиньи! — сразу же отзывалась старуха.

— Я же слышу — чавкают и хрупают! — кричал он, уже забыв про меня, и голоса их схлестывались, и он, словно ухватившись за конец ее крика, подтягивался на нем и быстро двигался в сторону дома, одновременно перебрасывая ей свой клокочущий голос.

Постепенно мы привыкли к его голосу и уже не обращали на него внимания, и даже, когда он куда-нибудь уезжал на несколько дней и вдруг все замолкало, становилось как-то странно, словно чего-то не хватало, словно какой-то пустой звон в ушах раздавался.

Жена его, высокая, выше его, невероятно худая старуха, иногда, когда его не было дома, приходила к нам поговорить с мамой. Бывало, приносила с собой круг сыру, или миску кукурузной муки, или кусочек пахучего, копченого над костром мяса. Смущенно посмеиваясь, она просила спрятать то, что принесла, и, ради Бога, никаких благодарностей, только чтобы этот крикун ее ничего не знал.

Они часами о чем-то говорили с мамой, а жена Колчеруко-го все курила, скручивая сигарку за сигаркой. Внезапно раздавался голос Колчерукого. Он кричал ей что-нибудь в сторону дома, а она, прислушиваясь к его голосу, тряслась от за-таенного смеха, словно боялась, что он услышит ее смех, и в то же время ее забавляло, что он кричит не в ту сторону.

— Ну, чего тебе, я здесь! — отвечала она наконец.

— Ага, дармоедки! Нашли друг друга! В кумхоз вас обеих! В кумхоз! — выкрикивал он после мгновенной паузы, словно онемев от возмущения ее вероломством.

Однажды он подъехал к воротам нашего дома и крикнул мне, чтобы я вынес мешок. Громко ругаясь на то, что этим дармоедам только жуй и в рот клади, он высыпал мне полмешка муки и, продолжая возмущаться тем, что дает свою кукурузу, да еще на мельницу возит ее на своей же лошади, он приторочил свой мешок к седлу и уехал. Отъезжая, он еще крикнул, чтобы этой ничего не говорить насчет муки, потому что и так ему нет никакого житья от ее крику.

Время шло, а Колчерукий, судя по всему, умирать не собирался. Чем дольше не умирал Колчерукий, тем пышнее расцветала телка; чем пышнее расцветала телка, тем грустнее становился ее бывший хозяин. В конце концов, он прислал человека к Колчерукому, чтобы тот намекнул насчет телки. Так, мол, и так, слава Богу, что он остался жив, но телку следовало бы прислать назад, потому что он ее не дарил Колчерукому, а пригнал на сороковины, как хороший родственник.

— Принес яйцо, а хочет взять курицу, — говорят, сказал Колчерукий, выслушав намек. Потом он, говорят, подумал и добавил: — Скажи ему, что, если я скоро умру, можно будет ему приходиться без приношенья, а если он умрет, я приду в его дом, как хороший родственник, и пригоню телку от его телки.

Родственник Колчерукого, узнав о его условиях, говорят, обиделся и велел передать Колчерукому уже без всяких на-

меков, что ему не надо никакой телки, тем более после смерти, что он хочет при жизни получить собственную телку, которую он ему пригнал на поминки, как хороший родственник. А раз Колчерукий до сих пор не умер, значит, надо возвратить телку хозяину. При этом он дал слово, что несмотря на то, что в доме Колчерукого его, измерив шпагатом, унизили, если Колчерукий и в самом деле умрет, он снова пригонит ее.

— Этот человек заставит меня лечь в могилу из-за своей телки, — говорят, сказал Колчерукий, услышав новые разъяснения. — Передайте ему, — добавил он, — что теперь недолго ждать, так что не стоит мучить несчастное животное.

Через несколько дней после этого разговора Колчерукий пересадил из своего огорода на свою могилу пару персиковых саженцев. Возможно, он это сделал, чтобы освежить представление о своей обреченности. Мы с Яшкой помогали ему. Но, видимо, двух персиковых саженцев ему показалось мало. Через несколько дней он ночью вырыл на плантации тунговое деревце и посадил его между этими персиковыми саженцами. Вскоре об этом все узнали. Колхозники, посмеиваясь, говорили, что Колчерукий собирается травить покойников тунговыми плодами. Никто не придавал значения этой пересадке, потому что тунговые деревья никто ни до него, ни после него в деревнях не крал, потому что они крестьянам ни к чему, а плоды тунга смертельно ядовиты, так что, значит, в какой-то мере даже опасны.

Бывший хозяин телки тоже замолк. То ли поверил в обреченность Колчерукого, после того как он пересадил на свою

могилу тунговое дерево, то ли, боясь его языка, не менее ядовитого, чем тунговые плоды, решил оставить его в покое.

Кстати, рассказывают, что Колчерукий через свой язык в молодости и стал Колчеруким. Дело было так.

Говорят, после какой-то пирушки местный князь в окружении многочисленных гостей сидел во дворе хозяина дома. Князь ел персики, состругивая с них кожуру перочинным ножичком с серебряной цепочкой. Хотя перочинный ножичек с серебряной цепочкой никакого отношения к последующим событиям не имеет, все рассказчики упоминали про этот ножичек, неизменно добавляя, что он был с серебряной цепочкой. Пересказывая этот случай, я хотел избежать перочинного ножичка с серебряной цепочкой, но чувствую, что почему-то должен его упомянуть, что в нем есть какая-то правда, без которой что-то пропадает, а что, я и сам не знаю. Одним словом, князь ел персики и, благодумствуя, вспоминал свои любовные радости. В конце концов он, говорят, оглядел хозяйский двор и сказал, вздохнув:

— Если б всех моих женщин собрать, пожалуй, не вместились бы в этот двор.

Но Колчерукий, говорят, уже тогда никому благодумствовать не давал, несмотря на свою молодость. Говорят, он высунулся неизвестно откуда и сказал:

— Интересно, сколько бы коз заблеяло в этом дворе?

Этот довольно пожилой князь, говорят, был большой ценитель женской красоты, но, кроме всего, его подозревали в древнегреческом грехе, разумеется, если этому греху поло-

жили начало именно древние греки. Я лично думаю, что этому греху мог положить начало любой народ, занимающийся скотоводством. А так как все народы в свое время прошли скотоводческую стадию развития, а некоторые ее все еще проходят, как человек, воспитанный в презрении к национальным предрассудкам, считаю, что все они независимо друг от друга могли положить начало этому греху.

Но вернемся к нашему престарелому феодалу. Говорят, в местных кругах князь скромно гордился умением так состругивать кожуру с фруктов, что ленточка кожуры ни разу не прерывалась, пока он полностью не очистит плод. Умение это не изменяло ему даже после бессонной ночи и длительной попойки. Сколько, говорят, за ним ни следили, сколько ни пытались его отвлечь, он так и не ошибся ни разу. Иногда ему нарочно подсовывали плод самой замысловатой и уродливой формы, но он, говорят, рассмотрев его со всех сторон, тут же доставал свой ножичек с серебряной цепочкой и безошибочно пускал его по единственно правильному пути.

Обычно, срезав вьющуюся спиралькой кожуру, он приподымал ее и показывал окружающим. А если среди них была красивая девушка, он подзывал ее и подвешивал эту фруктовую ленточку ей за ушко.

Мне кажется, Колчерукого раздражало это искусство князя. Я думаю, что он издавна следил за ним и был уверен, что рано или поздно ленточка должна оборваться. Возможно, Колчерукий в тот раз возлагал особенно большие надежды на какой-то из этих персиков, но князь его вполне удачно обра-

ботал, да еще стал хвастаться своими женщинами, хотя, по слухам, оказывал знаки внимания и хорошеньким козочкам. Согласитесь, что тут было отчего взорваться Колчерукому, да еще молодому.

Говорят, после его неожиданных слов князь побагровел и, потеряв дар речи, глядел на Колчерукого выпученными глазами. При этом он продолжал держать в правой руке уже очищенный сочащийся персик, а в левой все тот же перочинный ножичек с серебряной цепочкой.

От ужаса все вокруг замолкли, а князь, не моргая, продолжал смотреть на Колчерукого, и рука его с персиком беспокойно двигалась по воздуху, словно чувствуя неуместность в такую минуту этого сентиментального персика, не говоря уж о том, что невозможно выхватить пистолет из кобуры, одновременно держа в ладони персик, да еще очищенный. Говорят, рука его даже склонилась к земле, чтобы наконец освободиться от этого персика, но в последнее мгновение как-то не решилась, ведь персик-то был оструган, и она, хорошо воспитанная княжеская рука, чувствовала, что очищенный персик никак нельзя положить на землю.

И вот она снова поднялась, эта рука, и мучительное мгновение шарила по воздуху в поисках невидимой тарелки, чувствуя, что кто-то должен подсунуть ей тарелку, но все оцепенели от страха, и никто не догадался помочь ему освободиться от этого, теперь уже непристойно оголенного персика. И тут, говорят, к нему на помощь пришел сам Колчерукий.

— Да сунь ты его в рот! — говорят, подсказал он ему.

Не успели гости очнуться от новой дерзости, как стали свидетелями необъяснимого самоунижения князя, который, говорят, с какой-то позорной поспешностью стал заталкивать в рот мокрый, сочащийся персик, продолжая смотреть на Колчерукого ненавидящими глазами. Наконец, кое-как справившись с персиком, он полез за пистолетом. Все еще глядя на Колчерукого выпученными ненавидящими глазами, он молча рылся у пояса, но от сильного волнения или, как уточняют другие, оттого, что у него были скользкие после персика руки, он никак не мог расстегнуть кобуру.

Может быть, еще кто-нибудь и опомнился бы, может быть, успел бы схватить князя за руку или в крайнем случае пинком отбросить Колчерукого в сторону, так что стрелять в него стало бы невозможно и даже опасно для других, но тут, говорят, в тишине в последний раз раздался голос Шаабана. Не в том смысле, что после этого его голос не раздавался, скорее напротив, он стал еще громче и насмешливей, а в том смысле, что после этой фразы он уже перестал быть просто Шаабаном, а стал Шаабаном Колчеруким.

— Там-то он, наверное, быстрее расстегивает, — говорят, сказал он, — потому как козы ждаты не любят...

Говорят, он это сказал как-то задумчиво, вроде бы размышляя вслух. Но тут старый князь наконец справился со своей кобурой — раздался выстрел, женщины подняли вопль, и, когда рассеялся дым, Колчерукий уже был самим собой, то есть Колчеруким. Потом у него спрашивали, почему он после первого оскорбления продолжал дразнить князя.

— Уже не мог остановиться, — отвечал Колчерукий.

Похоже, когда князь ушел с меньшевиками, а у нас окончательно и бесповоротно установилась Советская власть, Колчерукий стал утверждать, что у него с князем были свои, чуть ли не партизанские счета, что разговор этот был только поводом или следствием других, более важных вещей.

Одним словом, несмотря на княжескую пулю, Колчерукий продолжал над всеми подшучивать, и шутки его, кажется, не становились безобидней.

Слоняясь по деревне, я его часто видел на табачной или чайной плантации или на прополке кукурузы. Если у него бывало хорошее настроение, он просто дурачился, и тогда все кругом покатывались со смеху.

Он умел подражать голосам знакомых людей и животных, особенно у него получался петушиный крик.

Бывало, в поле бросит мотыгу, разогнется, посмотрит по сторонам и залется петухом. Почти сразу же откликаются петухи из соседних домов. Все вокруг смеются, ближайший петух продолжает звать его, а он берется за свою мотыгу и приговаривает: «Много ты понимаешь, дурак».

У нас, как, вероятно, у всех, принято считать, что петухи поют со значением, чуть ли не провидят судьбы своих хозяев. Колчерукий, можно сказать, разоблачал петухов, этих сельских провидцев. Надо сказать, что Колчерукий, несмотря на свою полувысохшую руку, работал как черт. Правда, иногда, когда проносился слух, что начинается подписка на заем или мобилизуют оставшихся мужчин на лесозаготовку, он вдевал

свою левую руку в чистую красную повязку и ходил в таком виде, пока считал нужным. Думаю, что эта красная повязка ему мало чем помогала, особенно в подписке на заем она ему никак не могла помешать, но все же, видимо, давала лишнюю возможность поспорить, поязвить, понасмехаться.

Я думаю, что и красную повязку он себе завел, чтобы придать пострадавшей руке военно-партизанский вид. Из бдительности он после каждого вызова в правление вдевал свою руку в повязку, садился на лошадь и ехал. В накинутой бурке, с рукой в красной повязке, верхом на лошади он и в самом деле имел довольно бравый военно-партизанский вид.

Все было хорошо, но вдруг стало известно, что председатель сельсовета получил анонимное письмо против Колчерукого. В нем говорилось, что в посадке тунгового дерева на могилу скрывается насмешка над новой технической культурой, намек на ее бесполезность для живых колхозников, как бы указание на то, что ей настоящее место на деревенском кладбище.

Председатель сельсовета показал это письмо председателю колхоза, и тот, говорят, не на шутку перепугался, потому что могли подумать, что он, председатель, подучил Колчерукого пересадить тунговое дерево к себе на могилу.

Я тогда никак не мог понять, почему все обернулось так грозно, когда и до этой бумаги все знали, что он пересадил деревце тунга на свою могилу. Я тогда не знал, что письмо — это документ, а документ потребовать могут, за него надо отвечать.

Правда, еще говорили, что председатель сельсовета мог бы не давать ему ходу, но он, говорят, имел зуб на Колчерукого и потому показал письмо председателю колхоза.

Одним словом, письму был дан ход, и однажды по этому поводу из райцентра прибыл какой-то человек, чтобы выяснить истину. Колчерукий пробовал отщучиваться, но, видно, все-таки струхнул, потому что побрился, продел свою руку в красную повязку и ходил по деревне, глядя на руку с таким видом, словно она вот-вот должна взорваться, а ему, да и окружающим, только и остается, что остерегаться осколков.

— Ну, все, — говорил старый лошажник Мустафа, друг и вечный соперник Колчерукого, — теперь лопай свои тунговые яблоки и залезай в свою могилу, а то в Сибирь отправят.

— Сибирь не боюсь, боюсь, ты мою могилу займешь, — отвечал Колчерукий.

— В Сибирь, говорят, на собаках ездят, — пугал его Мустафа, — так что забери с собой уздечку, может, объездишь себе какого пса. Будет тебе и лаять и возить.

Надо сказать, что между Колчеруким и Мустафой было давнее соперничество в лошадином деле. У каждого из них были свои подвиги и неудачи. Колчерукий покрыл себя когда-то немеркнущей славой тем, что в Мингрелии во время скачек на глазах у многотысячной толпы (положим, толпа была не такой уж многотысячной) увел какого-то знаменитого жеребца. Говорят, сам Колчерукий сидел на такой замордованной кляче и выглядел так потешно, что, когда он попросил у хозяина жеребца испробовать его ход, тот для смеха разре-

шил ему, уверенный, что через минуту жеребец его сбросит на землю и от этого станет еще более знаменитым.

Колчерукий, говорят, на пузе слез со своей клячонки и, передавая поводья хозяину жеребца, сказал:

— Считай, что мы обменялись.

— Хорошо, — со смехом ответил хозяин, беря у него поводья.

— Главное, в первый раз не дай себя сбросить, а то затопчет, — предупредил Колчерукий и подошел к жеребцу.

— Постараюсь, — говорят, со смехом отвечал хозяин и, как только Колчерукий взобрался на жеребца, дал знак какому-то парню, стоявшему сзади, и тот изо всех сил хрястнул жеребца камчой.

Жеребец взвился и помчался в сторону Ингури. Говорят, Колчерукий сначала держался как пьяный мулла на скачущем ослике.

Все ждали, что он вот-вот сорвется, а он все шел и шел вперед, и у хозяина начала отваливаться челюсть, когда Колчерукий доехал до конца поляны, но не свернул по кругу естественного ипподрома, а летел все дальше и дальше в сторону реки. Еще несколько минут ждали, думали, что просто лошадь отняла у него поводья, что он ее не смог завернуть, но потом поняли, что это неслыханный по своей дерзости угон.

Минут через пятнадцать за ним мчалась дюжина всадников, но уже ничего не могли сделать.

Колчерукий с ходу с обрыва бросился в реку, и, когда погоня добралась до обрыва, он уже выходил на том берегу, мокрым крупом коня на мгновение просверкнув в прибрежном

ольшанике. Пули, посланные вслед, не достигли цели, а прыгать с обрыва никто не осмелился. С тех пор, говорят, это место названо Обрывом Колчерукого. Колчерукий при мне сам никогда не рассказывал эту историю, зато давал ее пересказать другим, сам с удовольствием слушая и внося некоторые уточнения. При этом он всячески подмигивал в сторону Мустафы, если тот был рядом. Мустафа делал вид, что не слушает, но в конце концов не выдерживал и пытался как-нибудь унижить или высмеять его подвиг.

Мустафа говорил, что человек, которому уже прострелили одну руку, можно сказать, порченый человек, и поэтому, пускаясь на дерзость, он не слишком многим рискует. А если он и прыгнул с обрыва, то, во-первых, прыгнул от страха, а потом, ему ничего другого не оставалось делать, потому что, поймай его погоня, все равно бы пристрелили.

Одним словом, у них было давнее соперничество, и если раньше они его разрешали на скачках, то теперь, по старости, хотя и продолжали держать лошадей, споры свои разрешали теоретически, отчего они у них часто заходили в дебри зловещих головоломок.

— Если в тебя человек стреляет с этой стороны, а ты, скажем, едешь вон по той тропе, куда ты поворачиваешь лошадь при звуке выстрела, и притом вокруг ни одного дерева? — спрашивал один из них.

— Скажем, ты скачешь в гору, а за тобой гонятся люди. Впереди — справа мелколесье, а слева — овраг. Куда ты свернешь лошадь? — допытывался другой.

Эти споры велись двумя людьми, изможденными долгим трудовым днем, возвращавшимися домой с мотыгами или топорами на плечах. Споры эти длились многие годы, хотя во-круг уже давно никто не стрелял, потому что люди научились мстить за обиды более безопасным способом. К одному из этих способов, а именно анонимному письму, кстати, пора возвратиться.

Приехавший из райцентра добивался, чтобы старик рассказал об истинной цели пересадки тунгового дерева, а главное, раскрыл, кто его подучил это сделать. Колчерукий отвечал, что его никто не подучивал, что он сам захотел после смерти иметь тунговое дерево над своим изголовьем, потому что ему давно приглянулась эта не виданная в наших краях культура. Приехавший не поверил.

Тогда Колчерукий признался, что надеялся на ядовитые свойства не только плодов, но и корней тунга, он надеялся, что корни этого дерева убьют всех могильных червей, и он будет лежать в чистоте и спокойствии, потому что от блох ему и на этом свете спокойствия не было.

Тогда, говорят, приезжий спросил, что он подразумевает под блохами. Колчерукий ответил, что под блохами он подразумевает именно собачьих блох, которые не следует путать с куриными вшами, которые его, Колчерукого, нисколько не беспокоят, так же как и буйволиные клещи. А если его что беспокоит, так это лошадиные мухи, и если он в жару подбросит под хвост лошади пару пригоршней суперфосфату, то колхозу от этого не убудет, а лошади отдых от мух. Приехав-

ший понял, что его с этой стороны не подкусишь, и снова вернулся к тунгу.

Одним словом, как ни изворачивался Колчерукий, дело его принимало опасный оборот. На следующий день его уже не вызывали к товарищу из райцентра. Готовый ко всему, он сидел во дворе правления под тенью шелковицы, и, не вынимая руки из красной повязки, курил в ожидании своей участи. Тут, говорят, прямо в правление, где совещались между собой председатель колхоза, председатель сельсовета и приехавший из райцентра, прошел Мустафа. Проходя мимо Колчерукого, он, говорят, посмотрел на него и сказал:

— Я что-то придумал. Если не поможет, тихонько, как есть, вместе со своей повязкой, ложись в могилу, а тунговых яблочек я тебе натрушу.

На эти слова Колчерукий ему ничего не ответил, а только горестно взглянул на свою руку в том смысле, что он-то готов принять на себя любые страдания, но она-то за что будет страдать, и без того пострадавшая от меньшевистской пули?

Надо сказать, что Мустафа у местного начальства пользовался большим уважением, как умнейший мужик и самый богатый человек в колхозе. Дом у него был самый большой и красивый в деревне, так что, если приезжало большое начальство, его прямо отправляли в хлебосольный дом Мустафы.

То, что придумал Мустафа, было замечательно простым. Прибывший из райцентра был абхазцем, а если человек абхазец, то, будь он приехавшим из самой Эфиопии, у него найдутся родственники в Абхазии.

Оказывается, ночью Мустафа тайно собрал у себя местных стариков, угостил, а потом с их помощью тщательно исследовал родословную товарища из райцентра. Тщательный и всесторонний анализ ясно показал, что товарищ из райцентра через свою двоюродную бабуку, бывшую городскую девушку, ныне проживающую в селе Мерхеулы, состоит в кровном родстве с дядей Мексутом. Мустафа остался вполне доволен результатом анализа.

С этим козырем в кармане он прошагал мимо Колчерукого в правление. Говорят, когда Мустафа сообщил об этом товарищу из райцентра, тот побледнел и стал отрицать свое родство с бабушкой из Мерхеул и в особенности с дядей Мексутом. Но капкан уже захлопнулся. Мустафа только усмехнулся на его отрицание и сказал:

— Если не родственник, зачем побледнел?

Больше он не стал говорить, а спокойно вышел из помещения.

— Как быть? — спросил Колчерукий, увидев Мустафу.

— Потерпи до вечера, — сказал Мустафа.

— Решайте скорей, — ответил Колчерукий, — а то у меня рука совсем высохнет от этой повязки.

— До вечера, — повторил Мустафа и ушел.

В сущности, товарищ из райцентра, не признав родства с дядей Мексутом, нанес ему смертельное оскорбление. Но дядя Мексут сдержался. Он ничего никому не сказал, а только поймал свою лошадь и уехал в Мерхеулы.

К вечеру он вернулся на мокрой лошади, остановился у правления и дал поводья все еще ждущему своей участи

Колчерукому. Председатель стоял на веранде и курил, глядя на Колчерукого и окружающую природу.

— Взойди, — сказал председатель, увидев дядю Мексута.

— Сейчас, — ответил дядя Мексут и, прежде чем взойти, сорвал с руки Колчерукого повязку и молча запихнул ее в карман. Говорят, Колчерукий так и остался с рукой на весу, как бы все еще сомневаясь и не принимая смысла этого символического жеста.

Дядя Мексут положил перед товарищем из райцентра желтое и готовое рассыпаться в прах свидетельство о рождении мерхеульской бабки, выданное нотариальной конторой еще дореволюционного Сухумского уезда.

Увидев это свидетельство, товарищ из райцентра, говорят, еще раз побледнел, но отрицать ничего не мог.

— Или тебе бабку поперек седла привезти? — спросил дядя Мексут.

— Бабку не надо, — тихо ответил товарищ из райцентра.

— Портфель с собой возьмешь или поставишь в несгораемый шкаф? — еще раз спросил дядя Мексут.

— Возьму с собой, — ответил товарищ из райцентра.

— Тогда пошли, — сказал дядя Мексут, и они покинули помещение.

В этот вечер в доме дяди Мексута устроили хлеб-соль и все обмозговали. На следующее утро в доме дяди Мексута, после длительного обсуждения, мне лично была продиктована справка на русско-кавказско-канцелярском языке.

— Наконец-то и этот дармоед пригодился, — сказал Колчерукий, когда я придвинул к себе чернильницу и замер в ожидании диктовки.

Справка обсуждалась руководителями колхоза с товарищем из райцентра. Колчерукий внимательно слушал и требовал перевести на абхазский язык каждую фразу. Причем он несколько раз уточнял формулировки в сторону завышения своих, как я теперь понимаю, социальных и деловых достоинств.

Особенно бурные споры вызвало место, где объяснялась его колчерукость. Колчерукий стал требовать, чтобы записали, что он пострадал от пули меньшевистского наймита, ссылаясь на то, что ранивший его князек впоследствии удрал с меньшевиками. Товарищ из райцентра хватался за голову и умолял быть точным, потому что он тоже отвечает перед своим начальством, хотя и уважает своих родственников. В конце концов подобрали такую формулировку, которой остались довольны все.

Справка сочинялась так долго, что, покамест я ее писал своим колеблющимся почерком, выучил наизусть. Составители попросили меня громко зачитать ее, что я и сделал выразительным голосом. После этого они дали ее переписать секретарю сельсовета. Вот что было сказано в справке.

«Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, которое он получил еще до революции вместе с княжеской пулей, впоследствии оказавшейся меньшевистской, с первых же дней организации колхоза активно работает в артели, несмотря на частично высохшую руку (левая).

Старик Шаабаи Ларба, по прозвищу Колчерукий, имеет сына, который в настоящее время сражается на фронтах Отечественной войны и имеет правительственные награды (в скобках указывался адрес полевой почты).

Старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, несмотря на преклонный возраст, в это трудное время не покладая рук трудится на колхозных полях, не давая отдыха своей пострадавшей вышеуказанной руке. Ежегодно он вырабатывает не менее четырехсот трудодней.

Правление колхоза, вместе с председателем сельсовета, заверяет, что тунговое дерево он пересадил на свою фиктивную могилу по ошибке, как дореволюционный малограмотный старик, за что будет оштрафован согласно уставу сельхозартели. Правление колхоза заверяет, что случаи пересадки тунговых деревьев с колхозных плантаций на общественные кладбища и тем более личные приусадебные участки никогда не носили массового характера, а носят характер единичной несознательности.

Правление колхоза заверяет, что старик Шаабан Ларба, по прозвищу Колчерукий, никогда не насмехался над колхозными делами, а, согласно веселому и остроумному, как абхазский перец, характеру, насмехался над отдельными личностями, среди которых немало паразитов колхозных полей, которые являются героями в кавычках и передовиками без кавычек на своих собственных приусадебных участках. Но таких героев и таких передовиков мы изживали и будем изживать согласно уставу сельхозартели вплоть до изгнания из колхоза и изъятия приусадебных участков.

Старик Шаабан Ларба благодаря своему народному таланту передразнивает местных петухов, чем разоблачает наиболее вредные мусульманские обычаи старины, а также развлекает колхозников, не прерывая полевых работ».

Справка была заверена печатью и подписана председателем колхоза и председателем сельсовета.

Закончив дело, гости вышли на веранду, где были выпиты прощальные стаканы «изабеллы», и товарищ из райцентра через одного из членов правления дал намек, что не прочь послушать, как Колчерукий передразнивает петухов. Колчерукий не заставил себя упрашивать, а тут же поднес свою бессмертную руку ко рту и дал такого кукареку, что все окрестные петухи сорвались, как цепные собаки. Только хозяйский петух, на глазах которого произошел весь этот обман, сначала обомлел от негодования, а потом так раскудахтался, что его вынуждены были прогнать со двора в огород, потому что он оскорблял слух товарища из райцентра и мешал ему говорить.

— Воздействует на всех петухов или только на местных? — спросил товарищ из райцентра, подождав, пока прогонят петуха.

— На всех, — с готовностью пояснил Колчерукий, — где хотите попробуйте.

— Действительно народный талант, — сказал тот, и они все ушли, попрощавшись с дядей Мексутом, который проводил их до ворот и немного дальше.

Председатель колхоза точно выполнил обещанное в справке. Он оштрафовал Колчерукого на двадцать трудодней. Кро-

ме того, приказал пересадить назад тунговое деревце и навсегда засыпать могильную яму во избежание несчастных случаев со скотом. Колчерукий вновь откопал тунговое деревце и пересадил его на плантацию, но оно, не выдержав всех этих мучений, долгое время находилось в полувысохшем состоянии.

— Как моя рука, — говорил Колчерукий. Могилу свою он сумел отстоять, огородив ее довольно красивым штaketником с воротцами на шеколде.

После того как затихла история с анонимным письмом, родственник Колчерукого снова через одного человека осторожно напомнил ему насчет телки.

Колчерукий отвечал, что теперь ему не до телки, потому что его опозорили и оклеветали, что он теперь днем и ночью ищет клеветника и даже на работу ходит с ружьем. Что он не успокоится до тех пор, пока не вгонит его в землю, что он не пожалеет даже собственную могилу на этого человека, если этот человек своими размерами ее не слишком превосходит. Напоследок он передал, чтобы его родственник прислушивался и приглядывался к окружающим, с тем чтобы при первом же подозрении дал ему, Колчерукому, сигнал, а за Колчеруким дело не станет. Что только после выполнения своего мужского долга он, Колчерукий, утрясет с телкой и другими мелкими недоразумениями, вполне естественными в родственных делах близких людей.

Говорят, после этого родственник окончательно примолк и больше про телку не напоминал и старался не встречаться с Колчеруким.

Все-таки на одном пиршестве они встретились. Уже изрядно выпивший, ночью, во время пения застольной песни, допускающей легкие импровизации, Колчерукий несколько раз повторил одно и то же:

*О райда сиу райда, эй,
За телку продавший родственника...*

Пел он, не глядя в его сторону, отчего тот, говорят, постепенно трезвел и в конце концов, не выдержав, спросил у Колчерукого через стол:

— Что ты хочешь этим сказать?

— Ничего, — говорят, ответил Колчерукий и оглядел его, как бы снимая с него мерку, — просто пою.

— Да, но как-то странно поешь, — сказал родственник.

— У нас в деревне, — объяснил ему Колчерукий, — все сейчас так поют, кроме одного человека...

— Какого человека? — спросил родственник.

— Догадайся, — предложил Колчерукий.

— Даже не хочу догадываться, — отмахнулся родственник.

— Тогда я сам скажу, — пригрозил Колчерукий.

— Скажи! — осмелился родственник.

— Председатель сельсовета, — промолвил Колчерукий.

— Почему не поет? — пошел напролом родственник.

— Не имеет права давать намек, — разъяснил Колчерукий, — как получающий государственную зарплату.

— Можешь доказать? — спросил родственник.

— Доказать не могу, поэтому пока пою, — сказал Колчерукий и снова оглядел родственника, как бы снимая с него мерку.

На них уже начал обращать внимание встревоженный хозяин, боявшийся, что ему испортят пиршество, которое он затеял по случаю награждения сына орденом Красного Знамени.

Снова грянула песня и все пели, и Колчерукий пел вместе с другими, ничем особенным не выделяясь, потому что чувствовал, что хозяин следит за ним. Но потом, когда хозяин успокоился, Колчерукий, улучив мгновение, снова подсочинил:

*О райда сиуа райда, эй,
Оградил ее, родимую, штaketником... —*

спел он. Но хозяин его все-таки услышал и, говорят, наполнив рог вином, подошел к ним.

— Колчерукий! — крикнул он. — Кляннитесь нашими мальчиками, которые кровь проливают, защищая страну, что вы навсегда помиритесь за этим столом.

— Я про телку забыл, — сказал родственник.

— Что давно пора, — поправил его Колчерукий и обратился к хозяину: — Ради наших детей я землю грызть готов, пусть будет по-твоему, аминь!

И он, запрокинув голову, выпил литровый рог, не отнимая его ото рта, все дальше и дальше запрокидываясь, под общее, хоровое, помогающее пить: «Уро, уро, уро, у-ро-о...» А потом грянул застольную, а родственник, говорят, настороженно

ждал, как он пройдет то место, где можно импровизировать. И когда Колчерукий спел:

*О райда сиуа райда, эй,
О героях, идущих в огонь... —*

родственник несколько мгновений стоял, со всех сторон осмысливая сказанное, и наконец, уяснив, что он никак не похож на героя, идущего в огонь, окончательно успокоился и сам присоединился к поющим.

Осенью мы сняли богатый урожай со своего участка и вернулись в город с кукурузой, тыквами, орехами и несметным количеством сухофруктов. Кроме того, мы заготовили около двадцати бутылок бекмеза, фруктового меда, в данном случае яблочного.

Дело в том, что, по договоренности с бригадиром, мы должны были собрать яблоки с одной старой яблони, с тем чтобы половину урожая отдать колхозу, а половину себе.

В колхозе не хватало рабочих рук, просто некому было собирать яблоки, потому что все работали на основных культурах — чай, табак, тунг.

Получив разрешение на сбор яблок, мама, в свою очередь, договорилась с тремя бойцами рабочего батальона, стоявшего недалеко от деревни, что они нам помогут собрать, перетолочь и выварить из яблок бекмез, за что они получали половину нашего урожая.

Через неделю операция была блестяще завершена, мы получили двадцать бутылок тяжелого золотистого бекме-

за (чистый доход), заменившего нам сахар на всю следующую зиму.

Таким образом, дав великолепный урок коммерческой изворотливости, мы покинули колхоз, и голос Колчерукого остался далеко позади.

И вот уже много лет спустя, проездом на охоту, я снова очутился в этой деревне.

В ожидании попутной машины я стоял у правления колхоза под тенью все той же шелковицы. Я смотрел на здание пустующей школы, на дворик, покрытый сочной травой, словно это была трава забвения, на эвкалиптовые деревья, которые мы когда-то сажали, на старый турничок, к которому мы бежали каждую перемену, и с традиционной грустью вдыхал аромат тех лет.

Редкие прохожие, по деревенскому обычаю всех краев, здоровались со мной, но ни они меня, ни я их не узнавал. Какая-то девушка вышла из правления колхоза с двумя графинами, подошла к колодцу и, лениво раскрутив ворот, набрала воды, медленно вытянула ведро и стала набирать воду в графины, поставленные на деревянную колоду. Она набирала воду сразу в оба графина, одновременно поливая их водой, как бы любясь избытком прохлады. Выплеснула на траву остаток воды и, взяв мокрые графины, лениво пошла в сторону правления.

Когда она поднялась по ступенькам и вошла в дверь, я услышал, как оттуда навстречу ей выплеснулись голоса людей и снова все замолкло. Мне показалось, что все это уже когда-то было.

Какой-то парень на ржаво-скрипящем велосипеде проехал мимо меня, но потом, развернувшись с тугой раздумчивостью, подъехал ко мне и попросил закурить.

К багажнику велосипеда была приторочены две буханки. Я дал ему закурить и спросил у него, не знает ли он Яшку, внука Колчерукого.

— А как же, — ответил он, — Яшка — почтальон. Стой здесь, он скоро должен проехать на мотоцикле...

Парень, крепко, как пахарь за плуг, взявшись за руль, оттолкнулся и, обильно дымя сигаретой, повел дальше свой упирающийся, жалобно скрежещущий велосипед. Казалось, и жаркая погода, и этот несмазанный велосипед, и даже две буханки хлеба, притороченные к багажнику, входили в условие какого-то неведомого пари, которое он собирался во что бы то ни стало выиграть.

Я стал всматриваться в дорогу. В самом деле, вскоре я услышал треск мотоцикла. Конечно, я узнал его только потому, что ожидал. На своем легком мотоцикле он выглядел как Гулливер на детском велосипеде.

— Яшка! — крикнул я.

Он посмотрел в мою сторону, и мотоцикл испуганно остановился. В следующее мгновение он его, по-моему, слегка придавил к земле, и мотоцикл вовсе заглох.

Яшка выкатил его из-под себя, мы свернули с улицы и минут через пятнадцать лежали в тенистых зарослях папоротника.

Большой, дородный, с ленивой улыбкой на лице, он лежал рядом со мной, все еще похожий на того Яшку, который сидел

на лошади за дедом и рассеянно смотрел по сторонам. До недавнего времени, оказывается, он был бригадиром, но в чем-то провинился, и его теперь назначили почтальоном. Он мне об этом рассказал все с той же улыбкой. Еще в школьные годы было видно, что тщеславие не его слабость.

Кажется, дед его все запасы родовой ярости истратил сам, так что на Яшку ничего не оставалось, а может, он и истратил их на себя, чтобы Яшке просто незачем было приходить в ярость. Какая разница — бригадир так бригадир, почтальон так почтальон. Только, пожалуй, голос его такой же густой и сильной, как у деда, правда, без тех клокочущих переливов. Я, конечно, спросил его про деда.

— Как, ты ничего не слыхал? — удивился Яшка и посмотрел на меня своими большими круглыми глазами.

— А что? — спросил я.

— Все знают его историю, а где ты был?

— Я был в Москве, — сказал я.

— А, значит, до Москвы не дошло, — протянул Яшка с уважением к самому расстоянию от Абхазии до Москвы: раз уж такая история туда не дошла, значит, до Москвы ехать и ехать.

Яшка огреб и подмял под себя свежие кусты папоротника, поудобней подложил под голову сумку и рассказал мне последнее приключение своего неугомонного деда. Потом я эту историю слышал еще несколько раз от других, но в первый раз ее услышал от Яшки.

Я еще мысленно любовался могучим всплеском фантазии Колчерукого, когда вдруг...

— Жужуна, Жужуна! — закричал он без всякого перехода, даже не приподнявшись.

— Ты чего? — отозвался откуда-то девичий голос.

Я приподнялся и посмотрел по сторонам. За зарослями папоротника виднелась небольшая буковая рощица. В проветах между деревьями угадывалась изгородь и за нею кукуруза. Голос шел откуда-то оттуда.

— Письмо, Жужуна, письмо! — снова крикнул Яшка и подмигнул мне.

— Нарочно? — спросил я.

Яшка радостно кивнул головой и стал прислушиваться. Примолкшие было кузнечики снова стали осторожно перетикиваться.

— Абманчи-ик! — наконец раздался голос девушки, и я почувствовал, что манок почтальона уже поднял олененка.

— Быстрой, Жужуна, уеду, Жужуна! — восторженно откликнулся Яшка, пьянея не то от собственного голоса, не то от имени девушки.

Я понял, что мне пора уходить, и стал с ним прощаться. Продолжая прислушиваться, Яшка уговаривал меня остаться на ночь, но я отказался. И потому, что спешил, и потому, что оскорбил бы этим наших, к которым я так и не зашел. Я знал, что, если остаться здесь на ночь, никакой охоты не получится, потому что придется еще два дня приходиться в себя.

Выбираясь по тропинке на улицу, я еще раз услышал голос девушки, теперь он мне показался отчетливей.

—...От кого, тогда приду-у! — кричала она.

—...Приходи, тогда скажу, Жужуна, Жужуна! — призывно прозвучало в жарком августовском воздухе в последний раз, и я с какой-то смутной тоской, в просторечии именуемой завистью, выбрался на пустынную проселочную улицу.

По крайней мере, подумал я, все-таки традиции Колчерукого не умирают. Через полчаса я уехал дальше и с тех пор там не бывал. Все-таки я надеюсь как-нибудь выбраться к нашим, хотя бы для того, чтобы узнать, до чего Яшка докричался там со своей Жужуной!

Перескажу последнее приключение Колчерукого так, как оно у меня улеглось в голове. Колчерукий, говорят, благополучно дождался конца войны, дождался сына и прекрасно жил до последнего времени. Но с год назад пришел его срок умирать, и уже по-настоящему.

В тот день, говорят, он, как обычно, лежал на веранде своего дома и смотрел во двор, где паслась его лошадь. В это время приехал к нему на лошади Мустафа. Он спешился и взошел на веранду. Ему вынесли стул, и он уселся рядом с Колчеруким. Как обычно, они вспоминали о прошлом. Колчерукий мгновеньями не то впадал в забытье, не то засыпал, но каждый раз, приходя в себя, он говорил с того места, на котором остановился.

— Так ты в самом деле покидаешь нас? — говорят, спросил Мустафа, зорко вглядываясь в своего друга и соперника.

— В самом деле, — ответил Колчерукий, — теперь мне тамошних лошадей купать в тамошних реках...

— Все там будем, — вежливо вздохнул Мустафа, — да не думал, что ты первый...

— Ты, бывало, и на скачках не думал, что я буду первым, — отчетливо произнес Колчерукий, так, что родственники, дежурившие возле него, все слышали и даже слегка смеялись, придерживая свой смех ладонями, потому что смех возле умирающего, даже если этот умирающий Колчерукий, не слишком уместен.

Обидно стало Мустафе, да спорить неприлично, потому что человек умирает. Но если умирающий смеется над живущим, это как-то особенно обидно, потому что, раз умирающий над тобой смеется, значит, ты как бы оказался в еще более бедственном или жалком положении, чем он, а уж куда хуже.

Спорить, конечно, неприлично, а рассказать кое-что можно. И он рассказал.

— Раз уж ты уходишь в такую дорогу, я тебе должен кое-что сказать, — промолвил Мустафа, наклоняясь над Колчеруким.

— Если должен, скажи, — ответил Колчерукий, потому что смотрел во двор, где паслась его лошадь. В оставшееся время ему было интересней всего смотреть на свою лошадь.

— Не взыщи, Колчерукий, но тогда это я позвонил в колхоз, что ты умер, — сказал Мустафа, как бы скорбя, что обстоятельства не позволяют и теперь пустить этот ложный слух и что он, Мустафа, жалеет об этом, как истинный друг.

— Как же ты, когда говорили по-русски? — удивился Колчерукий и посмотрел на него. Мустафа русского языка не знал и был, несмотря на свой великий хозяйский ум, до того безграмотный, что вынужден был изобрести свой алфавит или, во всяком случае, ввести в личное употребление своеоб-

разные иероглифы, при помощи которых он отмечал своих должников, а также хозяйственные счета, основанные на сложных, многоступенчатых обменных операциях. Вот почему Колчерукий удивился, что он говорил по телефону, да еще по-русски.

— Через городского племянника, сам я рядом стоял, — объяснил Мустафа. — Раз тебя вылечили, я решил пошутить, да и машину без этого кто бы прислал? — добавил Мустафа, напоминая о трудностях того далекого времени.

Говорят, Колчерукий закрыл глаза и долго молчал. Но потом он медленно открыл их и сказал, не глядя на Мустафу:

— Теперь я вижу, что ты лучший лошажник, чем я.

— Так получается, — скромно признался Мустафа и оглядел тех, кто дежурил возле умирающего.

Но тут близкие не выдержали и стали всхлипывать, потому что Колчерукий первый раз в жизни признал себя побежденным, и это было больше похоже на его смерть, чем сама предстоящая смерть.

Колчерукий заставил их замолкнуть и, кивнув в сторону лошадей, сказал:

— Напоите, лошади пить хотят.

Одна из девушек взяла ведра и пошла за водой. Девушка принесла родниковой воды и поставила ведра посреди двора. Лошадь Колчерукого подошла к ведру и стала пить, а лошадь Мустафы повернула голову и потянула поводья. Девушка отвязала ее и, держа за поводья, стояла рядом, пока она пила воду. Лошади, вытянув шеи, тихо пили воду, и Колчерукий

с удовольствием следил за ними, и кадык на его горле двигался так, словно он сам пил воду.

— Мустафа, — сказал он наконец, обернувшись к другу, — теперь я признаю, что ты был лучшим лошадиником, но ты знаешь, что и я любил лошадей и кое-что в них понимал?

— А как же, кто этого не знает? — великодушно воскликнул Мустафа и оглядел всех, кто был на веранде.

— На днях я умру, — продолжал Колчерукий, — гроб мой будет стоять там, где стоят пустые ведра. После того как меня оплачут, я прошу тебя, сделай одно...

— Что сделать? — спросил Мустафа и, цыкнув на близких, потому что они снова пытались всплакнуть, наклонился к нему. Было похоже, что Колчерукий передает ему свою последнюю волю.

— Я прошу тебя трижды перепрыгнуть через мой гроб. Перед тем как закрыть крышку, я хочу услышать над собой лошадиный дух. Ты это сделаешь?

— Сделаю, если наши обычаи не видят в том греха, — обещал Мустафа.

— Думаю, не видят, — сказал Колчерукий, помедлив, и закрыл глаза — то ли уснул, то ли впал в забытие. Мустафа встал и тихо спустился с веранды. Он уехал, раздумывая над последней волей умирающего.

Вечером по этому поводу Мустафа собрал старейшин села и, угостив их, рассказал о просьбе Колчерукого. Старейшины посоветовались между собой и решили:

— Прыгай, если покойник так хочет, потому что ты лучший лошадиник.

— Он сам это признал, — вставил Мустафа.

— А греха в том нет, потому что лошадь мяса не ест — у нее чистое дыхание, — заключили они.

В эту ночь Колчерукий узнал о решении старейшин и, говорят, остался доволен. А через два дня он умер.

Снова послали горевестников по соседним селам, как когда-то во время войны. Некоторые весть о его смерти встретили с недоверием, а родственник, что приволок когда-то телку, даже сказал, что, мол, не мешало бы его проткнуть хотя бы наконечником посоха, чтобы убедиться, окончательно он умер или опять морочит голову.

— Проткнуть не надо, — терпеливо отвечал горевестник, — потому что через него будет прыгать лошади Мустафа. Так покойник захотел, когда был жив.

— Ну, тогда нужно ехать, — успокоился родственник, — потому что живой Колчерукий не даст через себя прыгать.

На похороны, говорят, собралось народу даже больше, чем в тот раз, когда никто не сомневался, что он умер. Многих привлекла возможность посмотреть на эти скачки через гроб или похороны с препятствием. Все знали о великом соперничестве друзей. Говорили, что Колчерукий, хоть он и мертвый, но дела так не оставит.

Потом некоторые утверждали, что сами видели, что Мустафа тренировался у себя во дворе, прыгая на своей лошади через корыто, поставленное на стулья. Но Мустафа с яростью, достойной самого Колчерукого, отрицал, что он прыгал через корыто, поставленное на стулья. Он говорил, что ло-

шадь его свободно перемахивает через ворота, так что Колчерукий его не достал бы, даже если б во время прыжка вынул свою знаменитую руку.

И вот на четвертый день после смерти, когда все окончательно попрощались со своим родственником и односельчанином, Мустафа встал у гроба, дожидаясь своего часа, скорбный и вместе с тем нетерпеливый.

Дождавшись, он произнес короткую речь, полную траурного величия. Он изложил героическую жизнь Шаабана Ларба, по прозвищу Колчерукий, от лошади к лошади, вплоть до последней воли. Вкратце, для сведения молодежи, как он сказал, Мустафа напомнил подвиг с уводом жеребца, когда Колчерукий не побоялся прыгать с обрыва, мимоходом дав знать, что, если б побоялся, было бы еще хуже. Он сказал, что снова напоминает об этом не для того, чтобы упростить подвиг Колчерукого, а для того, чтобы молодежь лишний раз убедилась в преимуществе смелых решений.

И тут, согласно желанию покойника, а также своему желанию, он вновь громогласно обратился к присутствующим старцам и снова спросил, нет ли в прыганье через гроб греха.

— Греха нет, — ответили старцы, — потому что лошадь мяса не ест — у нее чистое дыхание.

После этого Мустафа отошел к коновязи, отвязал свою лошадь, вскочил на нее и, взмахнув камчой, ринулся сквозь коридор толпы к гробу.

Пока он отходил к коновязи, с той стороны гроба убрали все лишнее и отодвинули людей, чтобы лошадь на них не наскочила. Кто-то предложил прикрыть покойника плащ-палаткой, чтобы земля из-под копыт не сыпалась на него. Но один из старцев сказал, что в том тоже греха нет, потому что покойник и так будет лежать в земле.

И вот, говорят, лошадь Мустафы доскакала до гроба и вдруг остановилась как вкопанная. Мустафа вскрикнул и огрел ее с обеих сторон камчой. Лошадь только крутила головой, скалилась, но прыгать никак не хотела.

Тогда Мустафа повернул ее на месте, галопом проскакал назад, слез, почему-то проверил подпруги и снова, как ястреб, ринулся на гроб. Но лошадь остановилась, и, сколько ни хлестал ее Мустафа, она так и не прыгнула, хотя и вставала на дыбы.

С минуту в напряженной тишине раздавалось только щелканье камчи и усердное сопенье Мустафы.

И тут, говорят, кто-то из стариков промолвил:

— Сдается мне, что лошадь через покойника не прыгает.

— Ну да, — вспомнил другой старец, — подобно тому, как хорошая собака не укусит хозяина, хорошая лошадь через покойника не прыгнет.

— Слезай, Мустафа, — крикнул кто-то из колхозников, — Колчерукий доказал тебе, что он лучше знает лошадей.

Тут, говорят, Мустафа повернул свою лошадь и, расталкивая толпу, молча выехал со двора. И тогда среди провожающих раздался такой взрыв хохота, который не то что на похоронах, на свадьбе не услышишь.

Хохот был такой, что секретарь сельсовета, услышав его в сельсовете, говорят, выронил печать и воскликнул:

— Клянусь честью, если Колчерукий в последний момент не выскочил из гроба!

Весело хоронили Колчерукого. Его загробная шутка на следующий день стала достоянием чуть ли не всей Абхазии. Вечером Мустафу все же уговорили прийти на поминальный ужин, потому что хотя прыгать через покойника не грех, но таить на покойника обиду все же считается грехом.

Когда умирает старый человек, в наших краях поминки проходят оживленно. Люди пьют вино и рассказывают друг другу веселые истории. Обычай не разрешает только напиваться до непристойности и петь песни. Хотя по ошибке кто-нибудь иногда и затянет застольную, но его останавливают, и он смущенно замолкает.

Когда умирает старый человек, мне кажется, вполне уместны и веселые поминки и пышный обряд. Человек завершил свой человеческий путь, и, если он умер в старости, дожив, как у нас говорят, до своего срока, значит, живым можно праздновать победу человека над судьбой.

А пышный обряд, если его не доводить до глупости, тоже возник не на пустом месте. Он говорит: свершилось нечто громадное — умер человек, и если он был хорошим человеком, это отметят и запомнят многие. И кто же достоин человеческой памяти, если не Колчерукий, который всю жизнь украшал землю весельем и трудом, а в последние десять лет, можно сказать, добрался и до своей могилы и ее заставил

плодоносить, собирая с нее, как говорят, неплохой урожай персиков.

Согласитесь, что далеко не всякому удастся собрать урожай персиков с собственной могилы, хотя многие и пытаются, но для этого им не хватает ни широты, ни отваги Колчереукого.

И да будет пухом ему земля, что, вероятно, вполне возможно, учитывая, что место ему выбрали хорошее, сухое, о чем он сам любил поговорить при жизни.

18. бригадир кязым

В течение войны и двух послевоенных лет в Чегеме трижды исчезала из колхозного сейфа большая сумма денег. И так как ключ от сейфа каждый раз был только у бухгалтера и бухгалтер никак не мог объяснить, куда делись деньги, его сажали.

Неделю назад был взят под стражу третий бухгалтер, когда обнаружилось, что из сейфа исчезло сто тысяч рублей. Бухгалтера отправили в кенгурийскую тюрьму, а председатель колхоза Аслан Айба пришел в Большой Дом просить помощи у Кязыма.

Кязым по праву считался одним из самых умных людей Чегема. К тому же всем было известно, что он раскрыл несколько преступлений, совершенных в Чегеме и окрестных селах, преступлений, которые не могла раскрыть кенгурийская милиция.

В простой крестьянской жизни всякий дар человека, если смысл этого дара ясен и нагляден, признается окружающими

спокойно и безоговорочно. Тогда как в интеллигентной среде, где наглядность того или иного дара как бы менее очевидна, то есть она чаще всего выражается в словах и подчеркивается словами же, оценки людей гораздо более запутанны и авторитеты гораздо чаще ложны.

Например, хороший поэт как будто бы не менее самоочевиден, чем хороший хозяин, но оспорить ценность стихов хорошего поэта легче, чем оспорить дар хорошего крестьянина, состояние поля или скотины которого слишком явно говорит за себя.

К тому же крестьянин, который хозяйствует хуже своего соседа, если бы стал утверждать, что на самом деле он хозяйствует лучше, выглядел бы вдвойне глупо. Продолжая получать урожай со своего поля меньший, чем у соседа, он бы еще потерял уважение односельчан.

А между тем в интеллектуальной среде дурная мысль, утверждая, что она богаче благородной мысли, может по многим причинам временно затмить ее и может собрать больший урожай признаний. Поэтому в интеллигентной среде соблазн лицемерия сильнее и больше возможностей для саморазвращения души.

Но именно поэтому лучшая часть интеллигенции нравственно мощней лучшей части крестьянства, потому что душа ее постоянно закаляется в борьбе с ложью и демагогией.

И именно по этой же причине большая часть крестьянства нравственно выше большей части интеллигенции, потому что большая часть интеллигенции самоутверждается за счет

постоянного подвирания, а большей части крестьянства, в сущности, незачем подвирать.

Вот почему молодой председатель колхоза Аслан Айба, не испытывая никакого стеснения, приехал сегодня в Большой Дом просить помощи у неграмотного бригадира Кязыма.

Сейчас они оба сидели на скамье у кухонного очага и разговаривали об этом деле. Кязым сидел, положив ногу на ногу и обхватив руками колено, глядя на огонь, слушал председателя.

— Ну, этих двоих взяли до меня, — говорил председатель, пошлепывая камчой по полу, — и я поверил, что они проворовались... Но я никак не могу поверить, что мой бухгалтер, бедняга Чичико, забрал из кассы такие деньги. И на что он мог надеяться? Может, дал кому-нибудь из своих городских родственников, есть у него там торгош один, а тот не успел вернуть? Голова лопается, а понять не могу.

— Все эти три воровства сделаны одной рукой, — сказал Кязым, продолжая глядеть в огонь... — А так как третий раз украли деньги, когда двое бухгалтеров уже сидели, правильно будет думать, что эта рука принадлежит совсем другому человеку.

— Но кому же, — пожал плечами председатель и хлопнул камчой по полу, — ключ всегда был только у бухгалтера. Умоляю, подумай об этом как следует.

— Я подумаю, — сказал Кязым, скручивая сигарку. Скрутив ее, он наклонился к огню, озарившему его красивую, коротко остриженную голову с впалыми щеками и с маленьки-

ми, глубоко посаженными глазами. Он приподнял головешку, шурясь от дыма, прикурил и бросил ее обратно в очаг.

Через несколько минут они вышли из кухни, и Кязым отвязал председательского каракового жеребца, привязанного к перилам кухонной веранды, и, придерживая нетерпеливого коня, помог председателю сесть на него.

Был жаркий летний день, но небо покрывали разорванные, куда-то плывущие облака, и солнце то появлялось, то исчезало. И если с чегемских высот глядеть на окружающие холмы и долины, они были в тенистых и солнечных пятнах, как шкура неведомого животного.

Кязым провожал председателя к верхним воротам двора, мягко ступая по зеленой траве чувяками из сыромятной кожи. Он шел своей легкой, как бы ленивой походкой, однако свободно поспевающей за пританцовывающим жеребцом.

Сейчас они говорили о новом табачном сарае, который Кязым вместе с помогавшим ему Кунтой покрывал дранью. Он обещал председателю через неделю закончить работу.

Кязым распахнул ворота, и жеребец, выйдя на верхнечегемскую дорогу, защелкал по камням нетерпеливыми копытами.

— Прощу как брата, подумай как следует! — крикнул председатель и огрел камчой внезапно вспыхнувшего и залоснившегося червонными подпалинами жеребца — солнце глянуло из-за облаков.

— Ладно, — сказал Кязым, невольно любуясь сильным, уносящим за поворот дороги шелканье копыт жеребцом.

Щелканье это, грустной сладостью отдавшееся в душе Кязыма, наконец смолкло, и он перевел взгляд на улы, стоявшие от него налево вдоль плетня. Руки его с большими разработанными кистями были по привычке засунуты за оттянутый ремешок тонкого кавказского пояса, что невольно подчеркивало особенность его фигуры с необычайно впалым животом и выпуклой грудью.

Со двора раздавался почти несмолкающий смех и визг детей. Это его младшая дочка Зиночка со своей ровесницей рослой Катусей, дочкой Маши, катали на овечьей шкуре его четырехлетнего сына.

На неровностях зеленого двора девочки пытались выдернуть из-под малыша шкуру, на которой он восседал, вцепившись крепкими ручонками за клочья свалывшейся шерсти. Большая черная дворняга тоже принимала участие в игре и, полаявая, трусила за шкурой. Когда малыш шлепался со шкуры, девочки продолжали бежать, делая вид, что не заметили потери. Но тут их догоняла собака и, вцепившись в шкуру, шутливо рыча, пыталась их остановить, чтобы они подобрали малыша.

— Упал! — раздраженным голосом кричал им вслед маленький Гулик, как если бы речь шла не о нем, а о каком-то постороннем предмете. Именно постоянство этой интонации и поза малыша сместили девочек, и они, заливаясь хохотом, как бы спохватываясь, что шкура опустела. А малыш, каждый раз почему-то не меняя позы, в которой он очутился, слетев со шкуры, сердито смотрел им вслед, как бы говоря: «Вот дуры-то, никак не научатся катать меня!»

Кязым, не вынимая сигарки изо рта, стоял возле ульев, вслушиваясь не то в дружный гул пчел, влетающих и вылетающих из летков или ползающих вокруг них, не то вслушиваясь в далекую песню женщин, нижуших табак в табачном сарае, не то в брызжущие радостью голоса детей, волочащих по двору овечью шкуру.

На самом деле он слушал все это и одновременно думал о том, что случилось с колхозным сейфом. Он чувствовал, что этот мотор уже включился, и то, что он слышит и видит вокруг, уже не мешает, а, наоборот, помогает спокойно думать. Продолжая думать о своем, он подошел к крайнему улью, выплюнул окурок, нагнулся и плавно, чтобы не раздражать пчел, обхватив двумя руками колоду, приподнял ее. По тяжести колоды он почувствовал, что в ней накопилось достаточно меда. Обычно он так определял, пора качать мед или нет. После долгой, дождливой погоды он так же определял, есть ли мед в улье, делая скидку на отяжелевшую от дождя колоду.

Сейчас он решил вскрыть ульи. Возвращаясь на кухню, он мимоходом залюбовался озаренными солнцем липами босоногих девочек, волочащих шкуру, и своим малышом, важно восседающим на ней. Увидев, что Кязым на мгновение остановился и смотрит на них, собака, бежавшая за шкурой, тоже остановилась, словно спрашивая у хозяина: «Не выглядит ли это постыдным, что я, взрослая, умная собака, забавляюсь с детьми?»

Но тут Кязым перевел взгляд на свою рыжую корову, стоявшую у противоположной стороны двора, уныло опустив голову со струйкой слюны, стекающей изо рта. Рыжуха уже

целую неделю не паслась, она только пила мучной отвар, который готовила ей жена Кязыма. Она не подпускала к себе теленка, потому что у нее под выменем образовалась огромная опухоль и, чтобы насильно выдоить корову, кому-нибудь приходилось придерживать ее за рога.

Пока он глядел на нее, солнце зашло за облако, и сразу потускнел зеленый двор и брызжущие весельем голоса детей как бы отделились. Кязым вспомнил, что сегодня к вечеру он просил подойти четверых соседских парней и он вместе с ними собирался свалить корову и вскрыть опухоль.

На том конце двора хлопнула калитка. Эта жена его Нуца поднялась с родника с медным кувшином на плече. Чуть наклоненная вперед, тонкая, худая, она мерными и сильными шагами пересекала двор. Он вошел в кухню вслед за ней и, когда она, охнув, опустила кувшин с плеча и поставила его возле дверей, взял со стола кружку и, наклонив мокрый, ледяной кувшин, налил себе воды и медленно выпил.

— Когда ж ты возьмешься за Рыжуху, — сказала жена, тяжело переводя дыхание, — жалко животную, да и я с ней замучилась.

— Сегодня вечером, — ответил он и прошел в кладовку. Там он снял висевший на стене таз, вложил в него охапку специально засушенного конского помета, лежавшего в деревянном корыте, вышел на кухню, достал из очага пылающую жаром головешку и сунул ее в таз. Помет сразу же задымил едким пахучим дымом. Он достал с очажного карниза кривой обоюдоострый нож для срезания сот, жена подала ему боль-

шое ведро, и он, взяв его в одну руку, а другой придерживая свой дымарь, вышел из кухни.

— Ох и закусают тебя когда-нибудь пчелы, — сказала ему вслед жена, но он ей ничего не ответил. Он всегда вскрывал ульи без сетки и рукавиц.

— Пепе мед будет доставать! — закричала Зиночка и вместе со своей двоюродной сестричкой, бросив шкуру, побежала за ним. Так почему-то называли его дети. Малыш Гулик тоже, стараясь не отстать, однако и не выпуская шкуру, ковылял за ними. И только собака осталась на месте и теперь сидела, слегка склонив свою большую голову, по опыту зная, что хозяин не любит, чтобы подходили к нему, когда он вскрывает ульи.

Кязым обернулся и строго посмотрел на детей, показывая, чтобы они не шли за ним. Дети остановились. Малыш тоже стал, все еще придерживая шкуру.

Кязым снова стал подниматься к ульям и снова услышал за собой шорох волочащейся шкуры. Он обернулся и снова молча и строго посмотрел на детей сквозь клубы дыма, поднимающегося из таза. Малыш, все еще сжимающий в руке край шкуры, теперь был впереди. Он меньше других чувствовал силу отцовской строгости и потому теперь оказался впереди. Но на этот раз девочки прониклись сознанием власти обычаев, не разрешающих ни подходить, ни разговаривать вблизи человека, вскрывающего ульи. Зиночка взяла за руку малыша и, шепотом уговаривая его, повернула назад.

Тихими, плавными шагами Кязым подошел к крайнему улью. Осторожно, чтобы не звякать, поставил ведро, опустил

таз и положил рядом нож. Таз все гуще и гуще продолжал дымить едким дымом лошадиного помета. Он любил этот запах, как и все, что связано с лошадьё. Да, как все, что связано с лошадьё, но об этом лучше было не думать.

Он наклонился над ульем, крепко ухватился обеими руками за середину верхней части раздвоенной колоды, приподнял ее и, перевернув, поставил на землю. Из колоды пахнуло сильным запахом свежего меда. Пчелы взволнованно загудели вокруг него. Он так переставил таз, чтобы движением дыма подальше оттеснить пчел. Таз дымил все гуще и гуще.

Перевернутая половина колоды была почти заполнена ровными рядами золотящихся и темно-коричневых сот. Он взял в руки нож и стал медленными плавными движениями соскабливать сочащиеся соты и, приятно чувствуя ладонями их легкую тяжесть, перекладывать в ведро. Одна пчела исхитрилась укусить его в кисть руки и застряла на ней, не в силах вытащить жало. Он спокойно отшелкнул ее пальцем другой руки и продолжил работу. Примерно половину сот он вытащил из колоды, а остальные оставил на прокорм пчелам. Так, медленно переходя от одного улья к другому, он откачал все десять. Ведро с верхом было наполнено сочащимися, янтарными и темно-коричневыми сотами. В ячейках некоторых из них шевелились полузадохшиеся пчелы.

Солнце снова выглянуло из-за облака и засверкало в слитках сот, дробясь в темно-коричневых и опрозрачивая янтарные. Кязым воткнул нож в соты, взял в одну руку ведро, в другую все еще дымящийся таз и, подойдя к изгороди, вывалил в кусты крапивы остатки дымящегося помета.

Боль в искусанных ладонях напомнила ему о корове, он глянул туда, где она стояла. К ней подошел теленок и несколько раз попытался ткнуться ей в вымя, но она каждый раз отодвигалась от него, а потом даже отогнала его рогами. Не в силах осознать причину раздражения матери, теленок уныло постоял, а потом отошел к другим телятам и стал щипать траву.

— Пепе мед достал! Пепе мед достал! — кричали одновременно Зиночка и маленький Гулик, пока он переходил двор. Катюша, стоя рядом с ними, застенчиво рдела, стыдясь из-за своей чрезмерной рослости так откровенно радоваться предстоящему лакомству.

Они вслед за ним вошли в кухню. Малыш все еще волочил за собой шкуру. Дети уселись на скамью возле кухонного очага. Нуца раздала им железные миски и, отрезая большие куски сот, шмякала каждому из них в миску.

— Маш-Аллах! (Благодать!) — сказала она и прямо с кончика ножа отправила себе в рот большой кусок сот.

— Смотри, нож не проглоти, — сказал Кязым, взглянув на жену.

— Может, попробуешь? — спросила она у него, жуя и смачно обсасывая вошину.

Кязым сморщился — он не любил сладкого.

— Полей мне, — сказал он и вышел на веранду. Жена вынесла ему кувшинчик с водой, и он с мылом тщательно вымыл свои липкие от меда, искусанные пчелами ладони.

Потом он покурил, сидя у огня, с удовольствием прислушиваясь к чмоканию детей, к их радостным восклицаниям, к их

пугливым выкрикам, когда они отмахивались от пчел, вслед за медом влетевших в кухню. Кязым потеплевшими глазами косился на малыша, который наконец бросил свою шкуру и обеими руками запихивал в рот куски сочащихся сот.

— Я буду у себя в комнате, — сказал он жене, вставая, — кто бы ни спрашивал, говори, что меня нет.

— Хорошо, — сказала Нуца и, приподняв ведро с медом и взяв в другую руку таз, пошла в кладовку, где повесила таз на место, а мед переложила в кадку.

Почти до самого вечера Кязым лежал у себя на кушетке и думал, изредка выходя на кухню, чтоб прикурить от очажного огня. Корова все еще неподвижно стояла у штакетника, и, только если к ней подходил теленок, она отодвигалась, и он, уныло постояв возле нее, снова отходил к двум другим телятам.

— Подымайся, ребята пришли, — сказала жена, входя в комнату, где лежал Кязым.

— Ага, — сказал он и, привстав, еще несколько мгновений, очнувшись от своих мыслей, сидел как бы спросонья. Потом он встал и пошел на кухню.

Четверо молодых парней сидели на кухонной скамье и весело болтали, ложками доставая соты из железных мисок и сплевывая выжеванную вошину в огонь. Увидев его, ребята встали, смущенно замолкая и как бы по инерции дожевывая то, что у них оставалось во рту. Он посадил их движением руки, показывая, что они могут продолжать баловаться угощением. Налив из кувшина кружку воды, он вышел на веранду и уселся на скамью возле точильного камня. Плеснув воды на

камень, он вынул из чехла, висевшего у него на поясе, нож и доточил его.

— Вынеси-ка первача! — крикнул он жене, плеснув остатки воды на лезвие ножа. Жена принесла из кладовки пол-литровую бутылку розовой чачи. Он открыл бутылку, заткнув острруганным куском кукурузной кочерыжки, и, не скупясь облил с обеих сторон лезвие ножа пахучей виноградной водкой. Продолжая держать нож в руке, он закупорил бутылку и крикнул на кухню: — Вставайте, сладкоежки!

Ребята, посмеиваясь и дожевывая вощину, вышли из кухни. Держа в одной руке нож, а в другой бутылку с чачей Кязым вместе с ребятами вышел во двор.

Собака, увидев в его руке нож, потянулась за ними, думая, что он собирается резать корову и ей, как это бывает в таких случаях, кое-что перепадет.

— Прочь! — прикрикнул на нее Кязым, и она, остановившись посреди двора, стала издали следить за ними.

Кязым первым подошел к корове. Опустив голову и не пытаясь отгонять мух, кружащихся возле нее и ползающих вокруг ее печальных глаз, она стояла у штакетника. Кязым поставил бутылку, прислонив ее к штакетнику, и вонзил нож в одну из планок. Потом он разогнулся и встал перед головой коровы, сметя ладонью мух, лепившихся возле ее глаз, и, придерживая ее одной рукой за рога, другой стал почесывать холку.

— Вы будете придерживать ее с той стороны, — сказал он двоим парням, — чтобы она не грохнулась на землю, а вы по моему знаку сдерните ее с ног.

Он выбрал глазами двоих, что покрепче, и поставил их возле коровы, чтобы они обеими руками одновременно дернули ее за заднюю и переднюю ноги. Двое других, поставленные с другой стороны, должны были в это время подхватить корову, чтобы она мягко легла на землю.

По знаку Кязыма двое парней, те, что присели на корточки, взявшись обеими руками за дальнюю от себя переднюю и заднюю ноги коровы рванули на себя, но корова устояла. Несколько раз он им подавал знак, но то ли сил у них не хватало, то ли они не успевали это сделать одновременно, корова только вздрагивала, переступала с ноги на ногу и не падала.

— А ну-ка отойдите, — сказал Кязым, и оба парня, сидевшие на корточках, красные не столько от напряжения, сколько от стыда, распрямились. Он поставил одного из них держать корову за рога, а другого присоединил к тем, что должны были ее подхватить.

Он присел на корточки и, говоря ласковые слова, стал поглаживать переднюю и заднюю ноги коровы, чтобы она расслабилась.

— Приготовьтесь, — сказал он парням, не меняя ласковой интонации, чтобы скрыть от коровы то, что он собирался сделать, и, обхватив своими большими ладонями ноги коровы у самых бабок, мощным и резким движением вырвал из-под коровы обе ноги: она, словно спохватившись, пыталась несколько секунд устоять на двух, а потом опрокинулась, но ее подхватили стоявшие с другой стороны ребята и не дали ей рухнуть.

— Ну и силища, — сказал один из тех, что приседал на корточки, — заживо нас похоронил...

— Так мы ж дети войны, — отшутился второй, — а Кязым николаевский, на мясе вырос...

Да, Кязым знал, что все еще силен, но сердце у него ни к черту не годилось. После особо тяжелой работы или крепкой выпивки оно слишком давало о себе знать. Да и сейчас он несколько минут сидел на корточках, стараясь отдышаться.

Отдышавшись, он наклонился и стал рассматривать большую опухоль, вздувшуюся у самого вымени.

— Держи ее, — сказал Кязым и стал, осторожно нажимая на сосцы, выдаивать корову. Корова вздрагивала при каждом нажиме и тихо стонала. Молоко было розовым от крови. Отдоив ее, он потянулся за ножом, вытащил его, переложил в правую руку и стал поглаживать место опухоли, стараясь понять, куда брызнет гной, чтобы не оказаться на его пути. Он поднес к опухоли нож. — Сейчас изо всех сил держите. Особенно задние! — приказал он ребятам.

Двое парней придерживали корову за задние ноги, один за передние, а один за рога, чтобы она не ушиблась, ударившись головой о землю.

Кязым полоснул острым как бритва ножом вдоль по опухоли. Корова сдавленно мыкнула и дернулась изо всех сил. Фонтан гноя выхлестнул из раны.

— Крепче держите! — яростно заорал Кязым и еще раз полоснул ножом по опухоли, на этот раз поперек первого надреза. Теперь гной шел вместе с кровью.

Кязым обеими руками сдавливал живот коровы вокруг раны, чтобы как можно больше крови и гноя вышло из нее. Корова стонала, как человек. Кязым взял в руки бутылку, открыл ее и, опять приказав ребятам как можно крепче держать корову, стал медленно вливать в рану огненную чачу.

Корова то и дело вздрагивала, шумно отдувалась, стонала. Он вливал долго, замедленно, стараясь, чтобы водка как можно глубже проникла в распахнутую рану.

— Хоть бы нам немного оставил, — пошутил один из парней. Кязым оставил его слова без внимания. Такая шутка по абхазским обычаям считалась фамильярной.

Корову отпустили и отошли на несколько шагов. Она полежала, полежала, а потом, пару раз дернувшись, перевернулась на живот, встала на ноги и отошла на несколько шагов. Почуввав кровь, собака стала медленно подходить к тому месту, где до этого лежала корова.

— Прочь! — прикрикнул на нее Кязым, и собака, отпрянув, отошла на середину двора, дожидаясь, когда они отойдут от коровы. Но тут жена Кязыма принесла на лопатке горячую золу из очага и тщательно присыпала те места, куда пролилось молоко, кровь и гной.

* * *

На следующее утро Кязыма разбудил радостный голос жены.

— Рыжуха пасется! — крикнула она, входя в комнату, где он лежал.

Кязым встал, оделся и вышел на веранду. Корова паслась посреди двора. Если приглядеться, можно было понять, что она не так охотно щиплет траву, как обычная корова, но все-таки это был явный признак, что она выздоравливает.

Пока он умывался, к ней подошел теленок, но она на этот раз, не дожидаясь, когда он ткнется ей в вымя, бодро отошла от него на несколько шагов и снова стала щипать траву. Теленок постоял, словно все еще силясь понять, что случилось с матерью, а потом стал вяло пощипывать траву.

Жена с ведром и хворостиной в руке пошла на скотный двор доить коз.

— Лошадь не выпускай! — крикнул он ей, утираясь полотенцем.

— Куда это ты собрался? — обернулась Нуца.

— Куда надо, — сказал он и прошел на кухню.

Восемнадцать лет он жил со своей женой, и она, ревнуя его ко всем его делам, не относящимся к дому и хозяйству, всегда пыталась отлучить его от этих дел, и хотя за все эти годы ей ни разу не удалось это, она так и не смирилась и не оставляла своих упорных, хотя и обреченных попыток.

Он зашел на кухню, разгроб спрятанные в золе еще не погасшие угольки, потом вышел на кухонную веранду и принес оттуда охапку дров и сухих веток. Сгрел угольки и, дуя на них и накладывая сверху пучок наломанных веток, выдул огонь и, когда он как следует занялся, подложил дров.

Потом он зашел в кладовку, где на стене гирляндой висела низка сухого табака. Выдернув из нее охапку листьев и вер-

нувшись на кухню, он сел верхом на скамью. Беря из вороха табачных листьев по одному листу, он клал его на скамью, разглаживал своей большой ладонью, а затем придавливал растопыренными пальцами, другой же рукой, взявшись за черенок, осторожно, чтобы не повредить лист, отпарывал его вместе со всеми прожилками, вылезаящими сквозь его растопыренные пальцы. Отпарывая черенки, он аккуратно складывал листья, как складывают деньги, и, может быть, получал от этого не меньше удовольствия, чем торговец, приводящий в порядок шальную выручку, или удачливый игрок. Потом он перегнул всю пачку, что тоже нередко проделывают владельцы денег, и не только шальных, и, вынув свой нож, с хрустом перерезал ее, что полностью исключает всякое, даже отдаленное сходство с действиями владельцев денег.

Сложив перерезанную пачку листьев и сравнив их по срезу, он стал тонко состругивать табак. Нарезав его до последнего маленького комочка, который он вместе с черенками отшвырнул в огонь, он разрыхлил и распушил руками кучерявящиеся стружки табака и, вынув из кармана свою большую кожаную табакерку, плотно набил ее.

Как и всякому истинному курильщику, эта возня с табаком доставляла ему удовольствие. Он вынул клочок газетной бумаги, оторвал от нее на сигарку, промял в пальцах, насыпал табаку, свернул, прикурил от огня и с удовольствием затянулся.

Вошла жена с полным ведром молока.

— Пора бы разбудить твоих лежебок, — сказал он, вставая.

— Оставь детей, — ответила Нуца, переливая молоко сквозь цедилку в котел, — пусть спят до завтрака.

Он снял с кухонной стены уздечку и вышел во двор.

— Куда это ты собрался? — крикнула жена ему вслед, голосом заранее осуждая его поездку.

— В правление, — ответил он, не останавливаясь.

— Что это ты там потерял? — крикнула она вслед его стройной, высокой фигуре, пересекающей двор. Он ей ничего не ответил.

С тех пор, как его любимая лошадь Кукла, во время войны мобилизованная для доставки боеприпасов на перевал, вдруг сама вернулась домой, до смерти замученная, со стертой спиной, а главное, он был в этом абсолютно уверен, со сломленным духом, с навсегда испорченными скаковыми качествами, он дал себе слово никогда не заводить лошадей. Ни один человек в мире не знал, как он пережил тогда порчу любимой лошади, и он дал себе слово больше никогда в жизни не заводить лошадей. Куклу он продал, чтобы вид ее не терзал душу.

И все-таки недавно его друг Бахут, который тоже был лошадиником и кое о чем догадывался, предложил ему эту лошадь.

— Посмотри, — сказал Бахут, — не понравится — вернешь, а понравится — купишь...

После той последней лошади он боялся полюбить какую-нибудь лошадь. И он старался к этой лошади относиться как к обычной домашней скотине, и как будто это ему удавалось, но что-то во всем этом было не то. Лошадь была хорошая, и ему, прирожденному лошадинику, надо было породниться с ней, но

память о той боли вызывала боязнь ее повторенья, и он удерживал себя. И это в глубине души его порождало ощущение вины перед лошадью, и он был уверен, что сама лошадь чувствует его несправедливое равнодушие к ней, его холодность. Разумеется, ни одному бы человеку в мире он не признался в этом. Он был прирожденный лошадиник и до войны неоднократно брал призы на скачках, но с этим, он считал, навсегда покончено.

Он зашел на скотный двор, поймал лошадь, надел на нее уздечку и, приведя во двор, привязал к кухонной веранде.

— Говори людям, что Нури в городе растратил деньги и попал в беду, — сказал он жене, войдя в кухню, — говори людям, что нам нужно у кого-нибудь занять пятьдесят тысяч рублей.

Нури был младшим сыном Хабуга. Перед войной он, повздорив с мужем своей сестры и будучи необычайно вспыльчивым парнем, запустил в него топором, и тот умер от кровотечения. Дело удалось замять, потому что властям никто не жаловался, однако на семейном совете Нури был навсегда изгнан из семейного клана и Чегема.

Но после войны, когда старого Хабуга уже не стало, когда столько близких не вернулось домой и сам Нури был тяжело ранен, отношение к нему смягчилось. Он стал изредка приезжать в Чегем из города, где он жил, и только сестра, беззаветно любившая своего мужа, не прощала его, не виделась с ним и не разговаривала.

— Да ты что надумал! — услышав слова мужа, воскликнула Нуца и, обернувшись к нему, так и застыла с мамалыжной лопаточкой в руке.

— Так надо, — твердо сказал Кязым и, скрутив сигарку, нагнулся и ткнул ее в жар очага.

— Да во всем Чегеме не найдется таких денег! — воскликнула жена.

— Думаю, кое у кого и больше найдется, — сказал он, усмехнувшись.

— Да чтоб я отрыла кости своих покойников, если во всем Чегеме найдутся такие деньги! — воскликнула жена.

— Оставь в покое кости своих покойников, — сказал он, — и займись своей мамалыгой.

— Ты лучше скажи мне, что ты надумал? — опять тревожно спросила жена, и он в который раз подивился ее упорству. Восемнадцать лет она неизменно спрашивала у него, что он надумал, и за это время он ни разу не признался ей в том, что он надумал, и все равно она каждый раз, когда он что-нибудь затевал, пыталась вытянуть из него его помыслы. Но он никогда ей не открывался в своих помыслах и тем более сейчас не мог открыться, потому что она своим куцым бабьим умом могла все испортить.

— Делай, как я тебе сказал, — проговорил он твердо, — когда надо будет, узнаешь!

Она поняла, что ничего от него не добьется, и некоторое время молча мешала мамалыжную заварку своей лопаточкой.

— Смотри, в беду не попади, — вздохнула она через минуту и стала сыпать муку в мамалыжный котел.

— Авось не попаду, — сказал он.

Нуца молчала, но по глухому, яростному стуку мамалыжной лопаточки о дно котла он понимал, что она сдерживает раздражение.

Дети встали, и старшая дочь, семнадцатилетняя Ризико, взяв кувшин, пошла на родник за водой.

— Опухли со сна, — сказал он, обращаясь к старшему сыну Ремзику и дочке Зиночке, потиравшей свое сонное хорошенькое личико.

— Оставь детей! — бросила жена, с трудом проворачивая лопаточкой густой замес мамалыги.

— Пепе, конфет привези! — строго сказал ему малыш, перековыляв через порог кухонной двери. Увидев лошадь, привязанную к перилам кухонной веранды, он понял, что отец куда-то едет, и решил немедленно извлечь пользу из этого факта. Кязым молча глянул на малыша.

— Погонишь коз в глубину котловины Сабида и веди их все время вдоль ручья, — сказал он старшему сыну, севшему на кушетке, — там выпасы хорошие.

— Знаю без тебя, — огрызнулся сын.

— Как ты с отцом говоришь? — обернулась к сыну Нуца.

Кязым промолчал. Ремзику было пятнадцать лет, и он уже стыдился, что его заставляют пасти коз. Это было то странное и новое, что медленно, но неостановимо входило в Чегем. Почему-то все стыдились пастишить, чего никогда не стыдились их отцы и деды.

Позавтракав вместе с семьей, Кязым вынес остатки мамалыги и стал кормить собаку, молча дожидавшуюся своего часа у по-

рога кухонной веранды. Небольшими ломтями он бросал ей мамалыгу, чтобы она не подавилась от жадности. Лоснясь на солнце черной шерстью, она, благодарно помахивая хвостом, клацая зубами, ловила добычу и почти мгновенно ее проглатывала.

Потом он вымыл руки и оседлал лошадь.

— Соли купи, раз уж едешь туда, — сказала жена и, вынеся мешочек, попыталась приторочить его к седлу. Но он взял у нее мешочек и сунул его в карман. Он знал, что в доме еще достаточно соли, но жена этой просьбой как бы привязывала его к семье, от которой, как ей казалось, он все норовит оторваться ради каких-то особых мужских или общечегемских дел.

Он отвязал лошадь, молча перекинул через седло свое легкое, сильное тело и зарысил через двор на верхнечегемскую дорогу.

Минут через сорок он въехал в сельсоветовский двор и, привязав лошадь у коновязи, поднялся в правление колхоза. Две счетоводки, одна — молодая девушка, а другая — женщина его возраста, склонившись к своим столам, щелкали счетами. Казалось, их печальные лица все еще излучали траур по арестованному бухгалтеру.

— У себя? — кивнул он на председательскую дверь.

— Да, — ответили обе, вставшие при его появлении. Лицо той, что была старше, тихо оживилось отсветом далекой нежности. Он рукой им показал, чтобы они сядились, и прошел в кабинет председателя.

Эта женщина, его ровесница, всю жизнь любила Кязыма, о чем он, вероятно, никогда не догадывался. В юности она счи-

тала его настолько умнее и красивее себя, что никогда ни ему, ни кому другому не раскрывалась в своей любви. Она считала, что он достоин какой-то необыкновенной девушки, и у него как будто была такая из села Атары и между ними было слово — так говорили люди. Но та девушка вдруг вышла замуж за другого человека, а Кязым через много лет женился на своей теперешней жене. Что там случилось, она не знала. Прошли годы, она сама вышла замуж, родила детей, но чувство не прошло, прошла боль, и она продолжала издали следить за его жизнью и тревожиться за него, потому что знала, что у него большое сердце.

Минут двадцать он находился в кабинете председателя, и сейчас обе женщины удивлялись, что из кабинета не доносятся голоса. Ясно было, что там нарочно говорят очень тихо. Наконец скрипнул отодвинутый стул, и они услышали голос Кязыма:

— Только чтобы ни один человек не знал, иначе все сорвется...

— О чем ты, Кязым, — раздался голос председателя, — это умрет между нами...

Дверь открылась, и Кязым вместе с председателем вышли в комнату, где сидели счетоводки.

— А у тебя в сводке ошибка, — сказал Кязым, усмешливо глядя на девушку. Последнее слово он сказал по-русски. Оно легко вошло в абхазский язык как некое важное государственное понятие, которое в переводе звучит не вполне точно.

— Разве? — спросила девушка, густо краснея. Она знала, что он никогда не ошибается.

— А ну берись за свою щелкалку, — сказал он, подходя к столу.

Он знал, что она не нарочно ошиблась, но ему всегда доставляло удовольствие уличать в ошибках и поправлять грамотных людей. Он стал перечислять работы, проделанные его бригадой за последний месяц. И когда она перемножала гектары прополотой кукурузы и табака, шнурометры нанизанных табачных листьев, он стоял над ней, каждый раз в уме умножая быстрее и называя цифру раньше, чем она выщелкивала ее на счетах.

— Ну вот, умница, видишь, — говорил он, когда названная им цифра совпадала с той, которую она щелкнула. Если она ошибалась, а иногда она ошибалась и оттого, что председатель на нее смотрел и Кязым стоял над душой, он говорил:

— А ну перещелкай наново!

И она перещелкивала, и все получалось так, как он говорил.

— Эх, — сказал председатель, когда он закончил проверку сводки, — если б кое у кого в Кенгурске была такая голова, мы бы к чему-нибудь вышли.

— Бери выше! — не удержалась ровесница Кязыма.

— Ну ты это брось, — сказал председатель.

На столе у девушки лежала свежая газета, и Кязым вспомнил, что у него кончается бумага на курево. До войны он всегда покупал папиросную бумагу, но почему-то после войны ее не стало.

— Что-нибудь стоящее написано? — спросил Кязым у председателя, показывая рукой на газету. Он это спросил с обычной

своей дурашливой серьезностью, о которой председатель прекрасно знал.

— Ладно, ладно. бери, — сказал он, не желая, чтобы Кязым распространялся по этому поводу перед работницами правления.

— Нет, если что нужно, тогда зачем же, — сказал Кязым, свертывая газету и кладя ее себе в карман, — ей бы цены не было, если б ее без закорючек выпускали.

— Ну, хватит, — сказал председатель, пытаясь пресечь уже не вполне безопасные даже для Чегема разговоры.

— Так я же не про все говорю, — добавил Кязым, — я только про те, что присылают нам, деревенским...

Женщина улыбнулась.

— Умный человек, а дурь всякую болтаешь, — ворчливо заметил председатель и, слегка подталкивая Кязыма, вывел его на веранду.

Кязым спустился с крыльца и подошел к своей лошади. Тут он вспомнил наказ жены, а вернее, своего малыша.

— Продавец у себя? — спросил он, уже держась за луки седла и обернувшись к председателю, все еще стоявшему на крыльце. Лавка была расположена в здании правления, но с задней стороны.

— За товаром уехал в Кенгурск, — сказал председатель.

— Хоть бы раз я увидел его товары, — сказал Кязым, усаживаясь на лошадь и носком ноги находя стремя, — а он только и делает, что ездит за товарами.

Он поехал обратно. Солнце ушло за облака, и сразу же потемнел огромный сельсоветовский двор, но совсем рядом, ме-

тров за двести, купы каштановых деревьев, белеющая камнями дорога, зелень кукурузного поля были все еще озарены как бы особенно радостным солнцем. И лошадь, словно чувствуя это, словно стараясь быстрее войти в золотистую полосу света, быстро зарысила в сторону дома.

На полпути он свернул с дороги и подъехал к дому бывшего председателя колхоза Тимура Жванба, или попросту Теймыра, как говорят абхазцы.

— О Теймыр! — крикнул он, подъезжая к воротам. Рыжая собака с лаем выскочила из-под дома, но, подбежав к воротам, узнала Кязыма. Застыдившись, что не сразу его узнала, она слегка повернула голову в сторону и несколько раз взлаяла, показывая, что она и раньше лаяла по другому поводу.

Тимур свою собаку почти не кормил, и она кормилась по соседским дворам и нередко добредала до дома Кязыма. Тимур и раньше был скуповат по чегемским понятиям, а после того, как его окончательно сняли с должности председателя и отправили на пенсию, присвоив ему неведомый титул Почетного Гражданина Села, он совсем осатанел, одичал и оскотинился, как говорили чегемцы.

Он очень не хотел, чтобы его снимали с должности председателя, и ожидал, что, по крайней мере, ему дадут какую-нибудь другую должность в Кенгурске. Но никакой должности ему райком не дал, потому что он всем надоел, однако, зная и побаиваясь его сутяжничества (ему ничего не стоило написать куда надо, что в кенгурийском райкоме окопались

недобитые троцкисты), райком дал ему этот неведомый, но утешительный титул Почетного Гражданина Села.

Не исключено, что райком, давая ему этот титул и зная его любовь ко всяким знакам отличия, проявил немалую психологическую тонкость. В то время во всем Кенгурийском районе только еще один человек имел звание Почетного Гражданина Села. Так что, если бы Тимур Жванба переехал в Кенгурск в поисках руководящей должности, хотя бы и самой маленькой, он как бы автоматически лишился звания Почетного Гражданина покинутого села.

Прожив в Чегеме больше пятнадцати лет, Тимур так и не научился по-настоящему хозяйствовать, хотя время от времени пробовал у себя на усадьбе всякие вздорные новшества. Так, он в один год половину своей усадьбы засеял арбузными семенами, хотя арбуз в условиях Чегема не вызревал и весь урожай ему пришлось скормить скотине. В другой раз он закупил полсотни мандариновых саженцев, но все они высохли той же зимой.

И с каждым годом, по наблюдениям чегемцев, он все больше оскотинивался, скупел, подсчитывал каждое яйцо, снесенное курицей, и, если курица не снеслась, по словам чегемцев, он обвинял жену, что она тайно съела яйцо. В доме его уже давно вместо молока пили только пахтанье, и, наконец, он выдал замуж дочерей позорно, по чегемским понятиям, без приданого, почти голышом. Впрочем, обе его дочери были хороши собой и вполне благополучно устроились.

Одним словом, Тимур Жванба с его природной высотобязнью в горном селе Чегем всегда выглядел странноватым,

а после снятия его с должности председателя он выглядел особенно нелепым, как городской сумасшедший, почему-то попавший в деревню. Роль деревенского дурачка в Чегеме давно была закреплена за Кунтой, и он с ней неплохо справлялся, так что чегемцам Тимур был ни к чему.

И хотя чегемцы посмеивались над ним, однако относились не без опаски. С одной стороны, он, несмотря на то, что был снят с должности, продолжал ходить в чесучовом кителе, как бы намекая, что власть он не потерял, но она видоизменилась, что давало немало поводов для далеко идущих предположений. Кроме того, он, несмотря на общепризнанную дурость, отличался немалой, как выражаются чегемцы, хитроговнистостью.

Так, он выследил одного чегемца, который в глухом лесу имел тайный загон, где держал пять незаконных коров. Тимур сам потом, хвастаясь, рассказал, что он заподозрил этого крестьянина, потому что снопы кукурузной соломы, которые чегемцы обычно вздымают и укладывают на обрубленное дерево, растущее на усадьбе, так вот этот висячий стог, как он заметил, у этого крестьянина уменьшается с быстротой, не соответствующей количеству его домашнего скота. После этого он выследил его и разоблачил. Крестьянина, конечно, не тронули, но коров отобрал колхоз.

Случай этот, как легко догадаться, не усилил симпатии чегемцев к Тимуру, потому что все они доступными им способами старались сохранить скот и никогда не понимали и не могли понять, чем это мешает государству. Чтобы пасти тридцать

коз, нужен тот же пастух, который может пасти и триста коз, а в условиях наших вечнозеленых зарослей козы в искусственных кормах не нуждаются. Так в чем же дело?

Тот, кто решил не давать крестьянам разводить скот, вероятно, думал, что крестьянин, потеряв интерес к собственному скоту, приобретет интерес к колхозному? Но этого не случилось и не могло случиться.

Сейчас у ворот дома Тимура Кязым снова возвратился мыслями к нему. Он и раньше много раз задумывался, почему люди, добывающие свой хлеб под крышами контор, когда их ударяет судьба, опускаются гораздо быстрее, чем обыкновенные крестьяне. Он это заметил и по жизням многих снятых с должностей кенгурийских начальников.

Думая об этом, он пришел к такому выводу. Тех, кто зарабатывает свой хлеб под казенной крышей, все время точит страх, что их выгонят из-под этой крыши. А когда их на самом деле выгоняют из-под крыши, у них уже нет запаса сил, чтобы сохранить свое достоинство.

А такие, как мы, крестьяне, думал он, зарабатывающие свой хлеб не под крышами контор, а под открытым небом, никогда не испытывают этого страха, потому что работающего под небом из-под неба никуда не прогонишь — небо везде, и когда его ударяет судьба, у него все-таки остается запас сил, не подточенных постоянным страхом.

У нас корень крепче, думал он. Но и веря в то, что у крестьян корень крепче, он все чаще и чаще с тупой болью осознавал, что хоть и крепче наш крестьянский корень, но и кре-

пость его небеспредельна, и порча времени, подымаясь с долинных городков, доходит до Чегема то тайно, то явно, а главное — неостановимо.

Из кухни вышла жена Тимура и стала приближаться к воротам. Глядя на эту замызганную пожилую женщину, трудно было поверить, что в молодости она была учителькой и работала с мужем в кенгурийской школе. Подозрительно поглядывая на Кязыма, она подошла к воротам.

— Теймыр дома? — спросил Кязым, хотя знал, что его нет дома.

— Нету его, — сказала хозяйка, — может, чего передать?

Кязым замаялся и не ответил. Он сейчас внимательно оглядывал окна дома. Рама крайнего справа окна явно подгнила. Остальные рамы были целые. Это надо запомнить, подумал он.

— А где Теймыр? — наконец спросил Кязым, нарочно выждав.

— Он уехал в Атары, — ответила жена, — а что ему передать?

Кязым знал, что он уехал в Атары.

— А когда приедет?

— Вечером обещал, — отвечала жена, оживляясь тревожным любопытством, — зачем он тебе?

— Да вот у нас беда, — неохотно ответил Кязым, — брат в Кенгурске в плохое дело вляпался. Если в ближайшие дни не достану пятьдесят тысяч, он в тюрьму попадет. Думал, может, Теймыр мне займет...

— Да ты что, спятил! — всплеснула руками жена Тимура. — Мы отродясь не видели таких денег!

— Брат в беду попал, — задумчиво повторил Кязым, — думал, может, Теймыр займет, поделится...

— Поделится?! — повторила хозяйка с гневным изумлением. — Да чтоб я похоронила своих детей, если у нас в доме есть хоть какие деньги, а не то что пятьдесят тысяч!

— Так ведь жена не всегда знает, что есть у мужа, — вразумительно сказал Кязым.

— Да знать-то о чем?! — снова всплеснула руками жена Тимура. — Ты, я вижу, совсем рехнулся! Я ж тебе по-абхазски говорю — мы и денег таких отродясь не видели!

— Ну ладно, — сказал Кязым, поворачивая лошадь и уже как бы самому себе вслух, — я-то думал, займет, поделится...

— Да поделиться-то чем, очумелый?! — крикнула ему вслед жена Тимура, а Кязым, уже не различая слов ее долгих проклятий, сворачивал на верхнечегемскую дорогу.

Минут через десять он снова повернул с верхнечегемской дороги и поднялся к дому старого охотника Тендела.

Тендел сидел у самогонного аппарата в тени грецкого ореха. Он сидел боком к воротам и следил за тоненькой струйкой алкоголя, стекающей по соломинке в бутылку. Сейчас был особенно заметен на его лице сломанный ястребиный нос.

— О Тендел! — крикнул Кязым, останавливая лошадь у ворот.

Тендел вскочил со скамейки, костистый, не по годам проворный старик, и глянул издали на Кязыма, сверкая своими желтыми ястребиными глазами.

— Спешься, Кязым, спешься! — издали закричал Тендел, приближаясь. — Испробуй моего первача! Светопреставление! Птицу на лету сечет, птицу!

Голос Тендела был до того пронзителен, что с первыми звуками его лошадь Кязыма шарахнулась было, но он ее удержал. Старый охотник явно попробовался своего питья, пока его варил.

— Не могу, — сказал Кязым, останавливая Тендела, пытавшегося распахнуть ворота перед мордой его лошади, — я по делу спешу. Хочу спросить, когда ты пирушку устраиваешь?

У Тендела внук возвратился из армии, и он собирался отпраздновать это событие.

— Послезавтра, — сказал Тендел, несколько сообразуя свой голос с близостью собеседника, однако все так же полыхая желтыми ястребиными глазами, — уж тебя-то известили бы!

— Теймыра думаешь звать?

— Как же его не позвать, разрази его молния, сосед!

— Правильно, зови его вместе с женой!

— А то не придет на дармовшинку-то! — зазвенел Тендел так, что лошадь опять попыталась шарахнуть. — Моя бы воля, я бы их в адское пекло пригласил!

— Хорошо, — сказал Кязым, поворачивая и без того все время воротившего морду коня, — я, может, немного запоздаю, без меня садитесь!

— А то б не сели! — крикнул Тендел. — Спешься все-таки, Кязым, не пожалей! Испробуй моей грушевой! Птицу на лету сечет, анассыни!

Но Кязым уже спустился к верхнечегемской дороге.

Остальную часть дня до вечера Кязым крыл дранью новый табачный сарай. Кунта помогал ему. Вечером, когда они закончили работу, Кязым договорился с ним, что они завтра с раннего утра отправятся в лес щепить дрань. Кунта не понимал, для чего им надо щепить дрань, когда ее еще оставалось на несколько дней работы. Но, как всегда, подчиняясь воле Кязыма, не стал перечить — ему видней.

Кязым нарочно решил щепить дрань и завтра и послезавтра, чтобы до самой пирушки в доме старого Тендела не встречаться с Теймыром.

Рано утром, прихватив сыр и чурек, Кязым на целый день ушел с Кунтой в лес. Он предупредил жену, чтобы она, если его спросит Теймыр, не говорила, где он. Когда он вечером, побледневший от усталости, пришел домой, жена ему сказала, что Теймыр трижды заходил и спрашивал его.

Она об этом говорила ему, поливая из кувшинчика воду, а он, закатав рукава на сильных волосатых руках и заложив воротник сатиновой рубашки, умывался.

— Ну и что ты ему сказала? — спросил Кязым, подставляя огромные ладони под струю воды.

— Я ему сказала, что ты пошел на поля, — ответила жена.

— А он что? — спросил Кязым и, не дожидаясь ее ответа, плеснул на лицо воду и с хрустом потер ладонями защетившиеся щеки.

— А он спросил: «Правда ли, что брат твой попал в беду?»

Жена подала Кязыму мыло, и он, намылив руки и лицо, снова подставил ковш ладоней под струю воды. Нуце хотелось побыстрее ему все рассказать, но она подчинялась его ритму. Снова плеснув в лицо воду и снова подставив под струю ладони, он наконец спросил:

— А ты что?

— А я говорю: «Правда!» — как ты научил.

— А он что?

— А он говорит: «Какого дьявола твой муж просил поделиться?! Чем это я должен поделиться?!»

— А ты что?

— А я говорю: «Откуда я знаю! Это ваше мужское дело».

— Правильно, — одобрил Кязым, протирая мокрыми руками свою крепкую с выпуклым кадыком шею, — я вижу — ты умница.

— А он еще два раза приходил. Говорит: «Не нашел его ни на плантациях, ни на кукурузниках». А я говорю: «Может, в правление ушел». А он говорит: «Ну я его там перехвачу!»
Никогда в жизни я столько не врала!

— Ты умница, — сказал Кязым, разгибаясь, — другого слова не подберешь.

— То-то же, — сказала Нуца довольная, — хоть раз в жизни признал меня умной.

— Ну-ну, — сказал Кязым и, сняв с ее плеча полотенце, вытер лицо и руки.

Отдав жене полотенце, он вошел в кухню и, усевшись перед огнем на скамью, стал сворачивать сигарку. Он сильно ус-

тал за этот день, но был доволен и тем, что они с Кунтой много нащепили, и тем, как вел себя Теймыр, и особенно тем, что он это поведение предвидел.

— Если завтра придет Теймыр, — сказал он жене, подумав, — скажи ему, что я пошел с Кунтой щепить дрань в котловину Сабида.

— Я что-то ничего не понимаю, — удивилась Нуца, ставя узкий, длинный столик между очагом и скамьей, — разве вы не над домом Исы щепили дрань?

— Ничего, — сказал Кязым, — пусть походит.

— Лопни мои глаза, — сказала Нуца, вынимая мамалыжной лопаточкой из котла порции дымящейся мамалыги, накладывая их на чисто выскобленный столик и пришлепывая мамалыжной лопаточкой, — если я чего понимаю. Не стыдно морочить почтенного, хотя бы по возрасту, человека.

— Сукин сын он, а не почтенный человек, — сказал Кязым.

— Все же бывший председатель, — заметила Нуца, беря из тарелки и втыкая в каждую порцию мамалыги по два куса сыра, — хоть и не любил наш дом.

— Сукин сын он, а не председатель, — сказал Кязым, насмешливо потеплевшими глазами глядя на малыша, который пробирался к своему месту рядом с ним. Дети расселись, и Нуца присела за край столика.

— Так что ж ты у него деньги просишь? — спросила она, энергично отщипывая горячую мамалыгу от своей порции.

— А вот это уже не твое бабье дело, — сказал Кязым и, вынув из мамалыги размякший сыр, вяло надкусил его.

Вечером, когда он, бледный от усталости, с топориком-цалдой, перекинутым через плечо и поддерживающим вязанку дров на другом плече, вернулся домой, жена его встретила руганью. Она сказала, что Теймыр опять приходил, и она ему сказала, что муж ушел щепить дрань в котловину Сабида, и он там полдня прорыскал и, не найдя Кязыма, вернулся в Большой Дом и до того здесь разорался, что сбежались женщины из табачного сарая.

— Все идет как надо, — сказал Кязым, — подогрей мне воды, я побреюсь и вымоюсь.

Он наладил бритву и, глядя в зеркальце, поставленное на очажный карниз, время от времени прикладывая к лицу мокрую горячую тряпку и после этого смазывая щеки мылом, тщательно побрился.

— Пепе, — сказала старшая дочка, — какой ты стал красивый. Дай я тебе волосы подровняю сзади, а то ты зарос.

— Ну ладно, — согласился он и уселся на скамью у очага. Щелкая ножницами, дочка стала выравнивать ему волосы. Она всегда с удовольствием стригла его.

— Ты почти совсем не седой, пепе, — щебетала она, — и у тебя никакой лысины нет.

— Ага, — согласился он, покорно склонив свою голову.

— Почему ты не заведешь усы, пепе? — спросила дочка. — Тебе усы пойдут.

— Обойдусь, — сказал он, вставая и отряхивая плечи.

Потом он вымылся в кладовке, переделся в чистое белье, надел серую шерстяную рубаху, новые черные шерстяные галифе, натянул мягкие кавказские сапоги, перепоясался своим тонким поясом с ножом в кожаном чехле и, сдвинув назад складки рубахи на своем поджаром животе, вышел на кухню.

После этого он уселся у очага и целый час там просидел, покуривая и сдержанно заигрывая со своим Гуликом. Малыш сидел на овечьей шкуре и, склонив свое пухленькое лицо, нежно озаренное огнем очага, строил из кукурузных кочерыжек вавилонскую башню. Он параллельно ставил две кочерыжки, сверху поперек нижних ставил еще две, и так постепенно росла башня, но в какое-то мгновение она обрушилась, и малыш, как и все несмышлениши, не понимая, что вавилонская башня на то и вавилонская башня, что обречена рухнуть, раздраженно сопя, начинал ее снова возводить. Именно об этом думал Кязым, хотя, конечно, и не этими словами, поглядывая на своего малыша, и иногда, наклонившись, подправляя неровно поставленные кочерыжки.

Нуца уже начинала готовиться к ужину, когда он вышел из дому. Было прохладно, и он, поеживаясь, стал подыматься на верхнечегемскую дорогу. Ночь была звездная, ясная. Облака, целых два дня кроившие и перекраивавшие небо, так и не сумев его обложить, куда-то скрылись.

Так кончается ничем, подумал Кязым, всякое слишком затянувшееся дело. Луны еще не было, но белые камни верхнечегемской дороги посвечивали в темноте. Косогор над дорогой темнел зарослями бирючины, ежевики, держидерева. В те-

мени кустов, как странные призраки допотопных животных, серели огромные валуны. Оттуда доносилась песнь цикад.

Язык вселенского безмолвия и грусть вечности угадывались в покорном тиканье цикад, тогда как далекий лай собак напоминал о тепле человеческого жилья, об уюте временной радости жизни. Казалось, вечность грустит о недоступном ей уюте временной радости жизни, а уют временной радости жизни сладок душе человека самой недоступностью вечной жизни на этой земле.

Кязым вдруг вспомнил свою первую любимую лошадь, своего прославленного вороного иноходца, которого он имел в дни далекой молодости. Эту лошадь много раз пытался у него купить известный лошажник Даур. Он жил в селе Джгерда. Даур много раз предлагал Кязыму большие деньги за его лошадь, потом он предлагал ему большие деньги и хорошую лошадь в придачу, но Кязым, гордый за своего скакуна, никогда не соглашался его продать.

Потом Даур смирился и больше не заговаривал с ним об этом, но стал часто заезжать к нему домой, и многие говорили Кязыму:

— Ох, уведет твоего иноходца этот человек! Ох, недаром зачастил он к тебе! Приглядывается!

Но Кязым не верил в коварство этого человека. Так ему подсказывало сердце, хотя и ему казались странноватыми эти наезды Даура: то ночь застала его в Чегеме, то гроза заставила свернуть с дороги, то еще что-нибудь. Так продолжалось около двух лет.

Однажды Кязым, случайно проснувшись на рассвете, увидел, что постель его гостя пуста. Они спали в одной комнате. Он решил, что тот по нужде вышел из дому, но прошло достаточно много времени, а тот все не возвращался. Кязым встревожился. Он встал, быстро приделся и вышел во двор. Подходя к конюшне, он заметил, что дверь ее приоткрыта, и почувствовал, что кровь в его теле остановилась.

Он шагнул в приоткрытую дверь и замер. Даур стоял возле его лошади, гладил ее длинную гриву, почесывал холку и нашептывал ей какие-то слова, иногда целовал ее в морду. Нет, конокрад так себя не ведет!

Потрясенный увиденным, Кязым отшатнулся от дверей, как если бы случайно застал влюбленных за ласками, не предназначенными для чужих глаз. Он сам любил лошадей, но, чтобы взрослый мужчина ласкал лошадь и целовал ее в морду как мальчишка, этого он никогда не видел.

Так вот почему Даур стал часто ездить к нему, вот почему ночь или непогода заставляли его в Чегеме! Его тоскующая душа тянулась сюда, жажда видеть полюбившуюся лошадь, трогать ее, нашептывать ей нежные слова.

Кязым тихо вернулся в дом и лег в свою постель. Примерно через час в комнату вошел Даур.

Утром они встали, позавтракали, немного выпили, и гость собрался в дорогу. Кязым, разумеется, ни слова не сказал о том, что он увидел. Когда домашние, провожая гостя, вышли из дому и Махаз, младший брат Кязыма, подвел лошадь Дауру к веранде, Кязым вошел в конюшню, вы-

вел под уздцы своего иноходца и поставил его рядом с лошастью Даура.

— Ты что, Кязым, тоже собрался куда-то? — спросил Даур.

— Нет, — сказал Кязым и, подойдя к его лошади, взялся за подпруги.

— Я уже затянул их, — сказал гость, еще не понимая, в чем дело.

— А я решил их ослабить, — усмехнулся Кязым и, отпустив подпруги, снял седло и, не глядя на бледнеющего Даура, перенес седло на свою лошадь. Все, кто был рядом, застыли изумленные, а бледный Даур молчал, и только плетть камчи, которую он держал в руке, тихо-тихо подрагивала. Так говорили потом домашние, рассказывая об этом.

— Я меняю свою лошадь, — сказал Кязым, прерывая неловкое молчание, — она мне поднадоела... Твоя лошадь не хуже...

— Кязым, ты даже сам не знаешь, что ты сделал, — промолвил Даур и больше ничего не мог сказать.

Он уехал.

Кязым знал, что сделал, и никогда не жалел о том, что расстался с любимой лошастью. Это было совсем не то, что потом случилось с Куклой. Это было все равно что отдать любимую дочь за достойного человека. И он ее отдал и никогда не жалел об этом.

Конечно, Даур потом пригласил его к себе, устроил в его честь большой пир и подарил ему серебряный кинжал редкой работы.

— Кязым, — несколько раз, склоняясь к нему, говорил на пиру Даур, — помни, что ты утолил мою жизнь, а мне недолго осталось! Но я теперь ни о чем не жалею!

— Чтоб твой язык отсох, Даур! — дважды вскричала его бедная мать, уловив его слова. — Зачем ты убиваешь меня!

Но Даур в ответ ей ничего не говорил. Тогда Кязым не придавал большого значения его хмельным признаниям, хотя и знал, что кровь лежит на его роду. Его дядя двадцать лет назад убил по законам кровной мести представителя рода Тамба. Дядю арестовали, выслали в Сибирь, и он там умер. У дяди не было детей, и Даур мог стать жертвой будущего кровника. Но сам дядя погиб, с тех пор прошло двадцать лет и можно было надеяться, что там, в роду Тамба, удовлетворившись смертью дяди Даура, остыли.

Как водится в таких случаях, тот род, за которым кровь, избегает возможных встреч с родом, за которым остается право на выстрел. Представители его не посещают места, где живут их враги, и, собираясь на какие-нибудь свадебные или поминальные пиршества не близких людей, путем сложных расчетов вычисляют через многоступенчатость родства возможность появления на этих сборищах своих кровников и, если эта возможность более или менее реальна, избегают их.

Примерно через год после того, как Кязым отдал своего иноходца Дауру, тот проезжал в десяти километрах от села, где жили его кровники.

Поравнявшись с мельницей, он решил прикурить от мельничного костра и, спешившись, зашел на мельницу. Мельница работала, но мельник спал на лежанке.

Даур не стал его будить. Нагнувшись, он прикурил от костра, а когда повернулся к выходу, увидел, что в дверях с топором в руке, стоит сын человека, убитого его дядей. Как потом выяснилось, тот искал заблудившуюся корову и, оказавшись рядом с мельницей и увидев лошадь, привязанную возле нее (нет, он не знал, чья это лошадь), решил зайти на мельницу и спросить у путника, не видел ли тот где-нибудь на дороге корову.

Смерть Даура была страшной и быстрой. Кровник этот молча, невероятной силы ударом топора отсек ему голову. Голова рухнула в костер и выкатилась из него, а плеснувший из огня фонтан искр посыпался на мельника.

Спросонья, ничего не понимая, тот привскочил с лежанки и увидел перед собой безголовое тело человека, которое, еще мгновенье постояв, тоже рухнуло. Кровник схватил отрубленную голову, и, загасив затлевшие на ней волосы, поставил ее на лежанку рядом с мельником, который к этому времени, оказывается, уже сошел с ума. Он не выдержал перехода от мирного сна под шум мельничных жерновов к такой ужасной яви.

Кровник не стал скрывать, обо всем рассказал сам, его судили и отправили в Сибирь. Кстати, много лет спустя, он тоже там умер на строительстве Комсомольска-на-Амуре. Эта история долго помнилась в Кенгурийском районе. И каждый раз, когда Кязым вспоминал ее, хотя с тех пор про-

шло почти тридцать лет, в ушах его звучало хмельное пророчество Даура: «Кязым, ты утолил мою жизнь, а мне немного осталось!» По народной примете, месть сына, если он был во чреве матери, когда его отца убили, бывает особенно свирепой. Так было и на этот раз. Не яд ли материнского горя, думал Кязым, всасывает плод в таких случаях?

Думая об этом, он дивился мудрости народных примет и верил, что есть судьба и есть люди, которые ее чувствуют. Даур был таким. Он чувствовал судьбу так же, как чувствовал лошадь.

И если нет судьбы, почему именно поблизости от мельницы у него сломалось кресало? В кармане трупа Даура нашли сломанное кресало. Или он, волнуясь от близости опасного села, слишком сильно ударил кресалом о камень и оно сломалось? А потом, устыдившись своего волнения, спешился и зашел на мельницу? Но почему именно в это время мельник спал? Если б он не спал, возможно, он сумел бы встать между ними. И такое бывало. Почему так далеко забрел кровник в поисках коровы и почему именно в этот час он подошел к мельнице?

Есть судьба человека и есть судьба рода, думал Кязым. И он по опыту своей жизни точно знал, что есть роды, где многие хорошо чувствуют лошадь. Таким был род Даура. Есть крепкожилые роды, где многие люди обладают огромной телесной силой, хотя выглядят обычно. Таким был род его кровника. И есть роды, где часто рождаются мудрые, а есть роды, где часто рождаются хитрые, и есть роды, легкие на подъем,

и есть роды тяжелодумов, и есть роды, где много сердечных людей. Но таких мало или они быстрее вымирают?

И бывают роды, уже ошибочно думал Кязым, переходя на себя, которым не дается грамота. Сам-то он никогда не ходил в школу, потому что в его время никакой школы в Чегеме не было. Но сейчас дети его плохо учились, и он, внешне насмешничая над ними, в глубине души болезненно переживал это.

...Когда он подходил к дому Тендела, оттуда уже доносился нестройный гул голосов, из которого время от времени вырывался пронзительный голос самого хозяина. Кязым открыл ворота и пересек двор, удивляясь и настораживаясь от того, что собака не дает о себе знать. У самого дома она вырвалась из-под лестницы, соединяющей кухонную веранду с горницей, и почти молча, яростно взрыкнув, кинулась на него. Выбросив ей навстречу правую ногу, он вдвинул носок сапога в ее распахнутую пасть. Собака, завыв от боли, отскочила. И уже издали обрушила на него истерический лай. К этому времени с криками выскочили из дому Тендел и его внук.

— Да что она, взбесилась, что ли?! — заорал Тендел и швырнул в собаку дровину, подхваченную на кухонной веранде. Швырок оказался точным, и собака, завыв, скрылась в темноте.

— Неужели укусила? — спросил Тендел, подходя к Кязыму.

Кязым приподнял ногу и в полосе света, льющегося из распахнутой двери дома, рассмотрел сапог. Он был цел.

— Нет, — сказал Кязым, — меня не так-то просто укусить.

— Очумела, своих не узнает! — крикнул Тендел, сверкнув глазами в темноту, куда убежала собака.

— Старается, — усмехнулся Кязым, — чтобы после пирушки ей перепало побольше.

Когда они вошли в большую комнату, где происходило праздничное пиршество, гости радостно повскакивали, приветствуя его и раздвигаясь, чтобы уступить ему место. Кязым сел напротив Тимура, злобно и подозрительно поглядывавшего на него. Жена его вместе с хозяйкой и невесткой Тендела обслуживала сдвинутые столы. Потом она уселась в конце стола, где сидели еще две женщины. Все шло как надо.

— Мир перевернулся, — крикнул Бахут с того конца стола, где он сидел рядом с Тенделом, — Кезым на выпивку опоздал!

Бахут был мингрельцем и произносил его имя на свой лад. Они любили друг друга, хотя, конечно, никогда в жизни не говорили об этом, а, наоборот, бесконечно подтрунивали друг над другом.

— Опоздал, — сказал Кязым, поудобней усаживаясь, — потому что домой к Теймыру заходил, а он, оказывается, уже здесь.

— Чего это ты ко мне заходил? — спросил Тимур, исподлобья поглядывая на него глазами затравленного кабана.

Хозяйка поставила перед Кязымом тарелку с мамалыгой и мазанула на нее шматок аджики.

— Да жена моя говорила, что ты заходил ко мне несколько раз, — сказал Кязым миролюбиво и, взяв из большой тарелки кусок мяса, притронулся им к аджике, надкусив как всегда

без аппетита, стал жевать. Лениво жуя, он смотрел на Тимура, и в глубине его маленьких синих глаз таилась насмешка.

В свежевывытом чесучовом кителе Тимур сидел перед ним все еще крепкий, бритоголовый, с тем волевым выражением власти, которую он уже утратил, но все еще хранил на лице. По этому выражению Кязым мог узнать начальника в любой толпе, и было непонятно, их выбирают по этому выражению или оно вырабатывается от власти над людьми. Но в глубине темных глаз Тимура не было власти, Кязым это ясно видел, а была смертная тоска по власти, и страх, и неуверенность.

— Так ты же все прячешься от меня? — сдерживая себя, тихо клокотнул Тимур.

Хозяйка поставила Кязыму чайный стакан и налила в него вино. От водки, которая якобы сечет птицу на лету, он отказался. Кязым не спеша приподнял стакан и, пожелав благодати дому, выпил и снова взялся за мясо. Тимур, наклонив вперед бритую голову, ждал.

— Чего это мне прятаться от тебя, — сказал Кязым и надкусил мясо, — ничего не украл, чтобы прятаться...

Вяло жуя, он смотрел на Тимура, и в глубине его маленьких синих глаз таилась насмешка.

— Какого дьявола ты приходил ко мне за деньгами, — сказал Тимур, сдержанно клокоча, — откуда у меня такие деньги?

В общем шуме их разговор пока еще не привлекал внимания застольцев.

— Нет так нет, — сказал Кязым, смеясь одними глазами; выпив вино, твердо поставил стакан на стол, — я же не насильно их у тебя беру..

— Ты ведь сказал моей жене, чтобы я поделился, — хлопотнул Тимур, и Кязым заметил, что даже его бритая голова побагровела. — Это как понять?

— Так и понимай, — ответил Кязым, продолжая смеяться глазами.

Оказывается, все же остроухий старый охотник уловил внешний смысл их разговора.

— Нашел у кого деньги просить! — с того конца стола закричал Тендел, сверкая своими ястребиными глазами. — Да Теймыр — как та синица, которой сказали, что ее помет — лекарство. Так после этого она все норвила над морем какнуть!

— Поделиться, — мрачно усмехнулся Тимур, не обращая внимания на крики Тендела, — откуда у меня такие деньги?..

— Вот ты удивляешься, что я у тебя просил деньги, — сказал Кязым, — а надо бы удивляться, что ты два дня меня ищешь, чтобы сказать: у тебя денег нет.

— Ну и что? — спросил Тимур, замирая с мослаком в руке и стараясь не дать себя перехитрить.

— Да разве человек, — сказал Кязым, продолжая посмеиваться одними глазами, — которому нечего дать, ищет человека, который у него просил деньги? Ведь если человек, у которого просили деньги, ищет человека, который просил деньги, значит, они у него есть и он хочет поделиться.

— Я тебя искал, кулацкое отродье, — изо всех сил сдерживаясь, тихо клокотнул Теймыр, — чтобы сказать, до чего я жалею, что не упек вас в тридцатом в Сибирь!

Тут Тимур сгоряча преувеличил свои возможности. Во время коллективизации в Абхазии мало кого тронули, а из Чегема и вовсе ни одного человека не выслали. Истинный народный оратор, председатель Совнаркома Абхазии Нестор Лакоба тогда на многочисленных сходках уговорил народ, тонкими иносказаниями он дал понять, что разделяет его тревогу, но надо смириться, чтобы сохранить себя. И народ, поварчивая, смирился.

— Да, — сказал Кязым, теперь состругивая ножом кусочки мяса с кости и отправляя их в рот, — тут ты промахнулся. Поэтому как ключ тогда у тебя был в руках, а теперь у меня.

— Какой ключ?! — сказал Тимур, и страх застыл в его глазах. С приоткрытым ртом он, не шевелясь, смотрел на Кязыма.

— Ключ от власти, — приспустил поводья Кязым, продолжая посмеиваться своими синими глазами, — так что теперь он у меня в руках.

— Власть? Подумаешь, бригадир, — презрительно сказал Тимур, вглядываясь в Кязыма и стараясь поверить, что он именно это имел в виду, и в то же время чувствуя ужас бессилия перед двойственностью его намеков. И эта двойственность намеков, этот просвет, позволяющий уйти от прямого ответа, был хуже, чем если бы Кязым его прямо обвинил в том, что он ему как бы подмигивал своими невыносимо смеющимися глазами.

А между тем кое-кто из окружающих уже посматривал на них, хотя никто не понимал того, что стоит за их разговором.

— Оставь ты этого вырыгу, Кязым! — крикнул с того конца стола Тендел, опять сверкнув в их сторону ястребиными глазами.

Все рассмеялись. Тендел иногда употреблял слова, которые никто не понимал. И сложность их понимания была в том, что иногда в обычной речи у него выскакивали слова из особого охотничьего языка, понятного только посвященным. А иногда он сам бессознательно так выворачивал обычные слова, что они звучали необычно. Именно это и случилось сейчас.

— Что это еще за вырыга? — смеясь, стали спрашивать у Тендела.

— Вырыга, — просто объяснил Тендел, — это такой человек, который не столько пьет, сколько вырыгивает.

— Лучше я отсяду от него, — сказал Тимур, шумно вставая, — а то этот человек доведет меня до преступления!

— Я даже знаю, какого по счету, — сказал Кязым, взглянув на него, и, смеясь одними глазами, приподнял ладонь, как бы готовый для наглядности показать на пальцах количество преступлений Тимура.

Тимур опустил бритую голову и, что-то бессвязно бормоча, перешел и сел поближе к Тенделу.

— Хватит бурунчать, — миролюбиво сказал ему старый охотник, — ты, Теймыр, давно безрогий, а все боднуть норовишь. Лучше сиди здесь и слушай мой рассказ.

Старый Тендел стал рассказывать историю своей женитьбы. При этом жена его, еще очень бодрая старушка, стоявшая над столом с чистым полотенцем, перекинутым через руку, приподняв брови от старания вникнуть в каждое слово, слушала его рассказ, словно дело касалось не ее, а какой-то другой женщины. Дополнительный комизм ее облика, не оставшийся не замеченным застольцами, заключался в том, что она одновременно с искренним любопытством к рассказу выражала всем своим видом бдительную готовность тут же ответить на скрытые или откровенные выпады мужа, оскорбляющие достоинство ее рода. Готовность эта, как показывал ее достаточно большой опыт, была не излишней.

По словам Тендела, это случилось в дни его далекой молодости, когда он еще не выдурился. Тут гости прервали его рассказ дружным смехом, выражая этим смехом уверенность, что он еще и до сих пор не выдурился. Тендел не обратил ни малейшего внимания на этот смех, а жена его, просяив от удовольствия, радостно закивала головой: дескать, так оно и есть, дескать, кому, как не ей, знать, что он еще не выдурился!

Так вот, продолжал Тендел, в те дни, когда он еще не выдурился, пришлось ему кутить в одном доме в селе Кутол. И там, когда гости порядочно выпили и начались пляски, в круг вошла хозяйская дочь в белом платье. В знак необыкновенной плавности ее танца, в знак непорочной чистоты ее скольжения кто-то из близких девушки поставил ей на голову бутылку с вином, и она в таком виде, ни разу не качнув-

шись, сделала два круга. Кто его знает, сколько бы кругов она еще сделала, но тут Тендел не выдержал. Не в силах иначе выразить свой восторг перед девушкой и ее искусством, он выхватил свой смит-вессон и выстрелом разбил бутылку на голове девушки.

Девушка, по словам Тендела, прервала танец (было бы странно, если б она продолжала его, вся облитая красным вином), а гости и хозяева просто омертвели от этой неслыханной дерзости. Первым опомнился сам Тендел.

— Считайте, что я в вашем доме «бросил пулю»! — крикнул он, надо думать, уж во всяком случае, не менее пронзительным голосом, чем в старости, и, перепрыгнув через стол, бросился к выходу.

Он вскочил на своего коня, стоявшего у коновязи, и, не теряя времени на открывание ворот, прямо перемахнул через плетень и, сопровождаемый грохотом выстрелов, к счастью, ни одна пуля не задела его, галопом влетел в лес, расположенный недалеко от дома.

«Оставить пулю» по абхазским обычаям вот что означает. Родственники жениха, приехавшие свататься в дом невесты и договорившиеся обо всем, оставляют хозяевам газырь с пулей и стреляют в воздух. Газырь с пулей и выстрел в воздух скорее всего символизируют нешуточность договора, право на смертоносный исход в случае нарушения его с той или другой стороны.

Но жених-самозванец, «оставляющий пулю», да еще таким образом, — это было неслыханной дерзостью.

Однако вернемся к Тенделу. Проскакав около трех верст, лошадь его неожиданно грохнулась на землю, и когда Тендел, выпростав ногу из стремени, встал, она была мертва. Не понимая, в чем дело, Тендел ее обошел и вдруг увидел, что живот лошади распорот чуть ли не на целый метр. Заглянув в рану, Тендел был поражен — внутри было пусто. Видно, когда он перемахивал через плетень, лошадь напоролась на кол и у нее вывалился желудок.

— Теперь вы мне скажите, — пронзительно закричал Тендел, — кто-нибудь слышал про лошадь, которая, спасая хозяина, с вываленным нутром проскакала три версты?!

Тут гости стали смеяться, говоря, что лошадь могла потерять желудок где-нибудь по дороге, может быть, совсем близко от того места, где она рухнула на землю.

— Нет! Нет! — закричал Тендел. — Я почувствовал, когда перемахнул через плетень, как что-то шмякнулось подо мной, да сгоряча не оглянулся!

Тендел зацокал, с необыкновенной живостью переживая гибель любимой лошади, и обратил теперь свой взыскующий ястребиный взгляд на жену, как бы поражаясь неравноценности жертвы и полученной награды.

Тут жена его потупилась и, неожиданно взвевя полотенце, лежавшее у ее на руке, перекинула его через плечо, как бы милосердием волшебства на миг создав мираж того белого платья и именно через то волшебство, как и должно быть, призывая его к справедливости, то есть к необходимости ту лошадь

сравнить с той девушкой, а не с этой, хоть и бодрой, но отжившей старушкой.

Тендел посмотрел на нее, но, то ли не поняв ее намека, то ли не придав ему значения, повернул свой ястребиный взгляд на застольцев и продолжал рассказ.

По словам Тендела, родители и братья той полюбившейся ему девушки (видно, все-таки поняли намек) поклялись никогда не отдавать свою дочь и сестру за этого безумного головореза. Видать, продолжал Тендел, они, не слишком доверяя своему дому и своей храбрости (тут жена его насторожилась, но оскорбление было недостаточно четким, и она промолчала) и зная о его неслыханной дерзости, припрятали свое чудище (нет, не поняли намека) у родственника, живущего в другом селе. Он был еще более дерзкий головорез.

— По их разумению, — добавил старый Тендел.

При этом жена его всем своим обликом выразила готовность дать отпор явно приближающемуся, но еще недостаточно приблизившемуся оскорблению ее рода.

— Но они, — сказал Тендел столь многозначительно, что теперь не только жена, но и гости с доброжелательным любопытством стали ожидать приближающееся оскорбление, однако Тендел и на этот раз его избежал, — не знали, что только я один держу в руках секрет этого человека.

Оказывается, именно этот родственник убил стражника два года тому назад и только один Тендел во всем Кенгурийском районе знал об этом. И этот человек не только не пре-

пятствовал ему, но, наоборот, помог тайно от своих родственников умыкнуть ее.

— Вот так она оказалась в моем доме, — закончил Тендел, — хотя толку от нее еще никто не видел. А теперь давайте выпьем, мои гости, а то я вас совсем словами заморил!

Гости, взглянув на жену Тендела, благодарно прошумели, показывая, что утверждение о ее бестолковом пребывании в доме Тендела полностью отвергается обилием выпивки и закуски на столе.

— В каждом деле есть свой ключ, — сказал Кязым, — и кто его держит в руке, тому он и служит.

— Истинно говоришь, Кязым! — закричал Тендел. — Ключ от этого человека я держал в своих руках, а они, дурье, этого не знали!

Жена Тендела, несколько отвлекшаяся окончанием истории женитьбы и оживившимся застольем, вздрогнула от неожиданности, но быстро взяла себя в руки.

— Уж дурнее тебя, — отпаривала она, — не то что в моем роду, в твоем роду нет!

— Молчи! Молчи! — закричал Тендел. — Жалко, что я тебе тогда спьяну в голову не попал!

Когда Кязым произносил свои слова, Теймыр опустил голову и больше за время пирушки ее ни разу не поднял. «Кажется, готов», — подумал Кязым.

Кязым перевел взгляд на Бахута. Он вспомнил, что Бахут во время рассказа старого охотника поерзывал, то сдвигая на затылок свою сванку, которую он снимал, только ло-

жасть в постель, то снова надвигая ее на брови. Это был верный признак, что Бахут сам хочет рассказать свою знаменитую историю. И хотя почти все, сидящие за столом, ее слышали, а некоторые неоднократно, Бахут явно хотел рассказать ее еще раз.

— Слушай, Тендел, — сказал Кязым, — учти, что Бахут от тебя сегодня не уйдет, если не расскажет, как продавал свое вино.

— Нет, зачем, кацо, — стал ломаться Бахут, — если все слышали, я не буду рассказывать, но если люди не слышали — другое дело.

— Давай, давай, Бахут, — крикнул старый охотник, — а я потом кое-чего добавлю к тому, что ты расскажешь!

Гости одобрительно прошумели, показывая готовность, выпив по стаканчику, послушать историю Бахута. Бахут сдвинул свою сванскую шапочку на затылок и, залучившись своими маленькими масляными глазками, приступил к рассказу.

— О да, — начал он грузино-мингрельским присловьем, приблизительно означающим: «Так вот...» — О да, мы встретились с этим Вахангом позапрошлой зимой на поминках в Анастасовке. И там же договорились. Я ему даю двадцать ведер вина, а он мне привозит двадцать пудов кукурузы. Через три дня он приезжает на арбе, дело уже было к вечеру, и привозит мне кукурузу. Я открываю ворота и веду арбу к дому. О да, мы выгружаем четыре мешка и вносим в кухню. А потом вместе с моим сыном, втроем, выкатываем из подва-

ла двадцативедерную бочку и, положив доски, вкатываем ее на арбу. И тут он уже хотел уехать, но я, на дурную свою голову, его удержал. Неудобно, человек первый раз пришел в мой дом и теперь, стакан вина не выпив, уйдет.

— Давай, — говорю и веду его на кухню, — попробуй вино, что ты купил. Может, я тебе кислятину продал.

— Нет, — говорит он мне неожиданно, — я не буду пробовать вино, которое ты мне продал.

— Почему? — удивляюсь я.

— Потому что, — говорит, — кукурузу, которую я тебе привез, ты не взвесил, значит, ты мне доверяешь. Раз ты мне доверяешь, значит, я тебе тоже доверяю. Вино, которое я купил, пробовать не буду, но другое вино, пожалуйста, выпьем.

Уах! Но у меня другого вина нет. Одна «изабелла». Было около десяти ведер «качича», но мы его давно выпили. Теперь что делать? Мы уже на кухне, и жена накрыла стол, а он требует другое вино. А другого вина у меня нет, и так отпустить его тоже стыдно. И я говорю:

— Хорошо, будем пить другое вино.

О да, мы садимся за стол и начинаем пить. И я вижу — вино ему нравится, хорошо идет. Он хвалит мое вино, мне тоже приятно, и мы так сидим, пьем, а мои домашние все ушли спать. И вдруг он мне говорит:

— Слушай, мне это вино очень понравилось. Давай заменим то, которое я купил, на это вино. Я всю жизнь любил такое вино.

Уах! Теперь что я ему скажу? У: меня другого вина нет — одно вино. И я немножко так замялся, не зная, что сказать, а он это по-своему понял. Он понял, что я ему не хочу это вино продавать.

— Ты, — говорит, — не стесняйся, если это вино дороже. Я тебе еще кукурузу привезу, ради такого вина мне ничего не жалко!

— Слушай, — говорю, — дело не в этом. У: меня сейчас нет другого вина.

Но я вижу — не верит и начинает обижаться.

— Зачем, — говорит, — ты для меня жалеешь это вино? Если в два раза больше стоит, в два раза больше дам!

— Слушай, — говорю, — дело не в том. Идем попробуй, если то вино, которое я тебе продал, хуже, тогда ты будешь прав.

И вот мы среди ночи идем к арбе. Слава Богу, кругом снег, все видно. Залезаем на арбу, я открываю бочку, вытягиваю шлангом вино, переливаю в банку и даю ему.

Про-бу-ет! Но вижу — не доверяет. Может, вино слишком холодное было, потому не понял, может, характер, еще не знаю. И он мне говорит:

— Ничего плохого про это вино не скажу, но то вино мне больше нравится. Я всю жизнь мечтал про такое вино.

Уах! Что теперь я ему скажу? Что?!

— Слушай, — говорю, — у меня другого вина нет. Было около десяти ведер «качича», давно выпили. Я тебя угостил этим вином, потому что неудобно было. Ты в мой дом при-

шел первый раз, и я хотел, чтобы ты стакан вина выпил в моем доме.

Нет, вижу, не доверяет и начинает цепляться.

— Значит, — говорит, — ты мне то же самое вино давал?

— Да, — говорю, — другого нет.

— Тогда, — говорит, — сейчас идем взвесим всю мою кукурузу!

— Зачем? — говорю.

— Потому что, — говорит, — ты не взвесил мою кукурузу, значит, ты мне доверяешь. А я попробовал твоё вино — выходит, я тебе не доверяю. Если я тебе не доверяю, и ты мне не доверяй!

Уах! Сейчас среди ночи взвешивать его кукурузу? А у меня безмен только десять кило берет. Это сколько раз надо вешать?

Бахут оглядел застольцев, как бы прося войти в его бедственное положение.

— Тридцать два раза! — смеясь, подсказал ему Кязым.

— Тридцать два раза! За это время я совсем с ума сойду от него! И тогда я так соображаю — эту бочку он уже не возьмет через свое ослиное упрямство. Но у меня еще одна двадцативедерная бочка стоит в подвале. Думаю — лучше ту бочку выкатить, а эту вкатить, чем еще полночи возиться с его кукурузой.

— Хорошо, — говорю, — у меня в подвале, как ты видел, еще одна бочка стоит. Как раз то вино, которое ты пил! Хочешь — бери!

— Давай, — кричит, — ту бочку! Не жалея хорошее вино на хорошего человека!

Что делать? Теперь сына, значит, надо будить. Вдвоем вкатить бочку не сможем. Но сына будить тоже стыдно. Ска-

жет — взрослые люди глупости делают. Но еще хуже будет, если сына разбужу, а этот попробует вино и опять скажет: ты мне не то вино даешь. Потому что в подвале тоже холодно, а он вкус холодного вина не ощущает.

— Хорошо, — говорю, — идем в подвал. Я тебе даю ту бочку, но ты сначала попробуй вино.

Еле-еле в кухне нахожу свечку — проклиная и жену, и этого Вахтанга, и эти поминки, где мы встретились. Идем в подвал, опять вытягиваю из шланга пол-литровую банку и даю ему попробовать. Про-бу-ет!

— О! О! О! — говорит. — Вот это вино я мечтал купить. Зови сына!

О да, потихоньку вхожу в дом и бужу сына. Молодой — крепко спит. Еле разбудил. Но правду тоже сразу сказать не могу — стыдно, кацо, стыдно!

— Бочку, — говорю, — сынок, надо на место поставить. Помогите!

— Что вы, — бурчит сын и одевается в темноте, — столько времени делали, если не могли сторговаться!

Мы выходим во двор и втроем скатываем бочку с арбы и вкатываем ее в подвал. И теперь начинаем выкатывать ту бочку, а сын ничего не понимает.

— Папа, — удивляется он, — что вы делаете? Это то же самое вино! Вы от пьянства совсем с ума сошли!

А этот проклятый Вахтанг, которого я, на свою голову, встретил на поминках, еще издевается надо мной.

— Ох, Бахути, — говорит, точно, как Кезым, говорит, — зачем ты сына, еще такого молодого, неправде учишь!

Я против того вина слова не скажу! Но это вино как раз по моему вкусу!

Вижу, сын надулся, готов нас обоих убить. Кое-как вкатили эту бочку на арбу, и сын молча поворачивается и уходит.

О да, думаю, наконец, уедет этот проклятый человек. Провожаю арбу до ворот. И вдруг он не останавливается? Останавливается!

И только тут я понял, что на поминках ни о каком деле договариваться нельзя. Ты с человеком на поминках договариваешься о деле, а он приезжает к тебе домой и устраивает твои поминки.

— Слушай, — говорит, — выходит, что я твое вино попробовал, а ты мою кукурузу не взвесил! Значит, ты мне доверяешь, а я тебе не доверяю? Значит, ты ставишь из себя более благородный человек? Не выйдет! Идем взвесим мою кукурузу!

Уах! Я уже готов и эту бочку ему отдать, и кукурузу отдать, лишь бы он уехал! Но разве он согласится!

— Слушай! — говорю, все еще держу себя в руках, — вино — одно дело, кукуруза — другое дело! Если ты два-три литра моего вина выпил, это не значит, что я должен два-три кило твоей кукурузы скушать! Я и так на глаз вижу, сколько там пудов в мешках!

— Нет, — говорит, — выходит, ты мне доверяешь, а я тебе не доверяю. Или взвесим мою кукурузу, или забирай свое вино, а я заберу свою кукурузу!

Значит, снова сына будить?! Он убьет меня! Но Бахут не был бы Бахутом, если бы не придумал то, что придумал.

— Слушай, — нарочно спокойно говорю, — сейчас поздно. Мы оба устали. Завтра приедешь и взвесим кукурузу.

— Нет, — говорит, — зачем завтра приезжать, когда я сегодня здесь.

Ну, тут я ему показал. Безумному человеку надо через его безумность вправлять ум.

— Значит, ты мне не доверяешь! — кричу я ему от души. — Ты в моем доме принял хлеб-соль, и ты боишься в моем доме до завтра оставлять мешки! Ты думаешь, Бахут, как нищий, залезет в твои мешки, вытащит кукурузу, а завтра скажет, что там не хватает?! Ты плюешь на мой хлеб-соль!

О! О! О! Вижу — потух, как свечка.

— Что ты, что ты, Бахути, — говорит, — успокойся, ради Бога, разбудишь семью. (Сейчас вспомнил мою семью!) Ты мне доверяешь, и я тебе доверяю. Завтра приеду.

И так он уехал. Ни завтра, ни послезавтра, слава Богу, не приехал, но бочку через одного человека прислал. И с тех пор я на поминках ни о каком деле ни с кем не договариваюсь. И вообще я перестал ходить на поминки, кроме поминок по самым близким людям.

Так закончил Бахут свою историю.

— Я его видел, Бахут, — закричал Тендел, — месяц тому назад, как раз на поминках!

— Такого человека только на поминках и встретишь, — сказал Бахут, надвигая на глаза свою сванку.

— Я ему говорю, — продолжал Тендел: — «Что у тебя там с Бахутом получилось?» А он говорит: «Что получилось? Да

то получилось, что Бахути меня напоил и вместо бочки "качича" подсунул бочку "изабеллы". А зачем мне за двадцать километров надо было ехать, чтобы купить "изабеллу"? "Изабеллу" я и у себя в деревне тоже мог купить».

— Найме! — сказал Бахут и дурашливо ударил себя руками по голове, как бы оплакивая самого себя.

— Я тоже его видел еще раньше! — крикнул один из застольцев под общий смех.

— Опять на поминках? — спросил Бахут.

— Нет, на базаре! — перекрикивая смех, продолжал тот, может быть, отчасти импровизируя. — И я, зная твою историю, спросил у него: «Что ты думаешь о Бахуте?» И он мне сказал: «Бахути неплохой человек. Хлебосольный человек. А то, что с вином получилось, — это я сам виноват. Если покупаешь вино, сперва попробуй из бочки, которую берешь, а потом пей с хозяином сколько хочешь. А я сперва выпил его "качич", получил кейф, а потом, конечно, не понял то вино, которое он мне продал. Если б он бочку айрана поставил на арбу, я бы ее тоже взял как вино. А так Бахути человек неплохой. Но одно плохое в нем есть: зачем он сына приучает неправду говорить?.. А так Бахути неплохой, хлебосольный человек был... Что-то я его давно не встречаю... Может, он умер? Тогда почему меня на поминки не пригласили?»

— Если Бог есть, — крикнул под общий смех Бахут, — я первый приеду на его поминки!

Выпив по последнему стакану за домашний очаг старого охотника Тендела, гости стали подыматься из-за сто-

лов. Тимур, выбрав удобное мгновение, подошел и тихо сказал Кязыму:

— Поговорим.

— Ладно, — ответил Кязым, — только жену отправь вперед.

Светила луна, и ночь была ясной и тихой, когда они вышли на верхнечегемскую дорогу. На дороге стоял Бахут, ожидая Кязыма. Им было по пути.

— Ты куда? — спросил Бахут, внимательно вглядываясь в Кязыма, а потом так же внимательно в Тимура.

— Нам нужно поговорить, — ответил Кязым просто.

— Может, подождать тебя? — спросил Бахут. Он что-то почувствовал.

— Нет, — сказал Кязым, — ты иди домой, я тоже скоро вернусь.

— Ну как знаешь, — сказал Бахут, глядя вслед Кязыму, уходящему вместе с Тимуром. Высокая легкая фигура удалялась рядом с бритоголовой коренастой, долго белеющей чесуновым кителем.

— Что тебе надо? — тихо спросил Тимур, косясь на Кязыма. Сейчас они были одни на всей дороге. В лунном свете круглая бритая голова Тимура с темнью глазниц казалась страшноватой.

И вдруг Кязым вспомнил из рассказов людей, сидевших в тюрьме, что арестантов бреют. «Господи, — подумал Кязым, — если все правильно пойдет, его и брить не надо будет. А ведь он всю жизнь ходил бритоголовый, так что в любой год можно было сажать, а лучше всего сразу, семнадцать лет

назад. Он уже тогда был бритоголовый», — мелькнуло в голове у Кязыма и погасло.

— Пойми меня хорошенько, — сказал Кязым, не глядя на Тимура, — если б моему брату не грозила беда, я бы за это дело никогда не взялся. Ты мне дашь пятьдесят тысяч, я выручу брата, и мы забудем об этом деле. Как видишь, я не лучше тебя, а какой ты, мы с тобой знаем оба.

— Ты сначала покажи свою карту, — выдавил Тимур.

— Моя карта у меня в кармане, — ответил Кязым и тут же поправил себя, — твоя карта у меня в кармане.

Тимур остановился на дороге и уставился на Кязыма своими темными глазами, и круглая бритая голова его в лунном свете казалась странной, потусторонней.

— Только без глупостей, — строго предупредил Кязым, глядя на Тимура. Он сунул правую руку в карман, вытащил ее, отвел в сторону и раскрыл ладонь. В ладони его сверкнул ключ от сейфа.

— Где взял? — с трудом выдохнул Тимур, не сводя цепенеющего взгляда с ключа, тускло поблескивающего в руке Кязыма.

— Я же говорил, что заходил к тебе, — сказал Кязым, внимательно следя за Тимуром.

— О! — рыкнул Тимур и, вцепившись ему в руку обеими руками, стал вырывать у него ключ. Он был все еще сильным человеком, но Кязым был сильнее.

Несколько долгих секунд шла беззвучная борьба, и Кязым едва удержался от желания ударить левой рукой по не-

навистному жилистому затылку Тимура, когда тот, не сумев расцепить его пальцев, стал пытаться зубами поймать кисть его руки.

— Я же говорил — без глупостей, — с брезгливым раздражением напомнил Кязым, отводя руку от зубов Тимура и попяв, что тот рано или поздно поймает его кисть своими челюстями, с такой силой вывернул ему руки, что тот, застонав, повалился.

Кязым, с трудом переводя дыхание, положил ключ в карман.

— Вставай, не маленький, — сказал он и, подхватив Тимура, поставил его на ноги.

Сейчас они молча стояли друг против друга, тяжело дыша. Кязым дышал тяжелей, хотя был моложе Тимура.

— А чем я буду уверен, что ты не донесешь? — сказал Тимур, выравнивая дыхание.

— Я же сказал, — помолчав и отдышавшись, ответил Кязым, — что я не лучше тебя. Как же я донесу властям, если деньги нужны мне для брата?

— Ладно, пошли, — сказал Тимур, и они снова двинулись по дороге. Поглядывая на круглую бритую голову Тимура, странную в лунном свете, Кязым напряженно думал, что тот еще может выкинуть. «Да, я сломал его, — думал Кязым, — но он и сломанный на все способен».

Они подошли к воротам дома Тимура.

— Вот что, — сказал Кязым, останавливаясь, — если ты попытаешься выстрелить из дома, тебе это не поможет. Бахут

видел, что я ушел с тобой. Ты будешь в тюрьме, куда бы ты ни оттащил мой труп. И деньги твои пропадут. Все! И вот что еще. Если ты быстро не выйдешь из дому, я буду считать, что ты вынес деньги с заднего крыльца, чтобы перепрятать их в лесу. Тогда я, не дожидаясь тебя, иду к председателю и отдаю ему ключ. К утру тебя заберет кенгурийская милиция.

— Нет, — сказал Тимур, — я быстро выйду, они у меня разложены по тысяче рублей. Считать не долго.

— Вот и умница, — сказал Кязым, — всегда так раскладывай.

— Хорошо, — предложил Тимур, — я тебе даю деньги, а ты мне возвращаешь ключ.

— Не пойдет, — сказал Кязым.

— Почему?

— Потому, что года через два, когда все устроится, я сам открою железный ящик и возьму деньги. Вот тогда я тебе верну твои.

— Хитрый, — процедил сквозь зубы Тимур, — так я тебе и поверил...

— Но не хитрей тебя, — сказал Кязым, — это же надо спрятать ключ, когда сам был председателем, а первый раз взять деньги уже через одного председателя. Ловко!

— Я его случайно нашел в доме, — сказал Тимур.

— Это ты оставь на случай суда, — ответил Кязым, — но ведь мы решили обойтись без суда...

Тимур открыл ворота, пересек двор и поднялся в дом. Кязым подумал, что не мешает обезопасить себя от выстрела, ес-

ли Тимур вдруг все-таки вздумает избавиться от него. Он отошел от ворот и стал в тени алычи, росшей возле изгороди. А если он выйдет с ружьем? Наверяд ли. А если все-таки выйдет? Метрах в сорока слева от усадьбы Тимура густой, заколюченный лес, спускающийся до самой верхнечегемской дороги. «Если он все-таки выйдет с ружьем, придется бежать туда, — подумал Кязым. — Нет, навряд ли он решится на это».

Минут через десять из дому вышел Тимур. В руках он держал белый сверток. Больше ничего у него не было. Он пересек двор, издали тревожно вглядываясь в то место, где стоял Кязым и где его сейчас не было.

— Эй, — окликнул он Кязыма, озираясь.

Кязым вышел из тени и подошел к воротам, Тимур стоял с той стороны ворот, держа деньги, увязанные в полотенце. Кязым взял в руки сверток и, раздвинув узлы, убедился, что там деньги.

— Не считать? — спросил Кязым, хотя знал, что теперь это не важно.

— Все честно, — угрюмо сказал Тимур.

— А то ведь я приду завтра, если не хватит, — сказал Кязым.

— Я же сказал — все честно, — повторил Тимур.

— Это на тебя похоже, — сказал Кязым, с трудом впихивая в карман огромный сверток.

Сделав несколько шагов от ворот, Кязым обернулся и сказал:

— Да... Собаку не надо бить за то, что впустила меня в дом... Собака не виновата...

— Ну уж это мое дело! — крикнул ему вслед Тимур.

Спускаясь на верхнечегемскую дорогу, Кязым думал: что еще может выкинуть Теймыр? Он решил, если вскоре раздастся вой и плач избиваемой собаки, значит, Теймыр решил на ней сорвать ярость. Если же все будет тихо — не исключено, что он, опомнившись, погонится за ним с ружьем и тогда лучше всего идти не домой, а в противоположную сторону, к дому нового председателя. Но ему сейчас лень было идти к дому Аслана.

Он уже подходил к верхнечегемской дороге, когда сзади раздался визг избиваемой собаки. Кязым вздохнул и только спустился на дорогу, как вдруг сверху, с косогора, гремя осыпью камней, стал спускаться человек. «Перехитрил! — молнией пронеслось в голове. — Жене поручил избить собаку, а сам лесом погнался за мной!»

Через мгновение Кязым облегченно вздохнул: на дорогу выскочил Бахут.

— Ты что там делал? — удивился Кязым.

— Я пошел за тобой, — сказал Бахут, — бесноватый мне не понравился... Что он тебе передал?

Кязым понял, что Бахут следил за ними из леса. Кязым ему все рассказал и, вынув сверток из своего оттопыренного кармана, передал Бахуту.

— Отдай председателю, — сказал он, — и скажи, чтобы сейчас же послал кого-нибудь в Кенгурск за милицией.

— А ты что? — спросил Бахут, запихивая в карман сверток.

— А я пойду спать, — сказал Кязым и пошел своим легким, ленивым шагом, по давней привычке засунув пальцы рук за оттянутый ремешок пояса.

Хотя Кязыму и в самом деле было лень идти к дому председателя, но все-таки он поручил Бахуту это дело по другой причине. Как ни мал был риск того, что Тимур, опомнившись, погонится за ним, он не хотел этот риск делить с Бахутом. У него, как и у Кязыма, ничего, кроме крестьянского ножа на поясе, не было. Так что он ему ничем не смог бы помочь, а риск он не хотел делить с ним.

* * *

Когда утром председатель колхоза вместе с работниками милиции и Бахутом пришли в дом Тимура, тому сначала хватило выдержки изобразить гневное негодование. Но председатель раскрыл портфель и дал заглянуть в него Тимуру.

Увидев деньги, завернутые в полотенце, Тимур побледнел. Все же он не сразу сдался. Вторую половину украденных в последний раз денег он вернул, а об остальных сказал, что ничего не знает. Разумеется, ему никто не поверил. После трехчасового обыска все деньги были найдены.

К этому времени, прослышав о случившемся, многие крестьяне собрались во дворе Тимура. Председатель колхоза несколько раз выходил на веранду и, покрикивая, пытался заставить их идти на работу. Но никто не ушел, все ждали, чем закончится обыск.

Когда, закончив обыск, милиционеры вместе с Тимуром выходили из дому, председатель, шедший за ними, что-то вспомнил.

— Стой, — сказал он Тимуру, уже спускавшемуся с крыльца под гул и гневные выкрики собравшихся во дворе. — Дай ключ от сейфа!

— Какой ключ? — обернулся Тимур. — Его же выкрал у меня твой Кязым!

— Нет, — сказал председатель, — он тебе показал второй ключ.

Тимур на мгновение замер, пытаясь осмыслить то, что сказал ему председатель. И вдруг он молча ринулся в дом. Через минуту из задней комнаты раздался страшный грохот. Не зная, что подумать, председатель и все остальные вбежали в дом.

В задней комнате дома Тимур катался по полу, с яростным иступлением стучаясь своей бритой головой об пол и повторяя:

— Обманул! Обманул! Обманул!

Рядом с ним валялись разорванные ключья большой фотографии его отца, осколки стекла и обломки рамы. Как выяснилось позже, ключ был заложен за этот портрет, висевший на стене.

Несколько минут Тимур бился как в падучей, пока его не скрутили милиционеры, а Бахут, найдя в доме бутылку чачи, насильно, сквозь сжатые зубы Тимура, влил ему в рот хорошую порцию этой чегемской валерьянки. Тут Тимур размяк, выпустил ключ, зажатый в судорожном кулаке, а потом встал.

Когда Тимур Жванба в сопровождении милиционеров и председателя колхоза вышел из дому, крестьяне, толпившиеся во дворе, стали плевать в его сторону, а сестра первого бухгалтера, сидевшего уже больше четырех лет, вырвавшись

из рук придерживающих ее людей, вцепилась ногтями в его лицо. Ее едва оторвали от него, а сам он даже не сопротивлялся, погруженный в мрачную задумчивость.

Но в Чегеме редкое событие может обойтись без комического эпизода. Так получилось и на этот раз. Не успела мрачная процессия перейти большой двор Тимура, как жена его, словно очнувшись, с криками погналась за ней.

— Ну теперь она ему покажет за дочерей! — высказал свою догадку один из собравшихся крестьян.

— Поздновато вскинулась! — добавил другой, глядя вслед бегущей и кричашей на бегу жене Тимура.

Однако жена Тимура, подбежав к процессии, вцепилась в руку председателя колхоза.

— Полотенце, — закричала она, — мое полотенце!

— Какое полотенце? — обернулся председатель, пытаясь отбросить ее руку.

— В котором деньги завернуты! — крикнула она, и тут председатель, поняв, о чем идет речь, извлек сверток из портфеля и под смех чегемцев, а может, именно из-за смеха чегемцев замешкавшись с развязыванием узлов, кинул ей в лицо полотенце.

— До чего же Теймыр ее доендурил, — смеялись крестьяне, — что она в такой час вспомнила о полотенце.

* * *

На этом, посмеиваясь сам, закончил свой рассказ Бахут. Они с Кязымом сидели на кухне Большого Дома, по-

пивая вино у очага. Кроме Нуцы, все остальные уже легли спать.

— Но вот что ты мне скажи, — спросил Бахут, — почему ты решил, что именно он ворует деньги?

— Потому что, — сказал Кязым, оживленно поглядывая на Бахута, — я сразу понял, что все три воровства — дело рук одного человека, и, значит, бухгалтеры тут ни при чем. Тогда кто? Любой другой человек, забравшись в правление, должен был или сломать железный ящик, или его унести. Но вор открывал ящик. Значит, у него был ключ. Второй ключ. Откуда взяться второму ключу? Я спросил у председателя, который до этого работал в двух колхозах, как там было с ключами. Он сказал, что обычно в правлении бывает два ключа от железного ящика — один держит председатель, другой держит бухгалтер. Значит, решил я, и у нас было два ключа. Где искать второй ключ? Бухгалтеров я отодвинул, они не виноваты. Значит, один из бывших председателей. А их у нас было три. Последний не мог держать второй ключ, потому что оба бухгалтера сели при нем, и они бы обязательно сказали, что был второй ключ. Но они ничего такого на суде не сказали. Теперь идет следующий председатель. Но при нем деньги никто не воровал, и трудно подумать, что он, работающий за сорок километров от Чегема, мог узнать, когда в железном ящике будут деньги, и прийти ночью в правление как раз в такое время, когда сторожа кто-то из близких домов пригласил за праздничный стол, как это у нас водится. Остается Теймыр. И я на нем остановился. Он — первый наш председатель, и ес-

ли с самого начала было два ключа, они были при нем. А во вторых, и это главное, если он решил, сделав вид, что ключ потерян, воровать деньги, он обязательно должен был пропустить следующего председателя. Потому что тогда еще могли подумать: а куда, интересно, делся второй ключ? А потом уже не могли подумать, привыкли, много времени прошло.

— Но вот что ты мне скажи, — снова спросил Бахут, после того как они выпили по стаканчику, — что бы ты сделал, если бы он ключ держал в том же месте, где деньги? Он бы сразу понял твой обман!

— Я об этом тоже подумал, — сказал Кязым и, осторожно приподняв кувшин, разлил по стаканам душистую «изабеллу». Стаканы с пурпурным вином, озаренные пламенем очага, просвечивались, как драгоценные камни.

— Этого не могло быть, — продолжал Кязым с удовольствием. — Если человек зарезал человека и ограбил его, он свой нож или выбросит, или, вымыв, куда-нибудь спрячет. Но он его никогда не спрячет в том же месте, где награбленные деньги. Потому что нож возле награбленных денег — это вроде свидетель. А зачем убийце свидетель? А наш Теймыр, считай, трех бухгалтеров зарезал, а ключ — это его нож. Он его не мог держать вместе с деньгами.

— А если бы он у тебя спросил, как ты залез ко мне в дом? — не унимался Бахут.

— Ха, — усмехнулся Кязым и, положив ногу на ногу, скрутил сигарку, — не для того я его два дня ломал, чтобы он у меня спрашивал. Но и на этот случай я заметил, что рама

одного окна у него подгнила. Вечером я ее потихоньку рас-
тряс, раскрыл, а потом прикрыл и пошел в дом Тендела. Но
он у меня даже не спросил ничего, потому что я его в ту ночь
доломал...

— Чем хвастаться, — сказала жена Кязыма, входя в кухню
с охапкой белья, — ты бы подумал, как он тебе отомстит, ког-
да вернется.

— Ну это еще не скоро, — сказал Кязым, и они с Бахутом
выпили по стаканчику.

— Лет десять получит, — сказал Бахут, ставя свой стакан
на столик.

— Собаку жалко, — вдруг вспомнил Кязым, — я его натра-
вил на нее...

— Ты бы лучше себя и своих близких пожалел, — заворча-
ла Нуца, разгребая жар очага, и, поддев его специальной ло-
паточкой, высыпала в утюг, — второй день пьешь, а потом бу-
дешь стонать: сердце схватило.

Кязым ничего не ответил, но, продолжая разговаривать
с Бахутом, перешел на мингрельский язык, чтобы жена не
встревала. Он еще не все тонкости этого дела выложил свое-
му другу. Нуца знала, что муж ее уже завелся и теперь еще
долго будет пить, скорее всего всю ночь. Он сам еще не знал
этого, но она уже чувствовала это по его особому оживлению.
Кязым пил редко, но основательно.

Нуца выгладила все белье и, продолжая ворчать, ушла
в горницу, держа перед собой большую стопку свежевыгла-
женного белья.

Она как в воду смотрела. На рассвете, когда птицы уже расчирикались на всех деревьях усадьбы, Кязым с Бахутом стояли посреди двора. Оба держали в руке по стакану, а у Кязыма в другой руке был еще кувшинчик. Они оба были пьяны, но не шатались и сознания не теряли. Сказывались традиции и долгая выучка.

Корова уже паслась, жадно щипля росистую траву, словно наверстывая все, что недоела за время болезни. Собака сидела у порога кухонной веранды и с некоторой сумрачностью следила за своим хозяином, как бы осуждая неприятную необычность происходящего.

Кязым сейчас, сильно запрокинувшись назад, долго тянул из своего стакана. Чувствовалось, что сосуд, в который втекает вино, уже с трудом вмещает жидкость, и Кязым, запрокидываясь все дальше и дальше назад, тянул и тянул из стакана, словно в этой позе выискивал в себе пространство, еще не заполненное вином.

Бахут, в отличие от Кязыма, был среднего роста и плотненький.

В белом полотняном кителе и в шапке-сванке, надвинутой на масляные глаза, он сейчас с некоторой блудливой хитрецой следил, чем окончится состязание Кязыма со стаканом.

Это выражение не осталось не замеченным Кязымом, и он, допив свой стакан, выпрямился и, смеясь не только глазами как обычно, посмотрел на Бахута.

— Ты думаешь, я не знаю, что ты сейчас думал? — сказал он.

— Ничего я сейчас не думал, — отвечал Бахут, убирая с липа остатки блудливого выражения.

— Ох, Бахут, — сказал Кязым, — ты сейчас думал: неужели Кязым не опрокинется назад!

— Ничего я такого не думал! — сказал Бахут.

Кязыму было ужасно весело от мысли, что Бахут ждал, что он опрокинется, а вот он взял да и не опрокинулся. Но еще веселее ему было оттого, что Бахут теперь ни за что в этом не признается.

— Неужели, — сказал Кязым, — ты один раз в жизни не можешь честно сказать правду: «Да, я ждал, что ты опрокинешься!»

— Я честно говорю, — сказал Бахут, — я не ждал, что ты опрокинешься!

— Ох, Бахут! Ох, Бахут, — покачал головой Кязым, — почему один раз в жизни честно не скажешь: «Да, я ждал, что ты опрокинешься!»

Бахут понял, что теперь Кязым от него не отстанет.

— Подумаешь, «опрокинешься», — ворчливо заметил Бахут, — ничего страшного — трава.

— Значит, ты все-таки ждал, что я опрокинусь!

— Ничего не ждал, кацо! Но если б даже опрокинулся, ничего страшного — трава!

— Ах ты, мой толстячок! Учти, что я все твои хитрости заранее знаю!

— Ты знаешь, кто такой? — сказал Бахут.

— Кто? — заинтересовался Кязым, поднося кувшинчик к его стакану.

— Ты сушенная змея, — сказал Бахут, отстраняя от кувшина свой наполнившийся стакан.

— Почему? — заинтересовался Кязым, наполнив свой стакан.

— Что ты кушаешь — тебя кушает! Что ты пьешь — тебя пьет! — торжественно заявил Бахут.

— Почему то, что я пью, меня пьет? — заинтересовался Кязым.

— Вот ты всю ночь пил, а живот у тебя где! — спросил Бахут и стал дергать Кязыма за свободный ремешок на его впадом животе. — Куда пошло то, что ты пил?

— Куда надо, туда пошло, — сказал Кязым, несколько отступая под напором Бахута.

— Ты сушенная змея, — повторил Бахут понравившееся ему определение, радуясь, что он теперь атакует, — ты жестокий! Ты своих детей ни разу на колени не сажал! Если ты честный человек, скажи: ты хоть раз в жизни сажал на колени своего ребенка?

— Нет, — сказал Кязым, — мы детей в строгости содержим. Абхазцы говорят: «Посади ребенка на колени, он повиснет у тебя на усах».

— Вот я и говорю, — нажимал Бахут, — у вас, у абхазцев, жестокие законы!

— Ах ты, эндурец! — сказал Кязым.

— Я не эндурец, — гордо возразил Бахут, — я мингрелец!

— Нет, ты эндурец, — сказал Кязым, чувствуя, что теперь он может перейти в наступление, — я один знаю, что ты эндурец.

— Нет, — гордо ответил Бахут, — я мингрелец. Я мингрельцем родился и мингрельцем умру.

— Нет, — сказал Кязым, — ты мингрельцем родился, но умрешь эндурцем.

— Это у твоего брата Сандро, — вдруг вспомнил Бахут, — жена эндурка.

Маслянистые глазки Бахута засияли: мол, посмотрим, что ты теперь скажешь.

— Мой брат Сандро, — сказал Кязым, — сам первый эндурец!

Такой оборот дела показался Бахуту чересчур неожиданным, и он немного подумал.

— Значит, ты признаешь, — сказал он, — что твой брат Сандро эндурец?

— Конечно, — сказал Кязым, — мой брат Сандро первый эндурец в мире. Нет, второй эндурец. Первый в Москве сидит.

— Но раз твой брат Сандро эндурец, — радостно воскликнул Бахут, — значит, ты тоже эндурец!

— Нет, — сказал Кязым, — я не эндурец. Я единственный неэндурец в мире. Кругом один эндурцы. От Чегема до Москвы одни эндурцы! Только я один не эндурец!

— Ох, не заносись, Кезым! — крикнул Бахут, помахивая пустым стаканом перед его лицом. — Ты, когда выпьешь, всегда заносишься! Я ненавижу, когда кто-нибудь заносится!

Уахале, уахале, цодареко... —

не слушая его, запел Кязым мингрельскую песню, и Бахут, не успев изменить гневного выражения лица, как бы подхвачен-

ный струей мелодии, стал подпевать. Немного попев, они снова выпили по стаканчику.

— Но иногда мне кажется, — сказал Кязым, как бы смягчившись после пения, — что я тоже эндурец.

— Почему? — сочувственно спросил у него Бахут.

— Потому, что не у кого спросить, — сказал Кязым, — эндурец я или нет. Кругом одни эндурцы, а они правду тебе никогда не скажут. А чтобы узнать, превратился я в эндурца или нет, нужен хотя бы еще один неэндурец, который скажет тебе правду. Но второго неэндурца нет, потому я иногда думаю, что я тоже стал эндурцем.

Тут Бахут понял, что Кязым обманул его своим притворным смирением.

— Ты опять заносишься, Кезым! — стал подступаться он к нему. — Я ненавижу, когда кто-нибудь заносится. Подумаешь, этого дурака Теймыра обманул! Он даже прокушать деньги не смог! Крысы съели половину! У тебя нет причины заноситься! А ты, когда выпьешь, сразу заносишься!

О райда Гудиса-хаца, эй...

О райда сиуа райда,

О райда э-эй... —

запел Кязым абхазскую песню, и Бахут некоторое время сумрачно молчал, а потом не выдержал и подхватил песню, все еще сердито поглядывая на Кязыма.

Немного попев, они еще раз выпили по стаканчику. И когда Кязым пил свой стакан, он слышал в тишине прерывистый сочный звук, с которым Рыжуха рвала росистую траву. Звук этот был ему приятен, и порой, пока он пил свой стакан, звук наплывал с такой отчетливостью, как будто корова рвала траву у самого его уха.

Он знал, что такое бывает после крепкой выпивки. И он подумал: для того и существует крепкая выпивка, чтобы приближать то, что приятно душе, и отдалять то, что ей неприятно. А те, кто говорят, что это нехорошо, пусть придумывают такое средство, чтобы человек иногда мог отдалять от души то, что ей неприятно, и приближать то, что ей приятно. А если не могут придумать — пусть заткнутся.

На востоке сквозь ветви яблони чуть порозовело небо. Свежий предутренний ветерок прошелестел в листьях грецких орехов и яблони и словно откачнул вместе с ветками птичий щебет и снова приблизил.

Два паданца один за другим — тук! тук! — упали с яблони, и через долгое мгновение, словно решалось, падать ему или нет, последовало третье яблоко, явно более крупное — шлеп! И снова все затихло. Только птичий щебет и сочный приближающийся звук пасущейся коровы. Буйволица на скотном дворе встала на ноги, подошла к ореховому дереву и, выбрав особенно шершавое место на его коре, стала, мерно покачиваясь, чесать свой бок. К щебету птиц и сочному звуку обрываемой травы прибавился шуршащий звук, исходящий от буйволицы, почесывающей свою толстую шкуру: шшша, шшша, шшша.

Кязым знал, что это теперь надолго. И ему было легко, весело, и он очень любил Бахута, и поэтому ему сейчас захотелось подковырнуть его с другой стороны.

— Бахут, — сказал Кязым, — ты сколько языков знаешь?

— Столько же, сколько и ты, — ответил Бахут.

— Нет, — сказал Кязым, — ты на один меньше знаешь.

— Давай посчитаем, — сказал Бахут, — говори, сколько ты знаешь!

— Я знаю абхазский, — начал Кязым, — мингрельский, грузинский, турецкий и греческий. Пять получается!

— Я тоже, — сказал Бахут, — знаю пять языков. Мингрельский, грузинский, абхазский, турецкий и... русский тоже.

На этом-то как раз Кязым его собирался поймать. В Абхазии русские в деревнях не живут, и поэтому они оба очень плохо знали русский язык. Но Бахут его знал еще хуже, чем Кязым.

— Значит, русский тоже знаешь? — переспросил его Кязым.

— Ну так, по-крестьянски знаю, — сказал Бахут, не давая себя поймать, — что нужно для хозяйства, для базара, для дороги — все могу сказать!

— А ты помнишь, когда мы продавали орехи в Мухусе, и у тебя разболелся зуб, и мы пришли в больницу, и что ты там сказал доктору? При этом, учти, доктор была женщина!

— Ты настоящая сушеная змея, — сказал Бахут, — двадцать лет с тех пор прошло, а он еще помнит. Я тогда пошутил.

— Ох, Бахут, — сказал Кязым, — разве человек шутит, когда у него болит зуб?

— А вот я такой. Я пошутил, — сказал Бахут, хотя уже понимал, что Кязым от него не отстанет.

— Ох, Бахут, — сказал Кязым, — ты нечестный человек. Ты тогда сказал этой женщине такое, что она нас чуть не прогнала. Повтори, что ты тогда сказал по-русски!

— Подумаешь, двадцать лет прошло, — напомнил Бахут смягчающее обстоятельство.

— Повтори, что ты сказал тогда по-русски.

— Ты сушенная змея, — сказал Бахут, понимая, что теперь Кязым от него не отстанет.

— Повтори, что ты тогда сказал по-русски!

— Доктор, жоп болит, — накупившись, повторил Бахут.

— Ох, Бахут, опозорил ты меня тогда, — отсмеявшись, сказал Кязым, — но сейчас-то хоть ты знаешь, как надо было сказать?

— Конечно, — сказал Бахут и вдруг почувствовал, что забыл. Знал, но забыл.

Кязым это сразу понял.

— Тогда скажи!

— Ладно, хватит, лучше давай выпьем, — сказал Бахут, оттягивая время, чтобы припомнить правильное звучание слова.

— Ох, Бахут, опять хитришь! Бахуту показалось, что он вспомнил.

— Зоп болит, надо было сказать, — проговорил Бахут и сразу же по выражению лица Кязыма понял, что промахнулся.

Кязым долго хохотал, откидываясь, как при питье, и, разумеется, не падая, на что Бахут даже не рассчитывал.

— Ох, Бахут, уморишь ты меня, — отсмеявшись и утирая глаза, сказал Кязым.

— Тогда скажи, как надо! — раздраженно попросил Бахут, пытаясь хоть какую-нибудь пользу извлечь из своей неловкости.

— Зуб болит, з-у-у-б! — вразумительно сказал Кязым. — У-у-у! За двадцать лет не можешь запомнить!

— С тех пор у меня зубы не болели, — ворчливо сказал Бахут. И добавил: — Что за язык — зоб, зуб...

Он стал припоминать, чем бы подковырнуть Кязыма. Но как назло, сейчас ничего не мог припомнить. И тогда он решил вернуться к детям Кязыма, о которых он уже говорил.

— Ты сушенная змея, — сказал Бахут, — ты ни разу в жизни не посадил на колени своего ребенка.

— Для сушеной змеи я слишком много выпил, — сказал Кязым.

— Ты лошадей любил больше, чем своих детей, — сказал Бахут, чувствуя, что можно эту тему еще развить, — ты своих детей никогда не сажал к себе на колени, ты лошадей больше любил...

— Да, — сказал Кязым, — я лошадей сажал к себе на колени.

Но Бахут его шутки не понял, он ринулся вперед.

— Ты всю жизнь лошадей любил больше, чем своих детей, ты чуть не умер, когда твоя Кукла порченная вернулась с перевала!

— Как видишь, не умер, — сказал Кязым. Он не любил, когда ему об этом напоминали.

Бахут почувствовал, что хватил лишнее, но ему сейчас ужасно было жалко детей Кязыма, так и не узнавших, как он считал, отцовской ласки.

— Ты сушенная змея, — сказал Бахут, чувствуя, что еще немного — и он разрыдается от жалости к детям Кязыма, — ты ни разу за всю свою жизнь не посадил на колени своих бедных детей...

— Зато я знаю, кого ты на колени сажаешь, — сказал Кязым, неожиданно переходя в наступление.

Бахут пошаливал с вдовушкой, жившей недалеко от его дома, но он не любил, когда ему об этом напоминали. Он сразу отрезвел, насколько можно было отрезветь в его положении, и забыл о детях Кязыма.

— Нет, — сказал Бахут сухо, — я никого на колени не сажаю.

Он не любил, когда Кязым ему напоминал о вдовушке, с которой он пошаливал, потому что она была на два года старше его.

— Не вздумай сейчас к ней идти, — предупредил Кязым, — сейчас тебе нужен большой таз. Больше ничего не нужно. А большой таз тебе жена поставит возле кровати.

— Большой таз мне не нужен, — сказал Бахут, насупившись, — большой таз тебе нужен!

Он не любил, когда Кязым ему напоминал о вдовушке, с которой он пошаливал. Особенно он не любил, когда Кязым

напоминал ему о вдовушке и о жене одновременно, потому что вдовушка была на два года старше его и на двенадцать лет старше жены.

— Когда дойдешь до развилки, — сказал Кязым и для наглядности, поставив кувшин на землю, стал показывать руками, — так ты не иди по той тропинке, которая слева...

— Что ты мне говоришь! — вспыхнул Бахут. — Что я, дорогу домой не знаю, что ли?!

— Когда подойдешь к развилке, — вразумительно повторил Кязым и снова стал показывать руками, — по левой тропинке не иди. Иди по правой — прямо домой попадешь. Ты еще помнишь, где у тебя правая рука, где левая?

— Не заносись, Кезым, — гневно прервал его Бахут, — ты, когда выпьешь, всегда заносишься! Я ненавижу людей, которые заносятся, как сушеная змея!

Шарда а-а-мта, шарда а-а-мта... —

запел Кязым абхазскую застольную, а Бахут некоторое время молчал, показывая, что на этот раз его не поддержит. Но забыл и стал подпевать, а потом вспомнил, что не хотел подпевать, но уже нельзя было портить песню, и они допели ее до конца. После этого они выпили еще по стаканчику.

За яблоней разгоралась заря. Корова, которая паслась перед ними, теперь паслась позади них, и оттуда доносился все тот же сочный, ровный звук обрываемой травы. Буйволица

на скотном дворе, стоя возле орехового дерева, мерно покачиваясь, продолжала чесать бок.

«Большое дело, — подумал вдруг Кязым, — требует большого времени, точно так же, как буйволице нужно много времени, чтобы прочесать свою толстую шкуру».

Снова потянул утренний ветерок, и петух, может быть, разбуженный им, громко кукарекнул с инжирового дерева, где на ночь располагалось птичье хозяйство. Две курицы слетели вниз и закудахтали, словно извещая о своем благополучном приземлении, и петух, как бы убедившись в этом, пыхнув червонным опереньем, шлепнулся на землю и громко стал призывать остальных кур незамедлительно следовать его примеру. В козьем загоне взбрыкнул колоколец.

Кязым и Бахут были пьяны, но нить разума не теряли. Во всяком случае, им казалось, что не теряют.

— Знаешь что, — сказал Кязым, — я чувствую, что ты не сможешь отличить левую руку от правой. Потому я тебе сейчас налью немного вина на правый рукав, чтобы ты, когда подойдешь к развилке, знал, в какую сторону идти.

С этими словами он взял покорно поданную ему правую руку Бахута и стал осторожно из кувшина поливать ему на обшлаг рукава. Бахут с интересом следил за ним.

— Много не надо, — вразумительно говорил ему Кязым, осторожно поливая обшлаг, — а то жена подумает, что человека убил.

— Я тебя все равно рано или поздно убью, — сказал Бахут и протянул ему вторую руку. Кязым машинально полил обшлаг второго рукава.

И тут неудержимый хохот Бахута вернул Кязыма к действительности. Он понял, что Бахут его перехитрил.

— Ха! Ха! Ха! — смеялся Бахут, вытянув руки и показывая на полную невозможность отличить один рукав от другого. — Теперь в какую сторону я должен поворачивать?

— Ох, Бахут, — сказал Кязым, — я устал от твоего шайтанства.

— Еще ни один человек Бахута не перехитрил! — громко сказал Бахут, вздымая руку с красным обшлагом, и, решив на этой победной ноте закончить встречу, отдал Кязыму свой стакан.

Бахут пошел домой, а Кязым стоял на месте и следил за ним, пока тот переходил скотный двор, и, когда Бахут скрылся за поворотом скотного двора, стал прислушиваться — не забудет ли он захлопнуть ворота. Там начиналось кукурузное поле, и скот мог потравить его. Хлопнули ворота — не забыл.

Уахале, уахале, цодареко... —

протянул Кязым песню и замолк, прислушиваясь к тишине. Чегемские петухи всюду раскукарекали. Через несколько долгих мгновений раздался голос Бахута, подхватившего песню. Звякнув стаканами, Кязым взял их в одну руку

и, приподняв кувшинчик, пошел к дому своей все еще легкой походкой.

* * *

Через месяц бывшего председателя колхоза Тимура Жванба, предварительно лишив его звания Почетного Гражданина Села, судили и дали ему десять лет. Невинно осужденных бухгалтеров выпустили. В том же году жена Тимура, продав свой дом, перебралась к дочери в Кенгурск. Так закончилась история ограбления колхозного сейфа.

Сторож правления, считавший неприличным отказываться от приглашений на праздничные застолья в ближайших домах, был уволен. Однако новый страж тоже не слишком ломался, когда хозяин какого-нибудь из ближайших домов, усаживая гостей за стол, говорил своим домашним:

— А ну кликните этого бедолагу, что нашу благодетельницу стережет! Пусть посидит в тепле и выпьет пару стаканчиков.

И новый страж, обычно знавший о предстоящем застолье и бдительно ожидавший призыва, быстро являлся в дом и, приткнув куда-нибудь свое ружьишко, присаживался к столу, мимоходом успокаивая гостей, кстати, не испытывавших никакой нужды в его успокоении.

— Теперь-то, — говорил он, намекая на арест Тимура, — железный ящик никто не откроет. А больше там и брать нечего, кроме стульев.

— Да, — соглашались чегемцы, — пока в Чегеме пасутся четвероногие, никто стульев не станет воровать. Вот если четвероногих не будет, тогда, может, и до стульев дойдут.

— К тому оно и клонится, — при этом обычно замечал какой-нибудь скептик и, сдвинув войлочную шапчонку на глаза, смачно сплевывал в очаг, неизменно стараясь попасть в самую середину огня, что ему, за редкостью, удавалось.

19. хранитель гор, или народ знает своих героев

Мы вчетвером сидели на стволе поваленного бука и курили в ожидании машины. Здесь, на лесной поляне, образованной вырубками, стоял сильный запах свежей древесины. Справа, в конце поляны, виднелось деревянное строение, в котором помещались конторка лесорубов и ларек. Сейчас и то и другое было закрыто.

Возле конторки высились сложенные друг на друга розовые, свежоошкуренные бревна. Такие же глыбастые, громадные обрубки были разбросаны по всей поляне. Казалось, их вынесла из леса вода, потом схлынула, а бревна так и осели здесь. На самом деле их сюда приволакивают из леса на тракторах, а уж отсюда везут на машинах вниз, в город.

Два тяжелых грузовика, уже нагруженные, стояли у конторки. Оба шофера вместе с местными сванами ушли домой к одному из них. Шоферы, бывшие местные сваны, теперь

живут в городе, и земляки при встрече с ними подвергают их ревнивой застойной проверке.

Это длительное застолье мы сейчас и переживали, сидя на стволе поваленного бука. Мы не боялись, что шоферы напьются, потому что на этих высокогорных дорогах встретить пьяного шофера так же маловероятно, как встретить пьяного лунатика на карнизе высотного дома. Хотя с другой стороны, если установить наблюдение за карнизами высотных домов (а почему бы не установить? — пенсионеры-общественники с удовольствием возьмутся за это), в конце концов, может, и удастся обнаружить пьяного лунатика. Во всяком случае, здесь, на горных дорогах, я пьяных шоферов никогда не встречал. Слегка выпившие иногда попадались, но пьяные — никогда.

Вместе со мной на стволе сидели Котик Шларба, лектор сельскохозяйственного института, художник Андрей Таркилов и его друг из Москвы Володя, тоже художник.

Неделю мы провели на альпийских лугах, а сейчас возвращались в город. Вернее, ребята ехали в город, а я собирался спуститься до нарзанного источника, где должен был встретиться с дядей Сандро. Об этом мы с ним договорились еще в городе.

Сюда, к пастухам, нас пригласил родственник Андрея, заведующий колхозной фермой. Хотя самого заведующего к нашему приезду на месте не оказалось, мы чудесно провели время, может быть, именно потому, что его не оказалось на месте.

Представляю моих спутников в самых сжатых чертах.

Насколько хорош Котик, лучше, чем раньше, стало чувствоваться теперь, когда он стал несколько хуже. А хуже он стал с прошлого года, когда его сделали заведующим кафедрой у себя в институте. С тех пор он стал как-то осторожней, потерял часть своей непосредственности, точнее, установил за своей непосредственностью более строгий контроль. И все-таки он и сейчас парень хоть куда, а разойдется — так и вовсе забываешь, что у себя в институте он заведует кафедрой, одновременно заседая или даже восседая на ней.

По-моему, если человек от природы весел, неглуп, доброжелателен, то его не так-то просто сбить с толку какой-нибудь кафедрой. Конечно, кафедрой можно сбить человека с толку, но для этого нужно время, особенно если речь идет о таком живчике, как наш Котик.

Кстати, забавную вещь о кафедре рассказал мне один симпатичный архитектор. Он был приглашен к одному из министров легкой промышленности для переоборудования его кабинета в более современном стиле.

В обширном и светлом кабинете министра, обставленном тяжелой послевоенной мебелью, его поразили две вещи: вышивки, украшавшие спинку дивана, и трибунка, облицованная облупленной фанеркой. Такая кафедра, по его словам, была бы уместна в красном уголке пожарного депо, а не в кабинете министра.

Наш любознательный архитектор спросил у помощника министра, откуда эти вышивки явно кустарной работы.

На это ему помощник ответил, что жена министра решила в связи с общей либерализацией утеплить казенную атмосферу в кабинете мужа. И вот, сказал он, двусмысленно вздохнув, либерализация кончилась, а вышивки остались.

Тогда мой знакомый архитектор очень осторожно решил выяснить у помощника, какой из двух смыслов в его двусмысленном вздохе он лично поддерживает. Тут, к унылому удивлению моего архитектора, оказалось, что помощник министра поддерживает оба смысла, потому что и тот и другой носят осуждающий характер.

Удовлетворив свое любопытство по поводу вышивок, архитектор стал громко выражать недоумение по поводу этой странной трибунки. Тут помощник министра ему разъяснил, что вообще-то она здесь обычно не стоит, но в последние дни она была сюда внесена по случаю того, что министр с ее помощью готовился к докладу.

Тут мой знакомый архитектор еще больше удивился и спросил, зачем министру трибушка, когда с докладом, составленным помощником, он может ознакомиться, сидя за своим обширным и удобным столом.

— Подход к кафедре тоже имеет значение, — сказал помощник и, переводя разговор, стал объяснять, как переоборудовать форточки в кабинете министра легкой промышленности, с тем чтобы они по красоте не уступали форточкам в кабинете другого министра, несколько более тяжелой, хотя и не самой тяжелой промышленности.

Он очень подробно объяснял, как это надо сделать, чем не только удивил, но даже обидел моего знакомого архитектора, известного своими талантливыми работами. По его словам получалось, что он уже сорок лет делает эти самые форточки и как-нибудь больше в этом понимает, чем оба министра обеих весовых категорий.

Вот о чем мне вспомнилось, когда разговор зашел о кафедре, который я же и завел, впрочем, без всякого злого умысла.

Что сказать об Андрее? Достаточно посмотреть на его картины, когда ему удастся их выставлять, как сразу же видишь, что таланта в нем столько, сколько молока в вымени хорошей коровы.

Бойцовский темперамент в его характере сочетается с ужасающей застенчивостью, которую он неизвестно где подцепил. Впрочем, я догадываюсь, откуда это в нем, но скучно было бы все это выяснять и разьяснять. В боксе таких ребят во время спарринговых боев тренеру не приходится горячить. Тем более на ринге.

Надо сказать, что застенчивость его иногда оборачивается невероятной агрессивностью и тогда его невозможно остановить. Обычно он взрывается на проявление хамства, а иногда на то, что кажется хамством его подвыпившей застенчивости.

В последнее время у него был довольно мрачный вид, но здесь, в горах, он сумел сбросить свои заботы и заметно повеселел. Мрачное состояние было вызвано реакцией на его картину, выставленную этой весной в художественном салоне.

Это довольно большое полотно изображало трех мужчин в синих макинтошах, стоявших у моря. В дальней перспективе виднелся призрачный мыс с призрачными, естественно, от большого расстояния контурами новостроек.

Чувствовалось, что художник увидел в изображенных людях какую-то силу зла и в то же время вложил в это изображение долю издевательства, тем самым как бы внушая, что сила зла, воплощенная в этих людях, мнимая. Или само зло мнимое?

Одним словом, впечатление от картины двоилось, троилось и самой своей множественностью как бы издевалось над зрителем, внушая ему мысль, что всякое его единственное решение будет неверным и потому глупым. В крайнем случае глуповатым.

А множественное решение обещает быть умным? Судя по всему, художник и такого обещания никому не давал.

Одним словом, в картине была (на мой взгляд, конечно) какая-то тайна, смягченная или, наоборот, осмеянная иронией художника. Так, у одного из троих из-под длинной штанины виднелась часть каблука, слегка напоминающая копыто, но опять же оставалось неясным, то ли дьявола, то ли осла. Возможно, одновременно и то и другое, то есть каблук напоминал дьяволистое копыто осла или ослепящее копыто дьявола.

У другого хотя каблук и не напоминал копыта, но вся нога, по-лошадиному расслабленная (имеется в виду поза задней ноги отдыхающей лошади), грозила в случае необходимости немедленно окопытиться.

У третьего, наоборот, вытянутые ноги кончались фотографически точно изображенными желтыми туфлями с бантиками шнурков, посверкивающими металлическими наконечниками.

Ноги были вытянуты и симметрично раздвинуты врозь. И хотя они не только не грозили окопытиться в ту или иную сторону, но как бы полностью отрицали всякую идею развития, что-то в них было еще более неприятное, чем в ногах его товарищей. В самой позе и в выражении лиц этих двоих была та солидность, то спокойное ожидание исхода, какое бывает у людей, стоящих на эскалаторе. В данном случае можно было предположить, что это был эскалатор эволюции видов, только движущийся в обратном направлении: вот доедем до парнокопытных, а там и сойдем.

Но почему же ноги этого третьего с их великолепными желтыми туфлями казались гораздо хуже? Первый раз с мурашками, пробежавшими по спине, я догадался, что дело в неестественно маленьком размере этих самых туфель. Могут ли ноги карлика удержать это взрослое туловище? И вместе с этим вопросом догадка и мурашки по спине: постой, да не мертвец ли это, поставленный на попа! Тогда почему у него такое улыбающееся, жизнерадостное лицо? Господи, да не обменялись ли эти трое головами?!

Картина называлась «Трое в синих макинтошах». На все вопросы Андрей морщился по своей привычке или отвечал, что ничего, кроме эффекта перехода цвета темно-синих ма-

кинтошей в синь гладковыбритых щек, его в этой вещи не интересовало.

Картина наделала много шума, и, в конце концов, ее сняли до закрытия выставки. Впрочем, в нашем городе ее все успели посмотреть. В книге отзывов о ней писали больше, чем обо всех остальных картинах, вместе взятых, хотя и среди остальных было несколько хороших полотен.

Большинство отзывов склонялось к тому, что на картине изображены три бюрократа. Честно говоря, я сам склоняюсь так думать, но сказать ему об этом я не решился, поскольку знал, что он может обидеться на такую прямолинейность.

Некоторые отзывы, на мой взгляд наиболее забавные, я тогда же переписал в блокнот. Вот они.

«Три макинтоша». — «Здорово! Здорово! Здорово!» (Следовали три подписи, из чего я заключил, что трое друзей по одному разу воскликнули свою оценку.)

«Так держать!» (Приказал некий сухопутный капитан, но расписался как-то уж слишком неразборчиво. Меня этот сухопутный капитан почему-то всегда раздражал больше всех остальных.)

«Картина хорошая, но почему трое именно в синих макинтошах?» (Страстно допытывалась какая-то женщина.)

Иные писали просто черт-те что. Так, например, выступил представитель народного контроля, вызвавший своим отзывом целый каскад ответных реплик. Он писал: «Если художник имеет в виду заведующих промтоварными складами № 1, № 2, № 3, то дело не в том, что они щеголяют в синих макин-

тошах, хотя это метко подмечено, а дело в том, что они отпускают дефицитные товары вплоть до джерси. И не надо было им головы маскировать путем обмена. От перестановки слагаемых, как говорится в народе, сумма не меняется».

«Позор товароведу Цурцумия!!!» — бросил кто-то гневную, но совершенно непонятную реплику. Можно было догадаться, что она написана под влиянием предыдущей записи, но, как впоследствии выяснилось, дело было сложнее.

А вот запись молодого представителя рабочего класса.

«...Хорошая картина и правильная. Пока начальники в синих макинтошах прохлаждаются возле моря, стройка стоит и будет стоять. Я сразу узнал очертания Оранжевого мыса и начальника нашего СМУ. Он тот, который в сердечке, только художник ему другую голову приделал. И это мудро. У гидры бюрократизма отруби одну голову — вырастет другая...»

И подпись и адрес была выведены с полемической отчетливостью.

А вот еще один, последний отрывок из последней записи.

«...Я впервые на периферийной выставке и удивлен. Во-первых, почему каждый пишет что хочет, товарищи? Ведь этим могут воспользоваться те, которые разъезжают под видом туристов? Почему сами не догадались, почему все надо подсказывать, товарищи? Ведь я здесь отдыхаю случайно, хотя, разумеется, не случайно в санатории Министерства тяжелой промышленности. В Москве, например, сейчас на выставках...» Дальше шло описание того, как, по его мнению, те-

перь устраивают выставки в Москве, но об этом потом. Товарищ из тяжелой промышленности не только отчетливо подписался, но и указал номер комнаты в санатории, где он жил, что могло быть понято как приглашение для более подробной консультации.

Должен сказать, что до этой цитаты шел довольно-таки резкий отзыв о самой картине. Думаю, все это повлияло на то, что случилось позже.

Так или иначе в один прекрасный день в нашей газете прошел слухок, что картина Таркилова кому-то наверху не понравилась, что редактор кому-то уже заказал статью по этому поводу и она появится в газете, как только уедет с Оранжевого мыса один молодой принц из еще более молодого африканского государства.

Сначала никто не понимал, какая тут может быть связь между молодым принцем, отдыхающем на Оранжевом мысе по приглашению нашего местного президента, и нашей выставкой, но потом редактор наш, Автандил Автандилович, нам все объяснил.

Оказывается, принц еще окончательно не выбрал между нашим и американским путем развития своего несовершеннолетнего государства. Иногда он у нас отдыхает, иногда — во Флориде.

Это во-первых. А во-вторых, имелись сведения, что он коллекционирует картины. И хотя точно никто не знал, какого характера работы он выбирает для своих коллекций, было подозрение, что он из молодых, да ранних.

Конечно, было маловероятно, что принц, просыпаясь по утрам, первым делом хватается за нашу местную газету, но все-таки рисковать не стоило, тем более что через неделю он собирался уезжать к себе домой, не говоря о том, что и без этого произошел довольно-таки неприятный случай, из которого, кажется, удалось выкрутиться без особых потерь. Тут я беру тайм-аут и предоставляю слово своему земляку, с тем чтобы он рассказал об этом случае.

рассказ моего земляка

Пусть они на меня не обижаются, но у некоторых наших руководителей (местных, конечно) есть плохая привычка.

Чуть появится в наших краях какой-нибудь негритянский деятель, так тот, можно сказать, не успеет с трапа ступить на землю, как они ему говорят:

— А вы знаете, у нас свои негры есть.

В самом деле у нас с незапамятных времен живут в селе Адзюбжа несколько негритянских семей. Ну, живут, живут. Раньше как-то никто на это внимания не обращал. Даже и теперь неизвестно, когда они к нам попали. Наверное, множество столетий назад. Одним словом, никто не знает.

Не то что о происхождении наших негров, мы о собственном происхождении мало что знаем. Кстати, еще в середине 30-х годов наш знаменитый ученый и писатель Дмитрий Гулиа пытался докопаться до нашего происхождения.

То ли глядя на наших негров из Адзюбжа, то ли по каким-то другим причинам он выдвинул гипотезу об эфиопском происхождении абхазцев. Ну, выдвинул и выдвинул. Да не тут-то было.

Почему-то эта гипотеза сильно не понравилась председателю Совнаркома Абхазии Нестору Лакоба. Вообще-то, несмотря на глухоту, Лакоба был остроумный человек, но эта гипотеза ему не понравилась.

— Сам ты эфиоп, — сказал Лакоба, отрывая слуховую трубку от уха. При этом он даже, говорят, дунул в свою слуховую трубку, как бы ополаскивая ее от нечестивого звука и одновременно намекая, что дважды ополаскивать ее от одной и той же версии не собирается. Разумеется, больше об эфиопской версии нашего происхождения никто не заикался.

А между прочим, уже совсем недавно, когда газеты запестрели именем несчастного Лумумбы, я подумал: а что, если старик Гулна был прав? Лумумба — типично абхазская фамилия. Сравните — Агрба, Лакерба, Палба, а рядом далекая, но нашенькая — Лумумба.

Не успел я додумать это интересное научное наблюдение, как в газетах появилось мрачное имя — Чомбе. (Между нами говоря, правильнее было бы сказать Чомба.) И главное, из того же Конго. С точки зрения научной добросовестности, признав Лумумбу нашим, я должен был то же самое сделать и с Чомбе. Но, спрашивается, зачем нам этот мракобес, что, у нас нет своих забот, что ли?

Пришлось, как говорится, довольно основательно наступить на горло собственной песне и оставить развитие эфиопской версии до лучших времен.

Так вот, значит, когда стали появляться в наших краях негритянские деятели из натуральных африканских государств, наши руководители при встрече с ними нет-нет да и не вытерпят, чтобы не сказать:

— А вы знаете, у нас свои негры есть.

Иногда это говорится во время банкета, когда надо поддерживать непринужденный разговор на общую тему. Услышав такое сообщение в разгар банкета, некоторые африканские деятели, особенно из демократов, начинали, говорят, поспешно срывать со своего горла салфетку, понимая эту информацию как приглашение немедленно посетить своих братьев.

— Нет, кушайте, пейте, — спохватывается наш деятель, — я это просто так, к слову сказал.

Ничего себе к слову! Смотрит на приезжего негра, вспоминает про наших и еще говорит, что это просто так, к слову.

Разумеется, не все приезжие негры с такой родственной горячностью откликаются на это сообщение. Более монархически настроенные негритянские деятели, услышав такое, молчат или, что еще хуже, нагло вато выпятив губу, отвечают:

— Ну и что?

— Как ну и что? — теряется наш товарищ, но сказать ничего не может — политика.

А между прочим, все началось с Роя Ройсона. В тот год Рой Ройсон отдыхал в Крыму. Ну отдыхает человек — ничего

особенного. Так наши товарищи и туда, в Крым, проникли к Рою Ройсону и передали, что, мол, так и так, у нас с незапамятных времен живут негры.

Но, главное, говорят, спросите, как живут. «Как живут?» — спрашивает Рой Ройсон. А так живут, отвечают наши, что, спросишь у них про суд Линча, они только лупают своими глазищами и говорят, что это такое, мы про такие глупости не слыхали. А спросишь про дискриминацию, опять лупают глазами, опять ничего не знают. Вот так у нас живут негры, говорят наши.

Хорошо, что вы мне это сказали, отвечает Рой Ройсон, хотя я и сам догадывался, что если уж негры живут в Советском Союзе, то только так. При этом он как будто обещал, если будет время, заехать в Абхазию и познакомиться с жизнью местных негров.

Наши, конечно, обрадовались и давай мозговать, как лучше принять замечательного певца, который, по слухам, прижимая к груди живого голубя мира, с такой нежностью поет негритянскую песню «Слип, май беби», что голубь в самом деле засыпает на глазах у публики. А знаменитый певец с улыбкой смотрит на спящего голубя и, продолжая держать его на вытянутой ладони, молча, одними глазами умоляет публику аплодисментами не будить спящую птицу. Но благодарная публика с этим никак не соглашается, и голубь во время перехода аплодисментов в овацию вздрагивает и просыпается. Он поворачивает во все стороны свою голову, стараясь вспомнить, где находится.

И вот, осознав, что он среди хороших, простых людей, голубь взлетает с ладони и летит под купол, тем самым лишний раз доказывая, что он живой, а не подделанный.

Этот его коронный номер до сих пор не могут ему простить империалисты всех стран, потому что их певцы повторить его не могут. Они пытались его оклеветать, указывая, что в дыхании певца имеется наркотическое средство, при помощи которого он якобы усыпляет доверчивую птицу. Но авторитетная комиссия, созванная обществом Красный Крест, после тщательной проверки дала заключение, что, к сожалению, ничего подобного нет, что Рой Ройсон исключительно голосом воздействует на эту древнюю музыкальную птицу.

Так говорят люди, которые допущены к международной литературе по этому вопросу.

Ну, вот, значит, мозгуют наши, как получше принять знаменитого певца. Среди наших негров выбрали одного подходящего во всех отношениях для такого случая: и живет зажиточно, и семья большая, и на вид справный, не какой-нибудь там мозгляк. К тому же при должности, бригадир табакководческой бригады.

Все хорошо у этого негра, только один минус — нет собственной машины. Что делать? Быстро оформили через Совмин (наш, местный, конечно) новенькую «Волгу» как подарок передовому колхознику.

А между прочим, про то, что Рой Ройсон должен приехать, держали в полном секрете. Зачем раньше времени языками

трепать. Просто намекнули, мол, как-нибудь заедем с одним высоким гостем, а кто он, не сказали.

— Хоть с высоким, хоть с низким, — отвечал им этот зажиточный негр, усаживаясь рядом с министерским шофером, — я и так вас принял бы, а теперь буду век благодарить.

— Еще бы, — сказали ему в Совмине, — поезжай и жди.

В общем, все получилось честь честью. Представьте, зеленый абхазский дворик с традиционным грецким орехом посередине, каменный дом на высоких сваях, возле дома новенькая «Волга» с задраенными окнами, чтобы куры не влетали... Вот, мол, хижина нашего дяди Тома, вот его бричка, а вот и он сам.

Кстати говоря, и без всего этого негры, как и все колхозники этого села, достаточно зажиточно живут, но наши-то меры ни в чем не знают, а прикрикнуть на них в этот исторический промежуток оказалось некому.

Одним словом, все оказалось честь честью, да вот беда — Рой Ройсон не приехал. То ли он подумал, что за наших-то негров он спокоен, вот за своих ему надо думать, то ли еще что. Да в сущности, он точного обещания никому не давал, это уж наши тут напреувеличивали.

Одним словом, в один прекрасный день в газетах появилась информация, что Рой Ройсон уехал к себе в Америку, где, по всей вероятности, будет преследоваться, как и прежде.

Наши приуныли. Как быть? Машину подарили, а он возьми и не приедь. А тут, как назло, этот зажиточный негр и вся

его черно-белая родня, не говоря о детях, как очумелые шпартят на этой «Волге» и знать не знают о Рое Ройсоне.

Я забыл сказать, что этот негр, как и многие наши негры, был женат на абхазке. Женились-то они издавна на абхазах, но могучие негритянские гены всегда побеждали и упорно давали черное потомство. Правда, в последние годы то ли под влиянием радиации, то ли еще что, но негритянские гены, между нами говоря, стали не те. Осечку дают. Нет-нет да и появится смуглячок. Но распределяются они неравномерно. То идут сплошняком черненькие, а там, глядишь, и смуглячок появляется. А то наоборот.

А в одной семье, где мать была чистокровная абхазка, а отец — негр, родился мальчик ну совершенно белый, как козленок. Отец ребенка, думая, что он мнимый отец, пришел в ярость и, схватив двустволку, ринулся в комнату, где лежала жена со своим ребенком. Между прочим, после родов она довольно долго пролежала в больнице. Одни говорят, осложнения, другие — мужа боялась, ждала, может, ребенок потемнеет.

Но ребенок потемнеть не собирался, и вот, значит, муж схватил двустволку и ринулся в комнату, где лежала жена со своим ребенком. Но тут на него навалились все, кто мог, с тем чтобы удержать его от рокового шага. Он даже в дом не смог пройти, потому что двустволку он вынес из кухни, а кухня, как у нас принято, отдельно от дома расположена.

— Даже если это было, при чем ребенок?! — кричали ему, заламывая руку с ружьем и одновременно пытаясь его «стре-

ножить». Очень здоровый был этот негр, и тем более ему было обидно.

— Ребенок ни при чем! — отвечал он сквозь зубы. — Я ее пристрелю как собаку!

Они решили, что раз он схватил двустволку, значит, обязательно собирается убивать обоих, что было не совсем верно.

Одним словом, шум стоял ужасный. А тут еще стали вешиваться те, что собрались на веранду, чтобы удобней было наблюдать за потасовкой и быть подальше от шальной пули.

— Пропустите веревку между ног! — кричат одни.

— Наступайте ему на живот! — советуют другие. Им было хорошо советы бросать. А тем, которые взялись скрутить этого могучего негра, обидно, и они им говорят:

— Спускайтесь сюда, если вы такие умные!

Те знай кричат свое, а спускаться и не думают. Недаром великий Руставели про таких когда-то сказал: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой издалека».

А между прочим, в это время возле роженицы сидели женщины и все время заводили проигрыватель с долгоиграющей пластинкой, чтобы она не слышала скандала. Молодая мать сначала терпела, но потом не выдержала.

— Дорогие родственницы, — сказала она, — или идите играть в другую комнату, или у меня молоко испортится.

— Лучше мы выключим совсем, — сказали женщины и остановили пластинку.

Вообще в нашем районе долгоиграющие пластинки не уважают, особенно оперы. Правда, покупают, потому что они довольно дешево обходятся.

И тут женщины, остановив пластинку, вынуждены были рассказать молодой матери про ее мужа.

— Впустите, докажу, — оказывается, сказала она и, быстро приубрав кровать, присела на ней.

Женщины побежали во двор и все рассказали.

— Хорошо, — согласился этот негр и, бросив двустволку, выбрался из веревок.

Опять поднялся шум, потому что всем было интересно посмотреть, как она ему будет доказывать. А между прочим те, кто, ничего не делая, с веранды наблюдал за происходящим, опять оказались в лучшем положении, чем те, кто, рискуя жизнью, связывал ревнивца. Вот вам и справедливость.

Значит, в дом набилось человек сто, а то и больше. Правда, в комнату роженицы вошло человек десять. Остальных не пустили.

— Слушайте из зала, — сказали им, — оттуда все слышно.

Но оттуда ничего не было слышно, и они стали подозревать, что их обманули.

— Почему в тишине ничего не раздастся? — спрашивали они друг у друга, ничего не понимая.

— Потому, что она ничего не говорит, — наконец ответил тот, что стоял у самых дверей и кое-что видел.

В самом деле, оказывается, в это время молодая мать, глядя на мужа, молча разбинтовывала пеленки на своем младен-

це. А отец стоит у дверей и только прожекторами полыхает: мол, посмотрим, что ты этим докажешь.

Откинув пеленки, она выставляет на ладонях шевелящееся дитя. Между прочим, сверху спинкой, но никто ничего не понимает. Только мать этого негра все поняла, потому что мать, дорогие товарищи, она всегда остается матерью.

Это была старая, уважаемая всеми негритянка, потому что с большим мастерством гадала на фасоли. Ее так и называли — «Метательница фасоли». Метнет на стол горсть фасолин, а потом смотрит, смотрит, как они легли, и спокойно читает вашу судьбу. Между прочим, никогда ничего не скрывала. Некоторые на нее за это обижались.

— Тыквенная голова, — говорила она таким, — я только читаю твою судьбу, ты обижайся на того, кто ее написал.

Одним словом, эта мудрая женщина наклоняется к ребенку, а потом делает знак своему сыну, чтобы он подошел. Сын подходит и нехотя рассматривает невинный задик младенца. А сам ребенок в это время крутится на руках у матери, выворачивает головку и с улыбкой смотрит на родного отца.

Видя такое, некоторые женщины не выдерживают и начинают рыдать, мужчины находят поведение ребенка удивительным и довольно смешным. Хотя смешного тут ничего нет, потому что ребенок, с одной стороны, мог почувствовать родного отца, а с другой стороны, он впервые видел негра. Ведь до этого он был в больнице, а там работают только наши и притом все в белом — и сестры, и няни, и врачи.

— Зад-то как будто мой, — наконец частично признает своего сына этот упрямый негр.

Тут не выдержала его собственная мать и с ловкостью, неожиданной для гадалки, ударила его палкой по голове. Палку эту она всегда держала в руке, как старая, уважаемая всеми женщина.

— А теперь иди, — сказала она, и он молча вышел. Оказывается, у негров бывают родимые пятна, хотя многие об этом не знают. Оказывается, на середине левой ягодицы этого ребенка было такое же родимое пятно, как и у отца.

Тут родственники с обеих сторон начали ругать этого невыдержанного негра. А что же, говорили они, если бы этого пятна не оказалось или оно, допустим, оказалось совсем в другом месте?

И вообще, говорили многие, все это безобразие. И то, что жена знала, где находится родимое пятно мужа, тоже не украшает ее по нашим обычаям. Правда, некоторые оправдывали ее, говоря, что она могла заметить это родимое пятно, когда он купался и попросил мочалкой потереть ему спину.

Тут старые и уважаемые люди сели и стали думать, как выйти из создавшегося положения, чтобы перед людьми из других сел не было стыдно за этот случай. И вот что они придумали.

Они придумали такую версию, что вообще ничего такого не было. Все произошло по недоразумению. Отец, как и принято по нашим древним обычаям, когда привезли сына из больницы, решил выстрелами отметить это удачное событие.

А кто-то из соседей, заметив, что он выходит из кухни с ружьем и уже зная, что у него родился чересчур белый ребенок, решил, что он будет стрелять не в воздух, а в жену. И от этого, мол, произошла вся свалка, потому что отцу не дали возможности объяснить, что к чему. Разумеется, этому никто не верил, но родственники все равно рассказывали так.

Но вернемся к Рою Ройсону и тому зажиточному негру, которому подарили «Волгу», как оказалось, без всякой пользы для дела. Стали через председателя колхоза осторожно нажимать на него, с тем чтобы он без всякого шума вернул «Волгу» подарившему ее Совмину (местному, конечно).

Председатель очень обрадовался новому решению Совмина, потому что ему было обидно, что бригадир катается на новой «Волге», а он, председатель, на старой «Победе». Товарищу из Совмина, который вызвал его по этому поводу, он предложил отобрать у бригадира «Волгу» и продать ее колхозу.

— Ты уговори ее вернуть, — отвечал товарищ из Совмина, — а там посмотрим, потому что с «Волгами» сейчас трудно.

— А как его уговоришь, — отвечал председатель, — вы лучше прикажите.

— Приказать не можем, — отвечал товарищ из Совмина, — потому что, с одной стороны, сами подарили, а с другой стороны, Африка просыпается.

— Африка пусть просыпается, — отвечал председатель, — и мы ее за это приветствуем, но эту «Волгу» надо отобрать, потому что они ее все равно разобьют.

— Поговори с ним по-хорошему, — отвечал товарищ из Совмина, — а там посмотрим.

Видно, председатель не верил, что по-хорошему что-нибудь получится, потому что действовал совсем не так, как просил его товарищ из Совмина. Он вызвал к себе бригадира и под большим секретом рассказал ему, что машину у него все равно отберут, поэтому лучше пускай он, пока не поздно, обменяет ее на его «Победу», а разницу он хоть сейчас получит наличными.

На это зажиточный негр улыбнулся ему своей характерной ослепительной улыбкой и сказал, что в деньгах он не нуждается, а нуждается в этой новой «Волге».

Председатель снова поехал к товарищу из Совмина и сказал, что по-хорошему ничего не получается. Он предложил товарищу из Совмина хотя бы временно запретить бригадиру и всем его родственникам кататься на «Волге», по-видимому рассчитывая позже как-нибудь овладеть машиной.

— Можно через техосмотр провести, — даже подсказал он ему выход.

— Что ты, — отвечал ему товарищ из Совмина, — это даже хуже, чем совсем отобрать.

— Почему? — удивился председатель.

— Сам знаешь, — отвечал товарищ из Совмина, кивая на карту мира, висевшую на стене, — они просыпаются. А мы

в это время их нации запрещаем кататься на собственной машине.

— Арбузы в Сочи возили на этой «Волге», — пожаловался председатель.

— Ничего, — отвечал товарищ из Совмина, — в Сочи немало иностранцев отдыхает, пусть смотрят и завидуют.

— Да, но совсем сломает, — не унимался председатель, — скоро хуже моей «Победы» будет.

— Хуже твоей «Победы» новая «Волга» никогда не будет, — отвечал товарищ из Совмина, которому начинали надоедать интриги председателя.

В самом деле, этот зажиточный негр и все его родственники как очумелые скакали по проселочным дорогам на этой «Волге», и председателю ничего не оставалось, как с болью смотреть на эту картину.

Однажды они один на один встретились на проселочной дороге. Председатель на своей старенькой «Побед» ковылял из райцентра, а зажиточный негр летел туда, а может, и подалее куда-нибудь, кто его знает... Поравнявшись, остановились друг против друга.

— Поутихни, — сказал председатель, выглядывая в оконце, — видать, и отец твой без машины и шагу не ступал.

— Нет у тебя такой власти, — отвечал зажиточный негр, улыбаясь своей характерной ослепительной улыбкой, — чтобы правительственный подарок отнимать...

При этом он спокойно затянулся своей сигаркой, спокойно вытащил руку из окна и загасил, да что загасил — ввинтил

окурки в дверцу председательской машины. Тут председатель присвистнул и, понурившись, поехал дальше. Он решил, что, раз этот негр гасит окурки о дверцу его машины, значит, дело проиграно — или высокий гость уже дал телеграмму о приезде, или еще что-нибудь похуже.

На самом деле никакой телеграммы не было, просто зажиточный негр решил, что пора окончательно сломить психику председателя, что ему отчасти и удалось.

Одним словом, машина у него так и осталась. Правда, некоторые говорят, что он ее у Совмина выкупил по государственной цене, что в наших условиях, считай, даром досталась, но другие говорят, что он ее даже не выкупал, потому что подарок оставили в силе.

У нас ведь тоже наверху немало сообразительных людей. Они решили, что хоть Рой Ройсон и не приехал, но время такое, что будут наезжать другие африканские деятели и на этот случай можно использовать зажиточного негра с его «Волгой».

И вот так получилось, что этот молодой принц, страдавший политическим гамлетизмом, потому что все еще никак не мог выбрать между нашим и американским путем развития, вместе со свитой был направлен к этому негру.

Председатель и тут пытался интриговать против него. Когда ему позвонил все тот же товарищ из Совмина и сказал: «Будьте готовы, завтра к зажиточному негру привезем принца», — тот слегка заартачился. Он сказал, мол, стоит ли возить принца к этому негру, когда у нас есть другие, гораздо бо-

лее интересные негры. Так, например, сказал он, у нас есть негр, у которого родился сын белый, как козленок, и притом наукой доказано, что это его собственный отпрыск.

— Слыхали, — резко отвечал ему на это товарищ из Совмина, — никакого политического значения не имеет... Ты лучше проследи, чтобы за столом глупости не говорили и женщины тоже сидели, а то рассядутся одни мужики.

— Сколько женщин? — спросил председатель.

— Процентов тридцать, не меньше, — сказал товарищ из Совмина и положил трубку, чтобы избежать дополнительных интриг.

Конечно, в доме этого негра принц был принят по-королевски. Все ему здесь очень понравилось: и наша острая еда, и, конечно, наше прославленное вино «изабелла». За столом много шутили, разговаривали и пели наши песни, причем принц пытался подпевать, что было особенно трогательно.

Между прочим, хозяин дома со смехом рассказал: сколько было говорено о приезде высокого гостя, что он думал, что этот гость в дверь не пролезет, а гость оказался не такой уж высокий, хотя и приятный человек.

Принцу перевели слова хозяина дома, и он нисколько не обиделся, а только посмеялся над такой наивной постановкой вопроса этого деревенского негра.

Одним словом, все было хорошо, но вдруг, когда собрались поднять заключительный тост за мир во всем мире, принц, как потом оказалось, без всякого злого умысла спросил у хозяина дома:

— Ну а как живет неграм в Советском Союзе?
— Каким неграм? — заинтересовался хозяин.
— Как каким? — удивился принц, оглядывая местных негров, сидевших за этим же столом. — Вам!

— А мы не негры, — сказал хозяин, улыбаясь своей характерной улыбкой и кивая на остальных негров, — мы — абхазцы.

— То есть как? Отрекаетесь? — стал уточнять принц, еще слава Богу, через переводчика.

Тут некоторые товарищи, в том числе и товарищ из Совмина, стали прочищать глотки в том смысле, чтобы он этого не говорил, а, наоборот, во всем соглашался с принцем. Но он никак на все это не реагировал, вернее, даже начал спорить, доказывать свое, правда, по-абхазски.

Дело в том, что среди сопровождавших принца лиц один был на сильном подозрении, что понимает по-русски, хотя и скрывает это. Оказывается, на предыдущем банкете, когда ему подали литровый рог, с тем чтобы он, сказав пару теплых слов, выпил его, он растерялся и как будто по-русски прошептал:

— Ну и дела...

После того как он выпил этот рог, с ним попытались поговорить по-русски, но он уже ни по-русски, ни по-африкански ничего не мог говорить. А на следующий день, когда ему в шуточной форме напомнили об этом, он полностью отрицал, что понимает по-русски. Так что оставалось совершенно неясным, что он этим хотел сказать и вообще говорил ли...

Словом, этот зажиточный негр уперся — и ни в какую.

— Вы бы еще «Чайку» ему подарили, он бы вам тут наговорил, — оживился председатель, вспомнив про свои обиды.

— Неуместное напоминание, — сказал ему на это товарищ из Совмина, а зажиточный негр, тем более подвыпив, разошелся вовсю.

— Если уж наши отцы, — сказал он с гордостью, — принцу Ольденбургскому отказали признать себя арапами, так что ж мы будем слабину давать этому африканскому принцу?!

Ну, в таком сыром виде слова его, конечно, никто не собирався переводить принцу, но все-таки, по наблюдениям наших людей, он остался не вполне доволен. Нет, тост за мир во всем мире он, конечно, выпил, и потом его постепенно успокоили, но лучше бы этого всего не было.

Кстати, о принце Ольденбургском хозяин дома вспомнил не случайно. В самом деле, так оно и было. Принц Ольденбургский, покровитель Гагр, узнав о том, что в Абхазии есть свои негры, решил их пригласить к себе на работу. То ли хотел составить себе негритянскую стражу, то ли еще что.

Как известно, принц Ольденбургский во всем подражал Петру Великому, поэтому ему захотелось иметь своих арапов. И вот приезжает представитель наших негров в Гагры и начинает договариваться с Александром Петровичем. Между прочим, Александр Петрович предлагал им очень хорошие условия, но наш представитель наотрез отказался, потому что принц предлагал нашим службу в качестве арапов.

— Пожалуйста, — говорил наш представитель, — на общих основаниях мы у вас готовы работать, но в качестве арапов не можем, потому что мы абхазцы.

Принц Ольденбургский так и эдак его уламывал, но ничего не получилось.

— Ну ладно, — оказывается, махнул рукой Александр Петрович, — ступай домой, раз ты такой упрямый.

— На общих основаниях, пожалуйста, дорогой принц, — оказывается, напоследок еще раз напомнил наш представитель, — а в качестве арапов не можем.

— Нет, ступай, — повторил Александр Петрович, — на общих основаниях у меня и без вас людей хватает.

И вот через множество лет повторяется аналогичная история, только теперь не знаменитом принцу Ольденбургскому, а молодому африканскому принцу приходится доказывать то же самое.

Конечно, с одной стороны, такое упрямство наших негров было неприятно нашему начальству, которое сопровождало принца в деревню. Но, с другой стороны, как абхазцы, те из них, которые были абхазцами, радовались преданности наших негров.

— Как они нас все-таки любят, — покачиваясь на мягком сиденье, растроганно вспоминали они на обратном пути патристическое чудачество зажиточного негра.

— Да, но гибкость тоже надо иметь, — покачиваясь на тех же сиденьях, слегка ворчали представители других национальностей. У нас руководство всегда многонациональное,

и это создает исключительные возможности для своевременной подстраховки взаимных перегибов.

* * *

Одним словом, после этого случая с принцем решили больше не рисковать, а дожидаться его отъезда. Так или иначе, я понял, что со статьей, конечно, могут и подождать, но картину с выставки обязательно снимут, тем более что принц ее еще не посещал.

Как раз в это время ко мне приехал приятель из Москвы, и я решил, воспользовавшись этим случаем, еще раз зайти на выставку. Сам Андрей был в деревне и писал свою «Сборщицу чая». Предупредить его о надвигающейся грозе было бесполезно. Он кончал картину и в таких случаях говорил, что только смерть кого-нибудь из близких может быть достаточным поводом для остановки в работе. Я знал, что это не пустые слова.

Как только мы с приятелем вошли в выставочный зал, я сразу же почувствовал тревогу, но почему-то не придавал ей значения. Еще пересекая зал, я протянул руку в сторону невидимой за колонной картины и сказал что-то вроде того, что и мы не лыком шиты...

Но, увы, картины на месте не оказалось. Я мельком оглядел весь зал, но ее нигде не было. Теперь я понял причину своей тревоги. За месяц пребывания картины на выставке я привык, что возле нее все время происходило небольшое

бурление толпы. В какой-то мере она была как камень, брошенный (конечно, несознательно) поперек спокойного течения выставки. И хотя течение не остановилось, да он и не пытался его остановить, но вокруг картины все время журчал живой бурюнич, слышный во всех концах выставки.

Сейчас все было тихо. Это-то и вызвало во мне тревогу, но поразило меня не это. На месте картины Андрея висела совсем другая картина, совсем другого художника, правда, примерно такого же размера. Это была одна из бесконечных иллюстраций к великой поэме Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Картина изображала трех витязей — Автандила, Таризла и Фридона, с маршальской деловитостью обсуждающих способы взятия крепости Каджэти, которая призрачно, подобно контурам новостроек на картине Андрея, высилась на заднем плане.

И хотя, в отличие от синих макинтошей, рыцари стояли вполоборота к зрителям, а Таризл и вовсе спиной, чувствовалось какое-то дикарское шарлатанство в том, что на месте картины Андрея Таркилова поместили именно эту. Расчет был ясен: если кто-то что-то слышал о «Троих в синих макинтошах», то теперь, увидев трех витязей, решит, что он чего-то недослышал или недопонял. Одним словом, получалось, что бюрократов не держим и не собирались держать, а витязей почему же, витязей пожалуйте.

Я подошел к администратору, который сидел у дверей за маленьким столиком, презрительно положив на него локти. Всем своим видом он показывал, что оскорблен

размером столика и не считает нужным скрывать это от кого бы то ни было.

Я спросил у него, куда делась картина Андрея Таркилова. Он посмотрел на меня все еще обиженными глазами и с начальством, неслыханным после 1953 года, сказал, что не знает такой картины.

Я решил не сдаваться и потребовал книгу отзывов, чтобы доказать ему, что он врет, хотя он и сам прекрасно знал об этом. Он мне ответил, что книга отзывов заполнена и потому ее убрали. Тогда я спросил, где новая, если старая заполнена. Он вытянул руку и молча показал на фанерный ящик, стоявший справа от столика у его ног.

Оказывается, отзывы отныне будут бросаться в этот ящик. На столике лежала стопка бумаги и карандаш.

— Во всех крупнейших городах страны теперь так делают, — сказал он. Как выяснилось позже, негодяй оказался прав. Не знаю, во всех ли, но в одном из крупнейших я это видел своими глазами. Ради справедливости надо сказать, что потом опять появились книги отзывов. Возможно, это был разумный компромисс за счет более продуманного выбора картин для выставок.

Но тогда я этого не знал и принялся спорить с администратором. Стараясь друг друга запугать своей близостью к истине, что почему-то одновременно подразумевало и близость к начальству, мы уже покрикивали друг на друга.

На шум из пристройки внутри зала, заgrimированной под капитанский мостик, спустился к нам директор салона Вах-

танг Бочуа. С некоторых пор он был переброшен на эту работу, хотя и чтение лекций отнюдь не забрасывал.

— Читаю на все прежние темы минус лекции о козлотуре плюс лекции об искусстве, — говорил он всем, кто ошибочно полагал, что теперь он забросил лекторскую работу.

В своем неизменном белоснежном костюме он приближался, веселя на ходу и мягко ступая, как бы боясь вспугнуть скандал.

— О чем шумите? — спросил он, пожав мне руку бодрящим рукопожатием. Узнав, о чем мы шумим, он сказал, что картина снята с выставки по приказу свыше. Он посмотрел на потолок, как бы ища в нем отверстие, сквозь которое картина была вытянута.

Я посмотрел на администратора, но тот нисколько не смутился. Широко расставив локти на своем узком столике, он снова замкнулся в личную скорбь.

— Если местные ребята будут спрашивать, — пояснил Вахтанг, кивнув в мою сторону, — не говори, что ее не было, говори, что художник сам снял на доработку... Это его право... А соблюдать права художника... — пробубнил он и, внезапно наклонившись к ящику, заглянул в его щель, словно знакомясь с общим состоянием отзывов, даже как бы с их поведением в ящике.

И была в его позе порнографическая динамика, презрительно смягченная хозяйственным поводом. Возможно, именно так начальник стражи султанского гарема заглядыва-

ет во внутренние покои пленительных, но коварных жен своего владыки.

— ...А соблюдать права художника, — уже бормотал он, понизив голос (чтобы не слышали во внутренних покоях), — это наша повседневная обязанность...

Он выпрямился, посмотрел на меня с выражением скромной важности, перевел взгляд на администратора, как бы кивнул ему слегка в том смысле, что надо мечтать, что мечта его о более обширной поверхности стола замечена там, где надо, и уже обрастает деревянной плотью. После этого он молча удалился. Подымаясь по лесенке к своему капитанскому мостику, он еще раз посмотрел на меня, но теперь не только со скромной важностью, но и мягким упреком, мол, вот не шумим, не кричим, а искусство поощряем, хотя это не так просто, как может показаться некоторым со стороны.

Неделей позже, когда мы с Андреем стояли на одной из наших главных улиц, неожиданно возле нас, вернее, проехав нас метров на десять, остановилась черная «Волга», и человек, сидевший рядом с шофером, поманил нас пальцем. Кстати сказать, Андрей, уже, разумеется, зная о том, что картина снята с выставки, и о том, что вокруг нее идет какая-то негласная возня, пытался встретиться с этим человеком, но встретиться никак не удавалось, а тут он вдруг сам поманил его пальцем. Значит, подумал я, можно надеяться на легкую взбучку без серьезных последствий.

Это был довольно крупный начальник, разумеется, в масштабах нашего края. Среди прочих дел он по должности и по

собственному желанию присматривал за людьми искусства, считая себя знатоком и покровителем муз, что в какой-то мере соответствовало действительности.

У него была странная и в то же время замечательная привычка. Бывало, распечат как следует того или иного художника за излишний натурализм, или, наоборот, за склонность к абстракциям, или еще за что-нибудь, а там пригласит этого же художника завтракать или обедать, а то и ужинать, что было особенно заманчиво, потому что тут он не спешил, а рестораны, зная его в лицо, старались вовсю.

Художниками даже было замечено, что чем сильнее он ругает, тем лучше угощения следуют потом. Скажем прямо, некоторые этим пользовались, хотя дело это было рискованное, потому что иной раз отругать отругает, а угостить забудет.

А однажды был такой случай. Один художник, такой sereneкий реалистик, которого обычно и хвалить рука не подымалась, и ругать было не за что, вдруг решил отличиться.

Вернее, года за два до этого он написал для того времени знаменитую картину «Козлотур на сванской башне». На ней был изображен козлотур, стоявший на сванской башне с приподнятой передней ногой: не то собирается шагнуть, не то собирается проткнуть башню копытом, чтобы доказать, что она прогнила.

Картина была неоднократно хвалима нашей газетой, помнится один абзац, где обращалось внимание на решительно приподнятую ногу козлотура, топчущую сванскую башню как символ вражды народов. Позже картина была куплена

новооткрытым рестораном «Водопой козлотура» и повисела там вплоть до критики козлотуризации сельского хозяйства, после чего была убрана из ресторана и обругана в печати, между прочим, за ту же сванскую башню, вернее, за ее неправильную трактовку. Оказывается, она никак не символ вражды народов, а, наоборот, символ сопротивления мужественного народа иноземным захватчикам.

Помнится, тогда он приходил к нам в редакцию и жаловался, что вообще сванской башне никакого международного символического значения не придавал, а просто поместил козлотура на старой крепости, чтобы показать победу нового над старым.

На это ему в редакции нашей ответили, почему же он протестует теперь, когда его ругают за сванскую башню, а когда хвалили за нее, он не протестовал.

— Кто же протестует, когда хвалят? — спросил он, но вопрос его остался без ответа, и о художнике забыли.

Другие о нем забыли, но сам он о себе, оказывается, не забывал. Теперь он решил прославиться совсем по-другому и показал на очередной выставке несколько странных, в духе абстракционизма, полотен, и даже сам все время стоял возле них с выражением заносчивой скромности.

Художники быстро раскусили этот его жалкий маневр, рассчитанный на внимание Абесаломона Нартовича. (Так и быть, раскрываю его имя, выдуманное, конечно.) Раскусили, значит, и в своей среде высмеяли его лжеабстракции как недействительные.

Сам же Абесаломон Нартович во время посещения выставки по многолетней привычке прошел мимо его картин, не глядя, да и художники окружали его шумным роем. Но потом уже, когда он осмотрел всю выставку, кто-то ему капнул о проделке этого товарища. Абесаломон Нартович был сильно раздосадован и уже выругал его за это лицемерие, а не за художественные ошибки, что не давало повода для ресторанного развития темы.

Обычно, войдя в выставочный зал, он останавливался в дверях и, бросив общий взгляд на выставку, с улыбкой говорил:

— Край у нас солнечный, художников много...

При этом лицо его и большая вальяжная фигура струили солнечную доброжелательность. Он как бы говорил: вот видите, я к вам пришел с хорошим настроением, а дальше все зависит от вас...

Начинался осмотр. Обходя картины в окружении художников, он сначала смотрел на картину, потом на автора, стараясь по выражению его лица определить, как сам он относится к своей картине. Разумеется, не в художественном отношении, а исключительно в идейном плане. То есть не передерзил ли, если картина носит на себе сатирический оттенок, не увлекся ли вредными новациями или чуждыми, вредоносными идеями, впрочем, смехотворными в своей ничтожности.

У Абесаломона Нартовича было три формулы, определявшие степень критического отношения к работе художника.

По первой получалось, что картина любопытная, но льет воду не совсем на ту мельницу.

По второй получалось, что картина не лишена интереса, но льет воду совсем не на ту мельницу.

По третьей получалось... даже смешно сказать, что получалось. Во всяком случае, тут ни о какой, даже враждебной, мельнице не могло быть и речи.

Чаще всего ресторанные развитие темы давала первая формула. Вторая в принципе тоже не исключала, ну а третья не только не давала ресторанный развития, но могла стать началом развития в совершенно противоположном направлении. Единственным достоинством третьей формулы было то, что она в последние годы довольно редко употреблялась.

И вот, бывало, Абесаломон Нартович смотрит на картину внимательно, с прищуром, потом так же внимательно, но без всякого прищуря, на самого художника. И так несколько раз туда и обратно, обратно и туда, и все делается ясно.

Художники договорились никак не подначивать Абесаломона Нартовича, не предварять его мнения, чтобы глас судьбы проявлялся в чистом виде. Но уже после того как Абесаломон Нартович высказался, можно было его поддерживать или даже возражать, но, разумеется, до определенного предела. Но так как предела точно никто не знал, обычно возражали не доходя.

И если Абесаломон Нартович говорил про картину, что задумана она так-то, но объективно получается, что она льет

воду не совсем на ту мельницу, то возражающий обычно говорил:

— Да ведь это, Абесаломон Нартович, с какой стороны взглянуть...

— А ты смотри с нашей стороны, смотри с точки зрения сегодняшних интересов...

Молодые художники особенно пользовались слабостью Абесаломона Нартовича, да и старые, случалось, грешили. Что скрывать, иногда художники, чтобы пообедать в роскошном обществе покровителя муз, нарочно имитировали душевные сомнения, опускали глаза, когда он на них глядел, тяжело вздыхали, когда он, прищурив взор (как бы подготовив инструмент), направлял его на карту.

— Да, брат, ты что-то не туда... — начинал Абесаломон Нартович, и если затруднялся ухватить начало критической мысли, то, бывало, художник и сам подсказывал что-нибудь вроде того, что:

— Да вот, Абесаломон Нартович, с Сальвадором, понимаете, Дали пытался полемизировать, да, видно, увлекся...

— Вижу, вижу, — доброжелательно соглашался Абесаломон Нартович, — и это хорошо, мы за полемику... Но трибуну зачем ты ему предоставил?

— Да, понимаете, — мнется художник, — пытался спародировать его метод...

— Опять двадцать пять! — удивляется Абесаломон Нартович. — Пародируй себе на здоровье, но трибуну зачем предоставлять? Смотри, что он там делает?

Тут художник поднимает глаза, словно заново узнавая свою картину, словно даже заметив, что из-за картины, как из-за трибуны, бесенком высовываясь, неистовствует Сальвадор Дали.

— Ты думаешь, — продолжал Абесаломон Нартович, — ты его высмеял? А ему только и надо было, что трибуну получить... Вот он и кричит сейчас на всю выставку с твоей картиной. А попробуй ты с его картины покричи? Черта с два он тебя туда пустит!

В таких случаях можно было незаметно пристроиться к заблудшему художнику, подхватив ту или иную реплику, чтобы дать растечься критической мысли Абесаломона Нартовича, обхватив двумя руками ваш островок бесплодных заблуждений.

— Ладно, пошли обедать, там поговорим, — наконец бросает Абесаломон Нартович заветную фразу, а иногда добавляет, мельком взглянув на второго оппонента: — И ты тоже...

Разумеется, не всегда получалось так гладко. Иногда Абесаломон Нартович долго переводил взгляд свой с картины на художника, и весь его облик выражал мучительное недоумение. Дело в том, что в таких случаях картина ему нравилась, что не соответствовало виноватому, подавленному взгляду художника. Не в силах соединить эти два взаимоисключающих впечатления, он искал выхода, переводя взгляд с художника на картину. И замечательно в этом случае, что если уж у него возникало хорошее впечатление от картины, то он упорно его отстаивал, несмотря на подозрительный вид художника.

— А по-моему, неплохо, — говорил он вполголоса и смотрел на художника, стараясь взбодрить его или понять, чем он подавлен. Художник виновато молчал или робко пожимал плечами.

Абесаломон Нартович снова бросал на картину энергичный взгляд, стараясь прорваться в ее внутреннюю сущность и найти ее тайные изъяны.

— Нет, в самом деле неплохо, — уверенно повторял Абесаломон Нартович и еще более уверенно добавлял, как бы окончательно подавив своего внутреннего критика, как бы на собственном примере показывая художнику путь от сомнений к уверенности, — просто хорошая, крепкая вещь... — Да что ты думаешь, мы против смелости?! — вдруг вскрикивал он, догадываясь о причине подавленности художника.

— Не в этом дело, — мялся художник, не зная, как дальше воздействовать на критическое чутье Абесаломона Нартовича.

— Не бойся своей смелости, — радостно поучал Абесаломон Нартович, — знай, что мы всегда за хорошую смелость...

Крепко сжав предплечье художника в знак поддержки хорошей смелости, он уже проходил дальше, уверенный, что восстановил внутренний мир художника.

Вот такой у нас покровитель муз Абесаломон Нартович или просто Нартович, как его любовно за глаза называют художники. Теперь, когда вы его более или менее представляете, я продолжу свой рассказ об Андрее и его картине «Трое в синих макинтошах».

Когда черная машина, низко прошуршав, остановилась, не доезжая несколько метров до перекрестка, и Абесаломон Нартович, слегка обернувшись, поманил пальцем Андрея, я, стараясь не шевелить губами, тихо сказал:

— Чур, я с тобой.

Андрей ничего не ответил, и мы быстро пошли к машине. Абесаломон Нартович сидел, откинувшись на спинку, а его великолепная большая рука высовывалась из окна машины, державно отдыхая.

Я вдруг до шемяшей кислоты во рту почувствовал, как я макаю крылышко цыпленка-табака в огненное сациви, а потом отправляю в рот остренькую цицматку да еще подбрасываю туда мокрую, непременно мокрую, редисинку и отвечаю ему, урча:

«Да ведь это ж с какой стороны взглянуть, Абесаломон Нартович...»

«А ты посмотри с точки зрения сегодняшних интересов, — говорит Абесаломон Нартович и, оглядывая ближайшие столики, добавляет: — Ладно, выпьем за правильную линию...» — «С удовольствием, Абесаломон Нартович, с удовольствием...»

Не успела промелькнуть эта картина у меня в голове, как мы уже стояли возле машины. Абесаломон Нартович медленно повернул голову, несколько мгновений смотрел на Андрея, не поворачивая головы, мельком взглянул на меня, как бы принимая к сведению границы зараженной местности на случай, если придется объявить карантин, снова посмотрел на

Андрея и медленно развел руками, выражая этим жестом свое катастрофическое недоумение.

— Клевета, — сказал он, и машина отъехала. Слегка высовывавшаяся из окна рука его, продолжая высовываться, опустилась как бы в державном бессилии помочь отступнику.

— И это все? — только и успел сказать я, глядя вслед уходящей машине.

— Продолжение будет в другом месте, — мрачно пояснил Андрей, а потом, взглянув на меня, нервно хохотнул: — Чур, и ты!

В ближайшее время одна за другой с промежутком в два дня в «Красных субтропиках» появились две статьи, где картина называлась не иначе, как «Трое в пресловутых макинтошах». Было похоже, что для ослабления ее общего вреда кто-то наложил табу на само упоминание цвета макинтошей.

Как только картину стали ругать в печати, нашлись четыре человека, признавших свое сходство с персонажами картины и на этом основании подавших в суд жалобу за оскорбление личности. Кстати, Цурцумия в их число не входил.

Впрочем, сам он на сходстве с персонажем картины никогда и не настаивал, это другие навязывали ему это сходство, а сам он вообще молчал и даже на выставку не приходил. Правда, прислал жену.

Так вот, эти четверо подали жалобу и даже наняли адвоката, нашего местного парня, который потом обо всем нам рассказал. Интересно, что сначала один из них попросил Цурцумия принять участие в жалобе. Он пришел к нему вечером,

когда Цурцумия отдыхал на веранде своего особняка, как обычно, сунув ноги в холодильник для усиления умственной работы во время обдумывания коммерческих операций. Цурцумия принять участие отказался, ссылаясь на то, что он вообще суд не переносит как зрелище. Трое из четырех жалобщиков были жителями нашего города, а четвертый подъехал из района. Он оказался директором чайной фабрики из Эндурска. Директор чайфабрики даже не видел картины, но родственники ему о ней написали, что так, мол, и так, пока ты там сидишь на своей чайфабрике, тебя здесь исказил художник. Директор сначала отмалчивался, только спросил у родственников по телефону, кто такие двое остальных на картине. Родственники ответили, что остальных не знают, и спросили, а что он думает по этому поводу.

— Что-то думаю, но это не телефонный разговор, — печально ответил он родственникам и положил трубку.

А думал директор чайфабрики, что все это дело рук райкома (так он потом рассказывал адвокату), что его теперь будут постепенно снимать с работы. Так как в Эндурске художественных выставок никогда не устраивали, по-видимому, он решил, что это вроде сатирических окон, которые устраивают во многих городах. Наверное, поэтому он интересовался и двумя другими персонажами картины, может, думал, что там изображены директора других чайных фабрик, и хотел узнать, каких именно.

Оказывается, к моменту открытия нашей выставки он уже имел шесть или семь выговоров от райкома за махина-

ции с чаем. Эти невинные махинации заключались вот в чем. Скажем, привозит колхоз на фабрику сдавать чай первого сорта. Допустим, привезли десять тонн. Фабрика определяет, что восемь из них соответствуют первому сорту, а две проходят по второму. Колхозу спорить некогда и невыгодно (еще к чему-нибудь придерутся), а непринятый чай может быстро испортиться, тогда еще хуже. И он соглашается.

Другой колхоз, у которого недостача по первому сорту, с удовольствием, и, разумеется, за соответствующую мзду перепишет эти две тонны на себя, а взамен сдаст нужное количество второго сорта. Дело это стало настолько обычным, что представители некоторых колхозов, привозящих чай, уже сами, так сказать, за собственный счет идут на сделку. Выбракуйте, мол, столько-то тонн, говорят они, но так, чтобы и нам кое-что перепало, мы тоже люди.

Одним словом, все это, конечно, делается, но партийными органами никак не одобряется.

«Государство от этого ничего не теряет», — оправдывался директор чайфабрики на одном из бюро райкома.

«Потому предупреждаем, а не сажаем, — вразумительно отвечали в райкоме, — колхозники тоже люди...»

И вот приехал этот директор чайфабрики жаловаться на художника, а заодно и посмотреть на картину. Но картины на выставке уже не оказалось.

С одной стороны, это его обрадовало, но с другой — разожгло любопытство. Он явился на дом к Андрею, с тем чтобы

посмотреть на свое изображение и, может быть, заодно узнать, кто остальные. Андрей сказал, что он его знать не знает и никакой картины показывать не будет.

— Или жаловаться буду, или покажешь, — пригрозил он Андрею.

Андрей рассвирепел и просто вытолкнул за дверь директора чайфабрики.

— Ничего, на суде покажешь! — успел тот крикнуть.

В адвокатуре, куда он пришел нанимать защитника, он познакомился с тремя остальными жалобщиками, то ли они там толкались, то ли их адвокат познакомил. Ему ничего не оставалось, как присоединиться к этим троим, тем более они ему показали фотографии картины, правда, черно-белые, но зато довольно больших размеров. Тут же, не сходя с места, он себя узнал.

Когда адвокат вплотную взялся за дело (наш парень, кто его не знает), он обнаружил, что обвинить художника в оскорблении своих земляков будет трудно. Оказалось, все трое городских жителей, претендовавших на оскорбительное сходство, в сущности, претендовали на сходство с одним из трех персонажей в синих макинтошах.

Само по себе это совпадение было не столь важным, если бы при этом пострадавшие от сходства были бы похожи между собой, что в жизни случается, конечно. Но как назло, все трое были совершенно непохожи друг на друга и в тоже время каждый из них в отдельности был похож на одного и того же персонажа картины.

— Надо же дойти до такого ехидства, — говорили они по этому поводу.

Адвокат предупредил своих клиентов, что защита художника обязательно воспользуется этим коварным обстоятельством.

— Как же быть? — спросили они у адвоката, раздраженные неожиданным препятствием со стороны собственной внешности. При этом, по словам адвоката, каждый из них оглядывал двух остальных как более виноватых в случившемся.

Тут адвокат сказал, что будет лучше всего, если двое из троих откажутся от обвинения, а третий, присоединив к себе директора чайфабрики (к счастью, он был похож на второго носителя синего макинтоша) и уговорив Цурцумия, если он похож на третьего, подаст совместную жалобу в оскорблении трех самостоятельных личностей.

Никто не мог вспомнить, на кого похож Цурцумия. Этого не мог вспомнить даже тот, который ходил к нему с предложением принять участие в общей жалобе.

— Цурцумия не согласился, — сказал он, — он вообще суд не любит...

В тот же вечер они пришли домой к Цурцумия. Тот встретил их, сидя на веранде своего особняка с ногами, погруженными в холодильник. Он всегда там сидел. Снова выслушав предложение о совместной жалобе, он спросил:

— Сульфидин знаете?

— Смотря какой, — удивились гости, — сульфидин — лекарство или сын заведующего бензоколонкой, которого тоже зовут Сульфидин?

— Лекарство, — пояснил немногословный Цурцумия, — то, что некоторые организмы его не переносят, знаете?

— Знаем, — удивились гости.

— Вот так же, как некоторые организмы сульфидин, так я не переношу суд, — признался Цурцумия в болезненном свойстве своего организма.

После этого, сколько его ни уговаривали, он твердо стоял на своем. Правда, чтобы смягчить отказ, он устроил хлеб-соль и угостил товарищей по несчастью вместе с их адвокатом. Те приняли приглашение, надеясь во время застолья уговорить Цурцумия.

Но во время застолья не только не удалось уговорить Цурцумия, но и все дело кончилось полной катастрофой. Уговаривая Цурцумия, трое представителей города перешли на самих себя и стали выяснять, кому из них выступать на суде. Решили, что выступать будет тот, кто больше всех похож на модель персонажа картины. Тут выяснилось, что каждый из них себя считает наименее похожим на модель, что привело к взаимным колкостям и даже оскорблениям.

Сначала адвокату удалось спасти дело путем решительного отмежевания от всей городской группы. Он сказал, что пусть все они снимают обвинение, он будет действовать через директора чайфабрики как самого мужественного человека. (Он-то понимал, что, сколько ни потроши кошелек директора чайфабрики, до дна никогда не допотрошишься.)

— Я пойду на него один на один, — сказал директор чайфабрики и, вырвав фотографии картины, которые те все еще му-солили в руках, положил их к себе в портфель.

Сказать-то он сказал, но потом ему, видимо, все это не понравилось, и он начал дуться. Дулся, дулся, а потом, в конце вечера, взял да и сказал, что раз так, и он не будет выступать на суде, что напрасно они его заманили к Цурцумия, хотя к Цурцумия его никто не заманивал.

В конце концов, по словам адвоката они все перессорились, и, все свалив на Цурцумия, разошлись по домам. Совершенно успокоившись, директор чайфабрики в ту же ночь уехал к себе в Эндурск, кстати, забыв возвратить, а может, и умышленно не возвратив, фотографии их законным владельцам.

Как справедливо говорят радио- и телекомментаторы, так распадается всякий союз, созданный на гнилой идейной основе. И так об этом рассказывал адвокат, уже успокоившись по поводу упущенного директора чайфабрики. Не знаю, говорил ли я о том, что он наш местный парень, когда-то голопузым пацаном вместе с нами бегал на море, а теперь такими делами иной раз ворочает, что страшно подумать.

Последний след общественного негодования по поводу «Синих макинтошей» обнаружился на областном совещании строителей, где начальник одного СМУ сказал, что очень трудно выполнять план, когда художники, вместо того чтобы помогать строителям, высмеивают в глазах рабочих руковод-

ство, изображая его как бездельников, целыми днями шатающихся у моря в синих макинтошах.

Но тут, к счастью для Андрея, взорвался один ответственный работник и отхлестал этого строителя, указав, что картина на выставке появилась этим летом, а его строительное управление уже третий год не выполняет план.

Выступление ответственного товарища было понято как строгий намек на прекращение возни вокруг имени Андрея Таркилова. Возня была немедленно прекращена, и Андрей получил несколько хороших заказов. Впоследствии оказалось, что ответственный товарищ никакого намека не давал, а просто раскрыл истинное положение вещей и без того, впрочем, ясное.

Тут, как говорится, у Андрея пошла карта. Через месяц со времени прекращения возни вокруг «Синих макинтошей» картину Андрея «Отдых сборщицы чая, или Потный полдень Колхиды» (ее-то он и писал в деревне) московская комиссия отобрала для всесоюзной выставки.

Правда, по дороге в Москву комиссия почему-то потеряла вторую часть названия картины, но это теперь не имело никакого значения. О ней появилось несколько одобрительных отзывов в центральной печати, но это случилось гораздо позже, зимой.

Зато наша газета, только узнав, что картину Андрея берут на всесоюзную выставку, и при этом имея на руках гарантированный намек на прекращение возни вокруг «Трех макинтошей», дала о ней большой очерк.

Автандил Автандилович этим очерком хотел показать (и показал!), что умеет вовремя подхватить намек, особенно если он строгий, к тому же на всякий случай защищал себя от возможных упреков в преследовании талантливого художника. Такое тоже бывало, хотя и редко.

Очерк писал один наш дураплас, который ко всем этим сложным задачам Автандила Автандиловича сумел приспособить собственную линию, делая вид, что он расхваливает недозволенного художника, как будто можно хвалить что-то недозволенное.

Между прочим, нашей общественностью, как никто, чуткой к шорохам подсознания и подтекста, сразу же было замечено, что размер очерка на четверть колонки (до подвала) превосходит оба критических выступления. Кроме того, в нем упоминалось и о картине «Трое в синих макинтошах». Правда, о ней говорилось как о неудачном эксперименте, но ответ более поздней славы как бы слегка облагородил ее вредность. Так или иначе, она снова была названа собственным именем, а не «пресловутыми макинтошами», как было раньше.

Кроме того, возможно, тут сказалось и то обстоятельство, что теперь, в разгар лета, макинтоши, особенно синие, никто не носил, а сама тема как бы потеряла некоторую актуальность. Так или иначе, название картины было полностью и окончательно реабилитировано.

Как известно, в сложных условиях современной жизни не всякие, даже простые, истины можно выразить прямо, чтобы

ими тут же не воспользовались наши зарубежные недоброжелатели. Поэтому все мы легко понимаем, или нам кажется, что понимаем, язык намеков, кивков и подмигиваний типографских знаков.

Стоит ли говорить, что очерк о картине Андрея был понят не только как посветление в его личной судьбе, но и как явление с далеко идущими оптимистическими последствиями.

Я, конечно, не очень поверил, что есть какая-то связь между размерами двух критических выступлений и последним очерком. Все же просто так, скорее для смеха, я достал подшивку и сравнил. В самом деле, так оно и получилось. Как ни крути, а очерк на четверть колонки был больше обоих критических выступлений. Случайность ли это? А кто его знает...

Сам автор мог выполнять тайную волю Автандила Автандиловича, даже не подозревая о ней. Получись очерк чуть меньше или даже равным размеру двух критических выступлений, тот мог вызвать его и сказать: «А знаешь, вот эту часть надо развить...» Ну а если что сократить, и вообще никто ничего не спрашивает. Так или иначе, стало ясно, что грехопадение прощено с бодрящей надбавкой на будущее. Именно после всех этих дел мы выехали в горы.

* * *

Теперь мне хотелось бы слегка передохнуть и продолжить рассказ в более спокойных тонах. Дело в том, что я обо всем

этом не собирался рассказывать, я только собирался поделиться нашими дорожными приключениями.

Но что получилось? Как только я захотел представить своих спутников в самых сжатых чертах, я вдруг заподозрил себя в попытке скрыть историю «Синих макинтошей». Нет, сказал я себе, я не собираюсь скрывать эту историю, но здесь она просто неуместна. И, чтобы самому себе доказать, что я ничего не собираюсь скрывать, я решил выложить выдержки из книги отзывов. Ну, а тут и все остальное как-то само собой вывалилось.

Я это все говорю к тому, что не надо давать никаких обещаний, как рассказывается, так и рассказывай. Ведь что получается? Как только ты даешь обещание, скажем, быть во всем откровенным, сразу же на тебя находят сомнения: «А надо ли? А что я, дурнее всех, что ли?» И так далее.

А если ты даешь обещание говорить сжато, то и тут возникают подобные соображения. Сжато-то оно сжато, думаешь ты, но как бы через эту сжатость не пропустить чего-то главного. А кто его знает, что главное? И тогда ты решаешь рассказывать сжато, но при этом ничего не пропускать из того, что потом может оказаться главным. Итак, возвращаюсь к началу моего рассказа, с тем чтобы решительно и без всяких оглядок на прошлое двигаться вперед.

* * *

И вот, значит, после недельного отдыха в горах, после ледяного кислого молока, после вечерних дымных костров, по-

сле длительных и безуспешных охотничьих прогулок по каменистым вершинам перевалов мы в ожидании машины сидим на стволе старого бука, греемся на солнышке, изредка перекидываясь ничемными пустяками — за неделю обо всем наговорились.

Время от времени мимо нас проходят сваны-лесорубы, возвращаются из лесу домой к своему летнему лагерю, разбитому возле речки. У одних за плечами топор, у других механическая пила. Приблизившись, они здороваются и, окинув нас внимательным взглядом, проходят.

Мне показалось, что они почему-то со мной здороваются дружелюбней, чем с остальными. Но потом, когда один из них обошел меня и оглядел сзади, я понял, в чем дело. Здоровались они не столько со мной, сколько с моим карабином, торчащим у меня за плечами. А так как у других никакого оружия не было, только у Андрея была мелкокалиберная винтовка, почтительное внимание к моей особе было вполне оправдано.

Наконец возле машин появились люди. Двое полезли в кузов и стали стягивать тросами бревна, лежавшие там. Остальные, всего их было человек восемь, снизу давали этим двоим советы. Судя по несоразмерной громкости голосов, все они порядочно выпили. Через несколько минут двое из них отделились от остальных и направились в нашу сторону.

Один из них, более молодой, был одет в ватные брюки и старую ковбойку с закатанными рукавами. Он был небрит, коренаст и откровенно пьян, что было заметно изда-

ли. Второй был маленький, сухонький. Он был в сапогах, в широком галифе и узком кителе, наглухо застегнутом. Держался твердо и вид имел военизированный. В руке он сжимал блестящий топорик, напоминающий те самые топорики, при помощи которых домашние хозяйки разрубают мясо и кости.

— Здравствуйте, товарищи, — сказал он несколько скорбным голосом, остановившись со своим спутником возле нас. Мы встали навстречу обоим и поздоровались с каждым за руку. Несколько мгновений он оглядывал нас, отгоняя волны хмеля, помигивая пленчатыми веками и пульсируя желваками на сухом стянутом личике.

Обычно после такого тусклого приветствия спрашивают документы, но он ничего не спросил, а только сел рядом со мной. Возможно, из-за того же карабина он счел меня старшим в нашей группе, что не соответствовало истине, потому что старшим был Котик — и по возрасту, и по званию.

Второй сван, который был откровенно пьян, добродушно посапывая, присел перед нами на корточки, чтобы, видимо, общаться со всеми сразу. У него была тяжелая бычья голова выпивохи и голубые, навывкате, глаза. Время от времени голова у него падала на грудь, и каждый раз, подняв ее, он оглядывал нас с неизменным детским любопытством. Казалось, каждый раз поднимая голову, он заново удивлялся, не понимая, как мы очутились перед ним.

— Откуда будете? — все так же скорбно спросил сван в черном кителе, искоса оглядывая всех.

— Мы из города, а этот товарищ из Москвы, — дружелюбно и внятно сказал Котик, голосом показывая, что запасы его дружелюбия необъятны.

— Здесь что делали? — скорбя и удивляясь, спросил он, повернувшись вполоборота. Одна рука его опиралась о колено, другая, та, что была поближе ко мне, опиралась о ручку топорика. Теперь было ясно, что он вдребезги пьян, но изо всех сил сдерживается. Из всех пьяных самые опасные — это те, что стараются выглядеть трезвыми.

— Мы гостили у колхозных пастухов, наших хороших друзей, — все так же внятно и миролюбиво сказал Котик.

— Имени? — неожиданно спросил черный китель, помигивая плечатыми птичьими веками. Стало тихо.

— Что значит имени? — в тишине спросил Котик.

— Имени, значит, имени, — твердо повторил черный китель, искоса оглядывая нас. Второй сван, глядя на меня, делал мне какие-то знаки. Я никак не мог понять, что он своими пьяными знаками и кивками хочет мне сказать, и на всякий случай в ответ пожал плечами.

— Я не понимаю вас, — сказал Котик, отстаивая свое скромное право отвечать только на ясные вопросы.

— Здесь в горах несколько ваших колхозов, — наконец объяснил лупоглазый, покачиваясь на корточках, — потому имени спрашивает...

— А, колхоз, — обрадовался Котик и оглянулся на Андрея.

— Имени Микояна, — едва скрывая раздражение, подсказал Андрей. Вся эта история его начинала раздражать.

— Правильно, — согласился черный китель и, сделав на лице гримаску человека, который знает больше, чем говорит, добавил: — Не обижайтесь, но это надо...

— Что вы! — воскликнул Котик.

— А вы кем работаете? — спросил я у соседа.

— Заместитель лесничего буду, — сказал он важно и стал расстегивать верхний карман кителя.

— Что вы, не надо! — сказал Котик и протянул руку, стараясь помешать ему.

— Шапку там у товарища забыл, — сказал он, ладонью неожиданно нащупав на лбу довольно заметный рубец от шапки. И было непонятно, рубец этот ему напомнил, что нет фуражки, или разговор о должности заставил его вспомнить о существенной части своей формы.

Обстановка явно разряжалась. Теперь заместитель лесничего не опирался на свой топорик как на эфес шпаги, а просто положил его на колени. Кажется, теперь он перестал сдерживаться и осоловел. Он перестал разглаживать на лбу рубец от шапки и, поставив локоть на колено, свесил голову на ладонь и задремал.

Второй сван, словно дожидаясь этого мгновения, усилил свои дурацкие кивки и подмигивания. Наконец я его понял.

— Карабин? — спросил я.

— Продай, — радостно закивал он мне.

— Не продается, — сказал я.

— Тогда махнемся, — вдруг произнес он городское словечко.

— Нет, — сказал я, стараясь не раздражать его, — не могу.

— Я тебе немецкий автомат дам, — торопливо прошептал он, — потому что вот эти русские карабинчики спокойно не могу видеть.

— Нет, — сказал я, стараясь не раздражать его.

— Дай посмотреть, — сказал он и протянул руку. Я вздохнул и снял карабин.

— Зачем тебе карабин, если у тебя автомат есть? — сказал я, стараясь возвысить его автомат за счет своего карабина.

Он щелкнул затвором и заглянул в ствол.

— Автомат для охоты не такой удобный, далеко не берет, — сказал он и поднял голову. — А патроны есть?

— Патроны далеко, в рюкзаке, — сказал я твердо. Видно, он это почувствовал и, прицелившись куда-то, щелкнул курком.

— Вот эти русские карабинчики люблю, — сказал он, неохотно возвращая мне карабин.

Я взял карабин и повесил его за плечо. Я почувствовал облегчение, оттого что все так хорошо кончилось.

— За сколько водолаза можно нанять? — вдруг сказал он.

— Зачем тебе водолаз? — спросил я.

— Одно озеро знаю, — сказал он просто, — на дне немецкое оружие. Водолаза хочу.

Мы рассмеялись, а парень снова задумался. В это мгновение черный китель поднял голову и начал что-то выговаривать своему земляку. Сван, что сидел на корточках, добродушно оправдывался, поглядывая в нашу сторону как на

союзников. Черный китель постепенно успокоился и на интонации мелкого административного раздражения замолк.

— Язык не распускай, — сказал он ему в конце по-русски и приподнял топорик с колен.

— Даже спрашивать не буду, — ответил ему на этот раз сван и, обратившись к Котику, спросил: — Водолаз сюда имеет право приехать?

— Обманывать не можем, — ответил Котик добродетельно, — но мы в таких делах не разбираемся.

— Что ты говоришь, кацо! — взвился черный китель. — Водолаз как может сюда приехать? Водолаз — государственный человек. Водолаз от моря отойти не имеет права. Ты что — райком, военком, сельсовет?!

— На один день водолаза хочу, — сказал молодой сван, ни малейшего внимания не обращая на эту грозную тираду, — сам привезу и отвезу, как министра.

— А ну скажи, в каком озере лежит? — неожиданно с другой стороны атаковал его заместитель лесничего.

— Э-э, — лукаво протянул молодой сван и помахал толстым пальцем у переносицы, — это мой секрет. Кроме водолаза, никому не скажу.

— Привлеку, — сказал черный китель и, грустно покачав головой, посмотрел на лезвие топорика, словно читая на нем соответствующую статью закона.

— Скажите, — спросил я у него, слегка развеселившись, — для чего вам этот топорик?

В сущности говоря, если б я не заметил на обушке этого топорика нечто вроде металлической печати, я, наверное, не спросил бы его об этом. Мне хотелось узнать, что он, собственно, им делает: скажем, ударом обушка отмечает сухостой или делает какие зарубки, или это просто символ его лесной власти.

Как только я это сказал, рот его сжался в решительную полоску, птичьи веки остановились. Я почувствовал, что допустил самую страшную дипломатическую ошибку в своей жизни. Это было все равно что во время аудиенции у короля неожиданно щелкнуть пальцем по короне и спросить: «А для чего эта штука, старина?»

Он медленно встал, отошел на несколько шагов, повернулся и, прижав топорик к бедру, неожиданно взвизгнул:

— Граждане, документы!

— Товарищ, вы его не так поняли, — сказал Котик и, встав, с виноватой улыбкой стал подходить к нему.

— Граждане, документы! — снова взвизгнул черный китель и даже сделал шаг назад, чтобы не допускать с Котиком личных соприкосновений. При этом он чуть не наступил на второго свана. Во всяком случае, он столкнул его с корточек, и тот сел на землю, в дурашливом недоумении растопырив руки: мол, вот что делает со мной власть, но при чем я? Даже сваны, стоявшие у машины, услышали его голос и на несколько мгновений примолкли.

— Гено, — крикнул один из них и, видимо, спросил, в чем дело. Гено снизу вверх оглядел маленькую гневную фигуру

помощника лесничего и что-то сказал в том духе, что шутки с ним плохи.

В самом деле, все это приобретало дурацкий оборот. Черный китель шутить не собирался. Я заметил, что косточки на его кулаке, сжимавшем топорик, побелели.

Из нас четверых документы были только у Котика и у Володи. Володя уже рылся в рюкзаке. Котик протягивал свой документ. Это была красная книжечка — удостоверение лектора обкома партии. Обычно она в затруднительных случаях хорошо воздействовала, особенно если крупным планом подавать обком партии и не слишком обращать внимание, что он там лектор, да еще внештатный.

Человек в черном кителе подержал в руке книжечку, бросил несколько взглядов с фотографии на оригинал и вернул ее хозяину. Видно, она на него произвела хорошее впечатление.

— А эти сопровождают? — спросил он и кивком головы объединил нас.

— Да, сопровождают, — сказал Котик с улыбкой и положил книжку в карман.

Человек в черном кителе медленно оглядел каждого из сопровождающих. И в этой медленности проявлялось уважение к своей должности. Володя, стоя, протягивал ему свой паспорт, но он не взял его. Андрей продолжал сидеть, несколько картинно развалясь, глядя на помощника лесничего с полупрезрительной усмешкой.

— Паспорт на карабин, — сказал он кротко, когда взгляд его дошел до меня. В груди у меня екнуло. Никакого паспор-

та на карабин у меня не было. Я одолжил его у своего родственника, бывшего начальника городской милиции.

— Паспорта нет, — сказал я.

— Как нет? — заморгал он пленчатыми веками, отказываясь меня понимать.

— Карабин не мой, — сказал я, — я его одолжил.

— Ничего не знаю, — воскликнул он, взбадриваясь, — может, одолжил, может, убил, может, отнял...

— Я знаю, — вмешался Котик, — он одолжил его у своего родственника, бывшего начальника городской милиции.

— Вот эти русские карабинчики, — сказал второй сван, глядя снизу вверх, — клянусь своими детьми, я больше всего на свете люблю.

— Ничего не знаю, конфискую! — вскрикнул человек в черном кителе.

— Ну что вы, товарищ, — миролюбиво вразумлял его Котик, — как можно, что мы скажем его родственнику, когда приедем?

— Ничего не знаю, тем более бывший начальник милиции, — сказал он, все-таки оставляя маленькую лазейку для более широкой информации.

— Один хороший русский карабинчик, — восторженно сказал второй сван, — я уважаю больше, чем два немецких автомата.

— Язык не распускай! — прикрикнул на него черный китель, на что тот не обратил ни малейшего внимания.

— Его родственник, — сказал Котик, при этом Андрей весь перекорежился, — уважаемый в городе человек, и ему будет неприятно узнать, что вы конфисковали его карабин.

— Ха! Уважаемый! — воскликнул черный китель и всплеснул топориком. — Если уважаемый, зачем сняли?

— Его не сняли, он на пенсию ушел, — сказал Котик.

— Не мое дело, — опять затвердел черный китель, — прошу передать карабин для выяснения принадлежности.

— Не вздумай дать, — сказал Андрей по-абхазски, — потом не получишь.

— Карабин я вам не дам, — сказал я очень твердо, потому что не чувствовал в себе этой твердости, — не вы мне его давали.

— Задерживаю вместе с карабином! — отрезал он и снова вскинул свой проклятый топорик. И дернуло ж меня за язык! Промолчи я насчет его топорика, ничего бы не было. Я пожал плечами.

На грузовиках завели моторы, и они медленно, задним ходом стали выезжать на дорогу. Сваны шли за грузовиками, словно подгоняя их вперед.

— Нам пора, — решительно сказал Андрей и встал.

— Подождите, — приказал помощник лесничего, но, видно, он не ожидал такой решительности.

— Не горячись, Андрей, — бросил Котик по-абхазски.

— Мы тоже едем, — неожиданно сказал черный китель. Он несколько растерянно провел рукой по волосам.

— Это ваше дело, — холодно сказал Андрей и пошел дальше. Небольшого роста, коренастый и длиннорукий, он сейчас был похож на медвежонка.

Черный китель стал о чем-то просить молодого свана, как можно было догадаться, принести из дома, где они пировали, забытую фуражку. Дом этот, видный отсюда, стоял на той стороне реки, примерно в двадцати минутах ходьбы.

Молодой сван как раз подымался с земли и, распрямляясь, вдруг схватился за спину и громко охнул, как от внезапного прострела, не то вызванного просьбой помощника лесничего, не то самостоятельного. В обоих случаях жест этот показывал на неисполнимость этой маленькой просьбы.

Мы двинулись к машинам. Шоферы вышли из машин и вместе с остальными сванами дожидались нас.

— Я же не отбираю это ружье, — кивнул лесничий более миролюбиво на спину Андрея. Мне показалось, что неудача с фуражкой несколько улучшила его тон. — А почему? Потому, что карабин — боевое оружие.

— То-то же у вас здесь с автоматами бегают за оленями, — сказал Андрей, обернувшись.

— Как только обнаружим, отбираем! — крикнул ему черный китель.

— Знаем, у кого отбираете, — сказал Андрей не оборачиваясь.

— Не задирайся, Андрей, — крикнул ему Котик по-абхазски.

— Мать его растак, — ответил ему Андрей на том же языке не оборачиваясь.

— Или отдаст карабин, или задержу в сельсовете до выяснения, — сказал черный китель с новой твердостью. Видимо, он уже забыл о неудаче с фуражкой или его вдохновила близость остальных сванов. Мы подошли к машинам.

— Как можно, — тихо возразил Котик, давая знать, что не стоит доводить до слуха остальных это непристойное, хотя, возможно, и случайное недоразумение, — мы же не оставим своего товарища...

— Ваше дело, — сказал черный китель громко, как бы силой голоса отвергая версию о непристойности или тем более случайности недоразумения, — пусть кто-нибудь привезет хозяина карабина.

Этого еще не хватало! Молодой сван, восторженно кивая на мой карабин, выложил остальным суть дела. Несколько сванов сразу же заклокотало, обращаясь к черному кителю, и, как мне показалось, заклокотало доброжелательно по отношению ко мне.

Но тут черный китель вступил с ними в спор, время от времени бросая на меня злые птичьи взгляды, после чего обращал внимание сванов на свой топорик, который якобы я успел осквернить своим вопросом. Сваны оглядывали топорик, ища на нем скрытые следы осквернения.

Из всех сванов только один высокий старик с искривленным, как мне потом объяснили, ударом молнии ртом, сразу же стал его поддерживать. Он бросал на меня еще более злые

взгляды, чем сам черный китель. Это был хозяин дома, у которого все они сейчас гостили.

Потом по дороге я узнал, почему он так злился на меня. Оказывается, у сванов, которые живут здесь почти на окраине альпийских лугов (а он один из представителей этих нескольких семей), давняя вражда с нашими пастухами.

Альпийские луга, куда несколько наших долинных колхозов перегоняют скот, эти сваны считают спорными, потому что сами они живут здесь рядом, и они им очень удобны.

А спорными они их считают потому, что во время войны сюда из колхозов, естественно, никто не перегонял скот, и после войны довольно долгое время нечего было перегонять. К тому времени, когда колхозы оправились, сваны привыкли эти луга считать своими. В первый год дело чуть не дошло до поножовщины. Теперь они смирились, но неприязнь осталась.

Я об этом так подробно говорю, потому что, если б не этот старик, который терпеть не мог пастухов из долинных колхозов вместе с их гостями, или если б он целый день не угощал остальных сванов, чаша весов могла бы перетянуть на мою сторону. Свою небольшую, но вредную роль могла сыграть и та молния, которая по какой-то мистической случайности когда-то влетела ему в рот и, может быть, навсегда его ожесточила. Так или иначе, он угощал всех моих доброжелателей, и они в конце концов притихли и перестали спорить.

Правда, нам предстояло двигаться в одну сторону, и это нас временно сблизило. Котик, судя по всему, довольно удач-

но обрабатывал огромного свана из тех, что защищали меня, а потом отступились. Котик сел вместе с ним в одну кабину и крикнул мне:

— По дороге что-нибудь придумаем...

Меня, как почетного преступника, посадили в первую машину, остальные ребята устроились во второй. На подножках слева и справа от кабины устроились оба свана, те, что к нам подходили. Любитель русских карабинчиков стоял слева, а горный страж, теперь и мой страж, стал с моей стороны.

Когда нас усаживали, я предложил ему сесть в кабину со смутным расчетом загнать его тем самым в моральный тупик. Несмотря на мои уговоры, он с твердым достоинством отказался влезать в кабину, тем самым не давая поймать его на взаимном великодушии.

— Как можно, вы гость, — сказал он важно, давая знать, что соблюдение обычаев есть продолжение соблюдения законов и наоборот.

Я снял с плеча карабин, влез в кабину и уселся, поставив его между ног. Скинул полупустой рюкзак и задвинул его в угол сиденья.

Машина тронулась. Несколько сванов во главе со стариком, что поймал ртом молнию, стояли впереди машины. Мой страж что-то прокричал старику, по-моему, попросил присмотреть за его фуражкой, пока он приедет. Старик ничего ему не ответил, и мы поехали дальше.

Положение мое осложнялось тем, что я сейчас вообще не собирался ехать до города. Я собирался доехать только до

нарзанного источника, где отдыхал дядя Сандро. Мы с ним договорились там встретиться, и я думал провести несколько дней на водах в обществе дяди Сандро. Источник был расположен гораздо выше сельсовета, и даже если бы мне с помощью моих друзей удалось там освободиться от моего стража, все равно было неприятно среди ночи тащиться назад к источнику.

Мы медленно двигались по лесу. Солнце еще не село. Лучи его дозолачивали листья буков и каштанов, тронутые ранней горной осенью, и блестели на нержавеющей зелени пихт.

Свежий дух слегка забродившей зелени время от времени влетал в кабину, как бы в награду за достаточно зловонный запах араки, исходивший от моего сопровождающего, когда при толчках машины его голова слегка всовывалась в кабину.

Машина трудно двигалась по неровной колее, местами каменистой, местами перевитой обнажившимися корнями деревьев. Огромная тяжесть в кузове иногда так раскачивала корпус машины, что казалось, она вот-вот перевернется и раздавит кого-нибудь из стоящих на подножке. Шофер то и дело тормозил и переключал скорости.

Моего стража от этих раскачиваний и взбалтываний явно развезло. Он смотрел на меня тем всепрощающим взглядом, каким смотрят люди, когда им хочется рвать. Пару раз, встретившись с ним глазами, я предложил ему занять мое место, но он, прикрывая пленчатые веки умирающего лебедя, отказывался.

Взгляд его делался все более всепрощающим, и я стал бросать на него умоляющие взгляды в смысле простить меня за карабин. Сначала он меня не понимал и, взглянув на меня с некоторым недоумением, бессильно прикрывал пленчатые веки. Потом понял и не простил.

«Ты видишь, мне и так трудно, а ты еще пристаешь», — говорил он взглядом и бессильно прикрывал пленчатые веки.

«Ну что вам стоит? Ну я больше не буду!» — канючил я взглядом, дождавшись, когда он приоткроет глаза.

«Ну ты видишь, что мне и так трудно, а если я нарушу закон, мне будет еще трудней», — объяснял он мне затуманенным взглядом и бессильно опускал пленчатые веки.

Мы выехали из леса, и машина пошла по дороге между глубоким обрывом и скалистой мокрой стеной, с которой стекало множество водопадиков в тонкой водяной пыли. Когда машина в одном месте близко подошла к стене, мой страж почему-то посмотрел вверх, словно собирался там кого-то приветствовать. Но приветствовать оказалось некого, и он, неожиданно откинувшись, подставил голову под водяную струйку. И потом каждый раз, когда попадалась достаточно удобная струйка, он ловко откидывался и ловил ее головой. И уж оттуда, из-под струйки, в легком светящемся нимбе водяной пыли, успевал бросить на меня сентиментальный и в то же время недоумевающий моему удивлению взгляд.

Освежившись, он перенес топорик из правой руки в левую и освобожденной рукой, достав из кармана платок, стал утирать им лицо и волосы.

Держаться одной рукой за бортик открытого окна кабины да еще сжимать в этой же руке топорик показалось мне настолько неудобным и даже опасным, что я решил помочь ему.

— Дайте, я подержу, — кивнул я на топорик. Отчасти это было обычной для всякого преступника тягой к месту преступления, но был и расчет. Этой новой дерзостью, уже после того как я был достаточно наказан за старую дерзость, я как бы доказывал ему, что и старой дерзости не существовало, во всяком случае, не было злого умысла, а было глупое щенячье любопытство.

Он перестал протирать голову платком и долго смотрел на меня скорбным взглядом, все время покачиваясь и дергаясь вместе с машиной и все-таки не упуская меня из своего поля зрения.

Потом он, продолжая смотреть на меня, пригладил ладонью мокрые жидкие волосы и перенес топорик в подобающую ему правую руку. Казалось, взгляд его старается определить, можно ли за повторное оскорбление назначить новое наказание.

Я слегка заерзал, но взгляд его вдруг потеплел. Казалось, он решил: нет, повторного оскорбления не было, а была глупость.

— Давайте в кабину, — сказал я.

— Ничего, мы привыкли, — ответил он и отвел глаза.

— Вы знаете, — сказал я, — я не могу доехать до сельсовета.

— Почему? — спросил он.

- Мне надо у источника сойти.
- А мне еще раньше надо сойти, — сказал он.
- Почему? — спросил я.
- Потому, что мой дом раньше, — сказал он и выразительно посмотрел на меня в том смысле, что служба и у него требует жертв, а не то что у нарушителей.
- Меня человек ждет на источнике, — сказал я, — понимаете, волноваться будет.
- Хорошо, — ответил он, немножко подумав, — ты слезай у источника, а карабин оставь.
- Без карабина я и так слезу, где захочу, — сказал я.
- Тоже правильно, — согласился он.
- За этот карабинчик что я только не сделаю, — раздался голос Гено с другой стороны машины. Мой страж встрепенулся.
- Гено живет рядом с источником, — сказал он, — он передаст твоему товарищу, что я тебя задержал.
- Не стоит, — сказал я. Конечно, дядя Сандро меня ждал, но не с такой уж точностью.
- Скажи имя, он пойдет, — настаивал страж.
- Сандро, — сказал я машинально.
- Сандро, но какой Сандро? — удивился страж.
- Сандро Чегемский, — сказал я.
- Сандро Чегемский? — переспросил он почти испуганно.
- Да, — сказал я, волнуясь. Я почувствовал, что имя на всех произвело впечатление.
- Уах! — сказал сван, молча сидевший между мной и шофером. — А кем он тебе приходится?

— Дядя, — сказал я.

Тут все сваны, включая шофера и Гено с той стороны, заклокотали перекрестным орлиным клекотом.

— Это тот самый Сандро, — спросил сван, сидевший рядом со мной, — который в двадцать седьмом году привез тело Петро Иосельяни?

— Да, — сказал я. Я что-то смутно слышал об этой истории.

— Петро Иосельяни, которого матрос убил на берегу?

— Да, — сказал я.

— Так за бедного Петро никто и не отомстил, — вздохнул шофер, продолжая пристально всматриваться в дорогу.

— Двенадцать человек приехало в город, чтобы сжечь пароход вместе с матросом, — сказал сван, сидевший рядом со мной.

— Почему не сожгли? — спросил шофер, продолжая внимательно всматриваться в дорогу.

— Не успели, — сказал сван, сидевший рядом со мной, — пароход ушел в море.

— Успеть успели, — откликнулся Гено, — но их даже на пристань не пустили.

— Ты откуда знаешь, — обиделся сван, сидевший рядом со мной, — тебя еще на свете не было.

— Мой отец с ними был, — сказал Гено, — Петро наш родственник...

— Языки не распускай! — вдруг крикнул мой страж, всунув голову в машину. — Пароход — нет, дерево — и то никто не имеет право сжечь!

— Значит, — сказал сидевший рядом со мной, переждав разъяснение заместителя лесничего, — это тот самый Сандро из Чегема?

— Тот самый, — сказал я.

— Красивый старик, усы тоже имеет? — уточнил сидевший рядом сван.

— Да, — сказал я.

— В прошлом году, когда генерал Клименко приезжал на охоту, он сопровождал? — спросил мой страж, вглядываясь в меня.

— Да, — сказал я, стараясь не выпячиваться, обстоятельства работали на нас.

— Генерал Клименко — прекрасный генерал, — сказал сван, сидевший рядом.

— Как маршал — такой генерал, — сказал Гено.

— И охота была большая, — сказал шофер, не отрываясь от дороги.

— Товарищ Сандро — уважаемый человек, — твердо сказал черный китель.

— О чем говорить! — воскликнул сван, сидевший рядом со мной. — Сопровождать генерала Клименко с улицы человека не возьмут.

— Сами знаем, — обрезал его мой страж.

Я чувствовал, что шансы мои улучшились. Взгляд заместителя лесничего не то чтобы стал дружелюбней, нет, теперь он острее всматривался в меня и как бы с любопытством обнаруживал под верхним порочным слоем моей души слабые ростки добродетели.

Уже смеркалось. Дорога все еще шла над пропастью, где в глубине слабо блестело русло реки. Отвесная стена сменилась меловыми осыпями, бледневшими в сумерках.

Метрах в ста впереди показалась машина. Она стояла у края дороги. Рядом с ней толпилось несколько человек.

— Там авария случилась, — сказал сван, сидевший рядом со мной.

— Сорвалась машина? — спросил я.

— Языки, — неуверенно предупредил мой страж.

— Да, — сказал он, не обращая внимания на предупреждение стража, — слава Богу, шла в город последним рейсом, мало людей было.

— Языки, — более строго вставился мой страж.

— Кто-нибудь спасся? — спросил я, понижая голос.

— Один мальчик, — сказал сидевший рядом со мной, — выпал из машины и зацепился за дерево.

Мы подъехали к месту катастрофы, и шофер остановил машину. Все вышли из нее. Второй грузовик слегка приотстал. Я подошел вместе со всеми к обрыву.

Внизу у самой воды лежал продавленный, как консервная банка, автобус. Выброшенный ударом, один скат валялся на том берегу реки.

— Вот это дерево, за которое мальчик зацепился, — сказал сван, сидевший рядом со мной в машине. На самом обрыве из расщелины в камнях подымался узковатый ствол молодого дубка с широкой кроной, похожей на зеленый парашют.

— Не надо, товарищи, ничего интересного, — крикнул мой страж, обернувшись ко второй машине. Она только что подошла, и те, кто в ней сидел, потянулись к обрыву.

Не обращая внимания на его предупреждение, все подошли к обрыву и заглянули вниз.

Вдоль обрыва стояли цементные столбики, даже на вид такие слабые, что, кажется, одним крепким ударом ноги можно снести любой. У автобуса отказали тормоза, и он вывалился в обрыв, сшибив эти столбики, как городки. Каждый год в этих местах случаются такие вещи, и каждый раз, когда я узнаю об этом, возмущаюсь, думаю куда-то писать, кого-то ругать, но потом как-то забывается, уходит.

— Ну как, — подошел ко мне Котик, — уломал?

— Кажется, склоняется, — сказал я.

— Я своего тоже обработал, — сказал он, — вон разговаривает с ним.

В самом деле, черный китель стоял рядом со сваном из второй машины. Тот что-то говорил. Мой страж слушал его, склонив голову. Топорик свешивался с безвольно опущенной руки. Казалось, сейчас сам закон осуществляет свое законное право на отдых.

— Слушай, это правда, — крикнул мне большой сван, одновременно кивком головы подзывая меня, — что Сандро из Чегема твой родственник?

— Да, — сказал я и, подходя, спиной почувствовал усмешку Андрея.

Большой сван, обняв меня одной, а моего стража другой рукой, сделал несколько шагов, как бы приглашая нас на миротворческую прогулку. Я охотно подчинился, но маленький страж, хотя и не сопротивлялся дружескому жесту, однако выпрямился и затвердел под его рукой, подчеркивая этим свою самостоятельность. Большой сван что-то ему мягко внушал, пока мы прогуливались возле машин, тот молча его слушал.

— Давайте в машины, — сказал наш шофер, и все потянулись к машинам.

— Нельзя, кацо, нельзя, — сказал по-русски большой сван, когда мы остановились возле нашей машины.

— Посмотрим! — сказал мой страж и бодро вскинул топорик. Казалось, закон теперь приступил к своим обязанностям, но на этот раз, может быть, для того, чтобы выслушать смягчающие обстоятельства. Большой сван сделал мне обнадеживающий знак, одновременно чмокнув губами и мигнув разбойничьим глазом, и отправился к своей машине. Шоферы завели машины, но тут черный китель неожиданно подбежал к третьей машине и стал яростно гнать людей в нее, хотя они и так уже собирались садиться, а шофер даже завел мотор и просто ждал, пока мы проедем.

Пассажиры этой машины, сопротивляясь его подталкиваниям, останавливались и спорили, как и все люди, которых подталкивают, когда они и так идут в ту сторону.

Наконец часть из них залезла в кузов, двое уселись рядом с шофером, и машина тронулась. Черный китель, упруго пя-

тясь и делая топориком заманивающие жесты, как балетный колдун, провел машину мимо нас на более широкую незанятую часть дороги.

Когда грузовик проехал мимо, я обратил внимание, что шофер, стараясь не задеть нашу машину, на дороге и тем более на стража с его заманивающими движениями не смотрит.

Я все еще не сел в машину, потому что на этот раз решил посадить его.

— Теперь вы садитесь, — сказал я, когда он, довольный проделанной операцией, вернулся к машине.

— Ничего, ничего, — замотал он головой и почему-то перебросил топорик из правой руки в левую и опустевшей рукой указал мне на кабину, что можно было понять, что жест этот личный, внеслужебный. — Ничего, мы привыкли, — сказал он, склоняясь.

— Нет, — возразил я твердо, — сейчас вы садитесь.

— Не стоило, — сказал он и неохотно влез в кабину.

Я захлопнул за ним дверцу и, став на подножку, крепче ухватился за нижний край оконного проема. Машина тронулась.

Быстро темнело. Когда справа кончились меловые осыпи и снова навис над дорогой крутой склон, поросший лесом, стало совсем темно.

Шофер включил фары. То и дело скрежетали тормоза. Казалось, мотор все время делает физические усилия, чтобы не разогнаться всей тяжестью и не вывалиться в обрыв. Перед каждым новым поворотом шофер переключал скорость,

и грузовик на мгновение останавливался, словно переводил дыхание.

Холодный сырой воздух то и дело обдавал из черного провала, на дне которого чем дальше мы ехали, тем полногласней шумела река. Пустотелые облака кроили и перекраивали небо, но все время то там, то здесь открывались большие звездные куски неба. Звезды вздрагивали и покачивались, словно отраженные от поверхности бегущей воды.

Машина все еще сильно накренялась, и я никак не мог привыкнуть к этому. Каждый раз казалось, что она вот-вот перевернется набок и придавит к стене. Я себя уговаривал, что ничего такого не может быть. Но через несколько минут машина снова накренялась, и тело напружинивалось, готовое кузнечьим скоком выпрыгнуть из катастрофы, хотя, конечно, выпрыгнуть было некуда. А главное, что каждый новый крен в самый момент крена казался сильнее, опасней предыдущего, но потом, когда машина выпрямлялась, становилось ясно, что он ничуть не больше остальных.

Держаться за край оконного проема было неудобно, и постепенно руки мои оцепенели от напряжения, и внимание сосредоточилось на том, чтобы удержаться на подножке.

Когда машина шла ровно, я почти отпускал руки, давая им отдохнуть, а потом снова изо всех сил сжимал их. К тому же я порядочно околел. Только теперь я оценил силу и цепкость заместителя лесничего.

Кстати, он почти сразу уснул, как только сел в кабину. Дремал и второй сван.

Сначала заместитель уснул, откинувшись на спинку сиденья, обеими руками, как убаюканного ребенка, придерживая на коленях топорик. Потом голова его стала сползать в угол кабины, оттуда — вниз вдоль дверцы, потом, изменив направление, слегка вывалилась в окно и уперлась мне в грудь.

Было что-то трогательное в этой доверчивой беззащитности, с которой она уперлась мне в грудь и спала, мирно посапывая. Руки все так же продолжали лежать на коленях, нежно придерживая топорик. Когда от толчка топорик сползал с колен, он, не просыпаясь, подтягивал его и, слегка поерзав ладонями по его поверхности, успокаивался. Так мать, спящая рядом с ребенком, не просыпаясь поправляет на нем одеяло.

Я старался не шевелиться, чтобы не разбудить его. Теперь я был уверен, что мы с ним поладим. Душа моя вздрагивала от нежности. Хотелось погладить его жидкие волосы, но я боялся его разбудить.

Дорога делалась все лучше и лучше, и машину уже не так раскачивало. Однако удерживать его упирающуюся мне в грудь голову становилось все трудней. Нельзя было шевельнуться, и я довольно сильно околел.

В конце концов я решил перенести его голову на спинку сиденья. Я уперся локтем правой руки в дверцу изнутри, осторожно приподнял голову двумя руками и, продолжая упираться локтем в дверцу, положил его голову на спинку сиденья. Голова, не просыпаясь, обиженно вздохнула. Так, бывает, крестьяне, осторожно взяв в руки тыкву, свисающую

с плетня, перекладывают ее на более устойчивое место, чтобы она не оборвалась под собственной тяжестью.

Через несколько минут внезапно, словно от толчка, он проснулся. Он приоткрыл глаза и, не меняя позы, насторожился, будто пытался осознать, как и в какую сторону изменилась действительность, пока он спал, если она изменилась. При этом руки его, лежавшие на топорики, слегка сжались.

— Как спалось? — спросил я тоном дворецкого.

— Кто, я? — удивился он.

— Да, — сказал я.

— Я не спал, — проговорил он, прикрывая ладонью зевок, — это он спит.

Он кивнул на свана, сидевшего рядом, который и в самом деле спал. После этого он опять откинулся на спинку сиденья, точно повторив позу, в которой он проснулся. Он даже слегка прикрыл глаза. Все это должно было означать, что он и раньше не спал, хотя, возможно, и был похож на спящего человека. Не знаю, для чего ему надо было скрывать свой невинный сон. Во всяком случае, я огорчился. Я решил, что он внушает мне уверенность в надежности своего контроля надо мной.

Через несколько минут он вдруг тронул шофера за плечо, и тот остановил машину. Я чувствовал, что черный китель собирается выйти из машины, и заволновался. Он взглядом показал мне, что не прочь открыть дверцу кабины.

Я сошел на дорогу и стал в смиренной позе. В самом деле я сильно волновался. Он открыл дверцу и, как-то деловито поживаясь от ночной прохлады, вышел.

Я продолжал стоять в смиренной позе, чувствуя, что эти мгновения сейчас решают мою судьбу.

И вдруг я почувствовал, как он, почти не глядя, слабым мановением руки, топорик, я успел заметить, был в другой, направил меня в кабину.

Стараясь не создавать излишней суеты, я быстро, и в то же время стараясь избегать в своей быстроте воровского проворства, проскользнул в кабину. Боком проскользнул, чтобы не слишком прямо промаячил перед его глазами этот несчастный карабин. И когда я ровным ликующим толчком прикрывал дверцу, успел заметить самое удивительное. Я успел заметить, как он с непостижимым лукавством отводит глаза от карабина, словно с ним, а не со мной уславливаясь, что они друг друга не видели.

Он еще несколько секунд простоял, ожидая вторую машину, а потом, озаренный и даже слегка ослепленный ее фарами, взмахнул топориком, давая ей приказ держаться за нами. Наша машина тронулась, и он исчез в темноте.

— Он здесь живет, — сказал сван, сидевший рядом. Оказывается, он проснулся. Возможно, он даже проснулся от моей радости.

— Да, я понял, — кивнул я, чувствуя огромную доброжелательность к этому факту.

После физического и нервного напряжения сидеть в кабине было необыкновенно уютно и тепло.

— Знаете, хороший парень и грамотный, но немножко любит... — сказал сосед по кабине и, не найдя подходящего сло-

ва, покрутил ладонью в воздухе, как бы стараясь показать очертания отрицательных флюид, исходящих от самой его должности.

— Да, я понял, — сказал я, чувствуя огромную доброжелательность ко всему, в том числе и к этим отрицательным флюидам.

Я ему рассказал, как мой страж пытался отрицать, что он спал. Сван расхохотался, шофер стал смеяться, хотя он мог рассмеяться гораздо раньше, когда все это случилось. Впрочем, возможно, тогда он просто нас не слышал.

— Что смеетесь? — вдруг отозвался Гено с той стороны. Сван, сидевший рядом со мной, с удовольствием повторил мой рассказ, и они оба рассмеялись вместе с шофером.

— Значит, ты сам голову ему держал, а он говорит — не спал? — спросил у меня сосед, руками показывая на воображаемую голову.

— Да, — говорю.

— Ха-ха-ха! — снова рассмеялся он, откинувшись.

— Ха-ха-ха! — более сдержанно поддержал его шофер.

— Ха-ха-ха! — громыхал снаружи Гено.

— Я думал, — говорю, — сванский обычай считает позором спать на людях, потому он отказывается.

Тут я, конечно, слукавил, чтобы кружным путем польстить сванским обычаям. Получалось, что если я чту такие сомнительные сванские обычаи, то с каким почтением, можно было представить, я отношусь к истинным сванским обычаям.

— Гено, — крикнул мой сосед, — он думает, что по нашим обычаям в машине нельзя спать!

— Ха-ха-ха! — засмеялись все трое.

— Я здесь стоя спал! — крикнул Гено.

— Сванские обычаи, — серьезно сказал мой сосед, — не разрешают спать, только если в доме гость.

— Ага, — кивнул я.

— А русские обычаи разрешают?

— Нет, — говорю, — русские обычаи тоже не разрешают.

— Гено, — крикнул он, — ты слышишь, русские обычаи тоже не разрешают!

— Слышу, — отозвался Гено.

— Ха-ха-ха! — всех троих. «Вечная ирония жителей гор над жителями долин», — подумал я.

— Обычай для силы сохраняют, — вдруг сказал он, отсмеявшись, — а большому народу зачем обычай, он и так сильный.

«В этом что-то есть», — подумал я, хотя и не знал, что именно.

— Между прочим, он из хорошей семьи, — снова вернулся мой сосед к заместителю лесничего.

— Да? — спросил я из приличия, все еще думая о том, что он сказал.

— Мелиани будет княжеского происхождения, — сказал он почтительно.

— Да, Мелиани, — подтвердил шофер и переключил скорость.

— Да, да, Мелиани, — отозвался снаружи Гено.

Через несколько минут Гено что-то сказал шоферу, и тот затормозил. Они начали о чем-то спорить, и я почувствовал по доброжелательной властности, с которой Гено говорил, а потом просто протянул руку и дал несколько пронзительных сигналов клаксоном, что он входит в роль гостеприимного хозяина.

— Давайте с машины! — приказал он и соскочил сам.

Еще в кабине я заметил, что направо от дороги стоит дом на высоких сваях с освещенными окнами. Дверь в дом была распахнута, а на веранде стояла женщина и смотрела в нашу сторону. Мы вышли. После долгой езды приятно было стоять на земле.

— Вещмешок забыл, — сказал шофер.

Я влез в кабину и вытащил вплюснутый в угол кабины свой вещмешок. Я размял его и закинул за плечо. Ночь посветлела. С востока край неба над горой был озарен восходящей луной. Облака наконец замерли и ровной грядой стояли вполнеба, осеребренные еще невидимой луной.

Женщина с корзиной в руке шла через двор. Из корзины поблескивали горлышки бутылок. Гено громко распоряжался. Когда подошла вторая машина, он велел так подогнать ее, чтобы она своими фарами освещала радиатор первой.

Все остальное произошло в несколько минут. Он вытащил из корзины кусок чистой мешковины и постелил на радиатор. Достал оттуда же буханку белого хлеба, открыл большой охотничий нож и раздраконил ее, склонившись над радиато-

ром и прижимая буханку к груди. Буханка скрипела, крупными ломтями отваливаясь и падая на мешковину. Потом вынул из корзины круг сыру и, сладострастно выпятив губы, быстро настругал на хлеб сочащиеся полоски сыра. Потом он так же быстро стал доставать из корзины стаканы и, еще доставая, дал женщине какое-то распоряжение, и она проворно, даже переходя на побегу, вернулась в дом.

Вытащив три бутылки и поставив две из них на огнедышащий стол, он начал разливать третью, вертикально опрокидывая бутылку с мутным араки. Огонь похмельного вдохновения придавал его движениям быстроту и щедрую соразмерность. Не успел он закончить разлив, как жена прибежала и, смущенно улыбаясь, поставила на радиатор недостающие стаканы.

Все, кроме шофера второй машины, столпились вокруг радиатора. Подняв капот своего грузовика, тот заглядывал в мотор.

Предчувствие выпивки, как всегда, создавало духовный подъем. Все испытывали взаимную приятность.

— А ну! — властно предложил хозяин и окликнул шофера второй машины. Тот, не оборачиваясь, отказался, но после двух-трех повторных приглашений, мазанув руки ветошью, неохотно подошел к нам.

— Я же говорил, — сказал Котик, блестя глазами, — что все хорошо кончится.

— Как можно! — сказал большой сван, стоявший рядом с ним. Он слышал слова Котика, исполненные доброжела-

тельности, и сам, стараясь сделать для меня что-нибудь приятное, добавил: — Между прочим, он княжеского происхождения.

— Да, знаю, — сказал я, и в самом деле испытывая приятность от его княжеского происхождения, — Мелиани.

— Да, Мелиани, — подтвердил большой сван.

— Мелиани, Мелиани, — зашелестели остальные.

Мы взяли в руки стаканы. Оба шофера, взяв по куску хлеба и сыра, стали закусывать, показывая, что пить не собираются. Андрей тоже было заартачился, и товарищ его из Москвы быстро убрал протянутую к стакану руку.

— Что ты делаешь, — тихо сказал ему Котик по-абхазски, — сейчас обидятся.

— Прошу извинить, ребята, — сказал Андрей, обращаясь к хозяину и морщась от неловкости, — просто я неважно себя чувствую.

— Пей, — сказал хозяин, голосом показывая, что ему сейчас некогда вдаваться в подробности. Андрей взял стакан. Московский друг проворно последовал его примеру.

— Твой хвост меня просто смешит, — сказал Котик по-абхазски. Он любил Андрея и ревновал его к московскому другу.

— Прошу тебя, оставь его в покое, — ответил Андрей и опять сморщился.

— Давайте подыдем! — провозгласил хозяин, отсекая лишние разговоры. — За удачную дорогу, за наше знакомство, за то, чтобы никто ни на кого не обижался. Тем более карабинчик на месте, — добавил он для ясности.

— Как можно, — сказал я, и все выпили. Стараясь не дышать, я вытянул стакан. После этого несколько раз незаметно выдохнул, чтобы поменьше запаха оставалось во рту. Все равно, как только вдохнул воздух, почувствовал такой запах, как будто мне затолкали в рот целый куст бузины. Такой уж это напиток, и тут ничего не поделаешь.

Но, может быть, именно поэтому сразу захотелось есть и хлеб с сыром оказались очень вкусными. Хозяин разлил по второму стакану. Оба шофера, взяв по куску хлеба и сыра, отошли к другой машине. Гено что-то коротко сказал жене, и она ушла домой, а через минуту вернулась с двумя бутылками.

— Зачем? — сказал Котик, хотя глаза его маслянисто заблестели. Сыр был жирный, и после этой отравы есть его с хлебом было просто наслаждение. Хлеб этот, видимо, шоферы из города завозят.

Мы подняли по второму стакану.

— За хозяина этого дома, за чудесное сванское гостеприимство, за вечных хозяев этих вечных гор! — сказал Котик и выпил свой стакан.

— Спасибо, дорогой! — сказал большой сван и выпил.

— Спасибо от имени вечных хозяев и вечных гор, — сказал второй сван и выпил.

— Гмадлоб, — сказал хозяин по-грузински и выпил.

Товарищ Андрея подождал, пока Андрей подносил стакан ко рту, и, убедившись, что другого пути стакану не будет, выпил свой. Все выпили, и всем еще сильнее захотелось есть жирный сванский сыр с белым хлебом.

Между тем над этими вечными горами появилась полная луна и, несколько смущаясь, что застала нас за этой трапезой, стала подниматься в небо. Так один мой знакомый, не успеешь где-нибудь рассестся с друзьями, появляется, вооружившись своей смущенной улыбкой.

— Тебе туда, — сказал Гено и кивнул в сторону реки. Там, за рекой, на пологом склоне, был расположен нарзан-ный городок: балаганчики, шалаши, палатки самодельного крестьянского курорта. Где-то в середине городка подмигивал костер.

Выпили еще по одному стакану. Араки тем хороша, что любая закуска после нее кажется божественной. И вот сначала пьешь, чтобы еда сделалась божественной, а потом и араки улучшается, но все-таки божественной никогда не делается.

— Слушай, — вдруг вспомнил сван, что сидел рядом со мной, — это правда, что знаменитый эндурский тамада Бичико лопнул, когда хотел перепить Сандро Чегемского?

— Я слышал, — сказал я, — только что-то трудно поверить, что человек может лопнуть.

— Да, да, может, — подтвердил большой сван.

— А сам Сандро что говорил? — спросил сван, что сидел рядом со мной.

— Я знаю эту историю, я могу рассказать, — сказал Котик.

— Дядя Сандро говорит, — начал я, чувствуя неожиданное воодушевление и не понимая, что хмелею, — когда дошли до двенадцати стаканов и тот их выпил и послал по кругу...

— Но ни один не смог выпить, — вставил Котик, — кроме дяди Сандро.

— Кое-кто выпил по шесть-семь стаканов, — уточнил я, пытаясь восстановить какую-то уплывающую деталь рассказа, — а дядя Сандро выпил десять стаканов.

— Ему еще только два стакана оставалось, — зачем-то уточнил Котик.

И вдруг я забыл какую-то тонкость — что, собственно говоря, помешало дяде Сандро выпить эти два стакана? Я остановился, чувствуя, что нарастает неловкое молчание.

— Очень интересно, — сказал Гено, разливая в стаканы араки.

— Ты про музыку не забудь, — напомнил Котик. Ай да Котик!

— Тут вся соль в музыке! — обрадовался я и все вспомнил.

— При чем музыка? — сказал большой сван и придвинул к себе свой стакан.

— Тонкая политика, — сказал сван, что сидел рядом со мной, и тоже придвинул к себе свой стакан. И вдруг я опять все забыл, видно, переволновался с этим хранителем лесов.

— У дяди Сандро оставалось два стакана, — вмешался Котик, радуясь, что я забыл продолжение, — и он почувствовал, что выпитое стоит у горла, что дальше просто некуда пить...

— Так бывает, когда слишком много выпьешь, — подтвердил большой сван.

— Еще хуже бывает, — сказал Гено.

— И тут ударила музыка! — вдруг вспомнил я все.

— Любимая лезгинка Бичико, — подхватил Котик, — и Бичико бросился танцевать. Он сделал один круг, и вдруг раздался такой звук, как будто барабан лопнул. Он упал и умер. У него что-то внутри лопнуло.

— Здесь тонкая политика, — повторил сван (что когда-то давным-давно сидел со мной в одной машине, а другой сван пытался отнять у меня карабин), — наверное, ваш Сандро договорился с музыкантами.

— Вполне возможно, — сказал Котик.

— Вообще, когда много выпиваешь, танцевать нельзя, — назидательно сказал большой сван.

— Вот эти стаканы подыдем, — сказал Гено, — тем более танцевать не собираемся...

Мы выпили по стакану, а потом еще по одному. Гено хотел послать жену за новой бутылкой, но большой сван и Котик решительно, при молчаливом одобрении жены, воспротивились.

Мы распрощались, и ребята вместе со своими попутчиками расселись по машинам. Завели моторы, и, пока вторая машина задним ходом выезжала на дорогу, Гено неожиданно вырвал из кармана пистолет и дал в воздух несколько прощальных выстрелов. Из машины раздались радостные крики.

Жена Гено замахала рукой в сторону дома и что-то сердито прокричала мужу. По какой-то неуловимой интонации я понял, что она прокричала.

— Детей разбудишь, детей! — прокричала она.

— Может, провести тебя? — сказал Гено, пряча в карман пистолет. — Или оставайся у нас?

— Спасибо, я пойду, — сказал я. Мы братски поцеловались, и я протянул руку его жене. Она неловко перенесла корзину с правой руки в левую и, застеснявшись, протянула мне ладонь.

Я перешел дорогу. Высоко в небе серебрилась луна, покрывая русло реки и нарзанный городок на той стороне колдовским светом. Лунное освещение делает землю пустынной, словно убирая с нее лишние предметы, готовит нас к жизни в том мире, где не будет многих вещей, милых нашему сердцу, но и мучивших нас в этом мире.

На той стороне костер все еще горел, и я был уверен, что вокруг все еще сидят люди и слушают поучительные истории из жизни дяди Сандро.

— Насчет водолаза как брата прошу! — крикнул Гено.

— Хорошо, — сказал я и обернулся. Жена его быстрой, легкой тенью пересекла двор. Он все еще стоял у ворот.

— Напиши на сельсовет, передадут! — крикнул Гено.

— Хорошо, — сказал я, — если договорюсь...

— Для Гено Йосельяни, не забудь! — крикнул он.

Я махнул рукой и стал спускаться вниз к реке. После долгой езды и долгого стояния на одном месте идти было приятно и легко. Голова оставалась ясной и чистой, и, кроме приближающейся реки, пожалуй, в ней ничего не шумело.

...Забегаая вперед, должен сказать, что я так и не послал в горы водолаза. Иногда, почему-то по ночам, я вспоминал

о своем обещании, и мне бывало совестно. Но дело в том, что у меня нет ни одного знакомого водолаза. А договориться с незнакомым водолазом, чтобы он поехал в горы на заработки, казалось мне делом подозрительным и маловероятным. Вообще, внизу у моря все это выглядит несколько фантастичным, точно так же, как и наша долинная жизнь, когда о ней вспоминаешь где-нибудь в горах, на уровне альпийских лугов.

20. дядя сандро и раб хазарат

Этот рассказ я слышал от дяди Сандро, когда мы сидели за столиком под тентом в верхнем ярусе ресторана «Амра». Кажется, я повторяюсь, слишком часто упоминая верхний ярус ресторана. Но что делать, в нашем городе так мало осталось уютных мест, где, особенно в летнюю жару, можно спокойно посидеть под прохладным бризом, слушая шлепающие и глухие звуки, которые издают ребячьи тела, слетая с вышки для прыжков в воду, слушая их мокрые, освежающие душу голоса, созерцая яхты, иногда с цветными парусами, набитыми ветром до плодово-телесной выпуклости и в наклонном полете (якобы мечта Пизанской башни) сострругивающие мягкую гладь залива.

Кстати, о Пизанской башне. Разглядывание ее во всяких альбомах и на любительских снимках всегда вызывало во мне безотчетное раздражение, которое почему-то надо было

скрывать. Сам-то я таких альбомов не держу и тем более никогда не имел возможности самому сфотографировать ее. Так что в том или ином виде ее всегда мне кто-нибудь демонстрировал, и каждый раз надо было благодарно удивляться ее идиотскому наклону.

Однако сколько можно падать и не упасть?! Я считаю так: если ты Пизанская башня, то в конце концов или рухни, или выпрямись! Иначе какой воодушевляющий пример устойчивости для всех кривобоких душ и кривобоких идей!

В ночных кошмарах, правда, чрезвычайно редких, я всегда вижу один и тот же сон. Как будто меня привезли в Италию, надежно привязали в таком месте, где я день и ночь вынужден созерцать Пизанскую башню, приходя в круглосуточное бешенство от ее бессмысленного наклона и точно зная, что на мой век ее хватит, при мне она не рухнет.

Этот ночной кошмар усугубляется тем, что какой-то итальянец, вроде бы Луиджи Лонго, однако почему-то и не признающийся в этом, три раза в день приносит мне тарелку спагетти и кормит меня, заслоня спиной Пизанскую башню и одновременно читая лекцию о еврокоммунизме. И мне вроде до того неловко слушать его, что я еле сдерживаю себя от желания крикнуть: «Амиго Лонго, отойдите, уж лучше Пизанская башня!»

Во сне я прекрасно говорю по-итальянски, однако же молчу, потому что очень вкусными мне кажутся эти неведомые спагетти. И я вроде каждый раз уговариваю себя: «Вот съем еще одну ложку и скажу всю правду!»

И оттого, что я ему этого не говорю и у меня не хватает воли отказаться от очередной ложки, я чувствую дополнительное унижение, которое каким-то образом не только не портит аппетита, но даже усугубляет его.

И я вынужден выслушать моего лектора до конца, до последней макаронины, а уж потом, после последней ложки, какая-то честность или остатки этой честности мешают мне сказать ему все, что я думаю. Если б я хоть одной ложкой спагетти пожертвовал, еще можно было бы сказать ему всю правду, а тут нельзя, стыдно, ничем не смог пожертвовать.

И вот он уходит, и тут из-за его спины появляется эта кривобокая башня. Недавно я узнал от друзей, что какой-то польский инженер разработал и даже осуществил проект выпрямления Пизанской башни. Конечно, такой проект должен был сотворить именно поляк. Конечно, в Польше все давно выпрямили, и его тоска по выпрямлению должна была обратиться на Пизанскую башню.

Сейчас мне вдруг пришло в голову: а что, если наклон Пизанской башни был знаком, показывающим некий градус отклонения всей земной жизни от Божьего замысла, и теперь мы лишены даже этого призрачного ориентира? Или так: а что, если бедняга Пизанская башня, в сущности, правильно стояла, а это наша земля со всеми нашими земными делами под ней скособочилась?!

Итак, мы в верхнем ярусе ресторана «Амра». Действующие лица: дядя Сандро, князь Эмухвари, мой двоюродный брат Кемал, фотограф Хачик и я.

Цель встречи? На такой следовательский вопрос я бы вообще мог не отвечать, потому что цели могло и не быть. Но на этот раз была.

Дело в том, что мой двоюродный брат Кемал, бывший военный летчик, а ныне диспетчер Мухусского аэропорта, находясь в своей машине, мягко говоря, в нетрезвом состоянии, был задержан автоинспектором.

В таком состоянии я его несколько раз видел за рулем, и ему ни разу не изменили его точные рефлексы военного летчика и могучая нервная система.

При мне несколько раз его останавливали автоинспекторы, догадываясь о неблагополучии в машине скорее по чрезмерному шуму веселья на заднем сиденье, чем по каким-то нарушениям.

В таких случаях он обычно, не глядя на автоинспектора и одновременно воздействуя на него своим наполеоновским профилем, тем более что профиль винных запахов не издает, так вот, в таких случаях он, не глядя, сует ему не водительские права, а книжку внештатного корреспондента журнала «Советская милиция».

Книжка действует магически. Но на этот раз она не могла сработать. Дело было ночью, и он в машине был один. А когда он, выпивший, ночью в машине едет один, к его точным рефлексам бывшего военного летчика незаметно подключается сдвинутый во времени рефлекс ночного бомбардировщика: ему кажется, что война еще не кончилась и он летит бомбить Кенигсберг, который давно уже восстал из своих ру-

ин и, незаметно смягчив в советской транскрипции готическую остроугольность своего названия, превратился в Калининград.

В сталинские времена за один этот его запоздалый рефлекс могли посадить на десять лет. Но в наше чудесное время его только остановил автоинспектор, потому что он, согласно своему запоздалому рефлексу, старался выжать из своих «Жигулей» самолетную скорость.

Кемал затормозил. Ему бы дотерпеть, пока автоинспектор подойдет, и показать ему книжку внештатного корреспондента журнала «Советская милиция». Но он, затормозив, уснул за рулем столь безмятежным сном, что его разбудили только утром в помещении автоинспекции.

Но тут уже в игру вступил сам начальник автоинспекции Абхазии. Пока нарушитель спал, был составлен образцово-показательный акт, и когда он, проснувшись, все еще исполненный своего несокрушимого благодушия, попытался показать свою магическую книжку, у начальника хватило самолюбия не ретироваться.

Кемала лишили водительских прав чуть ли не на полгода. При этом издевательски оставили при нем удостоверение внештатного корреспондента журнала «Советская милиция», в данной комбинации теряющее всякий смысл. Однако он, будучи человеком крайне ленивым по части ходьбы, с таким наказанием никак не мог смириться.

Тут-то мы и обратились за помощью к дяде Сандро. Дядя Сандро свел его с князем Эмухвари. Князь Эмухвари в неда-

леком прошлом работал директором фотоателье, но к этому времени, как говорят спортсмены, сгруппировался и открыл свою частную фотоконтору.

Конечно, Кемал знал князя и до этого. Но как человек, основную часть своей жизни проведший в Центральной России, где, если и оставались еще кое-какие аристократы, они не проявляли ни малейшего желания подходить к военным аэродромам, на которых или возле которых проходила его жизнь. Впрочем, если б они проявили такое странное желание, кто бы их подпустил туда?

И вот он как человек, лучшие свои годы проведший в нашей славной метрополии, и будучи человеком крайне флегматичным, с некоторым консерватизмом реакции на жизненные впечатления, решил, что с влиянием аристократии в стране давно покончено, и не придавал никакого значения своему знакомству с князем.

И тут дядя Сандро, как любимец самой жизни, указал ему на его чересчур отвлеченное понимание законов истории.

Начальник автоинспекции оказался выходцем из деревни, где княжил до революции один из дальних родственников нашего князя. Видно, хорошо княжил, потому что и такого родства оказалось достаточно. Дело быстро уладили.

Пару слов о флегматичности Кемала, потому что потом я об этом могу забыть. Конечно, он флегма, но слухи о его флегматичности сильно преувеличены. Так, сестра моя, например, рассказывает, что, когда он звонит по телефону, особенно по утрам, она по долгим мыкающим

звукам узнает, что на проводе Кемал. И она якобы говорит ему:

— Кемальчик, соберись с мыслями, а я пока сварю себе кофе.

И она якобы успевает сварить и снять с огня кофе, пока он собирается с мыслями, а иногда даже поджарить яичницу. Ну с яичницей, я думаю, преувеличение. А турецкий кофе, конечно, можно приготовить, пока он собирается с мыслями.

Он, конечно, флегма, но, если его как следует раскошегарить, он становится неплохим рассказчиком. Мне смутно мерещится, что он заговорит в этом нашем повествовании, но не скоро, а так, поближе к концу. Так что наберемся терпения. Вообще, имея дело с Кемалом, прежде всего надо набраться терпения.

...Ах, как я хорошо помню его первый послевоенный приезд в наш дом! Он приехал тогда еще стройный, бравый офицер с толстенькой веселой хохотушкой-женой и бледно-голубым грустным томиком стихов Есенина.

Я, конечно, уже знал стихи Есенина, но видеть их изданными, держать в руках этот томик?! Книжка тогда воспринималась как бледная улыбка выздоровления тяжелобольной России.

Помню непрерывный смех его жены-хохотушки и погромывание его хохота, когда я, тогдашний девятиклассник, прочитал ему собственную «Исповедь», которую я написал немедленно после чтения «Исповеди» Толстого, не только

потрясенный ею и даже не столько потрясенный ею, сколько удивленный открывшейся мне уверенностью, что у меня не меньше оснований исповедоваться.

Кемал устроился работать на одном из наших аэродромов, потом они что-то там с хохотушкой-женой не ладили и разошлись. Жена его уехала в Москву, а Кемал женился еще раз, уже окончательно. К этому времени стало ясно, что насчет томика Есенина я ошибался. То, что казалось улыбкой выздоровления, было не чем иным, как брезгливой добавкой тирана в нашу духовную баланду по случаю великой победы над Германией.

После Двадцатого съезда, когда кинулись искать абхазскую интеллигенцию и выяснилось, что она почти полностью уничтожена Берией, а национальную культуру вроде надо бы двигать, Кемала срочно вытащили с аэродрома и назначили редактором местного издательства, где он за несколько лет дослужился до главного редактора. Он был для этого достаточно начитан, имел неплохой вкус и хорошо чувствовал абхазский язык.

У него было несколько столкновений с начальствующими писателями, и я его предупредил, что это плохо кончится.

— Ограничь свою задачу, — сказал я ему, уже будучи газетным волчком, — помощью молодым талантливым писателям. Не мешай начальствующим бездарностям — иначе они тебя сожрут.

Он посмотрел на меня своими темными воловьими глазами, как на безумца, который предлагает посадить за штур-

вал самолета необученного человека только потому, что этот человек — начальник. И напрасно.

Примерно через год он написал обстоятельную рецензию на книгу одного начальствующего писателя, доказывая, что книга бездарна. Тот поначалу не очень удивился его рецензии, считая, что рукой рецензента двигает могучая противоборствующая группировка. В провинции, а может, и не только в провинции, у власти всегда две противоборствующие группировки.

И лишь через год, установив, что Кемал с противоборствующей группировкой даже незнаком, начальствующий писатель забился в падучей гнева. Однако, оправившись, он взял себя в руки и стал систематически напускать на него своих интриганов-холуев. Благодаря могучему флегматичному устроиству характера Кемала он года два отбивался и отмахивался от этих интриг, как медведь от пчел. А потом все же не выдержал и заколопал в сторону аэродрома, где, к этому времени растолстев и потеряв взлетную скорость, устроился диспетчером.

И так как он до сих пор там работает, мы вернемся к нашему сюжету, то есть к нашему походу в ресторан «Амра» (верхний ярус) после успешного династического давления князя Эмухвари на не вполне марксистскую психику начальника автоинспекции.

Может создаться впечатление, что Кемал повел всех угощать. Но это совершенно ошибочное впечатление. Кемал так устроен, что тот, который делает ему доброе дело,

считает для себя дополнительным удовольствием еще и угостить его.

Такова особенность его обаяния. В чем ее секрет? Я думаю, придется возвратиться к Пизанской башне. В отличие от этой башни, которую мы вспомнили действительно случайно, а теперь якобы случайно к ней возвращаемся, сама фигура Кемала, мощная, низкорослая, вместе с его спокойным, ровным голосом, раскатистым смехом, обнажающим два ряда крепких зубов, производит впечатление исключительной устойчивости, прочности, хорошо налаженной центровки.

Я думаю, существует болезнь века, которую еще не открыли психиатры и которую я сейчас открыл и даю ей название — комплекс Пизанской башни. Прошу зафиксировать приоритет советской науки в этом вопросе.

Современный человек чувствует неустойчивость всего, что делается вокруг него. У него такое ощущение, что все должно рухнуть и все почему-то держится. Окружающая жизнь гнетет его двойным гнетом, то есть и тем, что все должно рухнуть, и тем, что все все еще держится.

И вот человек с этим пизанским комплексом, встречаясь с Кемалом, чувствует, что в этом мире, оказывается, еще есть явления и люди, прочные, крепкие, надежные. И человека временно отпускает гнет его пизанского комплекса, и он отдыхает в тени Кемала и, естественно, старается продлить этот отдых.

Вот так мы шли в ресторан «Амра», когда у самого входа встретили тогда еще неизвестного фотографа Хачика.

Увидев князя, он раздраженно дощелкал своих клиентов и бросился обнимать его с радостью грума, после долгой разлуки встретившего своего любимого хозяина. Хачик был так мал, словно постарел, не выходя из подросткового возраста и тем самым как бы сохранив право на резвость.

И конечно, он поднялся с нами в ресторан и уже никому не давал платить, в том числе и Кемалу, если бы, конечно, ему пришлось в голову пытаться платить.

Во время застолья Хачик несколько раз подымал красноречивые тосты за своего бывшего директора и говорил, что за сорок лет у него ни до этого, ни после этого не было такого директора.

Князь Эмухвари снисходительно посмеивался. В своих дымчатых очках он был похож на итальянского актера времен неореализма, играющего роль голливудского актера, попавшего в итальянский городок, где его помнят и любят по старым картинам.

Я пытался выяснить у него, чем ему так понравился князь-директор, но Хачик, с гневным удивлением взглянув на меня, махал рукой в сторону князя и кричал:

— Хрустальная душа! Простой! Простой!

Правда, когда князь отошел, он, видимо пытаясь отвязаться от моих вопросов, сказал:

— За пять лет работы князь ни разу ни у одного фотографа деньги ни попросил! Что надо — получал! Но сам не просил! Простой! А другие директора, не успеешь вечером прий-

ти в ателье, вот так трясут: деньги! А он простой! Ни разу не попросил! Хрустальная душа!

Дядя Сандро так прокомментировал его слова:

— Человек, который все имел, а потом все потерял, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он все имеет. А человек, который был нищим, а потом разбогател, еще сорок лет чувствует себя так, как будто он нищий.

И дядя Сандро, конечно, прав. Простота есть безусловное следствие сознания внутренней полноценности. Неудивительно, что это сознание чаще, хотя и не всегда, свойственно людям аристократического происхождения. Мещанин всегда не прост, и это следствие сознания внутренней неполноценности. Если же он благодаря особой одаренности перерастает это сознание, он прост и естествен, как Чехов.

Однако вернемся к нашим застольцам. Все началось с бутылки армянского коньяка и кофе по-турецки, ну а потом, как водится, пошло. За время застолья Хачик раз десять фотографировал нас в разных ракурсах при одном неизменном условии, чтобы в центре фотографии оказывался князь. Иногда он к нам присоединял кофевара Акопа-ага.

Этот высокий старик с коричневым лицом, как бы иссушенным кофейными парами и долгими странствованиями по Ближнему Востоку, откуда он репатриировался, время от времени присаживался к нашему столу и заводил речь об армянах. Его горячий армянский патриотизм был трогателен и комичен. По его словам, получалось, что армяне ужасный народ, потому что ничего хорошего не хотят де-

лать для армян. Его горькие претензии к армянам обычно начинались с Тиграна Второго и кончались Тиграном Петросяном, по легкомыслию, с его точки зрения, проשляпившим шахматную корону. Этот вроде бы не очень грамотный старик знал историю Армении, как биографию соседей по улице.

Сейчас он присел за наш столик, рассеянно прислушиваясь к беседе, чтобы собраться с мыслями и встать в очередную паузу.

— Теперь возьмем, — начал Акоп-ага, дождавшись ее, — футбольную команду «Арарат». Теперешний тренер — настоящий гётферан (задолюб). С таким тренером армяне никогда не будут чемпионами. Папазяна взял и поставил хавбеком. Но Папазян когда был хавбеком? Папазян родился форвардом и умрет форвардом. А он его поставил хавбеком. Почему? Потому, что пришел на поле растущий Маробян. Хорошо, да, растущего Маробяна поставь на место Папазяна, но Папазяна зачем надо хавбеком? Папазяна переведи на правый край, он одинаково бьет и с правой и с левой. А правый край поставь хавбеком или скажи: «Иди домой, Ленинка!» — потому что пользы от него нету, где бы он ни стоял. Вот это неужели сам не мог догадаться? Я ему написал, но разве этот гётферан меня послушает? Даже не ответил. Вот как армяне топят друг друга.

Продолжая поварчивать на тренера, Акоп-ага собрал пустые чашки из-под выпитого кофе, поставил их на поднос и ушел за стойку.

Во время застолья речь зашла о знаменитых братьях Эмухвари, деревенских родственниках князя. Дело началось с кровной мести. Три брата Эмухвари, отчаянные ребята, около семи лет, пока их всех не убили, держали в страхе кенгурийскую милицию. Это было в конце двадцатых и начале тридцатых годов. Позже, на политических процессах тридцать седьмого года, почему-то о них вспомнили, и они посмертно проходили на этих процессах как английские шпионы.

— Но как они могли быть английскими шпионами, — сказал дядя Сандро, — когда эти деревенские князья даже не знали, где Англия?

Князь улыбнулся и кивнул головой в знак согласия. И вот в связи с этим делом братьев Эмухвари дядя Сандро рассказал свою историю.

— Вот вы думаете, — начал он, разглаживая усы, — что я абхазцев всегда защищаю, а чужих ругаю. Но это неправильно. Я, как Акоп-ага, страдаю душой за наших. И потому я говорю: и раньше, в старые времена, у абхазцев было немало дурости, из-за которой народ наш страдал, и сейчас среди абхазцев не меньше дурости, только теперь она имеет другую форму.

Раньше главная дурость была — это кровная месть. Некоторые роды полностью друг друга уничтожали из-за этого. Нет, я не против кровной мести, когда надо. Это было полезно. Почему? Потому, что человек, который против другого человека плохое задумал, знал, что тот человек, против

которого он задумал плохое, сам по себе не кончается. За него отомстят его родственники. И это многие плохие дела останавливало, потому что знали: человек сам по себе не кончается.

Но иногда даже стыдно сказать, из-за каких глупостей начиналась кровная месть. Над Чегемом в трех километрах от нашего дома жила прекрасная семья Баталба. Это было еще лет за пятьдесят до моего рождения. И семья эта дружила с родом Чичба из села Кутол. Обе семьи дружили и любили друг друга, как близкие родственники.

Каждый год, когда чичбовцы перегоняли скот на альпийские пастбища, они по дороге останавливались у своих кунаков, несколько дней там кутили, веселились, а потом дальше в горы гнали свой скот. Благодать была, такое время было.

И вот однажды остановились в доме своих кунаков, а вместе с ними был их гость. Он болел малярией, и они взяли его на альпийские луга, чтобы он там окреп и избавился от своей болезни. Тогда так было принято.

И вот они остановились у баталбовцев, тот зарезал быка, и они дня два кутили, а когда собрались в дорогу, хозяин им навьючил на осла две хорошие бычьи ляжки.

И это очень не понравилось старшему из чичбовцев, он был строгий старик. Но он ничего не сказал и уехал со своими, погнал стадо в горы. Теперь, почему не понравилось? Потому, что, по нашим обычаям (тогда соблюдали, сейчас кто вспомнит?), когда у тебя хороший гость и ты ему что-то зарезал и вы это зарезанное покушали, в дорогу нельзя давать от

того, что уже зарезали. Надо специально зарезать что-нибудь еще, чтобы дать в дорогу. Так было принято.

Баталбовцы тут, конечно, сделали ошибку. Потому что отнесли к чичбовцам как к близким людям и дали им две бычьи ляжки от быка, которого уже кушали. Но они забыли, что вместе с чичбовцами их гость, который, конечно, промолчал, но он не мог не знать, что эти две ляжки от уже зарезанного быка, которого они кушали. И чичбовцам, особенно старшему, было стыдно перед гостем за эти ляжки от быка, которого они уже кушали.

И вот они едут в горы, гонят перед собой сотни овец и коз, а старший чичбовец долго молчал, но наконец не выдержал.

— Эти баталбовцы, — сказал он, — оказывается, нас за людей не считают! Как нищим, бросили нам остатки со своего стола! Но они об этом пожалеют!

Гость, конечно, пытался его успокоить, но тот затаил обиду. И вот так у них пошло. А баталбовцы, между прочим, ничего не подозревают, потому что в те времена сплетни не было и им никто ничего не сказал. Они, бедные, думают, хорошо встретили гостей, хорошо проводили. Какое там хорошо! Но они ничего не знали: сплетни не было тогда еще среди абхазцев.

И вот опять представители этих семей встречаются на одном пиршестве. И тут молодой баталбовец опять допускает ошибку. Когда начали петь, так получилось, что лучших певцов собрали в одном месте. И этот молодой баталбовец оказался рядом с тем старым чичбовцем, который уже считал се-

бя оскорбленным, а теперь этот молодой баталбовец запел возле него. И это было ошибкой, конечно.

Молодой должен был спросить у старого чичбовца:

«Не беспокоит ли мое пение вас? Может, мне отойти подальше?»

И тогда старый ответил бы ему скорее всего:

«Ничего, сынок, пой. Лишь бы нас хуже пения ничего не беспокоило».

Так обычно говорят. Но этот молодой баталбовец ничего не сказал, потому что про старую обиду не знал, а сейчас и подвыпил и считал этого старика как своего близкого человека.

И вот каждую ошибку отдельно еще, видно, можно было перетерпеть, а две ошибки вместе взорвали старика, как атомная бомба.

— Что ты мне в ухо поешь! — оказывается, крикнул старик. — Да вы, баталбовцы, я вижу, совсем нас за людей не считаете!

С этими словами он выхватил кинжал и убил на месте этого юношу. Тут, конечно, крик, шум, женщины. Кое-как загасили, но разве такое надолго можно загасить? Через два дня старика убил отец этого юноши.

И вот так у них пошло. Разве это не дурость? В таких случаях или находятся старые, почтенные люди из обоих сел, и они собирают лучших представителей обоих родов и примиряют их. Или один из родов не выдерживает и, как рой из улья, покидает родное село и переселяется куда-нибудь подальше. Или они друг друга уничтожают.

И вот так они живут уже лет десять. Никто никого не трогает, и многие решили, что наконец, может быть, через стариков уладят между собой это дело.

И так получилось, что от баталбовцев остались четыре брата и мать. И в семье чичбовцев тоже остались четыре брата и мать. Но у чичбовцев младший брат был еще слабенький — тринадцать лет ему было. И больше ни у той, ни у другой семьи не было близких родственников. Только очень дальние.

А между прочим, выстрел был за баталбовцами. И вдруг в то лето самый яростный, самый храбрый из баталбовцев Адамыр ушел со скотом на летние пастбища, а остальные три брата остались дома. И это могло быть признаком, что баталбовцы хотят мира, мол, вот мы самого сильного нашего парня послали на альпийские луга, мы хотим мира, мы не боимся за свой дом.

Но чичбовцы поняли это по-другому. Нервы у них не выдержали. Чем ждать выстрела от наших врагов, решили они, воспользуемся тем, что Адамыр ушел на летние пастбища, убьем этих трех братьев, потом убьем Адамыра и наконец спокойно заживем.

И они так и сделали. Неожиданно напали на дом баталбовцев, убили трех братьев и угнали весь скот, который оставался дома. А один из чичбовцев, самый смелый, пошел в горы, чтобы опередить горевестника и там убить Адамыра.

Но Адамыр в это время покинул пастухов и ушел охотиться на туров. И там у ледников оставался два дня. А этот

чичбовец целый день подстерегал его, не понимая, почему его нет среди остальных пастухов. К вечеру он подошел к балаганам, где жили пастухи, и спросил у них, куда делся их товарищ.

И пастухи, конечно, почувствовали, что дело плохо, но что там внизу случилось, они не знали. Они сказали этому чичбовцу, что Адамыр ушел через перевал в гости к своему кунаку-черкесу и вернется только через неделю. Чичбовцу ничего не оставалось делать, и он ушел вниз, в Абхазию. Ничего, душает, нас четыре брата, а он теперь один.

И вот на следующий день, в полдень, приходит горевестник и рассказывает пастухам, какое страшное горе случилось внизу. И пока пастухи думали, как подготовить Адамыра, он сам показался на горе и стал спускаться к балаганам.

С туром на плечах, сам как тур, спускается к балаганам и издали кричит: мол, почему вы меня не встречаете? Радуется удачной охоте, не знает, что его ждет. И вот он уже близко от балаганов, метрах в тридцати, и пастухи медленно идут навстречу, а он кричит и не понимает, почему пастухи не бегут. Обычно в таких случаях положено помочь удачливому охотнику. Но они не подбегают.

И вдруг он видит среди них чегемца и чувствует, что пастухи ему не радуются. И он останавливается метрах в десяти от них и смотрит на человека, поднявшегося из Чегема, и чувствует страшное, и боится этого. Наконец сбрасывает с плеч тура и спрашивает:

— Что дома?

И горевестник рассказывает ему об этом ужасе, и пастухи говорят, что один из чичбовцев приходил и спрашивал его.

— Передай, — сказал Адамыр горевестнику, — что через два дня, отомстив за братьев, приду их оплакать. А если не приду, значит, и меня вместе с ними оплачьте!

И не сходя с места зарядил свое ружье, повернулся, перешагнув через убитого тура и пошел вниз. Трехдневный путь прошел за одни сутки, догнал того чичбовца, который приходил за ним. Убил его, взвалил на плечи, как тура, и, пройдя еще километров десять до ближайшего дома, крикнул хозяина, чтобы он сохранил труп от осквернения до прихода родственников, и, положив его у ворот, пошел дальше.

Уже к рассвету он подошел к дому чичбовцев, поджег коровник, и, когда коровы стали мычать, пытаясь выбежать из огня, братья выскочили из дому. Двух старших Адамыр убил, а младшего, совсем еще мальчика, не стал убивать, а связал ему руки и сказал матери:

— Твои сыновья уничтожили моих братьев. Я последнего твоего сына не буду убивать, но он всю жизнь будет моим рабом. Властям пожалуетесь — на месте убью, а потом что хотят пусть делают.

Итак, он, отомстив за своих братьев, пригнал бедного мальчика к гробам своих братьев и оплакал их, держа одной рукой веревку, к которой был привязан мальчик. И он дал слово братьям до смерти держать рабом последнего чичбовца. Мальчика звали Хазарат.

И люди дивились этому случаю. Некоторые хвалили Адамыра, что он не убил мальчика, некоторые сердились, что он хочет сделать из него раба, а некоторые говорили, что это он сгоряча так решил, а потом остынет и отпустит мальчика.

Но он его не отпустил и около двадцати лет держал в сарае на цепи, как раба. Нашим чегемским старикам это очень не понравилось, но они ничего не могли с ним поделать. Такой он был яростный, одичавший человек. Если бы он жил в самом Чегеме, они бы его, конечно, изгнали из села, но он жил в стороне и никому не подчинялся. Они только ему передали, чтобы он не появлялся в Чегеме.

А власти в те времена вообще на это мало внимания обращали. Если в долинном селе кровник убивал врага и не уходил в лес, его арестовывали. Если уходил в лес, его даже и не искали. Но если кто-то убивал полицейского и писаря, они во что бы то ни стало старались найти убийцу и наказать его. А тут еще бедная мать Хазарата боялась, что он убьет его, и никому не жаловалась.

Адамыр так и не женился, потому что абхазцы стыдились отдавать за него своих дочерей, хотя он несколько раз сватался.

«А как отдашь за него дочь, — рассуждали они, — приедешь в гости к дочери, а там раб. А зачем мне это?»

И так они жили много лет, а потом умерла мать Адамыра, и они остались вдвоем — Адамыр и его раб Хазарат.

Несколько раз в году бедная мать Хазарата посещала своего сына, приносила ему хачапури, жареных кур, вино. Все

это Адамыр ей разрешал. Еще он ей разрешал один раз в году стричь ему волосы и бороду и три раза в году разрешал ей купать его. И так, бывало, мать приедет к сыну, дня два посидит возле него, поплачет и уедет.

И вот, когда мне исполнилось восемнадцать лет, я решил освободить Хазарата. Вообще, когда человек молодой, ему всегда хочется освободить раба. Несмотря на молодость, я был уже тогда очень хитрый. Но как освободить? Адамыр больше чем на один день никуда не уезжал. А когда уезжал, собаки никого близко к дому не подпускали.

И вот я потихоньку от домашних сошелся с Адамыром. Если б отец узнал об этом, он бы меня выгнал из дому. Он Адамыра вообще за человека не считал. Наши абхазцы знали, что есть рабство, и иногда турки нападали и уводили людей в рабство, но чтобы абхазец сам у себя держал раба, этого не знали.

И вот я постепенно сошелся с Адамыром, делая вид, что интересуюсь охотой, а про раба не спрашивал. Охотник он был редкий, что такое усталость и страх, не понимал.

И вот уже мы с ним несколько раз были на охоте, уже собаки ко мне привыкли, и он тоже привык, потому что хотя и свирепый человек, но скучно все время одному.

И однажды перед охотой он мне говорит:

— Я покормлю собак, а ты покорми моего раба.

— Хорошо, — говорю, как будто не интересуюсь Хазаратом.

И он мне дает котел молока и полбуханки чурека.

— А ложку, — говорю, — не надо?

— Какую ложку, — кричит, — слей ему в корыто и брось чурек!

И вот я наконец вхожу в этот сарай. Вижу, в углу на кукурузной соломе сидит человек, одетый в лохмотья, с бородой до пояса, и глаза сверкают, как два угля. Страшно. Рядом с ним вижу длинное корыто, а с этой стороны под корыто камень подложен. Значит, наклонено в его сторону. Из этого я понял, что Адамыр тоже к нему слишком близко не подходит. Я уже слышал, что Хазарат однажды, когда Адамыр слишком близко к нему подошел, напал на него, но Адамыр успел вытащить нож и ударить. Рана на Хазарате зажила быстро, как на собаке, но с тех пор Адамыр стал осторожнее. Об этом он сам людям рассказывал.

Я сливаю Хазарату молоко в корыто и говорю ему:

— Лови чурек!

Я так говорю ему, потому что неприятно человеку на землю хлеб бросать, а подойти, конечно, боюсь.

Бросаю. Он — хап! Поймал на лету, и тут я услышал, как загремела цепь. К ноге его была привязана толстая цепь.

Он начал кушать чурек и иногда, наклоняясь к корыту, хлебать молоко. Это было ужасно видеть, и я окончательно решил его освободить. Особенно ужасно было видеть, как он хлебает молоко, жует чурек и иногда смотрит на меня горящими глазами, а стыда никакого не чувствует, что при мне все это происходит. Привык. Человек ко всему привыкает.

И так все это длится несколько месяцев, я все присматриваюсь, чтобы устроить побег Хазарата. И боюсь, чтобы Адамыр про это не узнал, и боюсь, чтобы мои домашние не узнали, что я хожу к Адамыру.

И теперь уже Адамыр ко мне привык и каждый раз перед охотой говорит:

— Я покормлю собак, а ты покорми моего раба.

И я его кормлю. Он ему кушать давал то же самое, что сам ел. Только в ужасном виде. Молоко и мацони сливал в корыто, а если резал четвероногого — бросал ему кусок сырого мяса. Возле него лежало несколько кусков каменной соли, какую скоту дают у нас.

Сейчас, как я слышал, некоторые дураки из образованных кушают мясо в сыром виде. Думают, полезно. Но люди тысячелетиями варили и жарили мясо, неужели они бы не догадались кушать его в сыром виде, если б это было полезно?

Теперь, что делал Хазарат? Он делал только два дела. Он молот кукурузу, руками крутил жернова. Они рядом с ним стояли. От этого у него были могучие руки. И еще он плел корзины. Прутья ему сам Адамыр приносил. Эти корзины Адамыр продавал в Анастасовке грекам, потому что чегемцы у него ничего не брали.

За несколько месяцев Хазарат ко мне привык, и, хотя глаза у него всегда сверкали, как угли, я знал, что он меня не тронет, и близко к нему подходил. Он с ума не сошел и разговаривал, как человек.

И однажды я встретил его бедную мать и тогда еще больше захотел его освободить. Она постелила полотенце на кукурузной соломе, положила на нее курятину, хачапури, поставила бутылку с вином и два стакана.

Мы с ним ели вместе, хотя мне, честно скажу, было это неприятно. А как может быть приятно кушать, когда рядом яма, где он справлял свои телесные дела? Правда, рядом с ямой деревянная лопаточка, которой он все там засыпает. Но все же неприятно. Но я ради его матери сел с ним кушать. А бедная его мать, пока я рядом с ним сидел, все время гладила меня по спине и сладким голосом приговаривала:

— Приходи почаще, сынок, к моему Хазарату, раз уж мы попали в такую беду. Ему же, бедняжке, скучно здесь... Приходи почаще, сынок...

А в это время Адамыр в другом конце сарая стругал ручку для мотыги. Оказывается, он услышал ее слова.

— А мне тоже скучно без моих братьев, — сказал он, не глядя на нас и продолжая ножом стругать ручку для мотыги.

— Эх, судьба, — вздохнула старушка, услышав Адамыра. И я вдруг почувствовал, что мне всех жалко. В молодости это бывает. И Хазарата жалко, и Адамыра жалко, и больше всех жалко эту старушку.

Особенно мне ее жалко стало, когда я увидел в тот день, что она стирает и латает белье Адамыру. Она ему старалась угодить, чтобы он смягчился к ее сыну. Но он уже не мог ни в чем измениться.

Однажды на охоте Адамыр мне сказал:

— Некоторые думают, что я держу раба для радости. Но раба держать нелегко, и радости от него нет. Иногда ночью просыпаюсь от страха, что он сбежал, хотя умом знаю, что он сбежать не мог. За одну ночь о жернов нельзя перетереть цепь. Я уже проверил. А днем я всегда замечу, если он ночью цепь перетирал. Да если и перетрет, куда убежит? Сарай заперт. А если выйдет из сарая, собаки разорвут. И все-таки не выдерживаю. Беру свечу, открываю дверь в сарае и смотрю. Спит. И сколько раз я его ни проверял, никогда не просыпается. Так крепко спит. А я просыпаюсь каждую ночь. Так кому хуже — мне или ему?

— Тогда отпусти его, — говорю, — и тебе полегчает.

— Нет, — говорит, — перед гробом братьев я дал слово. Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву.

И вот, значит, я приглядываюсь, присматриваюсь, как освободить Хазарата. Сарай, в котором он привязан, из каштана. На дверях большой замок, а ключ всегда в кармане у Адамыра. Но он изредка уезжал на день или на ночь. И я так решил: сделаю подкоп, напильником перепилю цепь, выведу его, чтобы собаки не разорвали, и отпущу на волю. А потом, когда Адамыр вернется, если будет бушевать, я ему подскажу, что, наверное, мать Хазарата принесла ему напильник в хачапури, а подкоп он сам устроил своей деревянной лопаткой и от собак как-то отбил. Я, конечно, знал, что он мать Хазарата не тронет.

Вот так я решил, и однажды Адамыр мне сам на охоте говорит:

— Слушай, Сандро, приди ко мне завтра вечером и покорми собак. Мне надо завтра ехать в Атары, я приеду послезавтра утром.

— Хорошо, — говорю.

И вот на следующий день еле дождался вечера. Наши все поужинали и легли спать. Тогда я тихонько встал, взял из кухни фонарь, напильник и пошел к дому Адамыра.

Иду, а самому страшно. Боюсь Адамыра. Боюсь — может быть, он что-то заподозрил о моих планах, притаился где-то и ждет. И я решил, до того как начинать подкоп, обшарить его дом. А если он дома и спросит, что я так поздно пришел, скажу: вспомнил, что собаки не кормлены.

Собаки, за полкилометра почуяв человека, с лаем выскочили навстречу, но, узнав меня, перестали лаять. Я вошел во двор Адамыра, огляделся как следует, потом зашел на кухню, оттуда в кладовку, потом обшарил все комнаты, но его в доме не было.

Тогда я прошел на скотный двор и увидел, что там лежат его три коровы. Вошел в коровник, повыше поднял фонарь и увидел, что там пусто. Тогда я вернулся в кухню, достал чурек, которым собирался кормить собак, но не стал их кормить, а набил кусками чурека оба кармана. Я это сделал для того, чтобы передать чурек Хазарату. Чтобы, когда мы выйдем из сарая и собаки начнут нападать, он им кидал чурек и этим немного собак успокаивал.

Потом я снова вошел в кладовку, снял со стены корзину, которой собирают виноград, вышел на веранду с корзиной и фонарем и, подняв лопату Адамыра, пошел к сараю, где сидел Хазарат.

Теперь, для чего корзина? Виноградная корзина, она узкая и длинная, для того, чтобы потом, когда прокопаю ход, всю землю перетащить в сарай.

Если землю не перетащить в сарай, Адамыр догадается, что Хазарату кто-то помогал снаружи. И через это он может меня убить.

Ставлю фонарь на землю и начинаю копать точно в том месте, где была привязана цепь с той стороны сарая. Копаю, копаю и удивляюсь, что Хазарат не просыпается. В самом деле, думаю, крепко спит. Наконец все же проснулся.

— Кто ты? — спрашивает, и слышу, как зашевелился в кукурузной соломе.

— Это я, Сандро, — говорю.

— Что надо?

— Прокопаю, — говорю, — тогда узнаешь.

И вот через час я раздвинул рукой кукурузную солому, осторожно поставил фонарь и сам вылез в сарай. Хазарат сидит, и глаза, вижу, горят, как у совы.

— Вот, — говорю, — напильник. Мы перепилим цепь, и ты уйдешь на волю.

— Нет, — мотает головой, — Адамыр со своими собаками меня все равно выследит.

— Не выследит, — говорю, — ты за ночь уйдешь в другое село, а там он и след потеряет.

— Нет, — говорит, — я отвык ходить. Далеко не смогу уйти. А близко он со своими собаками меня все равно поймает.

— Не поймает, — говорю, — а если ты боишься идти один, я пойду с тобой до Джгерды и спрячу тебя там у одних наших родственников. Потом я вернусь к себе домой, а ты пойдешь, куда захочешь.

— Нет, — говорит, — я так не хочу.

— Тогда что делать? — говорю.

Он думает, думает, а глаза горят — страшно.

— Если хочешь мне помочь, — наконец говорит он, — принеси метра в два цепь. Мы привяжем ее к этой цепи, и больше мне ничего не надо.

— Зачем, — говорю, — тебе это?

— Я немного буду ходить по ночам и привыкну. А потом ты мне поможешь убежать.

— Но ведь он проверяет свою цепь, — говорю, — он сам мне рассказывал.

— Нет, — говорит, — первые пятнадцать лет проверял, а теперь уже не проверяет.

Сколько я его ни уговаривал бежать сейчас — не согласился. И тогда я решил сделать, что он просит.

— Топор, — говорит, — принеси, чтобы сдвинуть кольца.

И вот я среди ночи почти бегу домой, залезаю в наш сарай, достаю из старой давилки, где лежит всякий хлам, цепь, примерно такую, как он просил. Возвращаюсь назад,

беру топор Адамыра на кухонной веранде и вползаю в сарай. Пока я ходил, он перепилил напильником свою цепь и пропилил дырки в кольцах с обеих сторон. Я даже удивился, как он быстро все успел. У него были могучие руки от ручной мельницы.

Он взял мою цепь, вставил ее с обеих сторон в кольца, а потом, поставив эти кольца на жернов, обухом топора сдвинул их концы, чтобы ничего не видно было.

— Больше, — говорит, — ничего не надо. Иди! Когда ноги мои окрепнут, я тебе дам знать.

— Может, — говорю, — оставить тебе напильник?

— Нет, — говорит, — больше ничего не надо! Все! Все! Иди! Только с той стороны как следует землю затопчи, чтобы хозяин ничего не заметил.

И вот я, взяв топор и фонарь, осторожно вылезая наверх. И потом быстро, быстро заваливаю землю в дыру, а потом как следует затаптываю ее, чтобы ничего не было заметно. Собаки крутятся возле меня, но, думаю, слава Богу, собаки говорить не умеют. И тут я вспомнил, что у меня в карманах чурек, и разбрасываю его собакам.

В последний раз с фонарем как следует осмотрев место, где копал, понял, что ничего не заметно, стряхнул с лопаты всю землю и отнес ее вместе с топором и корзиной назад. Все положил туда, где лежало, и так, как лежало. Потушил фонарь и бегом домой. Дома тоже, слава Богу, никто ничего не заметил.

И вот проходит время, а я пока сам побаиваюсь идти к Адамыру. Прошло дней пятнадцать—двадцать. Однажды

брат Махаз, он в тот день с козами проходил недалеко от усадьбы Адамыра, говорит:

— Сегодня весь день выли собаки Адамыра.

— Это и раньше бывало, — говорят наши, — он иногда уходит на охоту с одной собакой, а другие скучают.

И так об этом забыли. А через неделю слышим, женщина кричит откуда-то сверху, и крик этот приближается к нашему дому. Все, кто был дома, вышли, но никто ничего не мог понять.

Крик женщины означает горе. Но он идет прямо с горы над верхнечегемской дорогой, а там никто не живет. Мы с отцом и двумя братьями, Кязымом и Махазом, быстро поднимаемся навстречу голосу женщины. Минут через пятнадцать встречаем мать Хазарата. Щеки разодраны, идет без дороги, по колючкам, ничего не видит. Смотрит на нас, но ничего не может сказать, только руками показывает в сторону дома Адамыра.

Мы бежим туда, я не знаю, что думать, но все-таки поглядываю на Кязыма, потому что он прихватил с собой винтовку. Вбегаем во двор, а собак почему-то не видно и не слышно.

Я первым открыл сарай. Дверь была просто прикрыта. И вот что мы видим. Мертвый Адамыр лежит на спине, и лицо у него ужасное от страдания, которое он испытал перед смертью. Вся шея в синих пятнах, и голова, как у мертвой курицы, повернута.

А Хазарат лежит на кукурузной соломе, руки сложил на груди, а лицо спокойное-спокойное, как у святого. Он был до

того худой, что отец сдернул цепь с его ноги, она уже не держалась. И тогда я вдруг вспомнил слова Адамыра: «Только смерть снимет с него цепь, а с меня данную братьям клятву».

Так и получилось, как он говорил.

— Видно, — сказал мой отец, — Адамыр забылся и слишком близко подошел к Хазарату. А тот кинулся на него и задушил. А потом сам умер от голода, потому что некому было дать ему поесть.

Только я один знал, почему это случилось. Но, конечно, никому ничего не сказал. Между прочим, отец мой, царство ему небесное, был настоящий хозяин. Таких сейчас нет вообще. Несмотря на этот ужас, который мы увидели, он узнал свою цепь! Вижу, вдруг приподнял одной рукой и смотрит, смотрит на свет — там было узкое окно без стекла, — ничего не может понять. Он хочет повыше поднять цепь, чтобы разглядеть как следует, а цепь привязана, не идет. А он сердится, и мне смешно, хотя страшное рядом. Потом отбросил и пожал плечами.

И тут неожиданно снаружи раздались выстрелы.

Выбегаем и видим: Кязым стоит возле скотного двора и стреляет в собак Адамыра. Одну за другой убил шесть собак. Оказывается, собаки, одурев от голода, напали в загоне на собственную корову, разодрали ее и съели. А потом убили еще двух коров, хотя уже скушать их не могли. Вот как одна дикость дает другую дикость, а эта дикость дает третью дикость.

Бедную мать Хазарата сопровождали в ее село вместе с телом сына. Несчастливого Адамыра тоже предали земле рядом

с его братьями, и на этом кончился его род, заглох окончательно когда-то большой, хлебосольный дом. А потом и дом вместе с сараем постепенно растащили какие-то люди, скорее всего эндурцы.

И вот с тех пор я много думал про Хазарата. Я думал: почему он в ту ночь не ушел со мной? И я понял, в чем дело. Он боялся, что если уйдет, то не сумеет отомстить. А меня обманул, что разучился ходить. Он ходить мог, но, зная, что Адамыр всегда вооруженный и собаки могут пойти по следу, не хотел рисковать.

Он хотел удлинить цепь и неожиданно прыгнуть на Адамыра и задушить его своими могучими руками, а больше он ни о чем не думал. Он не думал, что умрет с голоду, не думал, что сам освободиться не сможет, он только думал об одном — отомстить за свое унижение. И тогда я понял: раб не хочет свободы, как думают люди, раб хочет одно — отомстить, затоптать того, кто его топтал. Вот так, дорогие мои, раб хочет только отомстить, а некоторые глупые люди думают, что он хочет свободу, и через эту ошибку многое получалось, — закончил дядя Сандро свою сентенцию и с далеко идущим намеком разгладил усы.

Кемал расхохотался, а князь многозначительно кивнул головой в мою сторону, дескать, учишься мудрости у дяди Сандро.

— А то, что этих бедных князей Эмухвари обвинили как английских шпионов, — добавил дядя Сандро, — это просто глупость. Они даже не знали, что есть такая страна Англия.

А я был в Англии в тридцатых годах вместе с ансамблем Панцулая. Нас возили по стране, и я заметил, что Англия неплохая страна. Прекрасные пастбища я там заметил, но овец почему-то не было. Но для коз Англия не годится. Коза любит заросли колючек, кустарники любит, а овца любит чистые пастбища. Не пойму, почему они овец не разводят.

— Разводят, — сказал я, чтобы успокоить дядю Сандро.

— А-а-а, — кивнул дядя Сандро удовлетворенно, — значит, послушались меня. Лет двадцать тому назад сюда приезжал английский писатель по имени Пристли. Ты слышал про такого?

— Да, — сказал я.

— Читал?

— Да, — сказал я.

— Ну как?

— Да так, дядя Сандро, — сказал я, — ничего особенного.

Дядя Сандро засмеялся не совсем приятным для меня смехом.

— Я уже заметил, — сказал дядя Сандро, — вот эти пишущие люди интересно устроены, никогда про другого ничего хорошего не скажут. А вот я, когда танцевал в ансамбле, всегда признавал, что Пата Патарая первый танцор, хотя на самом деле я уже лучше него танцевал... Но дело не в том. Этому Пристли тогда у нас прекрасную встречу устроили. Показали ему лучший санаторий, показали ему самого бодрого долгожителя, самый богатый колхоз и меня, конечно, с ним познакомили. Я был тамадой за столом. И он сидел рядом со

мной, вернее, между нами сидела переводчица. И мы с ним разговорились. Я ему тогда сказал, что был в Англии и видел там хорошие пастбища, но овец не видел. И я ему подсказал, чтобы английские фермеры овец разводили.

— А он что? — спросил я.

— А он, — отвечал дядя Сандро, — сказал: хорошо, я им передам. Значит, выходит, передал. И еще он вот что сказал. Фермерам, говорит, я передам про овец. Но у нас в парламенте и так слишком много овец сидит. Значит, критикует свое правительство. Тогда я понял, почему его так хорошо у нас встречают. А теперь я у тебя спрашиваю: ты, находясь в чужой стране, хотя бы про обком можешь сказать, что там козы сидят? При этом учти, что козы умнее овец.

— Нет, — сказал я.

— Э-э-э, — сказал дядя Сандро.

Князь улыбнулся, а Кемал расхохотался. Хачик отскочил от стола и с колена запечатлел эту картину.

Мы выпили по рюмке. Акоп-ага принес свежий кофе, и, когда снял чашечки с подноса и приподнял его, поднос сверкнул на солнце, как щит. Акоп-ага присел за стол и, поставив поднос на колени, придерживал его руками и время от времени, постукивая по нему ногтем, прислушивался к тихому звону.

Кемал обычно посещал другие злачные места и поэтому плохо знал Акопа-ага. Мне захотелось, чтобы он послушал ставшую уже классической в местных кругах его новеллу о Тигранкерте.

— Акоп-ага, — сказал я, — я долго думал, почему Тигран Второй, построив великий город Тигранкерт, дал его сжечь и разграбить варварам? Неужели он его не мог защитить?

И пока я у него спрашивал, Акоп-ага горестно кивал головой, давая знать, что такой вопрос не может не возникнуть в любой мало-мальски здоровой голове.

— О, Тигранкерт, — вздохнул Акоп-ага, — все пиль и пепель... Это бил самый красивый город Востокам. И там били фонтаны большие, как деревья. И там били деревьям, на ветках которых сидела персидская птица под именем павлинка. И там по улицам ходили оленям, которые, видя мужчин, вот так опускали глаза, как настоящие армянские девушкам. А зачем? Все пиль и пепель.

Может, Тигранкерт бил лучи, чем Рим и Вавилон, но мы теперь не узнаем, потому что фотокарточкам тогда не было. Это случилось в шестьдесят девятом году до нашей эры, и, если б Хачик тогда жил, он бил би безработным или носильщиком... Фотографиям тогда вобче не знали, что такой.

Но разве дело в Хачике? Нет, дело в Тигране Втором. Когда этот римский гётферан Лукулл окружил Тигранкерт, Тигран взял почти все войска и ушел из города. Тигранджан, зачем?!

Это бил великая ошибка великого царя. Тигранкерт имел крепкие стен, Тигранкерт имел прекрасная вода, такой соусу, что стакан залпом никто не мог выпить, и Тигранкерт имел запас продуктам на три года и три месяца! А зачем? Все пиль и пепель!

Тигран-джан, ты мог защитить великий город, но надо было сначала вигнать всех гётферанов-греков, потому что они оказались предателями. Зачем грекам армяне? И они ночью по-шайтански открыли воротам, и римские солдаты все сожгли, и от города остался один пиль и пепель.

А пока они окружали его, что сделал Тигран? Это даже стыдно сказать, что он сделал. Он послал отряд, который прорвался в город, но вивиз что? Армянский народ, да? Нет! Армянских женщин и детей? Да? Нет! Вивиз свой гарем, своих пилядей, вот что вивиз! Это даже стыдно для великого царя!

О Тигран, зачем ты построил Тигранкерт, а если построил, зачем дал его на сжигание римским гётферанам?! Все пиль и пепель!

Пока он излагал нам историю Тигранкерта, к нему подошел клиент и хотел попросить кофе, но Хачик движением руки остановил его, и тот, удивленно прислушиваясь, замер за спиной Акопа-ага.

— Сейчас проси! — сказал Хачик, когда Акоп-ага замолк, скорбно глядя в непомерную даль, где мирно расцветал великий Тигранкерт с фонтанами большими, как деревья, с оленями, застенчивыми, как девушки, и с греками, затаившимися внутри города, как внутри троянского коня.

— Два кофе можно? — спросил человек, теперь уже не очень уверенный, что обращается по адресу.

— Можно, — сказал Акоп-ага, вставая и кладя на поднос пустые чашки, — теперь все можно.

Немного поговорив о забавных чудачествах Акопа-ага, мы вернулись к рассказу дяди Сандро о Хазарате. Версия дяди Сандро о причине, по которой Хазарат отказался уходить с ним, была оспорена Кемалом.

— Я думаю, — сказал Кемал, отхлебывая кофе и поглядывая на дядю Сандро своими темными глазами, — твой Хазарат за двадцать лет настолько привык к своему сараю, что просто боялся открытого пространства, хотя, конечно, и мечтал отомстить Адамыру. Вообще природа страха бывает удивительна и необъяснима.

Помню, в конце войны наш аэродром базировался в Восточной Пруссии. Однажды я со своим другом Алешей Старостиным пошел прогуляться подальше от нашего поселка. Мы с ним всю войну дружили. Это был великолепный летчик и прекрасный товарищ. Мы с ним на книгах сошлись. Мы были самые читающие летчики в полку, хотя, конечно, и выпить любили, и девушек не пропускали. Но сошлись мы на книгах, а в ту осень увлекались стихами Есенина, и у нас у обоих блокноты были исписаны его стихами.

И вот, значит, погода прекрасная, мы гуляем и проходим через какие-то немецкие хуторки. Дома красивые, но людей нет, почти все сбежали. На одном хуторке мы остановились возле такого аккуратненького двухэтажного домика, потому что возле него росла рябина, вся в красных кистях.

И вот, как сейчас вижу его, Алеша с хрустом нагибает эту рябинку — не выдержала его русская душа, — и сам он весь

хрустящий от ремней и молодости, такой он перед моими глазами, обламывает две ветки и отпускает деревцо.

Одну ветку протягивает мне, и мы стоим с этими ветками, поклевываем рябину и рассуждаем о том, где же располагались батраки, если кругом помещичьи дома.

И вдруг открывается дверь в этом доме, и оттуда выходит старик и зовет нас:

— Русс, заходить, русс, заходить!

Вообще-то нас предупреждали, чтобы мы насчет партизан были начеку, но мы ни хрена не верили в немецких партизан. Да и откуда взяться партизанам в стране, где каждое дерево ухожено, как невеста?

— Пошли?

— Пошли.

И вот вводит нас старик в этот дом, мы поднимаемся наверх и входим в комнату. Смотрю, в комнате две женщины — одна совсем девушка, лет восемнадцати, а другая явно юнгфрау лет двадцати пяти. Я сразу глаз положил на ту, которая постарше, она мне понравилась. Но для порядка говорю своему дружку, я же его знаю как облупленного:

— Выбирай, какая тебе нравится?

— Молоденькая, чур, моя! — говорит.

— Идет!

Вижу, и они обрадовались нам, оживились.

— Кофе, кофе, — говорит юнгфрау.

— Я, я, — говорю.

По-немецки значит: да.

И вот она нам приготовила кофе, надо сказать, кофе был хреновейший, вроде из дубовых опилок сделанный. Но что нам кофе? Молодые, очаровательные девушки — вижу, на все готовы. И старик, конечно, не против. Они боялись наших и заручиться дружбой двух офицеров значило обезопасить себя от всех остальных.

Одним словом, посидели так, и я говорю:

— Абенд. Консервы. Шнапс. Брод. Шоколад.

— О! — загорелись глаза у обеих. — Данке, данке.

Они, конечно, поголаживали. И вот мы вечером приходим, приносим с собой спирт, консервы, колбасу, хлеб, шоколад. Сидим ужинаем, пьем. А старик, оказывается, в первую мировую войну был у нас в плену и немного говорит по-русски. Но лучше бы он совсем не говорил. Путается, хочет все объяснить, а на хрена нам его объяснения? И все доказывает, что он антифашист. Они теперь все антифашистами сделались, так что непонятно, с кем мы воевали столько времени.

То ли дело эти молодые немочки, все с полуслова понимают... Мы с Алешей выпили как следует, наши барышни тоже подвыпили, и мы пошли танцевать под патефон. На каждой пластинке написано «Нур фюр дойч» — значит, только для немцев. И я, когда ставлю пластинку, нарочно спрашиваю:

— Нур фюр дойч?

— Найн! Найн! — смеются обе.

Ну, раз найн — пошли танцевать. Наконец старик опьянел и уже стал молотить такую окоlesiцу, что его и племянницы перестали понимать. Он был их дядей. А нам он еще раньше на-

доел. Так что мы обрадовались, когда моя юнгфрау повела его вниз укладывать спать.

Теперь мы одни. Попиваем, танцуем, одним словом, кей-фуем. Ну я так слегка прижимаю мою немочку и спрашиваю:

— Нур фюр дойч?

— Шельма, шельма, — смеется она, — русиш шельма!

— Найн, — говорю, — кавказиш шельма.

— О, шёнсте Кауказ! — говорит.

Мы с Алешей остались на ночь в двух верхних комнатах. Так начался наш роман, который длился около двух месяцев, с перерывами, конечно, на боевые вылеты. Пару раз ребята из аэродромной службы сунулись было к ним, но, быстро оценив обстановку, ретировались. Свои ребята, сразу все усекли.

И вот мы приходим однажды к нашим девушкам. Мою звали Катрин, я ее Катей называл, а молоденькую звали Гретой.

Тут дядя Сандро перебил Кемала.

— Ты совсем русским стал, — сказал он, — зачем ты называешь имя своей женщины при мне?

— А что? — спросил Кемал.

— Вот до чего ты глупый, — сказал дядя Сандро, — ты же знаешь, что это имя моей жены. Надо было тебе изменить его, раз уж ты решил рассказывать при мне.

— Ну ладно, — захохотал Кемал, — я ее больше не буду называть.

— Дурачок, — сказал дядя Сандро, — раз уж назвал, теперь некуда деться, рассказывай дальше.

— Так вот, — продолжал Кемал, поглядывая на дядю Сандро все еще смеющимися глазами, — однажды мы, как обычно, заночевали у наших подружек. Часа в три ночи просыпаюсь и выхожу из дома по нужде.

Вдруг слышу, подкатывает мотоцикл, останавливается, и двое, я их различаю по шагам, подымаются в дом.

Вот, черт, думаю, попались, как идиоты! У меня пистолет под подушкой, а сам я стою за домом в трусах, майке и тапках. Трудно представить более глупую ситуацию. Да еще слегка под балдой. На ночь спирту тяпнули, конечно. Вот, думаю, смеялись про себя, когда нам говорили про бдительность и партизан, и на тебе! Напоролись! Неужели наши подружки оказались предательницами? Нет, не могу поверить! И мне нравится моя... как там ее ни называй...

— Называй, называй, чего уж прятаться! — вставил дядя Сандро.

— Да, — продолжал Кемал, — и мне нравится моя Катя, и я, чувствую, ей нравлюсь, а эти вообще без ума друг от друга. Значит, нас этот антифашист предал? И товарища бросить не могу, и буквально голым — ха-ха! — не хочется попадаться немцам в руки.

Ну ладно, думаю, была не была! Высунул на улицу. Никого. Стоит немецкий мотоцикл с коляской. Подошел к двери, слышу раздаются голоса, но ничего понять невозможно.

Единственно, что я понял, — голоса доносятся с той стороны, где спит мой товарищ. И я решил подняться и про-

скочить в свою комнату, пока они у Алексея. Главное — добраться до пистолета. Но, конечно, я понимал: если нас девушки предали — нам хана, потому что в этом случае моя первым делом должна была отдать им пистолет. Но делать нечего, тихо открываю дверь и быстро поднимаюсь по лестнице.

И вдруг слышу: из комнаты Алексея доносится русская речь! Сразу отпустило! Стою на лестнице и с удовольствием слушаю русскую речь, не понимая, о чем там говорят. И только примерно через полминуты очухался, начинаю улавливать интонацию. Слышу, очень резкий голос доносится. Ага, думаю, патруль. Ну, нас патрулями не испугаешь. Вхожу в комнату. Моя Катя, вижу, бледная, в ночной рубашке стоит посреди комнаты и тихо говорит:

— Русиш командирен, русиш командирен...

Тогда я открываю дверь и сильным голосом кричу через лестничную площадку:

— Что там случилось, Алексей?

— Да вы тут не один! — слышу голос, и потом распахивается дверь, и на площадке появляется какой-то майор, а за ним солдат.

— Безобразие! — говорит майор и оборачивается к Алексею, а тот уже одетый стоит в комнате. — Почему вы не сказали, что вы здесь не один?

Бедняга что-то залепетал. Видно, он решил хотя бы прикрыть меня, если уж сам попался.

— Потрудитесь одеться! — приказал майор.

А я вижу, этот майор — штабная крыса. Мы, фронтовики, с одного взгляда узнавали человека, который живого боя не видел, хоть увешай его орденами до пупа.

И я вижу, мой Алексей, храбрейший летун, четырежды раненный, дважды посадивший горящий самолет, дрожит перед этим дерьмом.

Вы ведь знаете, меня из себя трудно вывести, но тут я психанул.

— Товарищ майор, — говорю стальным голосом, — прошу вас немедленно покинуть помещение!

Вижу, растерялся, но форс держит. Оглядывается на Алексея, понимает, что он старший лейтенант, а по моему виду ни хрена не поймешь.

— Ваше звание? — спрашивает.

Я поворачиваюсь, подхожу к кровати, вытаскиваю из-под подушки пистолет и снова к дверям.

— Вот мое звание! — говорю.

— Вы бросьте эти замашки, — отвечает он, — сейчас не сорок первый год!

— Конечно, — говорю, — благодаря вашей штабной заднице сейчас не сорок первый год!

— Я вынужден буду доложить обо всем в вашу часть, — говорит и спускается вниз по лестнице. Солдат за ним.

— Докладывайте, — говорю, — а что вы еще умеете!

Они вышли. Мы молчим. Мотоцикл затарахтел и затих.

— Ты, — говорит Алексей, — с ним очень грубо обошелся. Теперь нас затаскают.

— Не бойся, — говорю, — нас с тобой достаточно хорошо знает наше начальство. Подумаешь, у немочек ночевали...

— Но ты же угрожал ему пистолетом, — говорит он, — ты понимаешь, куда он это может повернуть?

— А мы скажем, что он врет, — отвечаю я, — скажем, что он сам хотел остаться с бабами и от этого весь сыр-бор. Чего это он в три часа ночи шныряет на мотоцикле?

— Конечно, — говорит Алексей, — теперь надо так держаться. Но ты напрасно нахальничал с ним.

Я-то понимаю, что ему теперь неловко перед своей Греточкой. Слов, конечно, они не понимали, но все ясно было и без слов: я выгнал майора, который заставил его одеться.

И я, чтобы смягчить обстановку, разливаю спирт, и мы садимся за стол. Сестрицы расшебетались, а Греточка поглядывает на меня блестящими глазами, и темная прядка то и дело падает на лоб. Хороша была чертовка!

Одним словом, выпили немного и разошлись по комнатам.

— Майор гестапо? — спрашивает у меня Катя.

— Найн, найн, — говорю.

Этого еще не хватало. Но вижу — не верит.

Через день у нас боевой вылет. Я благополучно приземлился, поужинал в столовке со своим экипажем, а потом подхожу к Алексею, он почему-то сидит один, и говорю:

— Отдохнем и со свежими силами завтра к нашим девочкам.

Вижу, замялся.

— Знаешь, Кемал, — говорит, — надо кончать с этим.

— Почему кончать? — спрашиваю.
— Затаскают. Потом костей не соберешь.
— Чего ты боишься, — говорю, — если он накапал на нас, уже ничего не изменишь.

— Нет, — говорит, — все. Я — пас.
— Ну как хочешь, — говорю, — а я пойду. А что сказать, если Грета спросит о тебе?

— Что хочешь, то и говори, — отвечает и одним махом, как водку, выпивает свой компот и уходит к себе.

Он всегда с излишней серьезностью относился к начальству. Бывало, выструнится и с таким видом выслушивает наставления, как будто от них зависит, гробанется он или нет. Я часто вышучивал его за это.

— Ты дикарь, — смеялся он в ответ, — а мы, русские, поджилками чужим, что такое начальство.

Ну что ж, вечером являюсь к своим немочкам. По дороге думаю: что сказать им? Ладно, решаю, скажу — заболел. Может, одумается.

Прихожу. Моя ко мне. А Греточка так и застыла, и только темная прядка, падавшая на глаза, как будто еще сильнее потемнела.

— Алеша?! — выдохнула она наконец.

— Кранк, — говорю, — Алеша кранк.

Больной, значит.

— Кранк одер тот? — строго спрашивает она и пытливо смотрит мне в глаза. Думает, убит, а я боюсь ей сказать.

— Найн, найн, — говорю, — грипп.

— О, — просияла она, — дас ист нихтс.

Ну мы опять посидели, выпили, закусили, потанцевали. Моя Катя несколько раз подмигивала мне, чтобы я танцевал с ее сестрой. Я танцую и вижу, она то гаснет, то вспыхивает улыбкой. Стыдно ей, что она так сучает. Ясное дело, девушка втрескалась в него по уши.

Моя Катя, как только мы остались одни, посмотрела на меня своими глубокими синими глазами и спрашивает:

— Майор?

Ну как ты ей соврешь, когда в ее умных глазках вся правда. Я пожал плечами.

— Бедная Грета, — говорит она. Забыл сейчас, как по-немецки.

— Ер ист кранк... — Он больной, значит.

— Да говори ты прямо по-русски! — перебил его дядя Сандро. — Что ты обкаркал нас своими невозмутимыми «кар», «кар», «кар»!

— Так я лучше вспоминаю, — сказал Кемал, поглядывая на дядю Сандро своими невозмутимыми воловьими глазами.

— Ну ладно, говори, — сказал дядя Сандро, как бы спохватившись, что, если Кемал сейчас замолкнет, слишком много горячего уйдет, чтобы его снова раскочегарить.

— Да, м-м-м... — замыкал было Кемал, но довольно быстро нашел колею рассказа и двинулся дальше.

— Одним словом, я еще надеюсь, что он одумается. На следующий день встречаю его и не узнаю. За ночь почернел.

— Что с тобой? — говорю.

— Ничего, — говорит, — просто не спал. Как Грета?
— Ждет тебя, — говорю, — но сестра догадывается.
— Лучше сразу порвать, — говорит, — все равно я жениться не могу, а чего резину тянуть?
— Глупо, — говорю, — никто и не ждет, что ты женишься. Но пока мы здесь, пока мы живы, почему бы не встретаться?
— Ты меня не поймешь, — говорит, — для тебя это обычное фронтовое блядство, а я первый раз полюбил.
Тут я разозлился.
— Мандраж, — говорю, — надо называть своим именем, и нечего выпендриваться.

И так мы немного охладели друг к другу. Я еще пару раз побывал у наших подружек и продолжаю врать Греточке, но чувствую, не верит и вся истаяла. Жалко ее, и нам с Катей это мешает.

Мне и его жалко. Он с тех пор замкнулся, так и ходит весь черный. А между тем нас никуда не тянут. И я думаю: майор оказался лучше, чем мы ожидали. Через пару дней подхожу к Алексею.

— Слушай, — говорю, — ты видишь, майор оказался лучше, чем мы думали. Раз до сих пор не капнул, значит, пронесло. Я же вижу, ты не в своей тарелке. Ты же гробанешься с таким настроением!

— Ну и что, — говорит, — неужели ребята, которых мы потеряли, были хуже, чем мы с тобой?

Ну, думаю, вон куда поплыл. Но виду не показываю. Мы, фронтовики, такие разговорчики не любили. Если летчик начинает грустить и клевать носом — того и жди: заштопорит.

— Конечно, нет, — говорю, — но война кончается. Глупо погибнуть по своей вине.

Вдруг он сморщился, как от невыносимой боли, и говорит:

— Кстати, можешь больше не врать про мою болезнь. Помоему, я ее видел сегодня в поселке, и она меня видела.

— Хватить ерундить, — говорю, — пошли сегодня вечером, она же усохла вся, как стебелек.

— Нет, — говорит, — я не пойду.

Теперь уже самолюбие и всякое такое мешает. Он очень гордый парень был и в воздухе никому спуска не давал, но и мандраж этот перед начальством у него был. Это типично русская болезнь, хотя, конечно, не только русские ею болеют.

И вот я в тот вечер опять прихожу к девушкам со всякой едой и выпивкой. Поднимаюсь наверх и не обращаю внимания на то, что нет большого зеркала, стоявшего в передней. Захожу в комнату, где мы обычно веселились, и вижу, обе сестрички бросаются ко мне. Но моя Катя как бешеная, а у Гречки личико так и полыхает радостью. У меня мелькнуло в голове, что Алексей днем без меня все-таки зашел.

— Майор ист диб! — кричит Катя, то есть вор, и показывает на комнату. — Майор цап-царап! Аллее цап-царап!

— Я, я, — восторженно добавляет Гречка, показывая на голую комнату — ни венских стульев, ни дивана, ни шкафа, ни гобелена на стене, — один только стол, — майор ист диб! Майор ист ниht гестапо! Заге Алеша! Заге Алеша!

Значит, скажи Алеше.

— Это возмутительно! — кричит старик. — Цап-царап дом-хен антифашистик!

Сейчас это звучит смешно, а тогда я впервые почувствовал, что кровь в моих жилах от стыда загустела и остановилась. Конечно, грабили многие, и мы об этом прекрасно знали. Но одно дело, когда ты знаешь этих людей, да еще связан с женщиной, которая рассчитывала на твою защиту. Никогда в жизни я не испытывал такого стыда.

А главное, Греточка — вся рассиялась, глаза лучатся, невозможно смотреть. Она решила, что раз майор обчистил их дом, значит, он не может быть энкаведешником, а раз так, Алеше нечего бояться. Как объяснить ей, что все сложнее, хотя майор и в самом деле был штабистом.

Так вот, значит, почему он шнырял в три часа ночи на мотоцикле: смотрел, где что лежит. Только поэтому и не накапал на нас.

Я сказал Грете, что обо всем расскажу Алеше, и старику соврал, что буду жаловаться на майора. Надо же было их как-нибудь успокоить. Девушки притащили откуда-то колченогие стулья, мы поужинали, и я со стариком крепко выпил.

На следующий день я все рассказал Алексею и вижу: он немного ожил.

— Хорошо, — говорит, — завтра пойдем попрощаемся. Кажется, на днях нас перебазируют.

Но мы так и не попрощались с нашими девушками. Нас перебазировали в ту же ночь. Новый аэродром находился в двухстах километрах от этого местечка.

Алексей все еще плохо выглядел, и меня не покидало предчувствие, что он должен погибнуть. И я, честное слово, облегченно вздохнул в тот день, когда его ранило. Рана была нетяжелая, и вскоре его отправили в госпиталь, в Россию.

На этот раз мы жили в небольшом городке. Однажды с ребятами вышли из кафе и поджидаем у входа товарища, который там замешкался.

— Кемал, — говорит один из ребят, — эта немочка с тебя глаз не сводит.

Я оглянулся, смотрю, шагах в пятнадцати от нас стоит немочка, приятная такая с виду, и в самом деле мне улыбается. Ясно, что мне. Я, конечно, слегка подшофе, тоже улыбаюсь ей как дурак, и подхожу знакомиться.

Господи, это же Катя! Как это я ее сразу не узнал! Сейчас она была в пальто, в шапке, а я ее никогда такой не видел. Оказывается, она меня искала!

Ну, я прощаюсь с ребятами и снова захожу в кафе.

— Как Грета? — спрашиваю.

— О, Грета трауриг, — вздыхает она и качает головой.

Я объяснил ей, что Алеша ранен и отправлен в тыл. Мы переночевали в квартире у женщины, где она остановилась. Ночью она несколько раз плакала, вздыхала и повторяла:

— Шикзаль...

Значит, судьба. Я почувствовал, что она хочет что-то сказать, но не решается. Утром, когда мы встали, она сказала, что

беременна. Смотрит исподлобья своими внимательными, умными глазками и спрашивает:

— Киндер?

Ну что я мог ей ответить?! Разве можно ей объяснить, что это посложнее, чем выгнать майора?!

— Найн, — отрезаю я, и она опустила голову.

В тот же день мы расстались, и я ее больше никогда не видел. А с Алексеем мы увиделись через тридцать лет в Новгороде на встрече ветеранов нашего полка.

Мы все, приехавшие со всех концов ветераны, остановились в одной гостинице, где в тот вечер предстоял банкет во главе с нашим бывшим командиром полка, теперь генералом. Все это время я ничего об Алексее не знал, даже не знал, жив ли он.

Заняв номер, спустился к администратору и спросил у него — не приехал ли Алексей Старостин? Он посмотрел в свою книгу и кивнул: да, приехал, живет в таком-то номере.

Подымаюсь к нему, примерно часа за два до банкета. Смотрю: елки-палки, что время делает с нами! Разве я когда-нибудь узнал бы в этом облысевшем, как и я, человеке того молодого, как звон, красавца летчика в далеком военном году, обламывавшего ветки прусской рябины в красных кистях! А он смотрит на меня и, конечно, не узнает: мол, что от меня хочет этот лысый толстяк? Я расхохотался, и тут он меня узнал.

— А-а-а, — говорит, — Кемал! Только зубастая пасть и осталась!

Ну, мы обнялись, поцеловались, и я его повел в свой номер. Я с собой привез хорошую «изабеллу». Сидим пьем, вспоминаем минувшие дни. И конечно, вспоминаем наших немочек.

— Ах, Греточка! — говорит он, вздыхая. — Ты даже не представляешь, что это было для меня! Ты не представляешь, Кемал! Я потом демобилизовался, женился, летал на пассажирских, у меня, как и у тебя, двое взрослых детей. Сейчас работаю начальником диспетчерской службы, пользуюсь уважением и у райкома и у товарищей, а как подумаю, диву даюсь. Помнишь, у Есенина «Жизнь моя, иль ты приснилась мне!» Кажется, там, в Восточной Пруссии, в двадцать четыре года закончилась моя жизнь, а все остальное — какой-то странный, затянувшийся эпилог! Ты понимаешь это, Кемал?

И надо же, бедный мой Алексей прослезился. Ну, я его, конечно, успокоил, и тут он вдруг заторопился на банкет.

— Да брось ты, Алеша, — говорю, — посидим часок вдвоем. Наши места никто не займет, а они теперь на всю ночь засели.

— Ну что ты, Кемал, — говорит, — пойдём. В двадцать ноль-ноль генерал будет открывать торжественную встречу. Неудобно, пошли!

Ну что ты ему скажешь? Пошли. Такой он был человек, а летчик был первоклассный, в воздухе ни хрена не боялся!

На этом Кемал закончил свой рассказ и оглядел застольцев, медленно переводя взгляд с одного на другого.

— Слава Богу, кончил, — сказал дядя Сандро, — еще бы немножко, и мы бы заговорили по-немецки!

Все рассмеялись, а князь разлил коньяк по рюмкам и сказал:

— И по работе он не так уж далеко ушел от тебя.

— Да, — сказал Кемал, — начальник диспетчерской службы, особой карьеры не сделал.

— Он не должен был бросать эту девушку, пока их не перевели в другое место, — сказал дядя Сандро и, чуть подумав, добавил: — А ты понял, почему он в последний раз согласился прийти попрощаться с ней?

— Ясно, почему, — ответил Кемал, — он понял, что майор на нас не накапал и, значит, за нами никто не следит.

— Дурачок, — в тон ему отозвался дядя Сандро, — твой же рассказ я тебе должен объяснять. Когда он согласился пойти попрощаться со своей девушкой, он уже знал, что в ту же ночь вас переведут в другое место.

— Нет, — засмеялся Кемал, — такие вещи держали в строгой секретности.

— Как нет, когда да! — возразил дядя Сандро. — Я же лучше знаю! Он вертелся возле начальства, и кто-то ему тихо сказал.

— Оставьте человека! — вступился за него князь, подымая рюмку. — Он, бедняга, и так наказан судьбой. Лучше выпьем за Кемала, угостившего нас хорошим фронтовым рассказом.

— Кто чем угощает, а Кемал рассказом, — уточнил дядя Сандро, насмешливо поглядывая на Кемала, — отбивает хлеб у своего дяди. Только «кар» нам больше не надо!

— А мне жалко этого человека, — сказал маленький Хачик, — бедный, любил... Потому плакал... Если б не любил, не плакал...

— Да нет, — начал Кемал возражать, но, неожиданно замолкнув, сунул палец в ухо и стал с нескрываемым наслаждением прочищать его. Движения Кемала напоминали движения человека, пахтающего масло, или водопроводчика, пробивающего своей «грушей» затор в раковине умывальника.

Кемал так долго, морщась от удовольствия, прочищал таким образом ухо, полностью отключившись от присутствующих, что присутствующим почему-то было обидно. Дядя Сандро молча с укором глядел на него, как бы улавливая в его действиях еще четко не обозначенный абхазским сознанием, но уже явно раздражающий оттенок фрейдистского неприличия.

— Что нет?! — наконец не выдержал дядя Сандро.

Кемал преспокойно вынул палец из уха, оглядел его кончик, словно оценивая на глазок качество спахтанного масла, видимо, остался этим качеством недоволен, потому что на лице его появилась гримаса брезгливого недоумения, явно вызванная огорчительной разницей между удовольствием от самого процесса пахтания и прямо-таки убогим результатом его. С этим выражением он вытащил другой рукой из кармана платок, вытер им палец, сунул платок в карман и как ни в чем не бывало закончил фразу:

— ...Просто его немного развезло от «изабеллы», он чересчур приналег на нее...

Как и всякий мужчина, много увлекавшийся женщинами, Кемал не придавал им большого значения.

— Акоп-ага, — крикнул Хачик, — еще прошу по кофе.

— Сейчас будет, — ответил Акоп-ага, глянув в нашу сторону из-за стойки, на которой была расположена его большая жаровня с горячим песком для приготовления кофе по-турецки.

— Извини, пожалуйста, — сказал Хачик, обращаясь ко мне, — ты здесь самый молодой. Вон там арбузы привезли. Принеси два арбуза — хочу сделать фото: «Князь с арбузами».

— Да ладно, — сказал князь, — обойдемся без арбузов.

— Давай, давай, — вступился Кемал за Хачика, — это хорошая идея. Князь с арбузами, а мы с князем.

На том конце ресторанной палубы, уже как бы и не ресторанной, продавали арбузы. С детства мне почему-то всегда чудилось, что в арбузе заключена идея моря. Может, волнообразные полосы на его поверхности напоминали море? Может, совпадение времен — праздник купания в море с праздником поедания арбузов, часто на берегу, на виду у моря? Или огромность моря и щедрость арбуза? Или и там и там много воды?

На трех помостах вышки для прыжков, бронзовея загаром и непрерывно галдя, толпились дети и подростки. Те, что уже прыгнули, что-то выкрикивали из воды, а те, что стояли на помостах вышки, что-то кричали тем, что уже барахтались в море.

Одни прыгали лихо, с разгону, другие медлили у края помоста, оглядывались, чтобы их не столкнули, или свою нерешительность оправдывали боязнью, что их столкнут.

И непрерывно в воду летели загорелые ребячьи тела — головой, солдатиком, изредка ласточкой. Короткий, бухающий звук правильно вошедшего в воду тела и длинный, шлепающий звук неточного приводнения с призвуком дошлепывания ног. Постоим полюбуемся, послушаем: бух! бух! шлеп! шлеп! перешлеп! бух!

Я тоже сюда приходил в наше предвоенное детство. Тогда здесь была совсем другая вышка для прыжков: она увенчивалась бильярдной комнатой, и самые храбрые из ребят докарбкивались до крыши бильярдной и прыгали оттуда.

Вглядываясь в те далекие годы, я вижу этих ребят, но не вижу среди них себя. Жалко, но не вижу. И на третьем, высшем помосте не вижу я себя.

Сюда, на территорию водной станции «Динамки», как мы тогда говорили, никого не пускали, кроме тех, кто посещал секции плавания и прыжков.

Но больше половины ребят ни в каких секциях не состояли и приходили сюда снизу, по брускам доползая до плавательных мостков, а потом оттуда по железной лестнице наверх и на вышку. Так приходил сюда и я.

Но это было довольно утомительно: с берега по сваям и железным проржавевшим, иногда с острыми зазубринами, перекладинам карабкаться метров восемьдесят. Так что я иногда подолгу простаивал возле входа на водную станцию,

которую стерегла грузная и пожилая, как мне тогда казалось, женщина.

Дело в том, что почти ежедневно бильярдную посещал один парень с нашей улицы. Ему было лет двадцать, и звали его Вахтанг. Но почти все, и взрослые и дети, называли его ласково-любовно — Вахтик.

Закончив играть, он покидал территорию водной станции деловито-праздничной походкой, как бы означающей: я только что закончил очень нужное и очень приятное дело и сейчас же возьмусь за другое, не менее нужное и не менее приятное. В эти минуты я старался стоять так, чтобы он меня сразу заметил, и он всегда меня сразу замечал. Заметив меня, он что-то с улыбкой говорил женщине, стерегущей проход, и она, расцветая от его улыбки, пропускала меня.

Иногда, когда я вот так дожидался его, он подкатывал откуда-то сзади, и я чувствовал его добрую руку, ласково лежащую на мою голову или шутиливо-крепко, как арбуз, сжимающую ее пятерней, и я при этом всегда старался улыбнуться ему, показывая, что мне нисколько не больно. Мы не останавливаясь проходили мимо стражницы, и она, расцветая от его улыбки, оживала до степени узнавания меня.

И тем более меня всегда удивляла тяжелая тусклость ее неузнавания, когда его не было. Не то чтобы я просился, но я стоял возле нее, и она могла бы вспомнить, что я — это я, и пропустить меня. Ну, хорошо, соглашался я мысленно, пусть не пропускает, но пусть хотя бы узнает. Нет, никогда не узнавала.

И стоило появиться Вахтангу, стоило положить ему руку на мою голову, как женщина оживлялась, словно включала лампочку памяти и теперь мимоходом окидывала меня узнавающим взглядом.

Я почему-то навсегда запомнил его летним, только летним, хотя видел его во все времена года. Вот он в шелковой голубой рубашке навыпуск, в белых брюках, в белых парусиновых туфлях празднично ступает по деревянному настилу пристани, и рубашка на нем то свободно плещется, то мелко-мелко вскипает под бризом и вдруг на мгновение прилипает к его стройному крепкому телу.

И я вижу его — тогда так воспринималось, но оно и было таким — хорошее лицо с якобы волевым подбородком, но я уже тогда понимал, что его волевой подбородок смеется над самой идеей волевого подбородка, потому что он весь — не стремление достигнуть чего-то, но весь — воплощение достигнутого счастья или достижимого через пять минут: только выйдет через проход, а там его уже ждет девушка, а чаще девушки.

— Ах, извините, девушки, за-дер-жался! — говорил он в таких случаях и, вскинув руку, мимоходом бросал взгляд на часы, лихо сдвинутые на кисть, и неудержимо смеялся, смеялся вместе с девушками, как бы пародируя своим замечанием образ жизни деловых людей.

Интересно, что Вахтанг и его друзья, целыми днями игравшие в бильярд на водной станции, почти никогда не купались. Чувствовалось, что это для них пройденный этап. Но

однажды в жаркий день они вдруг гурьбой высыпали из своей бильярдной и, скинув свои франтоватые одежды, оказались стройными, мускулистыми, крепкими парнями.

Они буйно веселились, как великолепные животные неизвестной породы, прыгая с вышки то ласточкой, то делая сальто, переднее и заднее, то выструнив стойку на краю трамплина, вертикально протыкали воду. Видно, все они были спортсменами в какой-то предыдущей жизни.

Потом уже в воде играли в пятнашки. Ловко ныряли, прятаясь друг от друга, и я тогда впервые увидел, как Вахтанг под толщей воды плавает спиной, чтобы следить глазами за парнем, нырнувшим за ним.

Мощными, ракетными толчками, каждый раз заворачивающими его в пузырящееся серебро пены, он все дальше и дальше уходил в глубь зеленоватой воды, а потом исчез.

Парень, гнавшийся за ним, вынырнул и, стоя на одном месте, озирался, стараясь не пропустить Вахтанга, когда он выскочит из глубины. Через долгое мгновение Вахтанг все же вынырнул за его спиной и, крикнув: «Оп!», нащлепнул ему на шею горсть песка, поднятого со дна.

Ходила легенда, что Вахтанг однажды на спор выпрыгнул в море из окна бильярдной. Одно дело прыгать с плоской крыши, там есть небольшой разгон, а тут можно было, не дотянув до воды, запросто грянуться о деревянный настил пристани. Вполне возможно, что он и в самом деле прыгнул из окна бильярдной, он был храбр легкой, музыкальной храбростью.

Вахтанг и его друзья весело бултыхались возле водной станции, а потом, как бы не сговариваясь, а подчиняясь какому-то инстинкту, всей стаей поплыли в открытое море, вернулись и один за другим, подтягиваясь на поручнях мускулистыми руками, пошлепывая друг друга, отряхивались, фыркали, подпрыгивали на одной ноге и мотали головой, чтобы выплеснуть воду из ушей, а потом с гоготом, подхватив свои одежды, словно опаздывая на бильярд, как опаздывают на поезд, побежали наверх, громко стуча пятками по крутой деревянной лестнице.

Где они? Затихли, сгнули, отгуляв и откутив, а я их еще помню такими — кумиров нашей предвоенной золотой молодежи, в чьих аккуратных головках с затейливо подбритыми затылками еще миражировал образ Дугласа Фербенкса!

Семья Вахтанга жила на нашей улице не очень давно. При мне строился их маленький нарядный дом, при мне выросла живая ограда из дикого цитруса трифолиаты, при мне рядом с их домом вырос маленький домик, соединенный с основным общей верандой.

— Когда Вахтик женится... молодоженам, — обрывок разговора его отца с кем-то из соседей.

При мне в их саду возвели качели с двумя голубыми люльками.

— Когда у Вахтика будут дети...

Они жили втроем, отец, мать и сын. По представлениям обитателей нашей улицы, они были богачами. Добрыми богачами. Отец Вахтанга был директором какого-то торго. Боль-

ше мы ничего о нем не знали. Да больше и не надо было знать, и вообще дело было не в этом.

По воскресеньям или после работы отец Вахтанга, надев на себя какой-то докторский халат и напялив очки, возился в своем маленьком саду. Он подвязывал стебли роз к подпоркам, стоя на стремянке, обрезал ненужные ветви фруктовых деревьев и усохшие плети виноградных лоз. Хотя отец Вахтанга был грузином, то есть местным человеком, в такие минуты он почему-то казался мне иностранцем.

В будни отец и сын часто встречались на улице. Отец возвращался с работы, а сын шел гулять. Обитатели нашей улицы, к этому времени высыпавшие на свои балкончики, крылечки, скамеечки, с удовольствием, как в немом кино, потому что слов не было слышно, следили за встречей отца и сына.

Судя по их позам, отец пытался остановить сына и осторожно выяснить, где и как он собирается провести вечер. И сын, с ироническим почтением склоняясь к отцу (угадывалось, что часть иронии сына относится к осторожным попыткам отца проникнуть в тайны его времяпрепровождения), как бы говорил ему: «Папа, ну разве можно останавливать человека, когда он собирается окунуться в праздник жизни?»

Наконец они расходились, и отец, улыбаясь, смотрел ему вслед, а сын, обернувшись, махал рукой и шел дальше. Интересно, что во время этих встреч сын никогда не просил у отца деньги. А ведь все знали, что Вахтанг во всех компаниях раньше всех и щедрее всех расплачивается. Было ясно, что в их доме никому и в голову не может прийти, что от сына надо

прятать деньги. Было ясно, что для того отец и работает, чтобы сын мог красиво сорить деньгами.

Отпустив сына, отец шел дальше своей небыстрой, благой походкой, устало улыбаясь и доброжелательно здороваясь со всеми обитателями улицы. Он шел, овеивая лица обитателей нашей улицы ветерком обожания.

— Мог бы, как нарком, на машине приезжать...

— Не хочет — простой.

— Нет, сердце больное, потому пешком ходит.

— Золото, а не человек...

Вероятно, на нашей улице были люди, которые завидовали или не любили эту семью, но я таких не знал. Если были такие, они эту зависть и нелюбовь прятали от других. Я только помню всеобщую любовь к этой семье, разговоры об их щедрости и богатстве. Так, старший брат моего товарища Христо, помогавший своему отцу в достройке вахтанговского дома, рассказывал сказочные истории о том, как у Вахтанга кормят рабочих. Поражало обилие и разнообразие еды.

— Один хлеб чего стоит! — говорил он. — Вот так возьмешь — от корки до корки сжимается как гармошка. Отпустишь — дышит, пока не скушаешь!

Конечно, Богатый Портной тоже считался на нашей улице достаточно зажиточным человеком. Но в жизни Богатого Портного слишком чувствовалась грубая откровенность первоначального накопления.

Здесь было другое. Родители Вахтанга, видимо, были богаты достаточно давно и, во всяком случае, явно не стреми-

лись к богатству. Для обитателей нашей улицы эта семья была идеалом, витриной достигнутого счастья. И они были благодарны ей уже за то, что могут заглядывать в эту витрину.

Конечно, все они или почти все стремились в жизни к этому или подобному счастью. И все они были в той или иной степени биты и потасканы жизнью и в конце концов смирились в своих домах-пристанях или коммунальных квартирках. И они, любясь красивым домом, садом, благополучной жизнью семьи Вахтанга, были благодарны ей хотя бы за то, что их мечта не была миражем, была правильная мечта, но вот им просто не повезло. Так пусть хоть этим повезло, пусть хотя бы дают полюбоваться своим счастьем, а они не только дают полюбоваться своим счастьем, от щедрот его и соседям немало перепадает.

Иногда поздно вечером, если я с тетушкой возвращался с последнего сеанса кино, мы неизменно видели, как отец и мать Вахтанга, сидя на красивых стульях у калитки, ждут своего сына.

Обычно между ними стоял тонконогий столик, на котором тускло зеленела бутылка с боржомом и возвышалась ваза с несколькими аппетитно чернеющими ломтями арбуза.

Взяв в руки ломоть арбуза и слегка наклоняясь, чтобы не обрызгаться, отец Вахтанга иногда ел арбуз, переговариваясь с тетушкой. Но главное — как он ел! В те времена он был единственным человеком, виденным мною, который ел арбуз вяло! И при этом совершенно очевидно, что здесь все честно, никакого притворства! Так вот что значит богатство! Богатые — это те, которые могут есть арбуз вяло!

Обычно в таких случаях тетушка всегда заговаривала с ними на грузинском языке, хотя и они и она прекрасно понимали по-русски. И это тогда осознавалось: с богатыми принято говорить на их языке. Поговорив и посмеявшись с ними, тетушка, бодрее, чем обычно, хотя и обычно у нее достаточно бодро стучали каблучки, шла дальше. И это тогда понималось так: приобщенность к богатым, даже через язык, взбадривает. И еще угадывалось, что приток новых сил, вызванный общением с богатыми, надо благодарно им продемонстрировать тут же. Вот так они жили на нашей улице, и казалось, конца и края не будет этой благодати. И вдруг однажды все разлетелось на куски! Вахтанг был убит на охоте случайным выстрелом товарища.

Я помню его лицо в гробу, ожесточенное чудовищной несправедливостью, горестно-обиженное, словно его, уверенно-го, что он создан для счастья, вдруг грубо столкнули в такую неприятную, такую горькую, такую непоправимую судьбу.

И он в последний миг, грянувшись в эту судьбу, навсегда ожесточился на тех, кто, сделав всю его предыдущую жизнь непрерывной вереницей ясных, счастливых, ничем не замутненных дней, сейчас так внезапно, так жестоко расправился с ним за его безоблачную юность.

Казалось, он хотел сказать своим горько-ожесточенным лицом: если б я знал, что так расправятся со мной за мою безоблачную юность, я бы согласился малыми дозами всю жизнь принимать горечь жизни, а не так сразу, но ведь у меня никто не спрашивал...

Лица обитателей нашей улицы, которые приходили прощаться с покойником, выражали не только искреннее сочувствие, но и некоторое удивление и даже разочарование. Их лица как бы говорили: «Значит, и у вас может быть такое ужасное горе?! Тогда зачем нам было голову морочить, что вы особые, что вы счастливые?!»

Почему-то меня непомерностью горя подавила не мать Вахтанга, беспрерывно плакавшая и кричавшая, а отец. Застывший, он сидел у гроба и изредка с какой-то сотрясающей душу простотой клал руку на лоб своего сына, словно сын заболел, а он хотел почувствовать температуру. И дрожащая ладонь его, слегка поерзав по лбу сына, вдруг успокаивалась, словно уверившись, что температура не опасная, а сын уснул.

Отец не дожил даже до сороковин Вахтанга, он умер от разрыва сердца, как тогда говорили. Казалось, душа его кинулась догонять любимого сына, пока еще можно ее догнать. Тогда по какой-то детской закругленности логики мне думалось, что и мать Вахтанга вскоре должна умереть, чтобы завершить идею опустошения.

Но она не умерла ни через год, ни через два и, продолжая жить в этом запустении, стояла у калитки в черном, траурном платье. А годы шли, а она все стояла у калитки, уже иногда громко перекрикиваясь с соседями по улице и снова замолкая, стояла возле безнадежно запылившихся кустов трифолиаты, ограждающих теперь неизвестно что. Она и сейчас стоит у своей калитки, словно годами, десятилетиями ждет ответа на свой безмолвный вопрос: «За что?»

Но ответа нет, а может, кто его знает, и есть ответ судьбы, превратившей ее в непристойно располневшую, неряшливую старуху. Жизнь, не жестокость уроков твоих грозна, а грозна их таинственная недоговоренность!

Я рассказываю об этом, потому что именно тогда, мальчишкой, стоя у гроба, быть может впервые пронзенный печалью неведомого Экклезиаста, я смутно и в то же время сильно почувствовал трагическую ошибку, которая всегда была заключена в жизни этой семьи.

Я понял, что так жить нельзя, и у меня была надежда, что еще есть время впереди и я догадаюсь, как жить можно. Как маленький капиталист, я уже тогда мечтал вложить свою жизнь в предприятие, которое никогда-никогда не лопнет.

С годами я понял, что такая хрупкая вещь, как человеческая жизнь, может иметь достойный смысл, только связавшись с чем-то безусловно прочным, не зависящим ни от каких случайностей. Только сделав ее частью этой прочности, пусть самой малой, можно жить без оглядки и спать спокойно в самые тревожные ночи.

С годами эта жажда любовной связи с чем-то прочным усилилась, уточнялось само представление о веществе прочности, и это, я думаю, избавляло меня от многих форм суеты, хотя не от всех, конечно.

Теперь, кажется, я добрался до источника моего отвращения ко всякой непрочности, ко всякому проявлению пизанства. Я думаю, не стремиться к прочности — уже грех.

От одной прочности к другой, более высокой прочности, как по ступеням, человек подымается к высшей прочности. Но это же есть, я только сейчас это понял, то, что люди издавна называли твердью. Хорошее, крепкое слово!

Только в той мере мы по-человечески свободны от внутреннего и внешнего рабства, в какой сами с наслаждением связали себя с несокрушимой Прочностью, с вечной Твердью.

Обрывки этих картин и этих мыслей мелькали у меня в голове, когда я выбирал среди наваленных арбузов и выбрал два больших, показавшихся мне безусловным воплощением прочности и полноты жизненных сил.

Из моря доносился щебет купающейся ребятни, и мне захотелось швырнуть туда два-три арбуза, но, увы, я был для этого слишком трезв, и жест этот показался мне чересчур риторичным.

Вот так, когда нам представляется сделать доброе дело, мы чувствуем, что слишком трезвы для него, а когда в редчайших случаях к нам обращаются за мудрым советом, оказывается, что именно в этот час мы лыка не вяжем.

Подхватив арбузы, я вернулся к своим товарищам. Акопага уже принес кофе и, упершись подбородком в ладонь, сидел задумавшись.

— Теперь мы сделаем карточку «Кинязь с арбузом», — сказал Хачик, когда я поставил арбузы на стол.

— Хватит, Хачик, ради Бога, — возразил князь. Но любящий неумолим.

— Я знаю, когда хватит, — сказал Хачик и, расставив нас возле князя, велел ему положить руки на арбузы и шелкнул несколько раз.

Мы выпили кофе, и Кемал стал разрезать арбуз.

Арбуз с треском раскалывался, опережая нож, как трескается и расступается лед перед носом ледокола. Из трещины выпрыгивали косточки. И этот треск арбуза, опережающий движение ножа, и косточки, вышелкивающие из трещины, говорили о прочной зрелости нашего арбуза. Так оно и оказалось. Мы выпили по рюмке и закусили арбузом.

— Теперь возьмем Микояна, — сказал Акоп-ага, — когда Хрущев уже потерял власть, а новые еще не пришли, был такой один момент, что он мог взять власть... Возьми, да? Один-два года, больше не надо. Сделай что-нибудь хорошее для Армении, да? А потом отдай русским. Не взял, не захотел...

— Вы, армяне, — сказал князь, — можете гордиться Микояном. В этом государстве ни один человек дольше не продержался у власти.

— Слушай, — с раздражением возразил Акоп-ага, — лэй-лэй, конференция мне не надо! Зачем нам его власть, если он ничего для Армении не сделал? Для себя старался, для своей семьи старался...

Акоп-ага, повáрчивая, собрал чашки на поднос и ушел к себе.

— Когда он узнал, что я диспетчер, — сказал Кемал, улыбаясь и поглядывая вслед уходящему кофевару, — он попросил

меня особенно внимательно следить за самолетами, летящими из Еревана. Он сказал, что армянские летчики слишком много разговаривают за штурвалом, он им не доверяет...

— Народ, у которого есть Акоп-ага, — сказал дядя Сандро, — никогда не пропадет!

— Народ, у которого есть дядя Сандро, — сказал князь, — тоже никогда не пропадет.

— Разве они это понимают, — сказал дядя Сандро, кивая на нас с Кемалом, вероятно, как на нелучших представителей народа.

— А что делать народам, у которых вас нет? — спросил Кемал и оглядел застольцев.

Воцарилось молчание. Было решительно непонятно, что делать народам, у которых нет ни Акоп-ага, ни дяди Сандро.

— Мы все умрем, — вдруг неожиданно крикнул Хачик, — даже князь умрет, только фотокарточки останутся! А народ, любой народ, как вот это море, а море никогда не пропадет!

Мы выпили по последней рюмке, доели арбуз и, поднявшись, подошли к стойке попрощаться с Акоп-ага.

— То, что я тебе сказал, помнишь? — спросил он у Кемала, насыпая сахар в джезвей с кофе и на миг озабоченно вглядываясь в него.

— Помню, — ответил Кемал.

— Всегда помни, — твердо сказал Акоп-ага и, ткнув в песочную жаровню полдюжины джезвеев, стал, двигая ручками, поглубже и поуютнее зарывать в горячий песок медные ковшки с кофе.

Мы стали спускаться вниз. Я подумал, что Акоп-ага и сам никогда не пропадет. Его взыскующая любовь к армянам никому не мешает, и никто никогда не сможет отнять у него этой любви. Он связал себя с прочным делом и потому непобедим.

Примерно через месяц на прибрежном бульваре я случайно встретил Хачика. Мне захотелось повести его в ресторан и угостить в благодарность за фотокарточки. Часть из них князь передал Кемалу, а тот мне.

Но Хачик меня не узнал, и, так как он уже был достаточно раздражен непонятливыми клиентами, которых он располагал возле клумбы с кактусами и все заталкивал крупного мужчину поближе к мощному кактусу, а тот пугливо озирался, не без основания опасаясь напоротья на него, я не стал объяснять, где мы познакомились.

Я понял, что он совсем как та женщина, стоявшая у входа на водную станцию «Динамо»: видел нас только потому, что мы были озарены светом его возлюбленного князя Эмухвари. Я уже отошел шагов на десять, когда у меня мелькнула озорная мысль включить этот свет.

Я оглянулся. Маленький Хачик опять заталкивал своего клиента, большого и рыхлого, как гипсовый монумент, поближе к ошеренному кактусу, а тот сдержанно упирался, как бы настаивая на соблюдении техники безопасности. Женщины, спутницы монумента, не выражая ни одной из сторон сочувствия, молча следили за схваткой.

— Хрустальная душа! — крикнул я. — Простой, простой!

Хачик немедленно бросил мужчину и оглянулся на меня. Мужчина, воспользовавшись свободой, сделал небольшой шагок вперед.

— А-а-а! — крикнул Хачик, весь рассиявшись радостью узнавания. — Зачем сразу не сказал?! Этот гётферан мне совсем голову заморочил! Хорошо мы тогда посидели! Гиде кинязь? Если увидишь — еще посидим! Ты это правильно заметил: хрустальная душа! Простой-простой!

Я пошел дальше, не дожидаясь, чем окончится борьба Хачика с упорствующим клиентом. Я был уверен, что Хачик победит.

21. чегемская кармен

Прапрадед Андрея Андреевича, для меня он просто Андрей, был связан с декабристами, за что и был выслан в Абхазию, где попеременно сражался то с нашими предками, то с нашей местной малярией. Видимо, в обоих случаях сражался хорошо, потому что остался жив и был пожалован землями недалеко от Мухуса в живописном местечке Цабал. Черенок липы, присланный из родного края и в память о нем посаженный перед домом, без учета плодородия нашей земли (а как это можно было учесть?), за сто лет вымахал в огромное, неуклюже-разлапое дуплистое дерево и сейчас напоминает не столько Россию поэтическую, сколько Россию географическую.

После революции дом, в котором позже родился Андрей, был оставлен его родителям по распоряжению самого Нестора Аполлоновича Лакоба. К молчаливому удивлению старой липы, которая там его никогда не видела, Лакоба объявил, что до революции он долгое время прятался в нем. По словам Андрея, Лакоба просто любил его деда и хотел ему помочь.

Дом был как бы объявлен маленькой колыбелькой маленькой местной революции. К тридцать седьмому году, когда имя Лакоба было проклято, о существовании этой маленькой колыбельки, к счастью, забыли, а обитатели ее, надо полагать, в те времена каждое утро удивленно оглядывали друг друга, радуясь, что все еще живы. Сейчас там живут престарелая мать Андрея и две его сестры.

Сам Андрей давно в городе. Он, несмотря на молодость (конечно, по современным понятиям, ему тридцать пять лет), известный в Абхазии историк и археолог. По понятиям его прапрадеда-декабриста, он уже считался бы безнадежным стариком, непригодным даже для Южного общества.

Младая, гамлетическая революция дворян была обречена уже в силу самой несовместимости гамлетизма и революции. Раздумчивая дерзость плодотворна только в поэзии. Ленин это усек лучше всех, и все пятьдесят томов собраний его сочинений наполнены борьбой со всеми формами революционного гамлетизма.

Как-то Андрей мне рассказал, что лет десять тому назад он обнаружил высоко в горах, кстати над Чегемом, средневековое святилище, где лежит целый холм наконечников стрел.

По его словам, туда веками перед предстоящими битвами подымались воины Абхазии и, пожертвовав стрелой своему богу, давали клятву верности родному краю.

Мы с ним договорились подняться к этому святилищу. Несколько раз откладывали поездку, то ему было некогда, то мне, но вот наконец в субботний день начала лета мы приехали в село Анастасовка, откуда начали поход.

Село это давно переименовано, но в знак протеста и верности богу детства я опускаю его нынешнее название. Мы перешли по висячему мосту Кодор, к счастью, непереименованному, вышли в село Наа и пошли вверх по реке.

Что еще сказать про Андрея? Люди говорят, что одно время у него был буйный роман с одной невероятной вертикальной абхазского происхождения и он, бывало, мрачный как туча, мчался по улицам и, встречая друзей, неизменно спрашивал:

— Ты мою Зейнаб не видел?

Но все это было до нашего знакомства. Теперь у него чудная жена, как говорится, типичная тургеневская женщина. По-видимому, по закону контраста. Я ее часто вижу с коляской...

Кстати, вспоминая тургеневских женщин, я как-то не представляю ни одну из них с ребенком на руках. Что-то не могу представить. И потом, эти длительные поездки-побег в Париж под крылышко Полины Виардо. Издали, когда они не мешают, видимо, как-то легче воспевать отечественных женщин. У Тургенева, по-моему, был такой метод: влюбился,

укрылся, написал. Метод оказался плодотворным. И вот в русский язык навеки вошло понятие — тургеневская женщина. Она в дымке поэзии, она не самоисчерпывается жизнью сюжета или, может быть, даже жизнью самого Тургенева. В ней всегда что-то остается для читателя, и читатель в нее влюбляется, грустит.

То ли дело чадолюбивый Толстой, чьи любимые героини рожают и рожают. Мы ими восхищаемся, но влюбляться в них как-то даже безнравственно. Ясно по условиям игры, что ты, читатель, здесь совершенно ни при чем. Тебе показывают, как надо жить, а ты смотри, радуйся и учись.

Я уж не говорю о его грешных героинях, идущих на каторгу или бросающихся под поезд. Исключение — Наташа Ростова, которую сам автор любит не вполне законной любовью и отсюда невольно позволяет читателю влюбиться в нее... Так буйвол, прорвав плетень и наслаждаясь молочными побегами молодой кукурузы, не может не позволить коровам, козам и баранам устремиться вслед за собой на кукурузное поле. Толстой подозрительно долго не решается окончательно выдать ее замуж, но, окончательно выдав, с очаровательной наивностью (или сердито? — давно не перечитывал) промокает последние страницы о Наташе пеленками ее законного дитяти, чтобы скрыть свое прежнее отношение к ней, якобы так все и было задумано с самого начала.

На мой взгляд, в мире было два писателя, которые никак не вмещаются в рамки национальной культуры. Это Шекспир и Толстой. Шекспир — англичанин, Толстой — русский.

Это так, но не точно. Шекспир — сын человечества, Толстой — сын человечества, и сразу все становится на свои места. Как айсберги в океан, эти имена плюхаются в океан человечества, как в свою естественную среду обитания. Конечно, всякий большой писатель принадлежит человечеству, но тут дьявольская разница.

Рисовали человечество многие, но человечество позировало только этим двум художникам.

Однако, так или иначе, мы говорим — тургеневская женщина. Хоть в этом Тургенев взял реванш. Ведь слава Толстого и Достоевского несколько подзатмила его славу, хотя дар его был огромен. Но он был слишком европеец, ему не хватало их неистовства. По-видимому, когда писатель знает все, что до него говорили великие люди о преступлении и наказании, ему трудно написать роман «Преступление и наказание». Впрочем, нам это не грозит.

Чтобы покончить с темой Тургенева, расскажу такой анекдот. Некоторые мои друзья, когда я им говорю, что я даже в сталинские времена иногда шутил, мне не верят. На самом деле так оно и было.

Когда я учился в Литературном институте, наши студенты однажды вздумали издать рукописный журнал. Мне предложили принять в нем участие, но я отказался, потому что уже тогда стремился напечататься типографским способом.

Журнал был издан в трех экземплярах, и разразился скандал. Дирекция и райком комсомола пришли в бешенство. Самое крамольное стихотворение принадлежало перу польско-

го студента. Это был шуточный сонет на тему: женщина — друг человека.

Если бы бедная дирекция и райком знали, что поляки выкинут еще и не такие коленца! Самого польского студента не особенно теребили. Стихотворение сочли отрыжкой шляхетского презрительного отношения к трудовой женщине. Но куда смотрели наши студенты, переводя это стихотворение и помещая его в журнал, да еще в трех экземплярах!

Оказывается, таскали не только составителей и участников журнала, но и тех, кто мог быть потенциальным автором. Дошла очередь и до меня. Вызвал секретарь парткома.

— Вы плохой патриот, — сказал он, впрочем, усадив меня на стул, стоявший напротив его стола.

— Почему? — спросил я.

— Вам же предлагали принять участие в журнале? — сказал он.

— Да, — согласился я.

— Вы должны были просигнализировать нам об этом, — сказал он и, грустно покачав головой, добавил: — Да, вы плохой патриот.

— Нет, — отвечал я бодро, — я хороший патриот.

— Доказательство? — спросил он со слабым любопытством, уверенный, что такового не окажется.

— На днях в общежитии, — сказал я, — и ребята могут это подтвердить, я громко зачитал то место в письме Флобера Тургеневу, где он пишет, что ему не с кем говорить, когда Тургенева нет в Париже. Представляете, великому Флоберу

не с кем говорить, когда во Франции нет нашего Ивана Сергеевича?

Это были времена борьбы за наш всемирный приоритет во всем. Я пошел очень сильной картой. Не знаю, что наш парторг думал о Флобере, но то, что этот человек не с улицы, он, конечно, понимал.

— Вот люди, — болезненно процедил он, — каждой зацепкой пользуются... Ладно, идите.

Мало того, что об этом несчастном журнале говорили на всех собраниях. Составителей заставили сыграть позорный скетч, где они как зловещие заговорщики заманивали в журнал политически наивных студентов. Каждый играл самого себя, и ничего в жизни я не видел более фальшивого.

Правда, кончилось все это достаточно мирно. Никого из института не выгнали. Недавно я встретил одного из составителей журнала, и он с благодарностью напомнил, что я и еще один студент — будущий поэт Гнеушев, на общеинститутском комсомольском собрании проголосовали против его исключения из комсомола. Только мы двое.

Ничего странного нет в том, что я сейчас об этом пишу. Странно то, что это событие, достаточно важное для тех времен моей жизни, начисто выпало из моей памяти. То есть я помнил, что были собрания с проработками, но как там я голосовал — забыл. Вероятно, по этому поводу хороший психоаналитик сказал бы: в те времена ты многое ждал от себя и потому не придавал значения этому факту.

Вот что с нами делает жизнь!

Сейчас мне вспомнился еще один случай из жизни нашего милого Литературного института, и я его впишу сюда под видом демонстрации вырождения тургеневского понимания природы.

Однажды во время защиты дипломных работ одно стихотворение молодого поэта вызвало противоречивые оценки оппонентов.

Сюжет стихотворения был такой. Под окнами дома вырос прекрасный подсолнух, золотая чаша которого целый день, вместо того чтобы следовать за солнцем, гладела в окно. Обитатели дома не сразу поняли источник этого странного любопытства подсолнуха. Но вскоре они вместе с читателями догадываются в чем дело. А дело было в том, что прямо напротив окна в комнате висел портрет товарища Сталина. Ясно, какое из двух солнц подсолнух предпочел.

Поэт был настолько тонок, что на последнем выводе не настаивал. Он просто создал живую картину жизни подсолнуха, упорно заглядывающего в окно комнаты, где висел портрет товарища Сталина, а вы думайте что хотите.

По поводу этого стихотворения разразилась доброжелательная дискуссия. Одни седоглавые профессора говорили, что поэт создал оригинальный образ, который украсит антологию произведений, посвященных вождю. Но нашелся и такой седоглавый профессор, мы должны быть верны исторической правде, который сказал, что стихотворение все-таки звучит неестественно.

Согласно диалектическому материализму и ленинской теории отражения, разъяснял он, природа безразлична к любо-

му общественному строю, да, к любому, хотя только социализм и может спасти ее от хищнического истребления.

И в этом смысле товарищ Сталин действительно является солнцем для подсолнуха, но подсолнух не может этого осознать! Не может!!! И в этом великая драма идей!

Поэтому эмпирический факт заглядывания чаши подсолнуха в комнату с портретом товарища Сталина хотя сам по себе и любопытен, однако он не должен вводить читателя в заблуждение, ибо природа, к сожалению, не только не обладает классовым чутьем, чтобы тянуться к вождю мирового пролетариата, но даже не обладает и той примитивной формой сознания, которой обладает человекоподобная обезьяна.

Это смелое выступление было выслушано с полным вниманием, как одна из возможных точек зрения. В общем, студент, конечно, защитил свой диплом, и стихотворение в ближайшее время было напечатано.

Где он теперь, лукавый изобретатель умного подсолнуха? Я краем уха слышал, что он спился. Бедняга, он и в студенческие годы, в отличие от своего подсолнуха, больше заглядывался на бутылку с водкой.

Лучше вернемся к Андрею. Он во всех отношениях очень интересный человек. Кстати, он выучил абхазский язык, что всякому человеку не легко, а русскому в особенности, учитывая, что абхазский язык содержит в себе шестьдесят с лишним фонем. Друзья его (друзья!) говорят, что он его выучил из-за этой вертихвостки, чтобы знать, о чем она говорит по телефону, и проверять ее переписку, если она вообще умела пи-

сать, добавляли они. Даже если это так, подвиг его останется при нем.

Кстати, он сделал небольшое, а может быть и не такое уж небольшое, языковое открытие, которое мог сделать только талантливый дилетант. Он заметил то, что ни один филолог абхазского происхождения не замечал. Оказывается, по-абхазски «я купаюсь, купаться» одновременно означает — «я купаю своего коня, купание коня». И еще: «убивать себя, самоубийство» одновременно означает — «я убил своего коня, конеубийство». По-моему, интересно, хотя некоторые ученые, посмеиваясь, говорят, что это всего лишь случайное совпадение.

Вообще, он возмутитель спокойствия. Недавно он выпустил книгу, в которой доказывает, что некоторые древние храмы Абхазии, ранее считавшиеся соседского происхождения, на самом деле плод архитектурного творчества аборигенов.

Братья не на шутку обиделись. Смеясь, он мне сам показывал кучу писем, полных возмущения и даже угроз убить искажителя истории. При этом отнюдь не анонимные. Некоторые из них подписаны учеными. В наше время приятно иметь дело с мужчиной, который, показывая такие письма, хохочет.

Дело на этом не кончилось. Рукопись следующей его книги в трех экземплярах, лежавшая в одном московском издательстве, внезапно исчезла. Рукопись, как коня, увели из редакционной конюшни. Нет ни малейшего сомнения, что это дело рук ученых-конокрадов.

Разумеется, какой-то редактор был подкуплен. Советский страж, как известно, самый неподкупный страж в мире, если его никто не подкупает. А если же его подкупают, он не самый неподкупный страж в мире. К счастью, у автора сохранились черновики, и он рукопись восстановил.

Андрей много занимался историей Великой Абхазской Стены — предмет нашей странной национальной гордости. Считалось, что эта крепостная стена, пересекающая всю Абхазию и проходящая через Чегем, была построена нашими предками еще во времена Юстиниана.

И вдруг он выдвинул версию, что стена выстроена совсем не во времена Юстиниана, а всего лишь триста лет тому назад, да еще сумасшедшим соседним царем.

Этот царь был женат на абхазской княжне. Однажды, по неизвестной причине разгневавшись на нее, он убил свою жену и отрезал ей уши. Зная, что абхазцы не простят ему отрезанных ушей своей княжны, он согнал свой народ и стал с лихорадочной быстротой возводить эту стену. Возможно, как хитрый царь, уже задумав убийство, он начал строить стену несколько раньше. Точных сведений нет.

Есть сведения, что он после этого убийства женился на собственной племяннице. В конце концов, он и ее убил, по-видимому, устав от затейливой сладости кровосмесительства и переходя на более простодушную радость кровопролития. Но что характерно? Убив свою племянницу, он не отрезал ей ушей. И это может послужить нам прекрасной метафорой прогресса. Прогресс, друзья, это когда еще убивают, но уже не от-

резают ушей. Однако не будем слишком ужасаться нраву соседского царя, наши с вами цари мало чем от него отличались.

Версия о том, что Великая Абхазская Стена была выстроена не во времена Юстиниана, а всего лишь триста лет тому назад, да еще сумасшедшим соседским царем, очень не понравилась абхазским ученым. Мне она тоже почему-то не понравилась. Как-то приятней было думать, что она построена нашими предками, и именно во времена Юстиниана. В крайнем случае несколько позже. Кстати, ее исключительную фрагментарность, обрывистость, изъеденность временем он объяснял быстрым и халтурным характером строительства.

Абхазские ученые обиделись на эту новую версию, отнимавшую у нас предмет нашей национальной гордости и передававшую его в руки сумасшедшего царя. Указание на исключительно халтурный характер строительства было слабым утешением.

Соседские ученые, напротив, слегка ожили, проглотив обиду относительно халтурного характера строительства. Но одновременно они и несколько озадачились, не совсем понимая, кому же он, в конце концов, подыгрывает. Если он перешел на нашу сторону, рассуждали они, то тогда зачем эти ненужные натуралистические подробности относительно отрезанных ушей?

У нас наука настолько политизирована, что люди как-то забывают, что истина и сама по себе интересна. Стоит отметить, что самые простые люди Абхазии, никогда научных книг не читающие, все-таки в курсе этих споров. Не без осно-

вания заметив, что в сталинские времена те или иные, так сказать, научные гипотезы предшествовали многим политическим акциям, они со жгучим интересом стараются разгадать, куда клонит тот или иной ученый.

Не так давно один грузинский ученый, впадая в эндурство, доказывал в своей книге, что нынешние абхазцы — это не те абхазцы, которые здесь жили во времена царицы Тамары, а совсем другое племя, перевалившее сюда с Северного Кавказа всего триста лет назад и теперь живущее здесь под видом абхазцев. При этом было решительно непонятно, куда делись те абхазцы, которые, по всем источникам, раньше здесь жили. В народе поднялся негодующий ропот, и власти спешно стали рассылать по всем селам своих гонцов-инструкторов, которые разъясняли народу, что его никто не собирается переселять на Северный Кавказ, что книга ученого — это обычная научная глупость.

Тогда народ стал доказывать гонцам-инструкторам, что это не глупость, а подлость.

— Неужели, — говорили простые люди, — нам, как народу, всего триста лет! Триста лет хорошая ворона и то проживет! Неужели жизнь нашего народа не длиннее жизни вороны? И если наши предки жили на Северном Кавказе, почему мы про закат говорим такими словами: солнце приводнилось, погрузилось, окунулось, занырнуло за горизонт? Разве из этого не ясно, что наши праотцы, создавшие наш язык, жили у моря и всегда видели, как солнце в него заходит? Что же это за наука, если он не понимает таких простых вещей?

— Хорошо, хорошо, — соглашались гонцы-инструкторы, — вы только не волнуйтесь, мы властям все как есть расскажем.

— Это вы волнуетесь, — отвечали простые люди, — нам нечего волноваться. Бегите и рассказывайте начальству то, что слышали.

И гонцы-инструкторы побежали и передали властям мнение народа, и власти дивились народной мудрости, одновременно стараясь выявить злоумышленников, научивших народ так говорить.

Кстати, опять триста лет. Какая-то роковая цифра. Если перекинуться на Россию, там то же самое. Триста лет татарщины, триста лет дома Романовых...

Мы с Андреем прошли мингрельское село Наа и углубились в лес. Рядом шел Кодор, иногда просвечиваясь сквозь заросли ольшаника. Был теплый облачный день.

Высокий, длинноногий Андрей легко вышагивал. Вот так он когда-то и обшагал нашу Великую Стену, обшагал и ушагал с нею к соседям. За спиной у него болтался фотоаппарат и вещмешок с нашими свитерами и бутылкой водки, которой мы собирались угостить альпийских пастухов.

Одеты мы были легко и еды с собой не брали. По расчетам Андрея, часов через десять мы должны были выйти к альпийским лугам, где нетрудно было найти пастушеский лагерь.

Тропа вошла в сумрачную рощу. Ничто так не напоминает первые дни творения, как самшитовые заросли. С каким-то странным волнением оглядываешь эти мелкокурчавые темно-зеленые кроны, эти закрученные как бы тысячелетиями

земных катаклизмов стволы, обросшие голубоватыми мхами. Необычайная твердость и тяжесть самшитовой древесины заметна даже на глаз.

Слишком дряблый вариант первобытного папоротника и непримиримая твердость самшита, можно сказать, первые пробы природы древесного мира. Но древесный мир пошел средним путем и теперь как бы весь уместается между женственной мягкостью ольхи и человеко-доступной твердостью дуба.

Но сумрачная самшитовая роща, но эти крученые железные стволы, эти старожилы природы, так и не признавшие всемирной эволюции и все-таки редкими скитами рощиц дожившие до наших времен, не веет ли от них молчаливым презрением к нашей уступчивой приспособляемости? Кто знает!

Теперь тропа поднимается по смешанному лесу: дуб, каштан, ясень, граб, бук. Постепенно лес делается все более однородным и в конце концов переходит в сплошные светящиеся стволы буков. Смотришь на гигантских серебристых красавцев и удивляешься силе земного чрева, вытолкнувшего из себя этих великолепных исполинов.

Тропа кружится между стволами деревьев, порой отчаянно устремляется прямо вверх, но потом, как бы не осилив подъема, сменяет штурм на осаду и петлей затягивает гору.

Мы остановились передохнуть и закурить. Вдруг Андрей пылливо взглянул мне в глаза своими темными глазами и спросил:

— А ты мою Зейнаб не знал?

— Нет, — сказал я для краткости.

На самом деле я ее однажды видел и хорошо запомнил эту встречу. Я стоял в небольшой очереди за кофе перед открытой кофейней у пристани. Только я хотел заказать себе двойной кофе, как услышал за спиной:

— Кейфарик, возьми и на меня чашечку!

Я обернулся, несколько возмущенный такой бесцеремонностью обращения. Передо мной стола прелестная девушка и с улыбкой глядела на меня. Когда к тебе обращается незнакомая красивая девушка и улыбается тебе так, как будто вы были когда-то знакомы, происходит что-то странное. Хотя ты точно знаешь, что вы никогда не виделись, тебе кажется, что вы все-таки виделись. Может быть, в какой-то предыдущей жизни?

Только я отвернулся от нее и заказал два кофе, как услышал:

— Кейфарик, возьми еще бутылку шампанского. Если нет денег, я заплачу.

В те времена у меня в самом деле не всегда бывали деньги. Но, к счастью, на этот раз были, и до такого позора, чтобы купить шампанское за деньги женщины, не дошло.

Когда она это сказала, в очереди раздалось малопривычные усмешливые похмыкивания. Я почувствовал, что надвигается скандальная ситуация, но сделал вид, что ничего не надвигается. Я взял в руки бутылку и два стакана, она подхватила две чашечки кофе, и мы двинулись к единственному свободному столику, расположенному у самого тротуара под развесистой лапой ливанского кедра.

Я осторожно стал открывать бутылку с шампанским, некоторым образом ожидая, что скандал начнется с нее, но пробка, вполне прилично чмокнув, отделилась от горлышка, и я разлил шипящую жидкость.

— За знакомство, — сказала она и, схватив стакан, жадно выпила его и добавила: — Мы вчера хорошо поддали...

Жадность, с которой она опорожнила свой стакан, и слова ее были в каком-то странном противоречии с необычайной свежестью лица. Она вынула из сумочки сигареты и закурила. Противоречие усилилось.

Это была стройная и вместе с тем ладно и крепко сбитая девушка. Она была одета в свежую голубую кофточку с погончиками и короткими рукавами, в ослепительно белые брюки и белые туфли.

Темная челка падала на глаза и как бы насмешливо исключала из игры символ ума. Может быть, именно поэтому хотелось раздвинуть ее как чадру, и взглянуть на этот символ. Необыкновенная подвижность красивого лица вызывала тревогу, боязнь, что благодаря этой бесконтрольной подвижности оно вдруг обернется безобразной гримаской. Однако, не становясь безобразным, оно добивалось своего, провоцируя внимание. Так подвижность кошки провоцирует внимание собаки.

— Зейнаб, куда намонтажилась? — раздался чей-то голос.

Я обернулся. Шагах в десяти за одним из соседних столиков, тесно облепив его, стояли человек шесть молодых людей. Они пили только кофе, но мне показалось, что у некоторых из них странно возбужденный вид.

— Не твое дело! — крикнула она туда, однако тут же следом послала улыбку, явно довольная, что ее наряд замечен.

— Зейнаб, вмажем опиухи! — раздался голос из-за того же столика и хохот компании.

— В другой раз, — опять улыбнулась она им и выпила второй стакан шампанского.

— Наркоманы? — сказал я.

— Да, — нежно улыбнулась она, — любители поторчать. Вон тот, что с краю, пятый год сидит на игле. У него сейчас глухой торчок. Вот он и молчит. У остальных бархатный.

— Неужели и вы? — спросил я.

— В жизни надо все попробовать, — назидательно сказала она, — чтобы было что вспомнить в старости. Я раз десять пробовала. Только не каждый день. Это сказки, что нельзя остановиться. Вот один из них сам соскочил с иглы, и ничего.

Пожилой человек, проходя мимо нашего столика, заметив Зейнаб, остановился, удивленно оглядел меня и сказал:

— Зейнаб, передай Дауру, в Краснодаре ждут...

Еще раз подозрительно оглядев меня, добавил:

— Пятнадцать или двадцать... Крайний срок послезавтра...

— Хорошо, — кивнула она и одарила его щедрой улыбкой.

Тот не ответил на улыбку, возможно из-за меня, и прошел.

— Зейнаб, — крикнул один из наркоманов, — а я скажу Дауру, чем ты тут занимаешься!

— Заткнись, фуфлошник, — отрезала она, — с кем хочу, с тем и пью!

— Это тихарик, Зейнаб, — не унимался тот, — он вас всех кладанет!

Тут она на мгновение ошетибилась. Темные глаза в мохнатых ресницах вспыхнули. Явно обиделась, то ли за себя, то ли за нас обоих.

— Ты, Витя, совсем оборзел! — крикнула она. — Как бы потом жалеть не пришлось!

Я разлил шампанское. Она выпила свой стакан и сказала:

— Не обращай внимания. Я знаю, ты пишешь стихи. Посвяти мне стихотворение, кейфарик!

Я что-то невнятно промывчал в ответ в том духе, что у нее, вероятно, есть человек, который может посвящать ей стихи.

— Нет, — сказала она, — он совсем другим делом занимается.

— Каким? — спросил я, хотя уже догадывался, кто он такой.

— Он богачей обкладывает налогами! — захохотала она, откидываясь. Так с хохотом падают в море или в постель. — Это же ваш лозунг: грабь награбленное!

Я кое-как отмежевался от этого лозунга. И тут она добавила:

— Ты не подумай, что я воровайка. Я его подруга. Он мне нравится, потому что никого на свете не боится. И щедрый. Он мне однажды сказал: «Я бы тебе купил машину, но ты же сумасшедшая, разобьешься!»

Она опять расхохоталась, откидываясь, и снова закурила.

И тут вдруг, сделав в нашу сторону несколько шагов с тротуара, подошла маленькая девочка в беленьких гольфиках

и с большой нотной папкой в руке. Подходя, она что-то сердито бормотала.

Остановившись в двух шагах от нас, она бесстрашно посмотрела на Зейнаб и сказала:

— Девушке неприлично курить. Тем более в общественном месте.

— Иди, иди, — отмахнулась от нее Зейнаб, но девочка продолжала стоять, и тяжелая нотная папка слегка оттягивала ей плечико.

— А вы курите и, оказывается, пьете вино. Это неприлично, — сказала она строго.

— Иди лучше и побренчи своей мамаше, — ответила Зейнаб, но мне показалось, что она несколько смутилась.

— Порядочная девушка не должна курить и пить вино, — сказала девочка. И по всему ее виду, маленькая, спокойненькая, в чистеньких гольфах, с чистеньким лицом, было ясно, что она не спешит уходить.

— Ну что ты приклеилась, лилипутка! — бросила ей Зейнаб презрительно, но мне показалось, что она все-таки несколько смущена.

— Я не лилипутка, — сказала девочка, — у меня нормальный рост для моего возраста. А вы ведете себя неприлично в общественном месте.

Зейнаб гневно нахмурилась. Девочка еще немного постояла и, наконец, видимо, решив, что она-то свой долг выполнила, повернулась и достойно удалилась, покачивая своей большой нотной папкой, почти достававшей до тротуара.

— Из таких змеенышей, — сказал Зейнаб с ненавистью, — вырастают комсомольские вожаки. Недавно один такой вызывал меня. Я работаю, для понта, конечно, на швейной фабрике. И вот он читает мне проповедь, что я связана с плохими людьми, а сам воняет на меня глазами и потную свою руку кладет мне на плечо. Я говорю: «Руки!» Он ее убирает и снова читает проповедь и зовет меня на какую-то вроде бы загородную экскурсию, а глаза воняют, и опять кладет руку мне на плечо. Я психанула, схватила пепельницу и врезала ему в морду! Он завопил. «Попробуй пожаловаться, — говорю, — мать твоя не заплачется!» Как миленький успокоился.

Она закурила, резко выдохнула дым, как бы отвевая дурные воспоминания, и, просияв, сказала:

— Ты сейчас умотаешься, что я тебе расскажу. Недавно я была в театре. И вдруг вижу, с той стороны фойе выходит интересный, высокий дядечка... Только я подумала, хорошо бы к нему прикадриться, как вдруг... — Не удержавшись, она снова безумно захохотала. — Это был мой бывший муж... Я его не сразу узнала...

Не успел я оценить юмор ситуации, как с улицы раздался сигнал клаксона.

— Это меня, — встрепенулась Зейнаб. И, оглянувшись, добавила: — Пока, еще увидимся, кейфарик!

Она побежала к машине, стоявшей на противоположной стороне улицы. Рядом с шофером сидел человек с бронзовым профилем Рамзеса Второго, если, конечно, тот профиль, который я имею в виду, принадлежит именно Рамзесу Второму.

Он ни разу не взглянул в сторону бегущей девушки, как мне показалось, демонстрируя недовольство. Она уселась на заднем сиденье, и машина укатила. К величайшему удовольствию наркоманов, я остался с пустой бутылкой из-под шампанского. Даже тот, что, по словам Зейнаб, был в глухом торчке, мрачно улыбнулся.

Я, конечно, слышал о Дауре. Знал, что он связан с подпольными фабрикантами и время от времени подаивает тех богачей, у которых капитал перевалил за миллион. Думаю, что это некоторым образом миф, думаю, что в реальной жизни богачей начинают доить несколько раньше. Но во всем этом есть некая правда. Как это будет видно из дальнейшего рассказа, богачей в стадии первоначального накопления он не только не потрошил, но, наоборот, защищал. Возможно, тут был принцип: дать овце нарастить шерсть.

Но меня не эта сторона его жизни занимала. Меня привлекали рассказы об ураганных вспышках его темперамента. Когда ты писатель и ведешь всю жизнь долгую, кропотливую, осадную войну, такой характер не может не привлекать.

Конечно, играют роль и благородные мотивы некоторых его безумных вспышек. Однажды двое иногородних парней стали приставать к соседке, девушке-грузинке. Она рядом с кофейней ела мороженое. Парни приставали столь грубо, что девушка расплакалась. Заметив это, Даур подошел к ним и вежливо предложил им извиниться перед ней. Те его послали подальше. Тогда он выхватил пистолет и уже заставил их стать перед ней на колени. Очевидец, рассказывавший об

этом, утверждал, что парни эти оказались с достаточно крепкими нервами и далеко не сразу подчинились ему. Собралась толпа, друзья пытались увести Даура, он он, ослепнув от ярости, всех отгонял, пока не добился своего.

В другой раз он был на абхазской свадьбе, и какой-то районный пижон, не зная, кто он такой, сильно нагрубил ему. Мне об этом рассказывал человек, который сидел поблизости.

И вдруг Даур упал и потерял сознание. Пижона, конечно, мгновенно посадили в машину и услали домой. Окружающие удивлялись такой нежной впечатлительности, приводя гостя в себя. Придя в себя, он простодушно сказал:

— Так со мной бывает всегда, когда я должен был убить человека и не убил.

Видимо, сила возмущения и этические тормоза (не портить свадьбу) схлестнулись и вызвали этот шок. Слышу голоса: неадекватность реакции! Правильно, но мы с вами по отношению к жизни проявляем такую неадекватную терпеливость, что только при помощи таких людей и устанавливается некоторое относительное равновесие.

Через несколько месяцев мы с ним познакомились в этой же кофейне. Нас познакомил его двоюродный брат, мирный чиновник министерства просвещения. Даур был чуть выше среднего роста, крепкого сложения, с горбоносым лицом, с большими голубыми глазами, которые смотрели на мир с печальной трезвостью навеки обиженного мечтателя.

В начале знакомства он был настроен несколько меланхолично, жаловался на свою неуживчивость. Потом взбод-

рился и сказал, что самой большой ценностью в жизни считает хорошую книгу. Было бы полной фальсификацией думать, что в его словах прозвучал намек на то, что я имею отношение к создателям хороших книг. Такого намека не последовало и в дальнейшем. Его интересовала проблема в чистом виде.

— У меня нет академического образования, — сказал он, — но я всю жизнь, когда это было возможно, много читал... Я бы тоже хотел прийти с работы домой, умыться, поужинать и сесть за книгу... Но не получается!

Последние слова он произнес не без комической горечи. И, видимо, в качестве пояснения их рассказал такую новеллу.

— Познакомился я тут с одним армянином. Думал — порядочный человек. У него брата арестовали в Ростове. Ну, мы поехали в Ростов. Правда, брата его не смогли освободить, но я сумел так сделать, что ему дали минимальный срок.

И вот я через некоторое время узнаю, что здесь под Мухомом, в селе, где жил этот армянин, два компаньона, тоже армяне, открыли подпольную фабрику. А этот ни за что ни про что каждый месяц берет с них деньги. Запугал, и они платят. Я встречаю его и спрашиваю:

— За что ты с них деньги берешь? Ты за них договариваешься с милицией, с прокуратурой или еще с кем?

Он мне говорит:

— Они в моем селе фабрику построили, пусть платят.

Тогда я ему говорю:

— Твое село в Армении, езжай туда и там получай деньги!

И так мы с ним немного поцапались.

Тут Даур вдруг замолк и, пожав плечами, задумчиво произнес:

— И зачем они ему платили каждый месяц? Заплатили бы мне один раз, и я бы их охранял...

Потом продолжил:

— Но вот проходит время, и я узнаю новость. Оказывается, у этих цеховщиков дела пошли плохо и они задолжали этому негодяю. Видно, они крепко поссорились по этому поводу, и негодяй с кортиком погнался за одним из компаньонов. Догнал его, всадил ему кортик в задницу, но так всадил, что повредил внутренности.

Мне рассказывают, что этот человек сейчас лежит в больнице и умирает, а операцию ему почему-то не делают. Я сразу понял, что к чему. Теперь второй компаньон и этот негодяй оба заинтересованы в его смерти. И на этом они снюхались. Если он умрет, дело останется второму компаньону, а этот, что сейчас в бегах, подкупит кого надо, жаловаться будет некому, и дело закроют.

Я прихожу в больницу. Смотрю, у дверей в палату стоит какой-то лобяра и не пускает меня.

— В чем дело?

— Больной уснул, не надо беспокоить.

Я оттолкнул его и вошел в дверь. Смотрю, лежит на кровати, живот вот такой, перитонит. Сам почти без сознания, у ног сидит жена и плачет. Наклоняюсь и спрашиваю у него:

— Как себя чувствуешь?

Он одними губами:

— Горит... — И больше ничего не может сказать.

Одним словом, я им испортил игру. Нашел хирурга, заплатил пятьсот рублей, больному сделали операцию, и он встал на ноги.

Проходит несколько месяцев. Однажды ночью слышу, меня зовут. А я уже лег. Надеваю ботинки, накидываю пиджак поверх майки и спускаюсь на улицу. Стоит машина. Подхожу. Какой-то незнакомый парень сидит за рулем, а на заднем сиденье этот армянин.

— Садись, — говорит, — в машину. Разговор есть.

Я открываю дверцу и сажусь вперед.

— Давай, — говорит, — отъедем подальше. Здесь еще люди ходят.

— Пожалуйста, — говорю, — давай отъедем.

Едем, едем, а погода плохая, такой весенний полуснег-полудожь. Приехали на какую-то окраину. Тот, что за рулем, останавливает машину, а этот вытаскивает из карманов по пистолету и начинает меня ругать: ты, мол, не в свои дела вмешиваешься, ты такой, ты сякой, я тебя убью. А у меня ничего с собой нет. Закурить хочу — даже спичек не взял. Я говорю парню, что сидит за рулем:

— Видишь, во-он там огонь горит. Люди еще не спят. Сходи туда и принеси мне спички.

Он молча встает и уходит. Я хочу, чтобы то, что я скажу этому армянину, никто, кроме него, не слышал. Мне свидетели не нужны. А этот продолжает ругаться и пистолетами мне тыкает в затылок. И тут я ему говорю:

— Убей меня сейчас, если можешь. Но учти, если ты меня не убьешь, я тебя из-под земли раздобуду и уничтожу.

Но он, видно, убить меня не собирался, хотел напугать. Или боялся, что друзья мои за меня отомстят. Одним словом, этот парень принес мне спички, я закурил, и мы поехали обратно. Оставили меня возле дома — и дальше.

Я не выдержал! Вбежал в дом, взял пистолет, открыл гараж, сел в машину и выехал. Ищу, ищу, объездил весь город, но так и не нашел.

И вот с тех пор проходит около года. Он дома не живет. В бегах. Я везде с оружием на случай встречи. И он, конечно, об этом знает. Подсылает ко мне делегацию за делегацией, чтобы я простил его. Я не прощаю.

Однажды суд должен был быть над одним нашим парнем. Я поехал на суд, но, зная, что там ползала стукачей будет, не взял свой пистолет. Въезжаю во двор суда и вдруг вижу — его машина стоит. Я чуть с ума не сошел от такой наглости. Тут были наши ребята, я взял у одного из них пистолет и жду его под лестницей, ведущей в зал заседания. Во дворе его нет, машина здесь, значит, он где-то наверху. Рано или поздно спустится.

Но тут у меня на руках повис один мой хороший товарищ.

— Оставь, — говорит, — этого дурака, опять сядешь в тюрьму, подумай о детях.

Но я в таких случаях, когда меня оскорбляют и тем более тыкают пистолетом в затылок, дети-шмети — ничего не помню!

И вдруг вижу, он спускается по лестнице. Но меня еще не заметил. Я поворачиваюсь к нему спиной, чтобы он меня по-

дольше не узнавал, и, прикрывая его от своего товарища, делаю вид, что раздумал отомстить, чтобы он мне не мешал. Товарищ отпускает меня, я поворачиваюсь, а этот уже в двух шагах и тут только меня замечает. Я выхватываю пистолет. А он, здоровый такой бугай, схватился обеими руками за голову и от ужаса присел на корточки передо мной. Я нажимаю — осечка! Опять нажимаю — осечка! Опять нажимаю — опять осечка! Что за черт! Не могли же мне нарочно подсунуть такой пистолет? Откуда этот парень знал, что я у него попрошу?

Тут я перебил Даура и сказал:

— Это тебя Бог спас!

Он удивленно посмотрел на меня глазами обиженного мечтателя и ответил:

— Почему меня? Его Бог спас!

— От тюрьмы Бог тебя спас, — пояснил я, имея в виду, что он и так просидел в тюрьме около тринадцати лет.

Он как-то пропустил мои слова мимо ушей и продолжил:

— И тогда я решил убить его рукояткой пистолета, выкинуть осечковые патроны, а на суде сказать, что я хотел его не убить, а избить, но так получилось. Я далеко отбросил патроны с осечкой и успел два раза ударить его рукояткой по голове. Но у него черепная коробка как панцирь. И тут мой товарищ очнулся и так удачно кулаком стукнул меня по руке, что пистолет отлетел.

Тут подбежали ребята, этого увели, а я еще весь горю. Не может быть, думаю, чтобы этот подлец осмелился сюда прий-

ти безоружным! Открываю его машину — так и есть — охотничья винтовка. Я схватил ее, чтобы побежать за ним, но что-то не так дернул и затвор заело. Я вообще с ружьями никогда дела не имел, не умею обращаться с ними. Но и тут меня ребята окружили, стали уговаривать, и я махнул на него рукой. Публично опозорил его, думаю, а теперь черт с ним, пусть живет!

Вот так люди вынуждают жить в напряжении, и до книг руки редко доходят. Иногда, конечно, читаю на ночь... Засыпаю за книгой, жена подойдет, снимет очки, но это не то чтение...

Мы еще несколько раз встречались в кофейне. Суждения его отличались пытливым трезвостью. Словно зная о своих вулканических вспышках, он в промежутках между ними старался судить об окружающей жизни со всей доступной ему четкостью.

Я знал, что у него жена и двое детей. Старшая дочка к этому времени кончала школу. Я спросил у него, не собирается ли он куда-нибудь посылать ее учиться.

— Зачем? — удивленно ответил он. — Девушка должна готовиться стать матерью и женой. Это дело ее жизни! Учти, — добавил он, воздев палец, — девушку только при выдающихся способностях надо посылать учиться. Если хочет, пусть кончает местный педвуз. Но при выдающихся способностях, которых я в своей дочке не замечаю, конечно, надо посылать учиться. А мальчику, буду жив, дам высшее образование.

Как-то раз речь зашла о всемирно известной книге о лагерьях. Оказывается, он ее читал. Я даже потом вычислил, через

кого он мог ее достать, но, к некоторому разочарованию некоторых читателей, оставляю при себе свои вычисления. Я спросил у него, что он думает об этой книге.

— Сильная книга, — сказал он. И не без раздражения (ревность? тринадцать лет?) добавил: — Что он знает о лагерях! Я видел такие лагеря, где людей на кол сажали! Однажды прихожу в барак и вижу: мой лучший друг лежит на нарах весь в крови, без сознания.

— Что с тобой? Что с тобой? — дергаю его за плечо, но он так и не пришел в себя.

— Приходили вертухаи и избивали его дрынами, — говорят мне другие зеки, — и тебя искали, но не нашли.

А там каждый вооружался, чем мог. У меня была распрямленная скоба, которой бревна скрепляют. Я ее достал, сунул в бушлат и пошел. До сих пор они меня искали, а теперь я их ищу! Искал, искал, наконец нашел. В одном бараке была особая комнатка, и они там кирили. Стою в коридоре и слышу их голоса. А свет в коридоре тусклый, сразу человека нельзя узнать. Это мне выгодно.

И вот они гурьбой выходят. Все в полушубках. А скоба не очень острая, надо точно попасть в глотку. Пока они очухались, я с ходу самому главному врубил ее под кадык. Кровь фонтаном. Этот замертво, остальные разбежались. Мне, конечно, намотали новый срок. Тогда расстрела не было. И как раз отправили в такой лагерь, где людей на кол сажали.

Однажды я узнал, что его арестовали. Говорят, он в Москве проиграл в карты огромную сумму денег. Приехав в Абха-

зию, он собрал эти деньги и через людей несколькими партиями отправил в Москву.

К этому времени богачи, возможно, им пришлось покрывать его карточные долги, перешли в решительное наступление. Оставшимися деньгами они так основательно прочистили уши местной милиции, что до нее дошел горестный вопль не слишком подпольных миллионеров. Милиция, узнав о том, что он с огромной суммой денег должен отправиться в Москву, схватила его в Адлеровском аэропорту. Но при нем не оказалось ни денег, ни оружия.

Тем не менее его арестовали. Через некоторое время начался суд, и он, говорят, очень остроумно и умело защищался против выдуманных обвинений, поскольку, будучи скромными служащими, наши миллионеры не хотели оглашать тайны своего финансового гарема. Даур, говорят, защищался долго и упорно, дал обоснованный отвод одному судье, а потом вдруг сбежал прямо из здания суда.

Была какая-то романтическая версия, связанная с цыганами, но потом его двоюродный брат рассказал, как на самом деле совершился побег. Во время перерыва судебного заседания к Дауру пришла Зейнаб чуть ли не со спальным мешком и, по-видимому, спев молоденькому конвоиру арию «Последнее свидание», уговорила его оставить их вдвоем. Он их оставил, и они, воспользовавшись, нет, не спальным мешком, а тем, что конвоир не знал, что здание суда имеет черный ход, просто вышли и сели в ожидавшую их за углом машину.

Через год его поймали в Москве. На этот раз с оружием и уже судили за побег из-под стражи и ношение оружия. Он получил пять лет и все еще находится в Сибири.

И вот после всего сказанного я возвращаюсь к Андрею, подозрительно заглянувшему мне в глаза и спросившему:

— А ты мою Зейнаб не знал?

— Нет, — сказал я для краткости, которая обернулась теперь столь длинным пояснением.

Мы двинулись дальше, и Андрей поведал мне свою историю.

— Встретились мы с нею так. Я был в гостях у друзей и поздно вечером возвращался домой навеселе. Только завернул за угол у самого моего дома, как вижу такую картину. На тротуаре у забора стоят двое парней, и один из них нещадно лупит девушку, а она молча прячет лицо, но изредка, ощерившись, и сама пытается его ударить. Но лупил он ее страшно, затрещины звенели на весь квартал.

— Что ты делаешь, подлец! — крикнул я и подбежал к нему.

Он обернулся на меня, выругался матом, и снова затрещины справа и слева. Я не выдержал и ударил его изо всех сил. Видно, как-то здорово я его ударил. Он не упал, но, схватившись за лицо обеими руками, присел на корточки. И так он сидел на корточках около минуты или больше. Потом товарищ его подошел к нему, поднял на ноги и стал уводить. Тот все еще продолжал обеими руками держаться за лицо.

— Ты еще пожалеешь об этом, — сказал его товарищ, обернувшись ко мне, и они оба исчезли в темноте. Я думал, он обещает мне отомстить, и только через много времени понял истинный смысл его угроз.

Я решил проводить девушку домой. Она сказала, что этот парень — ее случайный знакомый, что они были на какой-то вечеринке, где она танцевала с одним из его друзей, и вот на обратном пути он устроил ей сцену ревности.

Помнится, у меня не было ни малейшего желания продолжать с ней знакомство, я просто провожал ее домой. Насколько мог, я уже разглядел, что она хорошенькая, но как-то это меня несколько не волновало, а главное, казалось пошлым, отбив ее от одного самца, входить в роль самца-победителя.

Она что-то без умолку болтала, удивляясь, я это заметил, что я не начинаю за ней ухаживать.

— Ты что, думаешь, я маленькая? — несколько раз спрашивала она, явно давая знать, что можно ей назначить свидание. Но что-то мне мешало, разумеется, не ее молодость, хотя она выглядела очень юной, и, конечно, не то, что она была фабричной девушкой. Скорее всего то, что я ударил этого парня. И ударил слишком сильно.

Чем ближе мы подходили к ее дому, тем больше она удивлялась, что я не назначаю ей свидания. Она смотрела на меня страняющим взглядом, как бы говоря: как, и ты все это сделал совсем бесплатно?!

Пару раз повторив, что она совсем не маленькая, и почувствовав, что это на меня не действует, она сказала, что

уже была замужем, но неудачно. Мужа арестовали, а родители мужа выгнали ее из дому, и она теперь ютится у родственников.

В конце концов у дверей ее дома я дал ей свой телефон и уже подумывал, не поцеловать ли ее, но тут она, получив телефон, упорхнула. На следующий день я поехал на раскопки и вообще забыл о ее существовании. Дней через десять приехал. Звонок. Снимаю трубку. Сквозь брызжащий, самозабвенный хохот ее голос:

— Я уже думала: ты спас меня, а сам погиб. Где ты был?

Этот хохот меня и подкосил. В нем было столько жизни! Мы встретились. Я тогда только получил квартиру и жил один. В тот вечер она осталась у меня. Мы встречались все чаще и чаще.

Я влюбился. Теперь, вспоминая то время, я думаю, что она тоже полюбила или, во всяком случае, очень хотела повернуть свою предыдущую жизнь, о которой я имел смутное представление. Она часто повторяла одну и ту же фразу:

— Я должна стать человеком или умереть!

Меня трогала такая наивная острота постановки вопроса. Но она себя знала, это я ее не знал. Началось то, что уже описано в мировой и русской литературе, и то, что всегда кончалось крахом. Я занялся ее просвещением. У нее от природы было великолепное схватывающее устройство. Лирическую поэзию она чувствовала безошибочно и очень любила, чтобы я читал ей стихи. Иногда делала забавные замечания. Однажды я ей прочел блоковское «О подвигах, о доблестях, о сла-

ве». Потрясенная стихами, она с минуту молчала. Потом, вслух повторив строчку: — «Я бросил в ночь заветное кольцо», — вдруг добавила: — Молодец, не жадный! Другой бы спрятал, а он бросил...

Конечно, кумиром ее стал Есенин. Но приучить ее к хорошей прозе я так и не смог. Ей было скучно, она зевала, а однажды прервала мое чтение такой похабной грубостью, что я захлопнул книгу и больше ей не читал прозы. Она, конечно, иногда кое-что читала, но это было, как правило, сентиментальной дешევкой.

Через полгода мы решили жениться, и она вызвала своего отца. Он приехал и ждал меня у своих родственников. Я должен был прийти и сделать предложение. Разумеется, по абхазским обычаям так не делается, но тут, видно, отцу было не до обычаев.

Я пришел к ее родственникам и познакомился с ее бедным отцом. Звали его Расим. Хотя он был готов к этой встрече, но, будучи от природы человеком чистым и зная, что я далеко не все знаю о ее прошлом, он так забавно отводил глаза, краснел, потом напускал на себя серьезность, что был трогателен до слез.

Всем своим обликом он никак не мог скрыть то, что думал, а думал он, что женитьба — слишком высокая цена за этот товар. Он, конечно, дал согласие и добавил, что если мы собираемся делать свадьбу по-абхазски, то есть широко, он все расходы берет на себя. Но я свадьбу делать не собирался, тем более широко, потому что мама и сестры еле-еле смири-

лись с моим, как они говорили, безумным увлечением. Смирлись, уверенные, что я рано или поздно одумаюсь. Я надеялся, что со временем они привыкнут к ней. Но я все же боялся за маму.

В первый год нашей совместной жизни с Зейнаб я ее вообще ни к кому не ревновал. Я не мог не заметить, и меня это только забавляло, что она с любым человеком, будь то зашедший в квартиру водопроводчик, или продавец в магазине, или родственник, или мальчик, или старик, если общалась с ним пять—десять секунд, начинала ткать паутину кокетства, хотя ясно было, что с этим человеком она никогда нигде больше не встретится. Наоборот, ревновала она. Несколько раз совершенно без всякого повода она устраивала мне безобразные сцены, и я в общих компаниях почти перестал разговаривать с женщинами. Один раз я случайно застрял на дружеской пирушке, где была одна женщина, не вполне равнодушная ко мне. Зейнаб об этом знала. Когда я пришел домой, она в полуобморочном состоянии лежала в кровати.

Все могло бы повернуться иначе, если б я вовремя сделал вид, что кем-то увлечен. Но это уже потом, когда все кончилось, пришлось мне в голову.

Но было и другое, почти с самого начала. Бывало, просыпаюсь ночью, она рядом. Я слушаю ее дыхание, и мне почему-то страшно. Как будто не человек спит рядом, а животное.

И вот еще что. Сейчас это покажется смешным, но это было, и я говорю. Несколько раз на ее бесконечно живом, прекрасном лице мне чудилось клеймо каторжанки. Иногда на

лбу. Иногда где-то возле виска. Разумеется, никто у нас не клеймит каторжан, но мне это чудилось.

Сейчас я это понимаю так. Она умела очень забавно рассказывать то, что было с нею, или то, что она слыхала от других. И я от души, глядя на ее хохочущее лицо, смеялся вместе с ней, удивляясь свежести и неистощимости ее юмора.

Но после того как мы расстались, вспоминая ее рассказы, я обратил внимание на одну особенность их, которую раньше не замечал. Это полное отсутствие нравственной оценки. Каждый отдельный случай как бы мог обойтись и без этой оценки, но, когда осознаешь, что такой оценки никогда не бывало, понимаешь, что за этим стоит. Я думаю, подсознательная тревога по поводу этой особенности ее восприятия жизни и вызывала видение каторжного клейма. Сейчас ясно — не случилось то, что случилось, рано или поздно она оказалась бы в тюрьме.

Постель, конечно, была для нее кумирней. Святилищем, полным амурных стрел, вроде того, куда я тебя сейчас веду. Однажды со мной случился сильнейший сердечный припадок, в котором она же была виновата.

— Попробуем, — простодушно предложила она себя, — может, пройдет.

При ее пиратской беззаботности и щедрости мы часто сидели без денег. Но она, к ее чести, это переносила легко. Бывало, возьмет большой кусок хлеба, обмажет аджикой, запьет чаем, и больше ей ничего не надо. Здоровье у нее было феноменальное. Она могла на какой-нибудь пирушке у моих дру-

зей проплясать всю ночь, пить наравне с мужчинами, поспать два часа, уйти на работу и прийти оттуда свежей, как восемнадцатилетняя девушка, только что вставшая с постели.

Храбрость, дерзость — об этом и говорить нечего. Однажды, когда я был на раскопках, она забыла дома ключи. Мы жили на шестом этаже. Она пришла к соседям, жившим под нами, вышла на их балкон, взобралась на перила, дотянулась до нашего балкона и, к немому ужасу соседей, вскарабкалась на него.

В другой раз мы были за городом в моем родном селе. Зашли в гости к товарищу моего детства. И вот мы стоим в десяти шагах от волкодава, привязанного цепью к своей конуре. А мой товарищ рассказывает про его свирепый нрав. Он никого даже из домашних к себе не подпускал, кроме моего товарища и его матери. Но мама его недавно умерла, и товарищ мой жаловался, что теперь не может надолго отлучиться от дому, потому что собаку надо кормить и выгуливать.

Зейнаб слушала, слушала его и вдруг, не говоря ни слова, быстрыми шагами пошла к собаке. Я не успел ничего сказать, только заметил, что товарищ побледнел. Когда до волкодава оставалось несколько метров, он вдруг вскочил и, громыхнув цепью, ввалился в конуру. Зейнаб чуть не упала от хохота.

Товарищ мой остался с разинутым ртом. Я-то знал, что у него за собака, но Зейнаб здесь была в первый раз, и хозяин почувствовал себя неловко. Потом мы пообедали у него в саду, и он, взглянув на Зейнаб, вздрагивал и покачивал головой. Вероятно, собака, за многие годы привыкнув, что ее все боятся, растерялась при виде решительно приближающейся женщины.

Одним словом, что говорить. Примерно через год в мою жизнь вошел страшный призрак подозрения. Не будь я столь доверчив, думаю, он мог войти и раньше.

Во-первых, стали раздаваться странные телефонные звонки, и, когда я брал трубку, на том конце провода ее воровато клали. Вот именно воровато! Обычно это случалось после моих приездов из командировок. Потом я стал замечать какие-то полуулыбки, полунамеки моих знакомых.

Когда я пытался выяснить, что они хотели сказать своими намеками, обычно я это выяснял несколько дней спустя, оказывалось, что они ничего не имели в виду. Я думал, что схожу с ума. Теперь я понимаю, что, видимо, в самой интонации, с которой я спрашивал об этом, им чудилась возможность какой-то драмы, и они увиливали от ответственности.

Наступили страшные времена. Я все еще, а может быть, сильней, любил ее, а она была ко мне просто равнодушна. И я знал, что за моей спиной что-то делается. Но унизиться до того, чтобы следить за ней, я не мог. Я даже не мог внезапно прервать командировку и приехать, чтобы застать ее врасплох. Не знаю. Не мог. Вероятно, я боялся себя, и, так как еще не пришел к мысли, что ее надо убить, я боялся этого.

Как я теперь понимаю, к этому времени она, видно, запуталась в отношениях со своими подонками. Несколько раз она мне говорила:

— А ты мог бы убить меня? — И долгим взглядом глядела на меня. — Нет, не смог бы, — сама же отвечала себе, — убить человека нелегко.

Во всем этом была невероятная подлость. Во-первых, ясно, что, когда всерьез говорят такие вещи, значит, чувствуют за собой серьезные грехи. Но самое подлое не это. Ее слова надо было понимать так: у тебя не хватит денег, мужества, чтобы купить лицензию на мой отстрел. И самый высокий оттенок подлости: до границ его терпения далековато, значит, можно еще повольничать.

Ты понимаешь, в чисто идейном плане я никогда, никому спуску не давал! А в личном плане сплошь и рядом. Ты замечал такую особенность? Человек по отношению к тебе проявляет огромную бестактность, совершенно точно рассчитав, что тебе не хватит маленькой бестактности в разоблачении его огромной бестактности. И действительно не хватает ее.

Почему? Тут своеобразная логическая цепь. Порядочный человек подсознательно требует от себя полноты справедливости, чем пользуются люди, плюющие на всякую справедливость.

Обычно нам не хватает этой маленькой бестактности в разоблачении наших добрых знакомых и коллег, потому что мы чувствуем, что сами в чем-то виноваты. Теперешняя бестактность нарастала в процессе наших долгих отношений с этим человеком.

Внезапно разоблачив его сегодняшнюю бестактность, мы ставим под сомнение уже давно построенную пирамиду отношений. Сказав человеку, что последние кирпичи этой пирамиды сделаны из дерьма, мы вызываем в нем прежде всего чувство негодования. Он же прекрасно знает, что многие кирпичи этой пирамиды были сделаны из того же материала, что

и последние. Почему же мы до сих пор молчали? Ведь это нечестно, это несправедливо, ведь, если бы мы вовремя сказали правду, он бы не стал тратить время и труды на эту якобы ложную пирамиду!

Конечно, в конце концов мы рвем с ним. Но что он думает о нас? Если наши дела идут хорошо: зазнался, подлец, унижает друга! Если плохо, еще проще: злоба, зависть!

Но я отвлекся, хотя тут похожая схема. Я сейчас не буду говорить, поверь мне, я все о ней узнал. Ее убийство было бы всего лишь маленькой бестактностью разоблачения огромной бестактности ее жизни. Она полностью заслужила казни еще до знакомства со мной. Но мог ли я ее убить? Хотя я был в каком-то безумии...

Однажды мне пришло в голову, что из тюрьмы вернулся ее муж и она тайно встречается с ним. Но нет, я абсолютно точно установил, что он погиб в лагере. За этот год она много раз уезжала к родителям и оставалась там на несколько дней. В первый год она всего два раза ездила туда и оба раза со мной. Я подумал, что она, зная, как ее бедный отец дорожит нашей совместной жизнью, и теперь, собираясь рвать со мной, готовит родителей. Но на этом, может быть не самом страшном, вранье она и попалась.

Как-то приехал ее отец. Зейнаб возилась на кухне, а мы с ним сидели в комнате.

— Слушайте, — сказал он вдруг, — я никак за этот год не мог выбраться в город. Но неужели вы хотя бы на воскресенье не могли приехать к нам?

— А разве вы с Зейнаб не встречались? — спросил я осторожно, чувствуя, что кровь в моих жилах действительно остановилась. Руки и ноги мгновенно одеревенели. Я никогда не думал, что это образное выражение основано на реальном самоощущении человека.

— Где же я ее мог увидеть, — отвечал он, — я в город не выезжал, а вы совсем разленились и ни разу к нам не поднялись.

Отец ее на следующий день уехал, я крепко выпил и стал готовиться к решительной расправе.

— Ты в этом году ездила к родителям или к другим родственникам? — спросил я ее вечером.

— Конечно, к родителям! — сказала она и, не моргнув, посмотрела мне в глаза.

Я дал ей такую затрещину, что она отлетела метра на два. Когда она вскочила, первое, что я увидел в ее глазах, — испуг и уважение. Именно уважение! Я готов был на все. Я подошел к ней, и она вдруг закрылась рукой и сказала:

— Не надо... Я все расскажу сама...

Страх ее меня поразил! Я сам вырос в своих глазах. Рыдая и сотрясаясь от рыданий, она прильнула ко мне, целуя и обнимая. Если б она при этом молчала! Нет! Она стала рассказывать, что из тюрьмы вернулся ее бывший муж, что он ее весь год преследует, грозит убить нас обоих, что она поддавалась его угрозам, но теперь все! Теперь пусть убивает, но она его больше не хочет видеть!

При этом сотрясаясь от рыданий, она все нежнее и нежнее прижималась ко мне. Решение убить ее и решение любить при-

шло почти одновременно. Я раньше никогда не думал, что секс и смерть как-то связаны. Но идея прихода одной жизни разве не подразумевает идею ухода другой? Это, оказывается, так близко, что люди, убивающие своих любовников, иногда просто путают орудие. И разве женщины делают не то же самое, предавая своих возлюбленных? И разве сам я не был преступен, когда женился на ней вопреки воле матери и сестер?

Что это была за ночь! Рыдания, упоения, ее клятвы в вечной верности, и я, лаская ее, думал, что она первый раз в жизни говорит истинную правду, потому что готовился убить ее и был уверен, что до завтрашнего вечера она будет в самом деле мне верна.

Мы решили на следующий день отметить начало новой жизни. Она пошла на работу, а я накупил вин, закусок, фруктов. Мы решили поехать за город, где мы иногда и раньше проводили время. У нас было два довольно глухих местечка в зарослях дикого орешника, обвитого лианами. Там мы бывали раз десять, выпивали, закусывали и любили друг друга, иногда под взглядом удивленной белки, качавшейся над головой на ореховой ветке.

Там я решил убить ее. Днем я еще раз выпил. Это взбодрило меня. Перед убийством я решил окончательно напиться. Хорошая выпивка, думал я, придаст мне силы для этой необходимой операции и избавит ее от лишних страданий. Вина было достаточно. У меня был большой фамильный нож, доставшийся мне от предков. Этим ножом я решил убить ее здесь.

При ее склонности к безумным авантюрам некоторое время можно было придерживаться версии, что она, видимо, с кем-то сбежала. А там, думал я, все порастет травой забвения.

Странные видения носились в моей голове. Иногда мне мерещилось, что я ее уже убил и в то же время, взяв ее за руку, подвожу к ее собственному трупу и говорю:

— Ну что, смог я тебя убить?

Она пришла с работы, мы поймали такси, при этом я обратил внимание на то, чтобы таксист был незнакомым. Таким он и оказался. И он нас повез. Заметив в корзине бутылки с вином, он пришел в некоторое возбуждение, оглядывался на Зейнаб, шутил, предлагал приехать в назначенное время. Разумеется, от этой услуги я отказался. Зейнаб, словно предчувствуя, что будет, сидела на заднем сиденье притихшая.

Я показал таксисту, где надо свернуть с шоссе. Одно из двух наших мест было поближе, но там недалеко была табачная плантация, и иногда на ней работали крестьяне. Другое было подалее.

Метров за двести от нашего первого укрытия я остановил такси, доехать туда было нельзя, и пошел посмотреть, есть ли люди на плантации. Если есть, для полной безопасности, решил я, надо ехать дальше.

Я не прошел и пятидесяти шагов, как услышал громкие голоса крестьян, ломавших табак. Я повернул обратно. Метров за десять от такси я остановился как громом пораженный. Сначала я заметил, что таксист, обернувшись, улыбает-

ся Зейнаб, а она ему что-то говорит. И вдруг я вижу, что она наклоняется и целует его. Не верить своим глазам было нельзя. Таксист расхохотался и рассеянно посмотрел из такси. Но меня не заметил. И тут она, наклонившись, снова его поцеловала!

И вдруг с необычайной ясностью я понял комизм моего кровавого решения. После этого таксиста убивать ее было — все равно что казнить цыганку, за то что она украла курицу.

И я сразу догадался, почему на самом деле она притихла, когда мы ехали сюда. Просто этот дурачок ей понравился. Я повернулся и через двадцать минут выбрался на шоссе и на попутной машине добрался домой.

Часа через два после моего приезда она позвонила и стала лепетать, что они с таксистом повсюду меня искали, но не могли найти. Теперь мне было все безразлично.

— Долго же вы искали, — сказал я, не исключая, что она с таксистом довершила пикник, — забирай вещи и уходи!

Последовало продолжительное молчание в трубке.

— А я знаю, что ты хотел сделать, — вдруг сказала она.

— Что? — спросил я и вспомнил, что в корзине остался нож. Мы его раньше никогда не брали с собой.

— Ты хотел меня убить, — сказала она, — я это поняла еще ночью.

— Зачем же ты поехала? — спросил я.

— Я знала, что у тебя не хватит смелости, — сказала она, — убить человека нелегко... Я хотела, чтобы ты сам понял, что у тебя на это не хватит смелости.

— Забирай вещи и уходи, — сказал я и положил трубку.

Голос ее был насмешливым, когда она вдалбливала мне, что у меня не хватит смелости. И тогда это было очень неприятно слышать. Ты же знаешь, что я не из слишком робких людей. После моей книги о храмах я был на совещании историков в Эндурске. Пригласили меня, конечно, не из Эндурска, а из Тбилиси. Когда я вышел на трибуну делать свой доклад, все местные историки демонстративно встали и скорбной процессией вышли из помещения. Некоторые мои коллеги удивлялись, как я после этой книги вообще осмелился приехать в Эндурск. Но борьба за истину, по моему, — единственный смысл жизни мужчины. И я не испытывал ни малейшего страха в Эндурске. Но тогда слова ее меня сильно задели, и, кто знает, может быть, она и была права.

За вещами она так и не пришла. Пришла ее родственница и забрала их.

Через полтора года я женился, у нас родился ребенок, и все осталось позади, как сон безумца. После того как я женился, она вдруг стала звонить. Звонила, конечно, подшофе и говорила моей жене какие-то глупости. Если я подымал трубку, она молчала. Жена моя боялась ее как чумы.

Я кое-что слышал о ней стороной. Вершиной ее карьеры был один знаменитый гангстер. После его ареста она совсем покатила. Несколько раз попадала в милицию. Отец ее уволил домой, но она каждый раз сбегала в город. Наконец, не выдержав этого позорища, он пристрелил ее у себя во дворе...

Кстати, его скоро должны выпустить из тюрьмы. Неужели ты не слышал об этой истории? Она же из Чегема?

— Нет, — сказал я, — видно, я тогда был в Москве. Но сейчас тебе ее не жалко?

— Нет, — сказал он. — Самая лживая в мире гуманистическая легенда состоит в том, что женщину делают проституткой социальные условия. Это так же нелепо, как сказать, что некоторые умирают от обжорства, потому что нет общественного контроля за питанием людей. Женщину делает проституткой именно желание быть проституткой. Споткнуться может любой человек. Дальше все зависит от него. Или у него есть воля выпрямиться, или он находит удовольствие в этом спотыкании.

Тут Андрей неожиданно перешел на критику «Воскресения» Толстого. Видно, он об этом много думал. Некоторые его аргументы показались мне достаточно сильными. Суть их сводилась к тому, что дело не в Нехлюдове, а в ней самой. Не подвернись Нехлюдов, нашелся бы другой. Зачем он (то есть Толстой) так подчеркивает брызжущий чувственностью облик Катюши Масловой? Ведь это, согласитесь, усиливая соблазн, снижает вину Нехлюдова? А ведь Толстой никак не хотел снижать вину Нехлюдова! Чувство правды заставило его, частично снизив вину Нехлюдова, обойтись без дальнейшего описания жизни Катюши, сделать эту жизнь само собой разумеющейся. Сильный шахматный ход, хитрая жертва, приводящая в дальнейшем к выигрышу замысла. Если бы Толстой шаг за шагом показал, как она жила и что она в действитель-

ности чувствовала, будучи еще прекрасной и молодой проституткой, у читателя почти не осталось бы ощущения вины Нехлюдова.

— Да что тут говорить, — воскликнул он с жаром, — она же просто окосела от разврата!

Тут он, конечно, сгоряча передернул, но прозвучало это смешно, и я расхохотался. Андрей посмотрел на меня и мрачно кивнул, по-видимому, поняв мой смех как подтверждение убийственной точности своего последнего аргумента.

...Все круче и круче тропа, все мощнее и мощнее стволы буков, освещающие сумрак леса своим серебристым сиянием. Каждый удар сердца ощущается во всю грудь. И с каждым ударом он выталкивает из тела перегревшийся жир размеренной городской жизни.

Мы опять остановились передохнуть и покурить. Было так хорошо расслабиться, постоять и покурить, ни о чем не думая под освежающие душу струи птичьего щебета.

— Между прочим, — Андрей махнул рукой наверх, — здесь совсем недалеко развалины крепости апсилов. Предков абхазцев. Второй век нашей эры. Может, подыдемся?

— Ради Бога, — сказал я, — в другой раз.

— Я пятый год выбиваю деньги на раскопки, но пока не удастся, — добавил он, — здесь, я уверен, зарыт настоящий клад по древнейшей истории Абхазии.

Мы двинулись дальше. И вдруг из-за поворота тропы — две навьюченные лошади, привязанные к зарослям кликач-

ки. А рядом у подножья особенно могучего бука два человека сидят на бурке и перекусывают.

Одного из них я сразу узнал. Это был Кунта. Он ничуть не изменился, хотя я его не видел множество лет. Бедный Кунта! Горбатый всю жизнь несет на себе свой горб как холмик собственной могилы. Сейчас мне показалось, что горбик его слегка ссохся, осел от времени, как холмик давней могилы.

Спутник Кунты был мне незнаком, но, оказывается, он хорошо знал Андрея. Увидев нас, они оба встали, поздоровались с нами за руку, пригласили перекусить.

Выяснилось, что они пастухи, спустившиеся в Чегем, чтобы перегнать быков на летние пастбища. Сейчас стало слышно, как, лениво разбредаясь по склону, быки то здесь, то там потрескивают в кустах.

— Здравствуй, наш зять, — не без некоторой насмешливости сказал второй пастух, здороваясь с Андреем, — что вас сюда занесло?

Андрей объяснил, что мы поднимаемся к святилищу, где лежат наконечники стрел.

— Я слышал об этом святилище, — сказал он, — но это же очень далеко отсюда?

— Нет, — сказал Андрей, — а где вы остановились?

— Мы прямо под ледником, — сказал второй пастух.

— Святилище юго-восточной ледника, — пояснил Андрей, — километров восемь от него.

— Слышал о нем от стариков, но сам не видел, — признался второй пастух с некоторой уважительностью, как мне по-

казалось, не столько к самому таинству святилища, сколько к его предполагаемой малодоступности.

Звали второго пастуха Бардуша. Это был человек лет шестидесяти, высокий, сухощавый, крепкий, с маленькими яркими глазами и с той особой упрямой посадкой головы, которая, как мне кажется, свойственна людям, давно и неуклонно следующим принятому решению.

Андрей достал из вещмешка бутылку водки, и мы присели. Посреди бурки на расстеленном полиэтиленовом пакете были разложены помидоры, огурцы, разрезанный сыр, чурек.

Я дал Кунте достаточно времени узнать себя, но он так и не узнал.

— Кунта, не узнаешь меня? — спросил я. Кунта бросил на меня слабый свет своих выцветших синих глаз и не узнал. Свет глаз его был слишком слабым.

— Не узнаю, — сказал он, — не взыщи.

— Я же сын Камы, — сказал я.

— Вот оно что, — вздохнул Кунта и добавил: — А я слышал, что ты в Москве пропал.

— Как видишь, не совсем пропал, — сказал я.

— Так ты внук Хабуга! — воскликнул Бардуша, отвязывая от пояса кружку, прикрепленную к нему. — Такого хозяина, как твой дед, у нас в Чегеме не было и не будет!

— Как там в Москве? — спросил Кунта. — Того, Кто Хотел Хорошего, но не Успел, предали земле или нет?

— Нет, — сказал я, — не предали.

Кунта вздохнул с покорным видом, как бы набираясь терпения еще лет на двадцать.

— Оставь! — отрезал Бардуша и одним движением сдернул с бутылки жестяную пробку. — Сколько можно об этом! Его никогда не предадут земле!

Он налил водку в кружку и протянул как бы нам обоим, чтобы мы сами выбирали, кому пить: пейте, вы гости!

Я был старше Андрея и, взяв кружку, протянул ее Кунте как самому старшему, но он отказался. Я выпил. Закусывая свежим сулугуни, огурцами и помидорами, мы поочередно пили из кружки.

— Что ж ты не спрашиваешь про Расима, — обратился Бардуша к Андрею и откинулся на ствол бука, под которым сидел, — он уже полгода как вернулся. Раньше срока его выпустили...

— Вот и слава Богу, — сказал Андрей и, взяв в руки кусок сыра и ломоть чурека, встал, — пока вы здесь сидите, я прыскачу на развалины крепости...

Он стал быстро подыматься по склону.

— Собираешься ее братьям отдать? — насмешливо бросил ему вслед Бардуша.

Андрей, обернувшись, улыбнулся и махнул рукой.

— А за что он ее убил? — спросил я.

— Ну, это долгая история, — сказал Бардуша, — это уже было после Андрея. Она связалась с самыми дрянными людьми, какие только могут быть. Пила вино, кололась этим самым... По-абхазски даже слова такого нет... Дурманом, от ко-

того человек бесится... Отец дважды ее вывозил из города, но она уже не могла жить в деревне. Сбегала. Такого позорища ни один абхазец не испытал, как ее отец. В третий раз он ее привез домой и веревками привязал к кровати. До того дело дошло! Она как зверь в первую же ночь разгрызла веревки и хотела уйти. Видно, бедный Расим что-то почувствовал. На рассвете проснулся и вышел на веранду. Видит — дочь переходит двор.

— Подожди! — кричит. Она не оглянулась. — Стой! — кричит. Она не останавливается и не оглядывается. Даже скотина оглянется на оклик хозяина. Он вошел в комнату, снял со стенки ружье и прямо с веранды пристрелил ее у калитки.

Мы с ним ближайšie соседи. Слышим выстрел и вопли ее несчастной матери. Мы прибежали, а она уже мертвая и мать над ней рвет волосы...

— Одним словом, — продолжал Бардуша, — был суд в Кенгурске. Ему дали только шесть лет. Учили, что он намучился с нею. Теперь он вернулся и живет как царь! Никто его не позорит. Но убить дочку нелегко! Шутка ли — дочку убить!

Я так думаю, у человека на лбу написано, что с ним должно случиться. Только никто вовремя не может прочесть эту надпись. Я вот про себя скажу. В начале войны мне было лет двадцать. Я работал учетчиком в правлении колхоза. Кто-то ограбил кассу, и меня арестовали вместе с бухгалтером. Потом через много лет узнали, кто ограбил, но это совсем другая история. Я всю войну без вины просидел.

Четверых моих родных братьев, больше в нашем роду никого не было, взяли в армию, и все четверо один за другим погибли на фронте. Никто из них не был женат, детей не было. Если б меня не арестовали, и я бы погиб на фронте. Это Бог захотел, чтобы через мой невинный арест сохранить наш род. Теперь у меня трое мальчиков и девочка. С тех пор как я вернулся из тюрьмы, я в контору ни разу ногой не ступил. Жена получает все, что мне положено. Пастухом работаю, хотя небольшое образование имею, учетчиком был. Горы, чистый воздух — благодать! Что бы со мной ни случилось, не страшно. Дома трое мальчиков.

То же самое эта Зейнаб. С детства она была, как цветок, такая красивая! Круглая отличница с первого класса до девятого! Но уже десятилетней девочкой, бывало, встретишь ее на дороге, или на дереве, скажем, сливы рвет, или у родника, смотрит прямо в глаза своими ведьминскими глазами. Даже не по себе становится! Слушай, ты ребенок, как ты смеешь так мужчине в глаза смотреть?! Нет, смотрит!

А потом, когда ей исполнилось пятнадцать лет, — все началось. Чем началось, тем и кончилось. Однажды ее бабушка исчезла из дому. Старуха исчезла, и все! Нет старухи! Позор семье! Дали знать родственникам в соседние села. Думают, может, на старости лет сошла с ума и, никому не сказав ни слова, укочыляла к родне. Нет. Нигде нет.

И вдруг на четвертый день по запаху нашли. В лесочке недалеко от дома она лежала в кустах с проломанной головой.

Черви уже были в проломе. Позвали твоего дядю, нашего Кязыма, он, умница, за одну минуту все определил. Если бы у вас там в Москве сидел человек вроде нашего Кязыма, мы бы уже давно к чему-нибудь вышли.

Теперь, как определил? Ему сказали, что старуха лежала в кустах в безобразном виде. Как упала, так и лежала. Подол задрался. Ужас. И по этой причине Кязым сразу все понял, что к чему. Он понял, что, если бы какой-то чегемец, озверев, убил старуху, он бы никогда труп в таком виде не оставил. Он бы ее обязательно, по нашим обычаям, уложил бы в приличном виде. Значит, ее убил какой-то чужеродец или порченный абхаз.

Как раз такой парень жил в Чегеме. Это был городской хулиган, который, скрываясь от милиции, жил уже несколько месяцев у родственников. Теперь, за что убил? Старая крестьянка, что у нее можно взять? Ничего. Единственное ее богатство — красивая внучка. Но если бы он пытался насилловать внучку, она жива-здоровая, рассказала бы. Значит, они снюхались, и старуха их увидела, когда они этим самым делом занимались. Если бы она просто их увидела вместе, он бы ее не убил. И Кязым обшарил все кусты вокруг того места, где лежала старуха, и нашел их логово, устланное папоротником. Папоротник уже коричневый был, значит, больше месяца они его мяли. А тогда никто не понимал, что ищет Кязым. Значит, старуха их застукала, он ее ударил камнем, и она прошла еще шагов двадцать, а потом упала. Так понял Кязым, так оно и было.

Кязым никому ничего не сказал, пришел в их дом, при всем народе взял Зейнаб за руку, отвел в сторону и, назвав этого парня, так ее обманул:

— Твой хахаль мог бы под твою задницу подложить чего-нибудь помягче папоротника. Он во всем сознался. Он говорит, что это ты его заставила ударить старуху. Если ты сейчас не скажешь правду, сегодня же тебя арестуют вместе с ним.

И эта дуручка, конечно, во всем созналась. Она сказала, что он сам вскочил и ударил ее камнем, когда старушка, раздвинув кусты, закричала, увидев их. Так оно и было.

Оказывается, старушка давно что-то заподозрила и послеживала за этой маленькой ведьмой. Она заметила, что внучка по вечерам, выгоняя телят из леска, где они паслись, все время выходит с телятами в одном и том же месте. Ни выше лесом, ни ниже. Потом домашние вспомнили, что она им об этом говорила, но они решили, что это старческая глупость.

Но старушка была умной и погибла из-за этого. Оказывается, Зейнаб находила телят в лесу, пригоняла их к этому логову, там она встречалась со своим бандитом, а потом выгоняла телят из лесу и шла домой. И потому так получалось, что телята выходили из лесу в одном и том же месте. И вот старуху этот мерзавец убил, а эта ведьма и глазом не моргнула, когда все ее родные сбились с ног, ища старуху.

Парня этого, конечно, арестовали, а Зейнаб, чтобы не позорить семью, отправили в город к его родителям, чтобы она считалась его женой и дожидалась его из тюрьмы.

Но она, конечно, долго там не продержалась и ушла к своим родственникам, жившим в городе. Потом встретила Андрея. Он полюбил ее и взял в свой дом как жену.

Бедный Расим, когда они собирались жениться, пришел ко мне за советом. Он не знал, как быть. Сказать то, что случилось с ее бабушкой, — как такое скажешь про свою дочь?! Не сказать — некрасиво, все равно рано или поздно от людей узнает.

Я ему посоветовал ничего не говорить. Они женятся по-городскому, сказал я, сватов к тебе никто не засылал. Он уже так и так живет с твоей дочкой. Дай им согласие и подымайся в Чегем! Может, она с ним человеком станет.

И вот этот русский парень женился на ней и, чтобы найти с ней общий язык, выучил абхазский. Голова! Ему надо было выучить ведьминский язык, чтобы иметь с ней дело, но откуда он знал...

Я не заметил мгновения, когда в рассказе Бардуши появились интонации чегемского сарказма.

— Тебя, дурочку, — продолжал он, — ученый человек сделал своей женой, а где твоя благодарность? И какой ученый, который твой же народ защищает в своих книгах от инородцев! Один Аллах знает, что он натерпелся с ней! То уйдет к родственникам, то придет! И конечно, в конце концов она его довела до того, что он соседям отдал нашу Великую Абхазскую Стену! Хорошо еще, что он нас всех не связал и не угнал туда! Другой на его месте убил бы ее своими руками!

И все-таки наш Андрей настоящий мужчина. Выпьем за него! Несмотря на все, что случилось, он нашел себе прекрасную жену, родил прекрасного ребенка и теперь живет как царь!

Бардуша налил себе водки и выпил за Андрея и его прекрасную семью.

Еще пафос тоста витал в воздухе, когда Бардуша, и до этого несколько раз косившийся на лошадь, сказал:

— Что-то мне не нравится задняя нога этой лошади.

С этими словами он легко вскочил, вынул из чехла, висевшего на поясе, длинный нож, подошел к привязанной лошади, заставил ее поднять заднюю ногу и стал ножом ковырять в подкове. Ковыряясь, он вполголоса исчерпал все абхазские проклятия в адрес кузнеца и в конце неожиданно припечатал его русским словом:

— Халтурчик!

Лошадь, повернув голову и время от времени вздрагивая, терпеливо следила за ним.

Когда Бардуша встал и отошел от ствола бука, я увидел, что на том месте, где он сидел, прислонившись спиной к дереву, было вырезано на коре: «Чунка 1940 г.».

Странное чувство охватило меня.

— Это наш Чунка? — спросил я у Бардуши. Он поднял голову и, продолжая держать лошадиную ногу, проследил за моим взглядом:

— Конечно, а чей же еще...

Отковырнув ножом гвозди, а потом и самую подкову от копыта, он отбросил ее и, выпрямившись, вложил нож

в чехол. Гроыхнул гром. Скользя и притормаживая на россыпях колючей кожуры буковых орешков, сверху скатился Андрей.

— В путь, — сказал Бардуша, — как бы ливень не застал нас в дороге.

Собрав остатки закуски в пакет, он сунул его в один из мешков, навьюченных на лошадь. Отряхнул бурку, тщательно сложил ее и приторочил к седлу.

Я все сидел и глядел на имя Чунки, вырезанное на древесной коре. Оно вытянулось в длину, оплыло растущей корой, но все еще было ясно различимо, словно упорно продолжало ждать своего хозяина, погибшего в начале войны в Белоруссии.

Я вспомнил далекий довоенный день. Я совсем еще пацан в обществе Чунки и его друзей. Он ведет нас на какую-то далекую заброшенную усадьбу, где растет грушевое дерево, плоды которого, по его расчетам, к этому времени должны были поспеть.

И как это бывает в детстве, поход наш кажется мне бесконечно долгим. Мы проходим через какое-то ущелье, где в скале чернеет таинственная дыра. Мы закидываем камни в эту дыру и слушаем, как они, все глуше и глуше пощелкивая о стены, проваливаются в бездонную глубину и наконец где-то там затихают. Чунка говорит, что, если удачно бросить камень и он доберется до самого дна, можно услышать плеск воды. Но сколько мы ни вслушивались в дыру, наши камни так ни разу и не бултыхнулись в воду.

Потом, шумно ломая ветви на склоне ущелья, мы едим лавровишни, срывая с плотных кистей вязко-горьковатые ягоды, терпкие, мажущие губы. А потом, раздевшись догола, бросаемся в бодрую воду ледяного ручья. И я вижу, как будто это было вчера, голые, прекрасные тела юношей, и среди них самый стройный и высокий Чунка, то и дело выскакивающий из воды в позе копыеносца любви, словно пытающийся закинуть свое копьё куда-то далеко через скалы ущелья и под хохот друзей кричащий неведомое имя:

— Анастасия!

Влажное эхо долго и гулко перекатывает его голос в замшелом сумраке ущелья, перекатывает, словно неохотно смиряясь с неуместной здесь силой его молодой тоски:

— А-нас-та-си-я!!!

Как давно это было!

...Кунта, покрякивая: «Ор! Хи!» — согнал всех быков на тропу и повел их впереди себя. Бардушка отвязал лошадей и вручил мне поводья одной из них. Мы двинулись следом. На сухой, прошитой корнями деревьев земле то и дело слышится дуплистый звук: гуп! гуп! гуп! В мокрых впадинах: чмок! чмок!

Быки впереди иногда разбредаются, и Кунте приходится то опускаться ниже тропы, то подыматься выше, чтобы подогнать их к стаду. Огромный рыжий бык, по-видимому вожак, ведет себя беспокойно. То раздраженно бьет рогами соседних быков, то, останавливаясь, бодает гору, словно пытается поднять ее на рога и перебросить за спину, чтобы ее не было видно. Долгое однообразие подъема ему явно надоело.

Наконец в лесу мелькнула лужайка, как пробный вариант альпийских лугов. Через десять минут мы вышли из букового леса на гребень каменистого отрога, и перед нами распахнулась гряда Главного Кавказского хребта, последние исполтинские вздоги земли, ее живые гримасы перед окончательным окаменением.

Высокотравье гребня, на который мы вышли, было радостно измазано всевозможными цветами. Голубые горечавки, желтые, синие, белые крокусы, бледные анемоны, золотистые лапчатки и даже цыплячьи стаи ромашек, кажется, смущенно улыбающиеся тому, что забрались так высоко.

На склонах гребня, выделяясь теменью зеленых крон, тесня друг друга ветвями, вымахивали мощные пихты.

Мы остановились передохнуть. Быки жадно уткнулись в траву, то и дело переходя с места на место, словно обалдев от обилия трав и не зная, с какого конца взяться за них.

Пиршество глаз распахнутым пространством и пиршество дыхания новым воздухом!

Вот они, альпийские склоны, прорезанные клиньями снегов, из-под которых рвутся бушующие водопады и гигантскими скачками, укорачивая себе дорогу, уносятся вниз. После долгого, утомительного пути хочется подставить под них рот, хочется срывать руками эти великанские гроздьи прохлады.

Альпийские луга! Это вечная весна посреди лета, которую природа припрятала для себя, чтобы не забывать, с чего она начинала. Это струенье легкого меда цветущих трав, настоящее на льдах вершин. Это запах цветов в самом чистом виде,

потому что здесь уже исключены всякие другие запахи. Кухня земных запахов осталась далеко внизу.

А этот запах хочется глотать, сосать, держать за щекой его свежесть, как в детстве прохладную сладость леденца. Ты пьешь и пьешь его и удивляешься, что он не кончается, потому что там, внизу, мы привыкли, что все прекрасное недолговечно.

Альпийские луга! Это самый верхний запах земли, сливки земных запахов, потому что дальше только камни и небо. И небо нюхает этот запах, что дает ему силы, иначе не объяснишь, терпеть вонь наших долинных дел. Не потому ли облака, как белые быки, медленно пасутся на зеленых склонах?

Однако небо не только нюхало и даже не столько нюхало запах альпийских цветов, сколько готовилось к грозе. То и дело погромыхивало.

— Надо спешить, — сказал Бардуша, кивая на черную тучу, — как бы это чудище нас не настигло.

Мы двинулись дальше. Лошади и быки, то ли чувствуя близость конца пути, то ли опасаясь приближающейся грозы, шли очень бодро. Через полчаса закапали редкие холодные капли. Дождинки не падали, а как-то рыхло шмякались, как некий полуфабрикат, словно небо еще не решило, каким из трех своих способов обрушиться на землю.

— Стойте, будем выгружаться, — сказал Бардуша.

За несколько минут он развьючил обеих лошадей и все имущество прикрыл огромной плащ-палаткой. Пока он раз-

грузжал лошадей, дождь перешел в сплошной ревуший ливень. Мы с Андреем за минуту вымокли до нитки. Одежда прилипла к телу, и ледяные струи уже стекали к ногам. Наконец Бардуша кинул нам бурку, и мы укрылись.

Там, в небесах, это обстоятельство не осталось незамеченным. Как только мы укрылись, грянул гром, и небо раскололось как гигантский грецкий орех. Посыпался град. С какой-то бесовской точностью градины угадывали, где именно под буркой расположена моя голова, и достаточно больно лупили по ней. Мне показалось, что расположение головы Андрея под буркой они хуже угадывают, и это было почему-то обидно. Я потихоньку сдвинул голову под буркой, при этом стараясь не разрушить форму выпуклости, где до этого находилась моя голова. Маневр, как мне показалось, вполне удался. Несколько секунд градины били мимо моей головы, ограничиваясь головой Андрея как главного виновника нашего похода.

Но вдруг какая-то градина щелкнула меня по голове словно с радостным возгласом: «Вот он где!» — и вслед за ней целые пригоршни забарабанили по моей черепной коробке.

Между тем гром грохотал все чаще, градины хлестали по траве, позвякивали на камнях и, иногда рикошетируя, били по ногам. Быков за белой движущейся пеленой не было видно. А лошади испуганно косились и от ударов градин дрожали электрической дрожью. Внезапно с грохотом грома одна из них вырвала поводья и, словно обезумев от ледяных щелчков, выпрыгнула за гребень отрога.

— Держи! — крикнул мне Бардуша.

Я выскочил из-под бурки и схватил поводья второй лошади. Бардуша скинул бурку и ринулся за первой. Крутой травянистый склон, куда выпрыгнула лошадь, метров через двадцать обрывался в пропасть.

Крепко придерживая поводья, я подошел к краю гребня. Андрей тоже подошел. То скользя копытами по мокрому склону, то на мгновение притормаживая, лошадь сползала к обрыву.

Выпрыгнув на склон, Бардуша шлепнулся на спину, покатился, но успел сесть и, цепляясь руками за траву, дошел до лошади. Он схватил ее за хвост и, продолжая держать одной рукой, изловчившись, другой рукой дотянулся до поводьев. Дотянувшись, бросил хвост, повернул ей голову и в двух метрах от обрыва вспрыгнул на седло. Его бешеный понукающий голос перекрывал ледяную бурю.

— Чоу! Чоу! Чтоб тебя дьявол! — кричал он и бил ее по голове кулаком.

Лошадь сделала несколько шагов вперед, вдруг остановилась, отмахиваясь головой от градин, как от оводов, и, словно уносимая невидимым течением, стала медленно пятиться назад. Почти на месте перебирая ногами, то передние, то задние сорвутся, она медленно, страшно медленно продолжала пятиться вниз. «Прыгай, пока не поздно!» — хотелось крикнуть, но, онемев от страха, мы продолжали следить за человеком и лошастью.

Наконец она стала. Несколько секунд она стояла на месте, все так же быстро перебирая ногами, словно нащупывала

опору. Бардуша неистово гикнул, и лошадь, словно найдя угол, при котором она сможет одолеть крутой, скользкий склон, рванулась вверх и наискось, трудными рывками вывалилась на гребень.

Минут через десять, когда небу оставалось разве что швыряться камнями, град неожиданно кончился, и сквозь отошавшие облака прохлынуло солнце. Голубые пригоршни градин холодно сверкали в мокрой побитой траве. Смертельно окоченевшие, мы двинулись дальше.

Километра за три до пастушеской стоянки один из быков, худой, замордованный работой, стал останавливаться, а потом и вовсе лег. Попытки заставить его встать ни к чему не привели. Безразличный к понуканиям, он лежал, тяжело отдуваясь, и клейкая струйка слюны свисала у него с губ.

— Дай ему отдохнуть часа два, а потом пригони, — сказал Бардуша Кунте. Он оставил ему бурку и большой кусок чурека, из чего я заключил, что Кунта может застрять здесь и на гораздо большее время.

Тронулись дальше. Снова дождь. Перестал. И вот уже на пригорке показался пастушеский балаган, крытый дранкой. Крыша его уютно дымилась. У входа в шалаш стоял человек и смотрел в нашу сторону. Большая черная собака, издали обливая нас, побежала нам навстречу. Но, узнав Бардушу, радостно завиляла хвостом, запрыгала вокруг него, подскочила к нам, неряшливо обнюхала нас, как бы говоря: «Пустая формальность!» — и снова отбежала к Бардуше.

Вслед за быками мы поднялись к балагану. Тот, что стоял у входа, оказался старшим пастухом. Это был человек лет семидесяти с лишним, плотный, небольшого роста, с умными, спокойными глазами на круглом лице.

Он поздоровался с нами за руку, как истинный патриарх, не выразив ни малейшего удивления по поводу нашего прихода, ибо удивление могло быть понято гостями как отдаленный намек на возможность стеснить обитателей балагана. Звали его Чанта.

— А Кунта что, остался в Чегеме? — спросил он у Бардуши.

Тот объяснил ему, где Кунта, и они вдвоем стали развьючивать лошадей. В двух загонах, огороженных большими белыми камнями, мычали коровы и телята. Появление отцов и мужей не вызвало никакой, во всяком случае заметной, радости среди жен и детей. Быки отвечали тем же, если не делать скидку на их усталость. Некоторые из них начали пастись, а некоторые тут же разлеглись возле шалаша и загонов.

Косогор луга за балаганом в какой-то фантастической близости переходил в белую громаду ледника, из которой высовывалась черная скала. Вершины гор с востока были озарены райским золотом уже зашедшего для нас солнца.

Вдруг раздался легкий топот, и по косогору луга вереницей, держась друг за другом, промчались ослики и скрылись за бугром. Потом, видимо, описав полукруг, они появились далеко внизу и там такой же ровной вереницей пересекли косогор и скрылись за откосом. Было что-то странное в этой их

пробежке, казалось, они с некоторой экономней сил мчатся к какой-то осознанной цели.

— Чего они бегают? — спросил я у Бардуши, когда ослики промчались над шалашом.

— У них сейчас гон, — сказал Бардуша, снимая мешок с лошади, — день и ночь за ослицей бегают.

Бардуша и Чанта внесли мешки в балаган, сняли с лошадей седла и отпустили их. Мы с Андреем вошли следом. Широкий проход и лежанка во всю его ширину. Она была покрыта бурками и шкурами животных, из-под которых кое-где высовывались зеленые ветви рододендрона. В головах — седла. Над ними — ружья.

Слева от входа горел костер, и пастух спиной к нам сидел на деревянном обрубке, склонившись над большим чугуном котлом, стоявшим на медленном огне, голыми по локоть руками, как родовспомогатель, помогал рождению сыра из молока. Оглянувшись на нас, он привстал, но руки, погруженные в котел, продолжали лепить нарождающийся сыр.

— Кончай, Хасан, — сказал Чанта, — люди промокли, разведи хороший огонь.

— Сейчас, — сказал пастух и, еще минут пять повозившись руками в котле, вытащил из него большой белый ком сочащегося сыра, переложил его в плетеную корзину, стоявшую рядом с ним, и повесил корзину на деревянный крюк, вбитый в стену. Из корзины равномерно закапало.

Над самым костром под крышей висело несколько задымленных кусков копченого мяса. В левом углу стояла кадушка

для кислого молока, или мацони, как его у нас называют. Сверху на доске, перекрывающей угол, лежали круги уже готового сыра, аппетитно прокопченные дымом до рыжего, телесного цвета.

Пастух приподнял тяжелый котел, вынес его из балагана и вылил снятое молоко в долбленное корыто, стоявшее у входа. Он вошел с пустым котлом, и стало слышно, как собака жадно лакает из корыта.

Хасан внес в балаган охапку дров, разгрел жар, пододвинул головешки, наложил сверху поленья, и через минуту загудел веселый огонь. Мы с Андреем разделись до трусов и расстелили на лежанке возле огня свою одежду. Бардуша, не раздеваясь, пододвинулся к костру и задымился паром. Через полчаса сухие, в сухой одежде, мы сидели возле огня.

Хасан поставил на огонь котел для варки мамалыги. Он снял из-под крыши один из кусков копченого мяса, аккуратно насадил его на деревянный вертел, отгреб жар от костра и, приладив вертел к полену, стал жарить мясо, покручивая вертел, щурясь и отворачиваясь от дыма. Вскоре мясо зашипело, и жир, капающий в жар, вспыхивал короткими голубоватыми вспышками. В ноздрях защекотало.

Потом, прислонив к стене вертел с недошипевшим мясом, он быстро приготовил мамалыгу, снял со стены висевший на ней легкий столик, поставил его перед нами, нашлепнул мамалыжной лопаточкой дымящиеся порции мамалыги на чисто выскобленную доску столика, разделил мясо, с нешуточной строгостью взглядывая в него, чтобы не ошибиться и са-

мые лучшие куски придвинуть гостям, нарезал копченого сыра, который мы тут же растыкали по своим порциям дымящейся мамалыги, чтобы он там размяк, и, сдерживая торопливость, приступили к еде.

После долгой дороги это копченое мясо с обжигающей пальцы мамалыгой, этот размякший, пахучий альпийский сыр показались мне необыкновенно вкусными. Да еще сверх этого по миске густого кислого молока. Ледяное мацони с горячей мамалыгой довершило наш прекрасный пастушеский ужин.

После ужина, узнав наконец о причине нашего прихода в горы, Чанта сказал, что слышал от своего отца об этом святилище, но сам его никогда не видел.

— Это же, я так думаю, — сказал он, взглянув на Андрея, — очень далеко отсюда.

— Нет, — сказал Андрей, — километров семь-восемь... Вон туда...

Он показал рукой.

— Может быть, может быть, — согласился Чанта, — вы ученые люди, вам видней.

— Медведи не беспокоят? — спросил я.

— В этом году пока нет, — сказал Бардуша, — а в прошлом один раз приходил. Тогда у нас буйволы были, сейчас мы их оставили дома.

Так вот. Я шел с дровами и проходил тут внизу, где паслись буйволы. Слышу, один буйвол фырчит и фырчит. Я бросил дрова и стал подходить к нему. Это самый сильный наш

буйвол. Боевой. Подхожу. Не подпускает. Фырчит и фырчит. Шея в крови. Я долго-долго ласковыми словами уговаривал его. Наконец подпустил. Вижу, с обеих сторон шея расцарапана медвежьими лапами. Но раны, слава Богу, неглубокие.

Я осмотрелся и заметил, что склон в одном месте разрыт медвежьими когтями и трава прямо влипла в землю от его тела. И я понял, что случилось. Среди буйволов был буйволенок. Медведь, наверное, хотел напасть на него, а этот его не пустил. Он ударил его и рогами прижал к земле. Так прижал, что медведь ничего не мог сделать и только искогтил землю как граблями. Потом ушел. Может, буйвол хотел разогнаться и еще раз его ударить, может, еще что. Не знаю... В тот же день нам передали, что у пастухов, которые стоят недалеко от нас вот за этой горой, медведь зарезал телку. Я уверен — это был он. Здесь у него ничего не получилось, вот он и пошел туда.

— Как дела в колхозе? — спросил я у Чанты.

— Сейчас неплохо, — кивнул он, — жаловаться не можем. Кто не ленится — хорошо зарабатывает. Глупости, конечно, есть. Вот, например, на днях должен приехать из Чегема госконтроль. Одному нашему грамотному дураку такое имя сейчас дали. Он должен проверить, не прячу ли я сыр, не занимаю ли удои. А как он может проверить, если я знаю, что он не умеет доить коров? Если я говорю, такая-то корова столько молока дает, а вот эта столько-то, ты, чтобы проверить меня, сам должен подсесть под нее и надоить. Тогда видно будет, правильно я говорю или нет. А так он все равно запишет то,

что я ему скажу. Значит, проверка для бумаги! И так многое еще делается для бумаги...

— Вот я чего никак не пойму, — сказал Бардуша, взглянув на меня своими яркими, твердыми глазами, — сейчас у нас в колхозе такой закон ввели. Кто даст государству тонну мяса в год — и хорошие деньги за это получит, и полностью освобождается от всех колхозных работ. Выходит, такой колхозник на самом деле единоличник. Тогда зачем нам надо было столько времени полоскать мозги, если мы пришли к тому же, с чего начинали?

— Тут свой марафет, — сказал Чанта, подумав, — до войны и после войны колхозникам копейки платили. И только когда Хрущит свернул шею Лаврентию, мы, крестьяне, вздохнули. Если бы не Хрущит, царство ему небесное, мы бы все пропали...

Немного подумав, добавил:

— Власть это как времена года. От нас ничего не зависит. Большеусый был как ужасная зима. Как Большой Снег. Но Большой Снег у нас держался тридцать лет. Я хорошо помню Большой Снег. В это время я уже был расторопный мальчик. Пятьдесят коз мог выпасти и в целости пригнать домой... Теперь Хрущит. Он был как веселая весна. Однажды, отдыхая на Пицунде, он приехал в село Дурипш в гости к одному крестьянину. Я там не был, люди рассказывали. Говорун, как мельница, всю ночь никому слова не дал сказать. Но и выпил за ночь семнадцать чайных стаканов вина! Для пожилого вождя это неплохо. Хо-

роший был человек, царство ему небесное, нас, абхазцев, жалел. Пил с нами!

Теперь этот, который сейчас... Забыл имя... Справный, хорошо отдохнувший мужчина, ничего не скажешь. Но мы от него ни плохого, ни хорошего не видим... А что дальше будет — посмотрим...

За стеной время от времени раздавался шум и топот отбегающих быков. Это рыжий вожак все никак не мог уговориться и сгонял с места разлегшихся быков.

— Я его должен привязать, а то он нам спать не даст, — сказал Бардуша, вставая.

Он снял со стены моток веревки и вышел.

— Поосторожней, — кинул ему Чанта вдогон, — как бы он не боднул тебя.

— Я его так бодну, — отозвался Бардуша, — что шкура его будет сушиться на крыше!

— Сюда, волчья доля, сюда! — раздался через некоторое время его раздраженный голос. Потом он вдруг громко расхохотался и добавил: — Эх, жизнь! Что человек, что скот!

— Что ты смеялся? — спросил я, когда он вошел.

— Как тут не посмеешься, — сказал Бардуша, усаживаясь и протягивая руки к огню. — Как только я привязал этого буйана, к нему подошел один бык и ударил его в бок рогами. Подхалим, хотел мне понравиться! Если ты такой герой, почему ты не ударял его до этого, когда он не был привязан?

По какой-то таинственной закономерности разговор о нравах быков вывел нас к тому, что, оказывается, этот пас-

тух Хасан на самом деле не Хасан, а Хозе. Он из тех испанских детей, которых ввезли в нашу страну во время гражданской войны в Испании. Хозе ничего не помнит о своей первой родине, только помнит, что долго-долго плыл пароход. Все остальное он забыл, ну и, разумеется, испанский язык.

— Однажды в Мухусе продавал орехи, — сказал он, — подходят двое и говорят между собой по-чужестранному. Оказалось — испанцы.

— Ты им сказал, что ты испанец? — спросил я.

— Нет, конечно, — ответил он, — какой я испанец, я абхазец!

— Что-нибудь понял, — спросил я, — когда они говорили между собой?

— Ни одного слова! — воскликнул он почти гордо, как о каком-то прочном, хотя и неведомом достижении.

— А испанские песни слышал? — спросил я у него, пытаюсь докопаться до его генетической памяти.

— Конечно, — сказал он, — у меня и здесь есть «Спидола».

— Ну и что, — спросил я, — что-нибудь чувствуешь?

— Ничего, — сказал он, как бы опять настаивая на прочности своего неведомого достижения, — обыкновенная заграничная музыка!

Он посмотрел на меня с некоторой вызывающей готовностью множить примеры этой прочности. И тут у меня мелькнула безумная мысль проверить его испанскую реакцию на Карменситу.

— А ты Зейнаб знал? — спросил я у него.

— Какую Зейнаб? — подозрительно переспросил он, словно чувствуя в моем вопросе некоторую недобросовестность. — Эту фулиганку, которую отец убил?

— Да, — сказал я.

— Кто ж ее не знал, — презрительно процедил он, решительно не понимая, какое к этому имеет отношение прочность его достижений, — я бы ее там, под землей, палкой забил, как змею. Слыхано ли, чтобы абхазка так позорила своего отца! А чего ты ее вспомнил?

— Просто так, — сказал я, сдаваясь.

Больше мне нечего было ему предложить, разве что устроить корриду. Рыжий бык вполне подходил для такой роли, и Бардушу явно можно было подучить кое-каким приемам матадора, но я думаю, что зрелище навряд ли всколыхнуло бы генетическую память Хасана-Хозе, даже если бы удалось доказать старшему пастуху научную плодотворность такого опыта.

Только заговорили о бедняге Кунте, которому, видно, пришлось заночевать с быком, как раздался громкий лай собаки. Она побежала вниз.

— Это он, — сказал Бардуша, прислушиваясь к удаляющемуся лаю и первым уловив, что он смолк.

В самом деле вскоре Кунта появился в дверях. Все при встали.

— Пригнал-таки? — спросил Чанта.

— Кое-как пригнал, — сказал Кунта и, бросив бурку на лежанку, уселся у огня, где ему освободили место.

— Ай молодец, — сказал Чанта, поощряя его, как ребенка, — быстрее подайте ему ужин!

Хасан-Хозе подал Кунте ужин. Вскоре мы все улеглись на лежанке. В тишине, как водяные часы, равномерно шлепали капли из корзины, где лежал свежий сыр. Снаружи время от времени доносились богатырские выдохи быков. Журчал ручей. Со стороны луга дважды или трижды налетал и затихал топот мчащихся осликов. Улегшись под буркой и поудобней пристроив голову к седлу, я сладко уснул.

Проснулся я от дурацких песенок «Маяка» и не сразу понял, где я, в Москве или в горах. Это работала неутомимая, как я потом убедился, «Спидола» Хасана-Хозе.

Все давно уже встали. День был солнечный, и я чувствовал себя необыкновенно бодро. Когда я, взяв полотенце, пошел умываться к ручью, ослики пробегали по цветущему лугу. Я их почему-то пересчитал. Оказалось, что девять осликов бегут за одной ослицей. Я попытался приглядеться к ней, чтобы понять тайну ее привлекательности, но ничего не понял. Потряхивая гривкой и наклонив голову, как мне показалось, с выражением затаенной усмешки, она бежала впереди. Это была ослица светло-пепельной масти и, видимо, в ослином племени проходила за блондинку. Один осел был мышастый, другой, в рыжих клочьях, замыкал шествие. Все остальные были темные.

Я следил за ними, пока они не скрылись за бугром и, продолжая бег по невидимому кругу, снова появились далеко внизу. Теперь я заметил, что два задних ослика, медленно на-

рашивая темп, обошли передних, что не вызвало у обойденных никакого особого волнения, словно это входило в заранее обусловленный стайерский замысел. Так как, пока я наблюдал за ними, со стороны осликов не было ни одной попытки овладеть ослицей, казалось, что по условиям забега ослица достанется тому ослику, который последним удержится на дистанции, когда все остальные, не выдержав гонки, попадают замертво.

Прозрачная вода ручья искрилась, бежала и журчала, словно без усталости на виду у ледника пела цветущим травам о радости побега из-под его глыбы.

Я умылся мягкой, подснежной водой. Утираясь полотенцем, я все слушал и слушал журчанье ручья, и вдруг мне в голову пришла такая мысль.

Подобно тому как освобожденная вода ручья до освобождения от ледника сама была частью ледника, так и мы до собственного освобождения не только угнетаемся несвободой, но и сами невольно являемся частью несвободы, угнетения и самоугнетения.

К черту разговоры о тайной свободе, подумал я. Свобода, скрывающая себя, это еще одна разновидность несвободы. Акт дарения свободы есть главный признак самого существования нашей свободы. Подобно тому как в удачности собственной шутки мы убеждаемся, увидев, как другой человек улыбается ей, так и о существовании нашей свободы мы с абсолютной точностью убеждаемся только в момент дарения свободы другому. Если ты свободен — журчи! Иначе

твоя свобода уродлива как ручей, журчащий с выключенным звуком.

Когда я вернулся в балаган, завтрак был готов. После еды Андрей перекинул фотоаппарат через плечо, и мы двинулись в путь. Волшебнo-золотистые от цветущих примул, в белых пятнах снежников, круглые холмы уходили на юго-восток. Перебираясь по ним, мы должны были дойти до святилища.

Перевалив за первый холм, мы встретили старого одноглазого пастуха, который пас своих коз над ангельски-голубым озерцом, в котором сидел большой черный буйвол и, спокойно поглядывая на нас, жевал свою жвачку. Глазу, привыкшему видеть буйволов в болотистых долинных водах, видеть его в горном озере было так же странно, как увидеть негра в палате лордов, пожевывающего чунгвам.

Сам пастух и его козы на изумрудно-зеленой лужайке выглядели так живописно, что Андрей не удержался и несколько раз пощелкал его с разных сторон. Забавно было замечать, что старый одноглазый пастух каждый раз, когда Андрей нацеливал на него свой объектив, так поворачивал голову, чтобы остаться запечатленным своим зрячим профилем. Я подумал, что идея соцреализма возникла не на пустом месте, она отражает достаточно древнюю особенность человеческой психики.

Подымаясь с одного холма на другой, мы шли и шли, и я стал замечать, что Андрей все чаще останавливается, озирается, не зная, на какой из ближайших холмов взобраться.

— Ты подожди, — сказал он мне наконец, а сам, легкой рысцой слетев с холма, взобрался на другой, зашел за него, вновь появился и, показав мне рукой, чтобы я, не взбираясь к нему, прямо шел к другому холму, сам двинулся туда же.

Еще несколько раз, оставляя меня на месте, он рыскал по окрестным холмам. Я подумал, что наши пастухи, вероятно, были правы, считая, что это святилище находится где-то очень далеко отсюда, а Андрей за десять лет просто забыл об этом. Но вдруг он вылез из-за очередного холма и уверенно помахал мне рукой. Я спустился со своего и поднялся к нему.

Мы зашли за холм, и я увидел святилище. Это было небольшое пространство, огороженное белыми камнями. Внутри этой символической ограды лежала огромная куча накопленных стрел: клешневидные, ромбовидные, со сдвоенным или даже строеным жалом, многогранные, плоские, расширенные как лопасти, или суженные как шило.

Я прислушался к себе, стараясь услышать зов крови, но, увы, ничего не услышал. Очень уж это далеко. Понятно, почему наши предки выбрали место для клятвы и молитвы, расположенное столь высоко. Они хотели быть поближе к Богу.

Но было неясно, как вся эта груда боевого железа, пролежав здесь семь-восемь веков, покрылась только поверхностным слоем ржавчины. От древков, конечно, и следа не осталось.

— Десять лет назад, — пояснил Андрей, — когда я нашел это святилище, мы послали в Москву на экспертизу несколько накопечников. Специалисты по металлу, определив нали-

чие примесей в выплавке, не смогли расшифровать состав этих примесей.

С наконечниками в руках и без мы пощелкали друг друга возле святилища. Я взял на память несколько наконечников с наиболее шаловливыми формами смертоубийства, и мы пустились в обратный путь.

Теперь мы шли более короткой дорогой, отсекая ненужные холмы. Вдруг на склоне одного из них я увидел ослика. Пока я подходил к нему, он с печальным любопытством меня оглядывал. Это был темный ослик с мышастым брюхом и светлыми арлекинистыми пятнами у губ и глаз. Эта арлекинистость морды ослика показалась мне знакомой, но я никак не мог припомнить, кого именно он мне напоминает. Я погладил его длинноухую морду, потрепал по гриве, и он вел себя так, как будто соскучился лично по мне.

Когда я пошел дальше, он как собака последовал за мной. Такой привязчивости я не ожидал, и это меня обрадовало. Тем более что у меня никогда не было последователей. Пусть будет хотя бы один такой последователь, думал я, оглядываясь и видя, что ослик топает за мной.

Мы с Андреем слегка разбрелись. Он шел по ложбине, а я шел по верхней части холма. Холм, по которому я шел теперь с осликом, неожиданно превратился в каменистый обрыв.

Здесь спуститься было невозможно, и я повернул обратно, чтобы присоединиться к Андрею. Я думал, что ослик сделает то же самое, но он, дойдя до края обрыва, остановился и устался в пространство. Я несколько раз окликал его, но он да-

же не обернулся. Я не поленился вернуться, подошел к краю обрыва и, взяв его за голову, попытался сдвинуть с места. Он не сдвинулся ни на шаг. Тогда я ухватился за его шею и попытался загнуть ее в обратную сторону. Шея не сгибалась. Сочетание арлекинистой морды с жестоковыйностью усилили признаки какого-то знакомого писателя, но я так и не смог его вспомнить.

В состоянии глубочайшей задумчивости ослик стоял над обрывом и глядел в пространство. Почему он так охотно шел за мной, а теперь заупрямился? Что ему открылось? О чем он задумался? Или он разочаровался во мне, потому что я не рискнул лезть в пропасть? Сколько загадочных вопросов может породить один осел! Рискаю остаться без единственного последователя, я присоединился к Андрею.

Мы вернулись к пастушеской стоянке. У входа в нее Бардуша расщеплял топором толстую пихтовую ветку.

— Ну как, нашли? — спросил он и, врубив топор в расщеп, выпрямился.

Я вынул из кармана наконечники и показал ему. Из балагана вышел Чанта и тоже стал рассматривать их. Оба, прикладывая жало наконечников к своей груди, подивились высокому качеству их смертоносности.

Вдруг раздался топот и на зеленом откосе луга появились ослики. Не ускоряя и не замедляя темпа, а главное, не сбиваясь с него, они пересекали луг. По-прежнему, круто наклонив голову с выражением дьявольской усмешки, впереди мчалась пепельная ослица, мчалась, ни разу не оглянувшись, в полной

уверенности, что никто из поклонников, пока жив, не остановится и не выйдет из игры. Теперь ослик в рыжих ключьях шел первым за ослицей, а мышастый замыкал шествие.

Я вспомнил ослика, встреченного на обратном пути, и сказал об этом пастухам.

— Это наш осел, — оживился Чанта, — мы его уже два дня ищем. Его закутали остальные ослы, и он сбежал. Где ты его встретил?

Я объяснил, насколько это было возможно.

— Надо будет Кунту послать за ним, — сказал он, — как бы его медведь не зарезал.

— А почему они его закутали? — спросил я. Чанта промолчал, а Бардуша расхохотался.

— Ревнуют, — сказал он, — видно, он нашей ослице приглянулся.

«Значит, они все-таки иногда останавливаются», — подумал я.

Поближе к вечеру, хотя и раньше времени, Кунта пригнал телят и сказал, что один теленок куда-то исчез.

— В щель провалился, — заметил Бардуша, — больше деться ему было некуда. Сейчас пойду поищу.

Он вошел в балаган и вышел оттуда с фонариком и мотком веревки. Я присоединился к нему. Когда мы уходили, Чанта уже разъяснял Кунте, где и как найти сбежавшего ослика.

Мы прошли луг и, овеваемые холодом ледника, подошли к нему. Ноздреватый снеголед местами отливал старческой желтизной. Трухлявая мощь ледника. Осколки скал и камней

здесь и там были впаяны в его поверхность. Он кончался вымоиной, в глубине которой глухо журчали талые воды. Освещая фонариком дно, Бардуша медленно двигался вдоль нее.

— Вот он, — сказал Бардуша, когда мы прошли уже метров триста. Он лег на траву и поглубже сунул руку с фонариком в вымоину. В жидком свете я едва различал подобие живого существа.

Сделав петлю на конце веревки, Бардуша сказал:

— Если теленок сломал ногу, поужинаем свежей телятиной... Но я думаю, он соскользнул...

Вручив мне фонарик, Бардуша лег на траву и стал опускать веревку. Теленок лежал на дне, и Бардуша долго не мог накинуть ему на голову петлю. Наконец продел!

Это был, вероятно, редчайший случай в истории, когда при помощи петли не душили, а пытались спасти от смерти. Бардуша осторожно затянул петлю и, встав на ноги, начал плавно вытягивать веревку. Тело тельца приподнялось и пошло вверх. Бардуша, равномерно перебирая руками, тянул веревку. Так тянут ведро из колодца, когда боятся расплескать воду.

Весь мокрый, полузадохшийся теленок появился над вымоиной. Бардуша вытащил его, стянул петлю с шеи и поставил его на ноги. Бедный теленок упал, но открыл глаза и чихнул. Бардуша ощупал его ноги и убедился, что теленок их не сломал.

Я вполне искренне отказался от свежей телятины, ибо это было милое существо с припухлыми росточками рожек, с ко-

ричневой шерстью и белым пятном на боку, отдаленно напоминающим Гренландию на школьном атласе.

— Будет жить, — сказал Бардуша и, приподняв теленка, взвалил его на плечи, — он там пролежал не больше двух часов.

Когда мы пришли к стоянке, Чанта и Хасан-Хозе уже доили коров. Бардуша нашел глазами мать этого теленка и, подойдя к ней, поставил его рядом. Теленок стоял, пошатываясь. Корова стала облизывать его. Теленок все стоял, пошатываясь, и уже казалось, что корова удивляется его равнодушию к ее вымени. Бардуша подошел к нему и, приподняв, поставил возле вымени. Теленок остался безразличен. Бардуша ткнул его мордой в сосец. Теленок не мог вспомнить, что надо делать. Бардуша приподнял его голову одной рукой, а другой, нажав на сосец, выцедил ему на губы струйку молока. Теленок облизнулся. Бардуша выцедил еще одну струйку. Теленок ожил. Бардуша сунул ему в рот сосец, и теленок, наконец вспомнив, как это делается, зачмокал, толкаясь головой в вымя.

...На этот раз Кунта вернулся во время ужина.

— Нашел? — спросил Чанта.

— Пригнал, — ответил Кунта.

— Ай, мой Кунта, — сказал Чанта поощрительно, — что бы мы делали без тебя! Присаживайся поближе к огню.

— Он охотно повернул или упрямылся? — спросил я.

— Я его палкой огрел, и он повернул, — сказал Кунта и, присев у огня, принялся за ужин. Однако после нескольких глотков, видимо, решив, что у меня нет исчерпывающего

представления о предмете, добавил: — Осел хорошую палку уважает.

После ужина и долгого сидения у жаркого костра, когда пастухи стали устраиваться спать, я вышел из балагана. Из-за горы подымалась луна. Мохнатые, влажные звезды были непривычно яркие, как это бывает только в горах. Вдали бледным привидением светил ледник. Бодрая прохлада пронизывала тело. Журчал ручей.

И вдруг налетел знакомый топот. Из-за бугра вымчали тень осликов и понеслись невидимой линией своего круга. Я пересчитал их, пока они пробегали по лугу, и понял, что мой ослик прощен и допущен к великому марафону. Однако разглядеть, какое он там место занимает, было совершенно невозможно.

Несколько утомившись удивляться их неутомимости, я вошел в балаган и лег спать.

Содержание

Глава 12. Дядя Сандро и конец козлотура	8
Глава 13. Пастух Махаз	91
Глава 14. Умыкание, или Загадка эндурцев	133
Глава 15. Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист .	184
Глава 16. Харлампо и Деспина	249
Глава 17. Колчерукий	325
Глава 18. Бригадир Кязым	369
Глава 19. Хранитель гор, или Народ знает своих героев .	457
Глава 20. Дядя Сандро и раб Хазарат	548
Глава 21. Чегемская Кармен	619

Литературно-художественное
издание

искандер
фазиль абдулович

собрание

сандро из чегема 2

Редактирование и корректура

Мария Богданович,

Татьяна Тимакова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Верстка

Роман Тершин

Изд. лиц. № 0985 от 17.02.2000.

Подписано в печать 09.06.03.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага для ВХИ.
Гарнитура Петербург. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 30,8. Тираж 3000 экз.
Заказ № 394.

Издательский Дом «Время».
113326, Москва, ул. Пятницкая, 25.
Телефон: (095) 231 1877.

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ГИПП «Уральский рабочий»
620219, Екатеринбург, ул. Тургенева, 13.
Качество печати соответствует качеству
предоставленных диапозитивов.
<http://www.uralprint.ru>
e-mail: book@uralprint.ru

ISBN 5-94117-071-8



9 795941 170714